

ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ

САДЫ И ПУСТОШИ



ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ

САДЫ И ПУСТОШИ

Г. Джемаль

Сады и пустоши



Москва

Берлин

2021

Содержание

Сады и пустоши

Вместо предисловия. Орхан Джемаль* об отце

Преамбула. Сады и пустоши

Джемали. Дед. Тетка Шукюфа и ее муж скульптор Фуад Абдурахманов. Отец. Мать. Шаповалов. Бабушка. Тетка Агриппина

Дом на Мансуровском. Дом в Баку. Азербайджанский язык

Юность родителей. Валентиновка и дача. Шуша. Первое воспоминание

Полиомиелит. Евпатория. Мент с наганом

Верховая езда. Я — азербайджанец, сказочный принц. Теймураз Амилахвари

Валентиновка детская. Бабушка с ружьем. История дачи в ее сатрапском оформлении. Сон об утерянном рае

Игры в пытки

Детский Карабах. Мардакан. Баку

Дядя Леня. Цыганки и корибанты. Вера Донская. Катя Врубель. Друцкая-Соколинская. Дядя и его неудачная попытка покончить с жизнью. Самоубийство Тани Друцкой

«Политический» инфаркт деда. Первый класс. «Синяя птица» и кремлевская елка. Одноклассники. Розентуллер в красных ботинках. Патриот Зайцев. Бабушкин «хорошизм». Гений Молгачёв и русский блок самоуничтожения. Пионерские галстуки и их подвиды. Генеральский сын Земсков

Выход из сновидения. Сабелька на день рождения. Ненависть к слову «мир» и любовь к слову «война». Блокнотик. «История древней философии» Зелинского. Совок и матриархат как синонимы. Саша Козьменко. Побег в Иран. Пучки лучистой энергии. Миша Экерев

Юрасовский. Княжна Грузинская. Ненависть к советской власти. Быть рыцарем. ИВЯ. Круг исторического факультета. Володя Александров. Алла Стерлинг. Алла Циммерман

Образование и школа. Сочинение по Чернышевскому. Учителя. «Анти-Дюринг». Мао Цзедун и ревизионизм совка. Программа коммунизма. Смершевец и погром 12 апреля 1961 года. Массовый опыт психоза как опыт свободы

Горбун. Сережа Дружинин. Лева Цинтлер. Дружинин-старший и его сестры-монахини. Нора Вайсфельд

Драки и классовая ненависть. Экзамены. Две библиотеки и чтение. Художественная школа. Вадим Кабо. Курение

Чубаров и гэбэшники

Арбат и его обитатели. Кино. Графа в паспорте «художник»

Луч тоталитарности. Напуганные и бесстрашные — как это совмещалось. Сталинизм как ИГИЛ без Бога. О свободе, страхе, счастье и несвободе

ИВЯ. Володя Козловский и кампания против меня в университете

Виталий Гайдар. Лещенко. Цыгане. Наши разговоры. Достоевский и «человек умер». Советская власть против революции. Герцен. Визуализация

Лена

Армия

Разрыв с Леной. После армии. Статья «76». Радио ВДНХ. Москвин и издательство «Медицина». Знакомство с Мамлеевым. Лорик. Первое чтение. Предсказание Мамлеева о крушении советской власти. Южинский. Кремлевские курсанты. Малиновский, который никогда не работал. Алиса Тиле. Саша Васильев. Восстановление отношений с Леной

Взрослые — несчастные. Взрослые — категория социальная. Расплеваться с социумом. Работа на ипподроме. Работа в ВОХРе

министерства автоматизации. Армянские взрывы в Москве

Бокштейн. Пожар

Гагаринский. Холин. Мамлеев как знаток психопатологии.
Реставрация. Дудко. Фарцовщик Шурик. Вор-домушник

Есенин-Вольпин. Якобсон. Краснов-Левитин. Билет в Царствие
Небесное. Петр Григоренко. Эшлиман. Якунин. Николай Петрович.
Книготорговец Якубович. Эффект Вассермана. Олег Трипольский

Фарцовщики. Их нравы, бизнес и связи. Миша Перченко-Рыб.
Джинджи. Стивенсы. Валера Блинов. Петя-Швед

Мефистофель Казанец. Главный психиатр Тихоокеанского
флота. Справка о шизофрении. Агент 007 с лицензией на убийство

Головин

Унибрагилья

Степанов

Поэзия безумия

Олег Трипольский. Буковский. Мы и они

Антисоветчина

Рай Гагаринского закрыт. Большая Очаковская. Автокатастрофа

Сахарный. Кнопф. Серафа

Вадик Попов

Катер. Достоевский-Крюков. Оля-нимфетка

Пять жизней Мансуровского

Кризис. Джинны болотного образца. Явление Джаида. Питер.
Катя Подольцева. Круг завершился. Дудинский

Кому диктовать. Руслан Айсин

Ориентация — Север. Как это всё началось

Дудинский

Доктрина «Ориентации — Север»

Арест. Дугин

Душанбе. Каландар

Таджикистан. Расщелина. Олим Назри. Хазрати Бурх. Атола.
Terra Foliata. Аманаты

1981. Деградация пространства. Дудинский в официантах.
Последний год брежневизма. Выход «Ориентации — Север»
и «Шатунов»

Второе путешествие в Таджикистан

Зеленый базар. Эшони Халифа

Русский тип в мусульманском окружении. Как уголовники
портили Азию. Русская элита Душанбе. Салон прокурорши. Лекция
о спасении мира. Салон Серебровского. Дом Успенской. Высокомерие
русских по отношению к таджикам

Шихали Усейнов

Сефарды. Певцы на таджикских свадьбах. Фарух Арабов

Тайна российских шейхов. Адам Дениев

Алферов. Азия

«Всемирная гражданская война»

1984. Удушье. Уроки французского. Статья Берджесса. Мертвая
точка совка. Пародийный Андропов. Гэбня и космизм. Мы —
не маргиналы. Удам Хальянд. Амальрик. Пыльные открытия 80-х

Маньяки. Убийство в Казани. Основатель «Памяти» Ким
Андреев. Емельянов и «Десионизация»

1990. Радио Свобода

Германия. Орден. Тайная история противостояния.
Буршеншафт. Микхель Тамм

Кузнечики. Тщета как ужас. ИПВ. Давлат Усмон. Ахмад-Кади Ахтаев и Абдулло Нури. Как проиграла таджикская ИПВ. Писарев и программа «Ныне». Исламский комитет

Август 1991. Настоящие и ненастоящие революции. Лубянка и ее метаморфозы

Наш круг — лаборатория кризиса. Кризис человека. Кто «вата»?

Артур Медведев. «Волшебная гора». О красоте, розе, Мамыко и христианстве

Марк Фейгин. Российский политический комитет. Артуро Мариано. Обыск

Россия и вставание с колен

Роскошь и золото. Мытари сатаны. Дань комитету по встрече антихриста. Красота

Гуманизм и антигуманизм

Запад, европейская цивилизация, гомосексуализм и эллинизм

Природа власти в России и на Западе. Космизм. Мужские и женские ценности. Коммунизм как колбаса. Как советская власть стала соломенным псом. Черные рыцари. Непересечение с совком

Малый отряд избранных. Пророки и люди. Тема гоев. Евреи левые и правые

Почему Восток проиграл Западу. Кшатрии за мировой порядок и герои против него. Политический Ислам

В чем проблема уммы

Смерть и минимальное человеческое понимание. Смерть в русской литературе. Думать смерть. Скелеты и барокко. Детское видение живых трупов. Выставка народного мексиканского искусства. Почему мусульманам легче расставаться со «Станиславом с мечами». Шахада

Что такое Зло

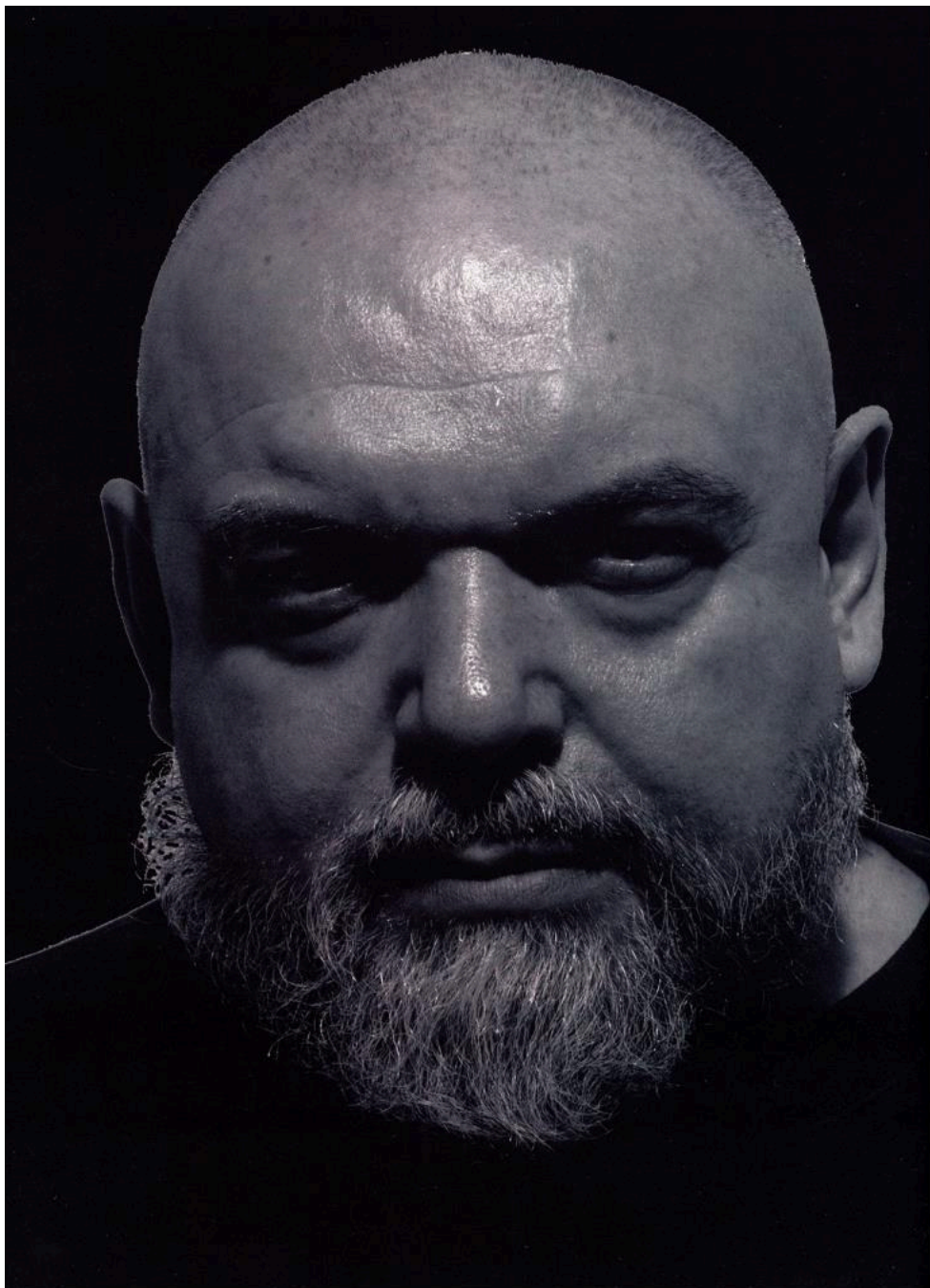
Схватка клубов. Либералы уйдут. Симулякры и подлинное.
Зачем Россия?

Отношение к советскому. О попутчиках. Ислам и джамааты.
Не играть в чужие игры

Послесловие

Примечания

Сады и пустоши



Гейдар Джемаль фото Святослава Пономарева

Вместо предисловия. Орхан Джемаль^{1*} об отце

— *Как вы считаете, почему ценность человека возрастает только после его смерти?*

— Она и при жизни проявляется.

Пока ты живешь, ты находишься в пространстве борьбы: у тебя есть как союзники, так и противники. И вокруг тебя по-разному складывается политическая ситуация. И может быть так, что голос твоих врагов очень громкий, очень убедительно звучит. Это реальная ситуация — мы живем в мире свободного и открытого противодействия.

Когда человек умирает, происходит некая расстановка точек над *i*, происходит парад сторон и с той, и с другой стороны. И одни должны обязательно выйти (у нас же эпоха «Фейсбука») и сказать: «Собаке собачья смерть». И другие должны выйти и сказать, что это был последний величайший философ.

И вот, когда отец умер, естественно, такие парады произошли со всех сторон.

Скептически относившийся к отцу при жизни человек в какой-то момент пишет: «Я не понимаю, что происходит, ну умер там какой-то Гейдар Джемаль, вторую неделю интернет на ушах стоит вокруг всего этого — что это, кто это? Я, конечно, знаю, кто это, но почему?!»

Он не оценивал при жизни масштаб этой фигуры, а после смерти стало ясно, что именно Гейдар — отец российского исламизма. Не ваххабизма, не салафизма, не шиизма, а именно исламизма как политической производной от ислама.

Наша отечественная умма находилась в очень архаичной стадии, и методы дагвата², методы разговора об окружающем нас были заточены под беседу с чабаном XIX века: есть некие схоластические утверждения, что можно, а что нельзя, есть тезис, далиль³, авторитет Корана и т. д. Весь дагват, вся содержательная часть призыва были очень архаизированы. У нас появлялись хорошие ребята, искренние, с порядочным сердцем, горячие, не гнувшиеся, не все были мерзавцами.

Тем не менее, интеллектуального прорыва всё равно не было. Да, парень хороший, но говорит он с тобой всё равно как с чабаном XIX века.

— *Так называемое провинциальное мышление?*

— Иногда оно было не провинциальным, но от этого мало что менялось. Иногда человек мог быть вполне себе крутым и продвинутым, но как мусульманин он оставался в таком формате. И Гейдар — в силу разных обстоятельств: в силу таланта, который был у него недюжинный, в силу очень специфического, очень раннего и очень сложного образования, которое он получил, в силу своей судьбы, в силу связей с определенными шейхами, будучи еще достаточно молодым человеком в Таджикистане, — он, по сути дела, тот призыв, который существовал в «чабанском» формате, перевел на диалектический язык человека, получившего современное, университетское образование.

Он стал говорить об исламе с европейски образованными людьми на том языке, который был понятен, доступен, который они не видели архаичным. Это был ислам для русскоговорящего интеллигента. Ислам в изложении, доступном русскоговорящему интеллигенту.

И в этом плане, конечно, Гейдар — отец русского исламизма, отец политической доктрины, вытекающей из религии.

Он никогда не придерживался сектантских ответвлений, и в этом плане претензии, которые он неоднократно высказывал к тому, что называется традиционным исламом, были не теологического, акыдного⁴ характера, а именно политического — за конформизм, за приспособленчество, за пренебрежение исламскими принципами в угоду безопасности.

Человек, который принес нам целую политическую доктрину, — конечно, его масштаб большой. Это было и при жизни понятно.

Просто после смерти произошел парад сил с обеих сторон.

Несмотря на то что в целом политическая ситуация на момент смерти Гейдара была не в его пользу, парад тех, кто был на его стороне,

был достаточно внушительным, а парад его противников выглядел таким злобно твякающим.

Люди, которые не имели отношения ни к исламизму, ни к исламу, которые числились либералами, говорили: «Да, Гейдар великий, он оказал на меня как на русского патриота огромное впечатление». Или признавались: «Мой любимый собеседник, с которым я мог по-человечески поговорить — не о фетишах, не о символах, а о сути явления».

Так что в данном плане это такой человек, которого... Мне пусто, мне нечем его заменить. Думаю, что таких как я, миллионы.

— *Почему так сложилось, что люди иных политических взглядов, иных конфессий уважали его больше, чем сами мусульмане? То есть враги его ценили больше, чем друзья?*

— А почему мусульмане его не уважали? Я не знаю. Где бы я ни бывал, всегда чувствовал, что ко мне есть позитивная предрасположенность за то, что я ношу фамилию отца — Джемаль. Так что я не считаю, что мусульмане относились к нему хуже, чем не мусульмане. Более того, даже люди, которые в силу различных обстоятельств (карьерных, духовных, идеологических) не должны были быть его союзниками, не должны были быть его друзьями, фактически были на разных сторонах, все они высказали публичное соболезнование, за что я признателен тем и другим. Например, Евкуров — советский, российский генерал, ставленник Путина в Ингушетии, или Кадыров.

— *Трудно ли быть сыном Джемалья, каково влияние отца?*

— Когда я пошел работать в «Новую газету», меня сначала взяли корреспондентом, потом после испытательного срока оформили спецкором, а через месяц-два редактор отдела политики ушел и рекомендовал на свое место меня — я почти два года был и. о. редактора отдела. И главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов уже много лет спустя рассказал, что я так долго был и. о. и меня не переводили, потому что очень многие ему говорили: «Кто у тебя рулит отделом политики? Это же сын того самого! Ты с ума сошел! Кого ты на работу взял?!» То есть для какой-то группы людей,

для либералов, быть сыном Гейдара Джемаля означало быть ваххабитом и фашистом, не знаю, что там еще.

— *Почему либералы его так воспринимали? Он входил в патриотический круг, в круг газеты «Завтра» Проханова?*

— В какой-то период. Да, отец входил в этот круг, когда данный клуб противостоял власти, а когда клуб оказался у власти, то те, кто не с ними, стали как бы врагами России.

— *Гейдар был нонконформистом, который всегда был против власти?*

— Они реагировали на фамилию Джемаль, как на вражескую, с одной стороны. С другой — для мусульман это, наверное, некий плюс. Но дело не в этом, дело не в том, что на тебя падает тень твоего отца и ты в этой тени играешь то одними красками, то другими, всё дело в том, что обычно у детей в какой-то период отец становится важным авторитетом, но этот период рано заканчивается: в 12 лет отец — это великий папочка, который берет тебя на рыбалку, в 14 уже не то, а в 20 он уже архаик.

У меня совершенно не так: фактически до самой своей смерти Гейдар для меня оставался тем самым папочкой, который волен взять тебя на рыбалку, научить и объяснить. Он оставался и духовным авторитетом, и авторитетом по жизни. И помимо сыновней любви мне всегда с ним было очень интересно. И время, проведенное с отцом, когда мне уже 50, а ему под 70, никогда не было выполнением неких семейных обязанностей, потому что ты должен уделить ему внимание, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Нет, это всегда был интеллектуальный праздник, потому что общаться с ним, обсуждать, контактировать — это было интеллектуальное удовольствие, наслаждение.

Даже когда ата⁵ был в чудовищном, предсмертном состоянии, он был в состоянии поразить ходом мысли.

И конечно, если бы его не было, и меня вот таким бы не было. Да, я был бы каким-нибудь значительно менее интересным, более приземленным. Он формировал меня не до 15 лет, не до 20,

он формировал меня до самой своей смерти. И это был для меня огромный, интереснейший опыт.

— *Почему тем не менее вы разные люди? Почему он не ставил задачу воспитать своего духовного наследника, интеллектуального продолжателя своего дела? Такой задачи не было?*

— Я не думаю, что у его дела может быть интеллектуальный продолжатель. У него остался огромный круг учеников, причем есть люди, которые не стали мусульманами, но всё равно заявляют, что Гейдар — шейх. Есть люди, которые упорно не принимали ислам, числясь его учениками, но объявили о том, что они мусульмане после его смерти.

Есть целая группа людей христианской фракции, которая собиралась вокруг Гейдара Джемаля: да, наши, внутри нас, ну вот они на пути. Но он умер — и они, хотя и были давно на этом пути, но при его жизни не пришли, а после его смерти пришли и сказали: я мусульманин. Есть такие люди. На мой взгляд, сейчас основная задача джамаата — сохранить наследие Джемаля.

— *А есть этот круг людей? Кто он?*

— Руслан Айсин. Айсин — один из ближайших людей. В Алма-Ате огромный казахский джамаат, очень много людей в Москве, очень много людей на Кавказе считают себя учениками Джемаля, считают себя людьми, которые приняли его философию.

— *В 1990-е годы, когда мы с ним встречались, у меня не было ощущения, что его окружает большой джамаат. Было ощущение такого одиночества.*

— И до конца было это одиночество. Если попытаться данным кругом учеников развить всё это дело как духовное наследие, то выйдет такой марксизм — очень скучное начетничество, потому я как раз за то, чтобы сохранить всё, что было, но не заниматься интерпретацией. Допустим, мы же считаем, что Маркузе — марксист, в силу того что он развивал определенную доктрину, но он не является тем марксистом. А ситуация, что я духовный наследник, продолжатель... Я не хочу выступать в роли «сына Высоцкого».

— Почему не получилось воспитать наследника, или он не ставил такой задачи? Он же мог передать вам этот потенциал, мог зажечь идти именно по этому пути... Или у вас судьба другая? Вы же не по этому пути пошли?

— Ни по этому, ни по какому. У каждого свой путь.

— А можно было пойти по этому пути — не было такого желания?

— Нельзя по этому пути, данный путь уже занят — занят им, и он его уже прошел. Хотите сказать, почему я не некий шейх, который сидит и рассказывает, как оно правильно?

— Не было желания стать философом, мыслителем, как он?

— Нет. Мы люди разного склада. Гейдар, кстати, был либералом в общении. Когда он мне что-то говорил, а я отвечал: «Я не согласен, я не считаю это правильным, но если ты прикажешь, то я подчинюсь», — он обычно отвечал: «Нет, это не наш метод. Приказ — это не наш метод». В этом плане он оставлял очень большую свободу внутри. Всегда. Интеллектуального насилия никогда не оказывал.

— То есть он вас с детства не воспитывал?

— Какое-то влияние он оказывал на меня и в детстве, хотя, когда я был маленьким, я ему не был интересным. А когда я дорос до состояния, когда у меня появилось собственное интеллектуальное содержание, я ему стал интересен, он стал мной заниматься. Я не могу сказать, что он учил меня аккуратно есть манную кашу, но аккуратно читать Хайдеггера он меня научил.

— А вот эти его соратники с Кавказа и из Казахстана насколько интегрированы? Есть кто-то, кто может поставить задачу всех сподвижников интегрировать, создать некую структуру? Или это чревато?

— Создать, интегрировать их в систему, в вертикаль (связь, начальство и так далее) — это убить тот дух, то содержание, убить ту мысль, носителем которой Гейдар был, которую он продвигал. Ему же при жизни часто говорили, что да, ты семи пядей во лбу,

но посмотри, как люди, которые рядом с тобой, становясь ничтожеством, за счет чисто аппаратных примитивных ходов получают какие-то результаты, которых не получаешь ты. Я называл это «магией бюрократии». Этот вопрос не сейчас же возник, ему и при жизни так говорили. Но если при жизни этот вопрос ставить было уместно, потому что да, есть деятельность, у нее должны быть практические результаты, то создать такую структуру после его смерти — это просто уничтожить эту живую, эту прекрасную мысль.

— *Руслан Айсин говорил, что есть желание создать фонд?*

— Фонд — это же культурная вещь, он будет заниматься изданием книг, снятием фильмов... Всё в процессе. Сейчас готовится антология, запускается фильм — появились первые средства для этой деятельности. Но это всё культур-мультир. А создавать партию с дисциплиной и так далее — для меня это не кажется таким уж безупречным решением.

— *Вы сказали, что Гейдар — крупнейший русскоязычный последний философ. Сопоставимых с ним нет?*

— Я сейчас перебираю разных людей, которые существуют в области мысли. Удивительно: знатоков философии можно найти, можно найти людей, которые знают философию, разбираются в ней, но тем, что называется «философ» (создатель пусть не целостной, а хотя бы обрывочной доктрины), я ни одного человека назвать не могу.

— *Может быть, в некоторой степени Дугин сюда подходит?*

— На мой взгляд, Александр Гельевич всё-таки культуртрегер — носитель культуры, вбрасывающий концепты, существующие помимо него. В последнем многотомнике он проявился как крупный знаток в первую очередь классической философии. Это как Бертран Рассел. Тот был центром определенного кружка, лидером группы, в которую входили такие крупные философы, как Витгенштейн, или крупные экономисты, как Кейнс. Но сам Бертран Рассел остался знатоком философии, написавшим отличный учебник по философии с обзором от досократиков до своей эпохи. И всё. Строго говоря, он был знатоком философии, а не философом. Вот с Дугиным как-то так же. Он,

безусловно, центр определенного кружка, он, конечно же, вбросил и расширил определенные евразийские концепты, популяризировал традиционализм, хотя и не сам его вбросил. Русскоязычным людям традиционализм презентовал Головин, но достоянием широкого круга сделал всё-таки Александр Гельевич. В этом плане он очень мощная фигура, но аутентичной дугинской доктрины, которая была бы мне понятна и в результате знакомства с которой я сказал бы: «Да, это доктрина — доктрина Дугина», я не вижу. Хотя под обаянием его какое-то время тоже находился, в 1990-х годах.

— *В принципе, в русскоязычном мире такого вообще не было? Гейдара Джемалю не с кем сопоставить?*

— С ним вообще интересная вещь происходила. Я ездил на майские праздники по Кавказу: в Дагестан заезжал, через Чечню, дальше в Кабардино-Балкарию и так далее. Меня поразило: балкарцы — крестьяне-горцы, дикие места, канатчики — все читают «Революцию пророков» Джемалю. Ты поднимаешься на 4 тысячи метров, там стоит сморщенный, сожженный солнцем человек по имени Муса, который говорит: «О, Орхан, рад тебя видеть! Я читал “Революцию пророков” твоего отца». Это к вопросу о том, почему он популярен среди не мусульман, а среди мусульман — нет. Нет, это не так. Просто в какой-то момент у него были внятные контры с разными духовными управлениями, с тем, что называется «официальный ислам».

Очень многие люди, которые при жизни Гейдара были практически в разных лагерях, на разных полюсах, напрямую противостояли друг другу, — все эти тюбетеечники, чалмоносцы — после его смерти (кто-то публично, как Аширов, кто-то непублично, негромко, втихаря) выразили соболезнования, оказали помощь. Даже когда они были противниками, они понимали, что это большой, серьезный, нужный, наш человек. Да, мы вынуждены по слабости духа прогнуться под какие-то властные структуры, но мы-то знаем, кто есть кто.

Так что на самом деле его смерть, этот парад после смерти были очень показательными. Даже я, для которого он всегда был главным жизненным генералом, был поражен, как много людей считали его

генералом. Я удивился, как много людей считали так же, причем каждый считал возможным сказать: «Я тут. А я тут». И я увидел, что там есть и либералы, и националисты, и правые, и левые, и мусульмане, и не мусульмане, которые говорили: «Я с этой стороны». Вот как Гейдар встал: «Становись!» — и они все туда встали.

— *В декабре 2014 года он был в Казани, мы брали у него интервью — он уже был с палочкой.*

— Он давно болел, это не было новостью, просто он старательно скрывал свою болезнь.

— *Для нас это стало новостью.*

— Он был человек сильный, гордый. У него был рак лимфатической системы. Там всё было плохо, в конечном итоге смерть наступила в результате метастаз в мозгу. Но на самом деле это длилось около 10 лет...

Вообще, вокруг его смерти все с большим удовольствием стали накручивать всякие доводы: «А почему в Алма-Ате?», «А может быть, он не умер, может быть, операция — это прикрытие», «Может быть, он уже давно в горах Боро-Хоро», — ну и так далее.

Нет, вокруг его смерти не было ничего конспирологического. Почему в Казахстане? В свое время Назарбаев разослал людей по всему миру учиться, у него появились хорошие онкологи с западным образованием, услугами которых многие пользуются и которые приглашали: «Гейдар Джахидович, приезжайте, у нас есть западные форматы химиотерапии, которые вы сможете перенести», — в отличие от того, что предлагает, допустим, Каширка.

Но, кстати, несмотря на возраст и болезнь, он сохранял и культивировал в себе такой пацанский мачизм: слабость нужно скрывать. Если ты говоришь «нормально», значит, в реальности просто кошмар, потому что всё остальное — это «хорошо». И это торкало его, он не прогибался, не сдавался. Он видел, что смерть — старушка с косой — приближается к нему, и острил по этому поводу, это был такой юмор висельника. Он мог очень легко пошутить о собственной смерти, совершенно спокойно. Если такой психотип вывести в романе,

то это будет кумир 16-летних мальчишек, как «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан» — такая романтическая литература.

— *А кто сейчас такое перо найдет? Пелевин?*

— Что интересно, когда они были знакомы, Пелевин только «Желтую стрелу» написал. Потом они общались, но связь как-то утратилась, разорвалась. И потом вдруг Пелевин разряжается «Empire V», который является определенным беллетристическим парафразом цикла лекций Гейдара.

— *Видно же, что у него все последние романы оттуда взяты.*

— Но «Empire V» — это просто весь этот концепт.

— *И последний — «Крайняя битва чекистов с масонами».*

— В «масонах-чекистах» такого уже нет. Но на Пелевина Гейдар оказал влияние. Интересно, что и Гейдар тоже очень любил Пелевина как одного из прорывных современных литераторов. То есть из русских литераторов он любил Пелевина и Елизарова. Из современных постмодернистов Сорокин был на втором плане.

Фрагмент интервью для портала Бизнес-онлайн
<https://www.business-gazeta.ru/>

Июнь 2017

Преамбула. Сады и пустоши

Во имя Господа Милостивого и Милосердного.

Меня давно занимала идея, что люди уходят не просто когда угодно. Люди умирают не потому, что они заболели, состарились или просто устали жить, а потому, что кончается их эпоха, — они уходят целыми блоками, пластами носителей определенной матрицы.

Впервые эта идея пришла мне в голову, когда мне позвонили на Народную — в коммуналку, где телефон висел в тупичке, в коридоре напротив входной двери, и где местная фауна исписала штукатурку телефонными номерами — и сказали, что умер Высоцкий.

У меня возникло острое ощущение, что Высоцкий умер не потому, что он употреблял наркотики или его затравили шестидесятники типа Вознесенского и Евтушенко, а потому что ушло его время, сколько бы ему ни было лет. Начиналась особая эпоха 80-х с новой ментальностью, в которой его романтике, образам, метафорическим ходам, его пафосу не было места.

Его матрица кончилась.

Речь идет о людях, обладающих особой чувствительностью, встроенных во время, и для них время имеет значение.

Куча народу существует просто как ботва. Они живут из 70-х в 80-е, из 80-х в 90-е, но ничего с ними не делается. И в зоопарке десятилетиями живут пингвины и страусы.

Высоцкий не мог жить в 80-е годы, а после 1991 его и представить трудно — в постмодернистскую эпоху фальшивых бандитов и фальшивых ментов. Он создал галерею образов советского народа. У него есть и пожарники, и полярники. Каждому он посвятил песни. Но всё это исчезло, растворилось. И он ушел. Что ему еще оставалось?

Тогда эта идея была инстинктом.

Инстинкт укрепился, когда в феврале 1987 умер мой отчим, светлейший князь Теймураз Амилахвари, который не воспринял бы ничего из последующего. Для него оскорблением был бы весь 1987, я

уж не говорю о Ельцине. Он ушел, когда у него еще оставались иллюзии, спровоцированные 1986 годом.

Он сказал фразу, когда Горбачев только пришел к власти, показавшуюся мне в его устах совершенно удивительной. Теймураз, бывший не абстрактным сталинистом, но лично знавший Василия Сталина и сидевший за него, взявший на себя какие-то дела, чтобы Васе помочь, сказал в 1986 году по поводу Горбачева: «Ну какая тут, черт возьми, демократия?»

Он не мог стать свидетелем того, что развивалось дальше — он воевал за эту империю с 1939 в Финляндии и закончил войну в Праге, уже после взятия Берлина. Потом он сидел во имя этой империи. Увидеть безобразие с родимым пятном на башке, видеть, как это всё превращается в кучу мусора, было бы выше его сил.

Нечего человеку было делать в 90-е годы.

Как и Высоцкому в 80-е.

Люди не переживают смены парадигмы, если они стали активными выразителями предыдущей матрицы. В моем случае нет никакого временного порога, который должен меня оставить за бортом ввиду моей неспособности перешагнуть через девяностые или нулевые.

Я человек не отсюда. Я человек будущего. Мой менталитет — это менталитет человека, после того, как это человечество обнулилось и всё началось с чистого листа. Никакие здешние трансформации, преобразования, уход одной модели глобального общества или начало другой модели глобального общества, или «кластеризация» глобального общества, как говорит один экономист, исследователь кризиса, — всё это меня не пробивает просто по той причине, что буря в стакане воды здесь, в этом человечестве, не оказывает на меня влияния.

Я не был связан с какой-либо эпохой.

Я участник, и не более того, «шизоидного подполья» Москвы. Участник Южинского, хотя и в самом позднем его варианте. Застал его, в отличие от некоторых людей, которые сегодня активно строят себя под идеи Южинского.

Я застал живого Юрия Витальевича Мамлеева до его отъезда в Америку, был с ним дружен шесть лет как с самым близким для меня человеком. Не я один. Но люди, разделявшие со мной радость знать Юрия Витальевича, уже ушли.

Мы не можем привязать «шизоидное подполье» к 60-м, хотя номинально оно располагается в тот период, — 70-е были уже эпохой постмамлеевской, постюжинской. Это была эпоха Головина.

Прекрасная, великая эпоха.

Но и Головин ушел не потому, что что-то изменилось. Головин ушел потому, что он устал. Я видел его на похоронах Лены, когда его вели под руки, и он уже был как выющийся седой стеклянный есенинский дымок над осенней землей. Он устал.

Он не привязан ни к какой эпохе. В отличие от Высоцкого и в отличие от моего отчима Амилахвари, прожившего яркую, большую, но, на мой взгляд, неудачную жизнь.

Размышляя над своей биографией, я отчетливо вижу, что я не человек времени.

Я человек, который выражает сюжет и появляется в конце пьесы, подводя итог.

У Шекспира появляется некто, кто говорит, что четыре капитана несут Гамлета.

Я как раз тот человек, который говорит, что Гамлета уносят. Я участник сюжета, но я вне сюжета.

Я долго размышлял, существует ли наша уникальная идентификация «здесь-присутствия», как сказал бы Хайдеггер.

Есть ли внутри меня уникальная идентификация?

Если, к примеру, оставить меня как свидетеля, но все мои внутренние ощущения поменять с ощущениями Ивана Ивановича, можно ли заметить разницу? Покойный Степанов говорил, что если поместить кого-нибудь в шкуру Головина, то он взорвется, как арбуз, внутри которого граната, разлетится на тысячу кусков, не выдержав чудовищного давления.

Так это или нет?

Когда мне было лет двенадцать, я шел с друзьями по Валентиновскому проселку и пытался им выразить эту проблему. Я им говорил: «Мы смотрим на небо — оно голубое, но ведь каждый его видит немного иначе. Для кого-то оно голубее, для кого-то серее. Или мы видим его совершенно одинаково? Изменится ли что-то, если мы поменяемся нашими глазными нервами, или нет?» Они раздражались, а для меня это была важная тема — проблема уникальности «здесь-присутствия».

Физическая уникальность — вещь не реальная и не существенная.

Уникальность только смерть, потому что в смерти умираешь только ты.

«Каждый умирает в одиночку», как озаглавил один свой роман Ганс Фаллада.

Умирает только вот это существо, и никто не может его заменить.

В Коране есть аят, который указывает, что душа не может понести бремя другой души⁶, как женщина не может понести чужое бремя, быть беременной вместо кого-то.

В сатанинском мире существуют суррогатные матери, сейчас это проблематизированный вопрос.

Но умереть вместо кого-то нельзя, и вместо тебя никто не умрет — в буквальном смысле, а не в переносном. Конечно, поставить кого-то вместо себя можно, но конец постигает только твою длительность.

И это единственное уникальное.

Ни цвет неба, ни фон ощущений, ни внутренний тонус — ничто не уникально. Всё можно заменить. Особо изысканные личности типа прерафаэлитов или какие-нибудь поэты заметят подмену, но если поменять Ивана Ивановича и Петра Петровича местами, никто не чухнется. А вот когда умирает даже самый последний Иван Иванович, он понимает, что только он умирает — лично.

Моя уникальная смерть не связана со сменой эпох.

Ни моя победа, ни мой проигрыш, ни тот факт, сбудется ли то, во что я верил всю жизнь, или не сбудется, — никакой разницы нет.

Я не уйду из-за того, что мои мысли, моя ставка на некую идеологию, на политический Ислам, астагфируллах⁷, пролетела.

Представим, что 2020-е годы — торжество чавкающего скотоподобия, человечество проиграло.

Но и до нас проигрывало много человечеств.

Сколько человечеств ушло, не оставив и шороха, — как сказано в Коране⁸.

У нас, как у человечества в целом, очень маленький шанс выиграть, и я готов к этому.

Я готов к «пролету», я готов к тому, что всё человечество «пролетит», и это не меняет мою ситуацию.

Я не уйду потому, что человечество проиграет.

Я уйду по лично своим причинам, по лично своей внутренней мотивации. Потому что моя внутренняя сюжетность не связана с сюжетностью внешней истории.

Есть смена эпох. Люди, которые живут и уходят в зависимости от эпохи, не могут о них свидетельствовать.

Представим, что мы подняли сейчас из могилы Высоцкого и попросили его рассказать, что он пережил, охарактеризовать свою эпоху, увязать себя с ней. Мы бы ничего интересного не услышали. Всё, что он мог рассказать, он уже рассказал в своей известной песне «На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики». Там он изложил всё свое видение эпохи: войну, послевоенное время, «страна лимония, сплошная чемодания». Песня хорошая, спору нет, но это не свидетельство эпохи, — это ничто, несколько красивых штрихов типа «где мой черный пистолет?» Это не свидетельство.

Свидетельствовать об эпохах могут только люди, которые от них не зависят, которые проходят сквозь них, как игла сквозь материю.

Я думаю, что я могу свидетельствовать.

Люди, до которых я дотягивался рукой, были ровесниками века. Я остро чувствовал 30-е годы и войну, хотя всё это было до моего рождения.

Я жил очень концентрированно, вобрав в себя эмоциональные штрихи, привкусы 30-х, 20-х и дореволюционных годов. Я знал людей, начинавших жизнь до революции, непростых людей. Я впитывал качество их сущностей, я любил их время и остро чувствовал жизнь после 1900 года. До 1900 уже туман, врать не буду.

Когда я пошел в школу, был Сталин. Я рассматривал детские книжки типа «Родной речи» с его портретом. Берия был живой реальностью, дед при мне звонил Маленкову. С первого класса до последнего я учился при Хрущеве. Сняли Хрущева, и я закончил школу. Это время мне изнутри понятно. Я могу его свидетельствовать, потому что я не принадлежал этому времени.

Поэтому начать разговор нужно с определения «технической специфики», в результате которой на свет появилась моя экзистенция.

Сошлись два очень странных, несовместимых потока. Совсем чуждых. Пусть это будет преамбулой к нашему разговору.

Чтобы подойти к специфике этой уникальной точки, уникальность которой вынесена за пределы любого существования, потому что она будет реализована только когда перестанет существовать, нужно понять, откуда эта точка взялась, почему она такая странная.

Две прямые пересеклись и дали эту точку — они не должны были никак пересекаться, потому что они в разных пространствах.



[Прембула \(YouTube видео\)](#)

Джемали. Дед. Тетка Шукюфа и ее муж скульптор Фуад Абдурахманов. Отец. Мать. Шаповалов. Бабушка. Тетка Агриппина

Фамилия моего отца и фамилия моей матери психологически, сущностно ничего общего не имеют. Эта связь была очень краткосрочной.

Как огонь и вода — при их встрече с шипением поднялся странный пар. Вода тут же куда-то впиталась, а оставшийся огонек снова раздулся, и поднялось новое пламя, но уже иное.

Они были несовместимы.

Мой отец — человек, убежавший от своей семьи. Его семья — азербайджанская номенклатура. Причем и в царские времена она принадлежала к определенному «руководящему» слою.

Дед мой родился задолго до начала XX века.

Он умер в 1968 году, когда ему было около 80 лет. В 1917 ему было тридцать. Когда я с ним реально стал общаться, ему было 74. Но он не был похож на 74-летнего.

Маленьким я его не помню. Когда мы уже гуляли по набережной в Баку, он был на шесть лет старше меня нынешнего.

Дед выглядел старше, это был очень реальный, герметический человек. Хотя он был выброшен отовсюду, отсечен, изолирован, к нему на улице подходили люди. Руку не целовали, как Эрдогану, но курбеты делали. А он просто шел с палочкой, в шляпе, и с разных сторон к нему подходили и говорили что-то приветственное. Он даже не особо обращал внимания.

Хорошо, что его не расстреляли. Он принадлежал к близкому окружению Багирова, которого как раз расстреляли. Деду повезло: он не состоял в партии, и его просто выгнали без пенсии. Если бы был членом партии, то расстреляли бы.

До 1917 года дед — один из руководителей Карабахского уезда. После он входил вместе со своим отцом в состав карабахского

совета — «Карабах шурасы». Короче говоря, он заправлял этим делом.

В мусаватское время дед — один из молодых руководителей Карабаха, принадлежавший к старой карабахской семье, которая всегда Карабахом если не «рулила», то была в верхнем слое, определяла его судьбу.

Дед — мусаватист, а его брат — офицер мусаватской армии.

Такие люди — что называется «дворянство», — непотопляемые персонажи. Когда кончился Мусават, его брат, не последний офицер, оказался на комиссарских курсах и стал красным командиром.

В мусаватское время дед хорошо знал Багирова. А Багиров, как известно, был сотрудником мусаватской разведки, как и Берия. Их обоих расстреляли. Берию дед тоже знал, Багиров у него бывал дома при Мусавате. После окончания Мусавата как-то так оказалось, что «товарищ Тарелкин пошел впереди прогресса»⁹: Багиров якобы всю дорогу создавал большевистские организации в Закавказье. Первым, кого он привлек в свой аппарат, был мой дед.

Дед прошел большой интересный путь в этом направлении. В 30-е годы он возглавлял борьбу с бандитизмом в НКВД Закавказской республики. Тогда это всё сидело в Тифлисе — столице Закавказской республики. Мой отец учился в тбилисской школе. У него сохранились тбилисские воспоминания из детства.

Во время войны дед был назначен военным комиссаром Карабаха. После войны он пошел по линии Верховного суда. Он занимал пост председателя Верховного суда республики.

И вдруг — раз! — переворот, расстрел Берии, расстрел Багирова. На этом всё кончилось.

Пока дед был наверху, его дочь Шукюфа успела стать первым доктором философии среди азербайджанок.

Любопытная женщина.

Она как бы «будила чувства». Не красавица, рыжеволосая, сероглазая, скуластая, с твердым лицом, твердо очерченными губами, с властным жестким характером. Такая монгольская ханша.

Ее в семье звали «монголкой».

Будучи юной девушкой, ходила в любимых ученицах у Гейдара Гусейнова, знаменитого азербайджанского философа советской эпохи. Он был ее научным руководителем. Гейдар Гусейнов, академик, президент Азербайджанской Академии наук — автор концепции, согласно которой наш дагестанский имам Шамиль считался героем национально-освободительной войны против царизма. Великая кавказская война 1817–1864 годов трактовалась как национально-освободительная, и имам Шамиль выражал борьбу народов Кавказа против царизма.

Но случилось так, что в конце 30-х, и особенно после войны, концепция Шамиля изменилась. Товарищ Сталин решил, что он не герой национально-освободительной борьбы, а английский шпион и шпион Османской Турции. Изменилась концепция, и Гейдар Гусейнов повис в воздухе, потому что его идея сделалась суперреакционной.

И, как говорят, он застрелился в своем кабинете. Это было в 1950 году.

Никто, конечно, не верил в его самоубийство: все понимали, что к нему зашли «вежливые люди», застрелили его и ушли. Потом белые как снег секретарши и секретари сказали, что он сидел за закрытыми дверями, когда они услышали выстрел. Но все знают, что он не застрелился.

Тетя моя, не будь душой, поменяла свою позицию. Снявши голову, по волосам не плачут. Научный руководитель ушел из жизни.

Она пошла дальше в рост.

Вышла замуж за Фуада Абдурахманова, знаменитого скульптора, основоположника азербайджанской монументалистики, ученика то ли Шадра, то ли Коненкова, то ли всех их вместе, автора знаменитого гигантского изображения Низами в центре Баку. Всё исполинское, что есть в Баку, сделал Фуад Абдурахманов.

Она вышла за него, родила дочку Гюли. Доросла до заместителя президента академии наук и при странных обстоятельствах умерла

очень рано, в начале 80-х. Но Гюли считает, что ее убили. Фуад Абдурахманов умер еще раньше.

Фуад спас мне жизнь.

Это был человек под два метра ростом, огромный, похожий на тюленя, очень темный, черноволосый.

Как-то мы с ним и с его дочкой от первого брака пошли гулять и купаться в Каспийском море. А я плавать совсем не умел, но очень дочка его мне нравилась. И я возьми, да и прыгни в воду со скалы. Тут же я пошел ко дну. Сначала он не хотел верить в то, что это происходит. Я тоже долго сопротивлялся, чтобы позвать на помощь: она-то сидела наверху. Когда я уже третий раз ушел вниз, крикнул: «На помощь!» А он не понимал, что всё по-настоящему. Но когда я снова позвал на помощь, он прыгнул в море, как огромный морж, и вытащил меня.

Мы возвращались на дачу, я чувствовал горячий стыд, что повел себя так по-дурацки. Мне было 14 лет. На даче был бассейн, и вокруг него низкая стенка. Когда мы пришли, на парапете лежаладохлая птица. Дочка Фуада подошла и сказала: «Ой, птичка мертвенькая лежит». И я с облегчением подумал: «Боже, какая дура». И тут же потерял к ней интерес.

Фуад Абдурахманов был центральной фигурой в скульптуре. Они с моей тетушкой, с точки зрения свободного диссидентско-богемного пространства, наложили страшную тоталитарную печать на всю республику. Я слышал, что этот тандем напоминал что-то вроде пары академика Юдина с академиком Митиным¹⁰ в философии плюс Минц¹¹. Страшные ребята.

Правда, в бумагах другого деда, по материнской линии, я находил документы, говорящие о том, что мой отец и тетушка, будучи молодыми людьми, издевались над советской властью и над советскими руководителями.

Но одно другому не мешает.

Тетушка Шукюфа-ханум была очень яркая.

Я был на ее защите докторской степени в Москве. Подумал тогда, глядя на нее: какая интересная женщина. И не высокая, и фигура у нее такая монгольская, коренастая. Но что-то было в ее густых темно-рыжих волосах, в ее серых глазах, высоких скулах.

Женщина из той породы, для которой государственная власть, то есть личная, важнее родственников и детей. Которая живет не интересами женщины, а интересами истории, интересами власти. По своей сути Шукюфа была ханшей — из тех, что выбирают, кого из своих трех-четырех сыновей оставить в живых, а каких убить, чтобы пресечь борьбу за власть. У нее не случилось в жизни такого выбора, но по своей закваске она могла бы стать «решалой» женского рода в шатре в кочевом роду.

То, что она находилась в институте философии, ей самой было странно. Но другого варианта у нее не случилось. Шукюфа-ханум добралась до заместителя президента академии наук в Азербайджане, будучи женщиной. Она затоптала и съела кучу народа на своем пути. И я не удивлюсь, если ее дочка Гюли права, что мать убили. Хотя Гюли — неуравновешенная особа, доверять ей нельзя.

Отец мой моложе тетки и совершенно другой человек. Он вообще не хотел связываться со всей этой ерундой — властью, политикой, государством. Но он вполне реализовал себя и свою карьеру.

Человеком он был очень мудрым в плане эскапизма, прирожденным аутсайдером. И он не хотел иметь ничего общего с историей семьи.

В 16–17 лет отец убежал в Москву и поступил в Суриковский институт — он тогда назывался Высшая школа.

Когда он учился в Суриковском, он на какой-то молодежной вечеринке встретился с моей матерью.

Отец обладал необычайно красивой внешностью. Точеное лицо, вьющиеся темные волосы, голубые глаза.

У всех моих родственников в нашей семье по отцовской линии глаза голубые или серые. Я никогда не видел таких странных голубых глаз, как у моей бабушки с отцовской стороны — его матери Гюли (сестру называли в ее честь). Она уже сильно болела, когда я ее узнал

поближе. Говорила только шепотом. И держалась очень тихо, старалась быть в тени. У нее сохранился удивительно пронзительный взгляд. У моего отца, у тетки, его сестры, светлые глаза. А у дочери тети черные глаза, потому что тетка вышла замуж за Фуада Абдурахманова, brutального смуглого человека невероятных размеров, невероятного роста, — он внешне соответствовал своим идеям как скульптор-фундаменталист.

И вот встретился мой отец с моей матерью.

Моя мать тоже была скуластой, но лицо ее более деликатное, более женственное, чем у Шукюфы. Но было что-то неувлимо общее в серых глазах, высоких скулах. Внутренняя жесткость, наверное. Моя мать была жесткой женщиной, хотя жесткость и скрывалась под светскостью, беззаботным смехом, стильностью и манерами.

И вот она встречается моего отца — голубоглазого бравого элгантного денди с черными вьющимися волосами. Сама тоже темноволосая, с намеком на небольшую красноватость, темная шатенка с серыми и очень холодными глазами.

Они понравились друг другу и решили пожениться.

Деды были против — и тот, и другой. Один дед — верховный судья в Баку, а другой — зампредседателя комитета по делам искусств, директор Малого театра и преподаватель философии в ГИТИСе¹². Они разные, как кошка с собакой.

Один из Мусавата перекрасился за счет личной дружбы с Багировым. Дед же с маминой стороны — прямой участник гражданской войны, ушел на фронт в семнадцать лет воевать с Деникиным, застал формирование первых полков Красной армии, там познакомился с будущими большими людьми.

Мне бабушка рассказывала историю в качестве семейного предания.

В 1918 или в начале 1919, после Ледового похода, когда вместо Корнилова оказался Деникин, дед был ранен. И красные, отступая, оставили его в какой-то станице.

Пришли деникинцы, которые его как бы не заметили. А дед отлежался, отошел от ран и стал начальником водокачки. А было ему 18 лет или около того.

Восемнадцать лет, только что ранен, воевал за красных, остался на занятой белыми территории. И он всю дорогу при деникинцах работал начальником водокачки. Когда деникинцы ушли, пришли красные, и дед как ни в чем ни бывало вернулся в свой полк, в котором он служил до ранения, — без всяких вопросов по поводу того, что он шесть месяцев сидел в тылу у деникинцев. Людей-то и за меньшее берут.

Эта история, как всегда видоизмененная и переделанная, должна содержать зерно. Зерно заключалось в том, что он не был никаким начальником водокачки, а якобы выполнял разведзадания в тылу у деникинцев, но под каким-то таким соусом. Может быть, с измененной личностью.

Кстати говоря, в Баку брат моей бабушки по матери, четырнадцати лет от роду убежавший из дому в гражданскую войну, прямо занимался разведкой и шарился по тылам деникинцев. При этом он был очень талантливый художник с детства и постоянно делал наброски местности, пушек, телег.

Вернулся он сумасшедшим неуправляемым парнем. И воспитал соответственно своего сына, гиганта выше двух метров. Сын заикался, потому что отец его сильно бил. Такая печальная история.

У моей бабушки Марии Андреевны Шаповаловой, матери моей мамы, была сестра и младший брат. Сестра Анна, брат Владимир. По семейному преданию, всё обстояло так.

Они родились в семье Андрея Львовича, который по какой-то линии был потомком Дмитрия Дмитриевича Шепелева — генерал-лейтенанта наполеоновских войн, портрет его висит в Питере¹³. Андрей пошел в гусары, а брат его тем временем прибрал к рукам всё, что оставалось от отцовского наследства. Вышел Андрей из гусар в небольшом звании, даже ротмистром он, кажется, не был. Вышел в отставку, смотрит — а ничего нет.

Тогда он уехал в Ростов и женился там на девушке, которую взял из монастыря. Она была кабардинка, русские убили всю ее семью, а ее сдали в монастырь. А сам он был управляющим на заводах Терещенко. Терещенко — мультимиллионер в конце XIX века. Ему, как синьору Карабасу, принадлежало всё. Едешь, к примеру, и спрашиваешь у местных: «Чьи это поля?» Они отвечают, что Терещенко. «А чьи эти виноградники?» — Терещенко. А мой прадед был у него управляющим.

Жили в Ростове, бабушка училась в гимназии. В этой гимназии было много богатых, элитных, имеющих все гражданские права евреев. У нее от гимназии сохранилось много еврейских знакомых, хотя у евреев в те годы были проблемы с учебой в гимназиях. Бабушка поддерживала с ними отношения. Она была очень «политичной».

У Марии Андреевны была тяжелая и крутая жизнь. Она закончила гимназию с началом новой эры, а свой институт в 1918 году — скорее, это были учительские курсы. После чего она преподавала арифметику и русский язык в казачьих станицах в 1919–1921 годах. Я видел справку с печатью, что совет казачьей станицы должен Марии Андреевне два мешка муки за учебный год.

Бабушка видела всех.

Моя любимая книжка в детстве — «Хождение по мукам», и вот что я там читал, всё было для нее реальной жизнью — командарм Сорокин, кирпично-красный от кокаина и спирта, бледная Маруся-смерть. Всех, кто прошли через эти станицы, она видела.

Бабушка говорила по-французски, великолепно говорила на старом русском языке, но когда хотела, могла сказать и на остром ядреном казачьем языке.

От нее я узнал много казачьих поговорок, не всякую можно озвучить в приличном обществе. Отличаются они циничным, разочарованно-холодным взглядом на жизнь. Самое приличное из того, что я запомнил: «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Это хорошо описывает «тренд» того мировоззрения.

У Марии Андреевны не было никаких иллюзий. Она не делала секрета из того, что деда не любила. Мне, маленькому, рассказывала,

что у нее была большая любовь. И говорила: «Какое счастье, что я не дала волю чувствам и не вышла за него. Через несколько лет его расстреляли как врага народа. И куда бы я пошла, вдова врага народа, с детьми врага народа? Как хорошо, что я не поддавалась чувствам».

Конечно, она не могла знать, что его расстреляют, но, видимо, инстинкт у нее сработал. А может, она его и любила потому, что его расстреляют в перспективе как врага народа.

Дед же мой, Леонид Емельянович Шаповалов, — один из самых загадочных людей.

Вот честное слово, я до сих пор думаю над загадкой этого человека, которого не видел после своих семи лет: он умер, когда я заканчивал первый класс.

Я смутно его помню. Но чем дальше, тем более загадочным становится его фигура. После смерти деда бабушке выдали его партийный архив — 10 кг бумаг, его касающихся.

Там несколько его биографий, и они все разные. Несколько его справок лично о себе, и они тоже все разные. Ну не так чтобы капитально.

Я знаю, чьим дед был сыном, чьим он был пасынком, кто был его отчим. В архиве же фальсифицировано всё. В одном случае он из рабочей семьи, в другом — из рыбацкой, в третьем — еще из какой-то. В одном случае он знает немецкий язык, в другом — не знает немецкий, но знает татарский. Всё разное. Единственная неизменная часть — это повторяющаяся с 1925 года запись «партийную чистку прошел».

В 1925 году дед уже стал, будучи 1902 года рождения, кем-то вроде комиссара по делам Северного Кавказа. Потом он поступил в Институт красной профессуры, или университет Свердлова. Там большую часть курса он проучился, но ему не дали его закончить и отправили на какие-то спецпоручения. Дальше он всё время их выполнял.

Это были очень странные спецпоручения. Например, в годы войны деду поручили выяснить, почему в Кузбассе упала выработка угля. Как гласит семейная легенда, он поехал и выяснил: не было

лампочек на касках у шахтеров. Завезли лампочки — и сразу поднялась выработка.

В октябре 1941 года дед вывозил архив ЦК из осажденной немцами Москвы. В конце войны он входил в комиссию по контролю за вывозом трофеев из Германии. Шаповалов был одним из тех, кто устроил скандал, который стоил карьеры Жукову.

Жуков эшелонами вывозил трофеи вместе с генералом Крюковым, мужем певицы Руслановой. После этого Сталин сделал Жукову «а-та-та». Дед непосредственно взаимодействовал со Сталиным. Он доложил, что Жуков позорит и дискредитирует советскую армию. Другие себе вагон везут, а этот эшелоны.

В совке¹⁴ же были нарушены индивидуальные права и свободы. Всё подчинялось коллективизму. Генералу положено вывезти не больше, чем вагон, офицеру — пять чемоданов, солдату — один чемодан.

После войны он стал заместителем председателя комитета по делам искусств, дружил с Кравченко, дружил с В. Н. Суриным, позднее директором Мосфильма. В известной книге «Укрощение искусств», изданной в 1952 в Нью-Йорке, некий музыкант¹⁵ упоминает Сурина как гонителя и давителя всего. Вот этот Сурин, давитель и гонитель, был близким другом моего деда. Они каждую субботу отправлялись на охоту. Дед держал егеря и собак.

У нас хранилась громаднейшая коллекция ружей 15–20 самых известных марок.

У меня в шесть лет имелось собственное ружье — Зауэр «Три кольца» 16 калибра. Мне было доверено разбирать его и чистить, когда каждую неделю перед поездкой проводился смотр оружия.

Они уезжали и возвращались к понедельнику с невероятным грузом битых уток. Один раз привезли зайца. Утром в маленькой своей детской я открываю глаза — надо мной стоит дед в комбинезоне и огромных сапогах с ботфортами, покрытый инеем и дышащий морозом. И он мне, маленькому, ставит на грудь замерзшего зайца

величиной с меня самого. Я до сих пор помню интересный шок, который я тогда испытал.

Он постоянно ходил на охоту с этим Суриным. У Сурина было два сына. Один стал археологом, а другой, Александр, известным режиссером. Он выпустил 1986 году очень неплохой, знаменитый в свое время фильм «Мы веселы, счастливы, талантливы». Я смотрел этот фильм еще с Дугиным и Гюльнар. Потрясающее издевательство над безумной совковой жизнью того времени — над интеллигенцией, поисками снежного человека, над женами, увлекающимися йогой и аэробикой.

Что было не так с дедом? Его происхождение.

Насколько мне удалось выяснить, его отец и мать — карачаевские или иные тюркоязычные уздени, спасаясь от кровной мести, в начале века переехали в Астрахань. И когда мой дед с сестрой были совсем маленькими, их отца нашли и убили. Мать, чтобы спасти детей, вышла замуж за русского, который их усыновил. Она резко поменяла формат.

Этот покровитель, купец-рыботорговец, держал в Астрахани рыболовецкий флот. Достаточно богатый человек, рыжебородый, звали его Емельян.

Он, естественно, переименовал усыновленных деда и его сестру: дед стал Леонид Емельянович, а сестра — Агриппина Емельяновна Шаповаловы. Он умер, когда мои родители поженились. Мрачный рыжебородый персонаж.

Мне достаточно много рассказывала о нем бабушка, хотя доверять ей тоже нельзя. В основном она упоминала о нем, как о нелюдомом и грубом человеке.

У Емельяна от первого брака осталась дочка Клавдия. Мой дед о ней заботился. Он даже дал ей дачный участок за нашим домом. Это была девушка со светло-русыми волосами, бледно-водянистыми голубыми глазами, длинная дылда, полная идиотка. В какой-то момент ей купили швейную машинку, чтобы она могла как-то зарабатывать на жизнь. У нее тоже была приемная дочь.

Со своей сводной сестрой дед не имел ничего общего. А вот его родная сестра, моя внучатая тетка, была потрясающей красавицей.

У нее до самой смерти была точеная фигура, белые ноги, белые руки. Стройная, с огромными черными глазами, она напоминала персонаж из «Бахчисарайского фонтана». Ослепительная. Но она тоже была немного заторможенная, жила как будто во сне, в серале.

Ей пришлось тяжело. В 30-е годы у нее был любимый муж Феликс. Он был энкавэдэшник. Как-то они возвращались из ресторана большой компанией, и он, приотстав, шутя и играя, достал из кармана пистолет, и со словами «а спорим, что не заряжен», выстрелил себе в голову на глазах у всех.

Это случилось, насколько я понимаю, когда Ягоду¹⁶ разбирали на части. Красиво поступил, объявил перед свидетелями, что это не самоубийство, а что он просто валяет дурака: ну идиот, ну патрон оказался в патроннике, ну не повезло. Понятно, что если бы он застрелился, то это враг народа. И соответствующее заключение приняли бы и по жене. А тут — ну дурак, с кем не бывает.

Этот случай подействовал на тетю так, что она уже никогда не смогла оправиться. Вышла потом замуж за инвалида войны, намного ниже себя по уровню. А сын от брака с Феликсом погиб на фронте.

Дед никогда не проявлял особо, что с его происхождением что-то не так. Он пел астраханские татарские песни, говорил на тюркском языке — я это знаю независимо от документов, потому что он общался с другим дедом.

Дед и бабушка меня обожали.

Дед легко меня брал и сажал себе на шею. А если был не в духе, то пальцем меня отводил в сторону. Я к нему подбегаю, кричу «дедушка», а он меня пальцем отводит, говоря при этом «я зол», — и идет в свой кабинет. Когда я Джаиду это рассказал, он отметил, что это типично тюркский ход, даже сам оборот «я зол».

Внешность деда не оставляет никаких сомнений: это был очень темный человек с низко растущей шевелюрой. Черные сросшиеся брови, твердый подбородок калошей. Станным образом он напоминал известный бюст Бетховена. У нас на рояле стоял этот бюст, и домработница была уверена, что это портрет моего деда. Я и сам так

по малолетству думал. Но потом я прочел имя латинскими буквами: Beethoven. Я говорю домработнице: «Смотри, Маша, это Бетховен», а она отвечает: «Да ну вас, вечно вы придумываете! Это ваш дедушка!»

Отец мой считал, что дед больше напоминает злую версию Минтимера Шаймиева. Но я не согласен, потому что Шаймиев похож скорее на орангутанга, а у деда другой тип лица. Мой отец деда не любил и заклеил его Шаймиевым.

Дед — мрачный, жесткий, темный человек, которому в 1944 Сталин поручил очистить от евреев Малый театр. А Кравченко он поручил очистить МХАТ. Сталин вызвал их с Кравченко и сказал: «Нужно делать русское искусство и русский театр, потому что то, что сейчас происходит, — чушь, не русское. Ваша задача — сделать МХАТ и Малый театр русскими». И дед очищал беспощадно.

Одну актрису — немку, любовницу Берии, — нельзя было выгнать. Он ее вызвал и сказал: «Вы можете работать. Фамилию поменяйте». И она стала Иванова или Петрова.

Очень конкретный человек — от Кузбасса и вывоза архива ЦК до очистки Малого театра.

В Израиле специалисты, занимающиеся историей Малого театра, его хорошо знают.

Однажды у меня приключился забавный эпизод. Мы покупали квартиру и продавали дачу. Ходили по разным предложениям и вот зашли в район Нового Арбата, Кутузовского — перед мостом, где старые сталинские дома, может даже и досталинские. В двух шагах от того места, где жил Орхан, у английского посольства.

Угловое здание, через арку во двор.

Большая квартира, с трещиной в стене и, насколько я помню, камином. И хозяйка, которая приехала из Израиля продать квартиру умершей сестры. Оказалось, что она занималась театральной культурой, написала книгу о Чехове как об антисемите. Насколько я понял, она вообще специализировалась на антисемитизме в русской культуре. И заговорила о Малом театре, о том, какой Чехов антисемит. А я возьми да и скажи, что моя семья тоже имеет отношение к Малому

театру. Она на меня очень внимательно посмотрела и спросила, кто это у меня имеет отношение. Я говорю, что дедушка директором был одно время. «А как его зовут?» — и у нее глаз сразу стал колючий. И я вдруг понял, что у нее в голове вертится правильная фамилия. Она сразу прикинула мой возраст и время, когда мой дед мог быть там. А все фамилии-то наперечет: после деда был Царев. И ясно, что я не родственник Царева. Я понял, что если я хочу продолжать разговор о покупке квартиры, то надо от этого как-то уйти. Предложил ей сменить тему, стал книжки смотреть.

О деду на редкость мало упоминаний в интернете. Если набрать в поиске его данные, что он был директором Малого театра, то сразу выплывает красивая яркая фотография мраморной доски с Новодевичьего кладбища.

Можно найти список директоров Малого театра от даты его основания, где он фигурирует. Можно найти упоминание его диссертации, но самой диссертации нет, есть ссылка на архив.

Диссертация у него по истории Малого театра. Там, на минуточку, 10 томов формата А4, напечатанных на машинке. Я, правда, этот труд никогда не читал. Но у нас было очень много книг по театру. Софоклы, еврипиды, эсхилы. Много было ему подарено. Например, книгу «2000 лет армянского театра» ему подарил автор — армянин, со своим автографом. Яна «Батый» тоже с автографом деду.

Дед умер в 1955 году. Директором Малого он был с 1943 по 1950. Перед тем как он умер, планировалась его отправка послом в Венгрию, на то место, которое потом занял Андропов. И бабушка несколько лет говорила: «Какое счастье, что мы не поехали в Венгрию, мы бы оттуда живыми не выбрались». То есть, читай, какое счастье, что он умер раньше, чем мы бы поехали. Хотя, собственно говоря, почему она так считала — непонятно. Андропов же остался жив. Я думаю, что дед в этом плане тоже бы не оплошал.

Его называли Наповаловым — такую кличку зря не дадут.

Теперь представьте: с одной стороны — линия Наповалова и моей бабушки. Бабушка, дочь Андрея Львовича Шепелева, — человек, получивший заряд страшного впечатления о мире. Гимназистка вдруг

оказывается учительницей в казацкой станице во время гражданской войны. Она встречает деда, и дальше они поднимаются вверх, перебираются с Кавказа в Россию. В Ельце в 1929 году родилась моя мать.

Дом на Мансуровском. Дом в Баку. Азербайджанский язык

В 1946 моя мать встречается с моим отцом, убежавшим от номенклатурной, даже традиционно-номенклатурной семьи, чтобы быть художником и ничего не знать о политике.

Они встречаются, появляюсь я. Появляюсь в очень специфических условиях — в огромной частной квартире в центре Москвы на Остоженке, в доме, который был заселен только актерами Малого театра. С нами по соседству, за стенкой, жил Царёв. А Остужев часто бывал у нас дома. По крайней мере, он застал меня уже живущим на этом свете. Бабушка мне проела плешь, рассказывая, как Остужев, глядя на меня, сказал своим неподражаемым басом:

— Какие у этого мальчика чистые глаза.

Классовое чувство было сильным — проловские¹⁷ детишки из подвалов и близлежащих деревянных домиков, позднее снесенных, нашу семью ненавидели, ненавидели за номенклатурность.

В брусиковском доме были коммуналки, как и в доме № 6, примыкавшем ко двору сирийского посольства. У нас же в доме коммуналок не было. Всякий раз, когда я выходил во двор, я испытывал от этих детей явственную к себе неприязнь.

У нас жил огромный породистый доберман из геринговских питомников, пугавший народ своей свирепостью. Он любил военных, но лютой ненавистью ненавидел милиционеров. Тогда милиционеры тоже ходили в шинелях, только синего сукна. Наш доберман прекрасно различал шинели. При виде милиционера он сходил с ума, хотел его порвать, а при виде военных вилял обрубочком хвоста. С военными он был знаком в основном в лице дядиных приятелей. Дядя, брат моей матери, был летчик.

Два мира моих дедов слишком разные.

Дед со стороны отца из конформистского старого дворянства, которое при царе занимало посты выборных голов или участвовало в чертовом земстве. При Мусавате мой азербайджанский дед возглавлял Совет Карабаха. Кончился Мусават, пошла советская

власть, и он стал возглавлять отдел по борьбе с бандитизмом, оставаясь беспартийным.

Настоящий барин, занимал огромную бакинскую квартиру на улице лейтенанта Шмидта, с горой старинного азербайджанского оружия, фамильных сабель и кинжалов, с огромной библиотекой, — тенистое, прохладное пространство за толстыми ставнями, и комнаты, как пещеры Али-Бабы.

А с другой стороны — столичная номенклатурная жизнь жесткого человека, остававшегося на водокачке в тылу Деникина и русифицировавшего искусство в непосредственном контакте со Сталиным.

Как-то я целый год прожил, продавая автографы Сталина. Один автограф у меня сохранился, но не Сталина, а Михоэлса. Михоэлс писал моему деду с просьбой содействовать открытию театра, униженно и со множеством расшаркиваний. Дед считался одним из главных антисемитов в большом культурном пространстве, и вот Михоэлс ему писал.

Дед Шаповалов русской крови не имел ни капли, был усыновлен русским и ушел внутренне в итоге от этого усыновления. Своего приемного отца везде возил с собой. Он был обязательным к людям, имевшим к нему отношение. Всем помогал, кто оказывался его родственником. Женился на бабушке и помогал дяде Володе (ее брату), который сошел с ума и в 14 лет убежал на гражданскую войну. Устроил его во ВХУТЕМАС, где тот перестал учиться после двух курсов.

Дед всех устраивал, но в соответствующие им места. Бедных дальних родственников попроще — в суворовское или нахимовское, а моего дядю Лёню — сначала в морское училище.

Дядя был человек неуправляемый, полный безумия и темной злой энергии. Мой дядя 1931 года, на два года моложе матери. Ему было 15 лет, когда появился мой отец.

Абсолютный хулиган, находящийся в перманентном большом конфликте с семьей. Из морского училища его выгнали. И тогда его отдали в летное. С легкой руки Василия Сталина в летных кругах

очень ценились такие отморозки. Дядя был классическим отморозком. И там он нашел себе место.

Мы идем по Мансуровскому с дедом. Я маленький, мне пять лет, дед ведет меня за руку. Дед движется по Мансуровскому, как кусок Кремля. А навстречу шагает его сын. У него рука в гипсе на перевязи, перебинтована голова, на ней фуражка, шинель с лейтенантскими погонами наброшена на плечи. Дядя, похожий на Щорса, приближается. Они останавливаются, смотрят друг на друга. И дед ему говорит что-то вроде «Всё панкуешь?» Не помню точно, какое слово он использовал — тогда панков, конечно, не было, — но посыл был примерно такой. «Да, отец», — отвечает дядя. «Ну иди», — говорит дед. И так они и расходятся.

Дядя много и жестоко дрался, будучи офицером. Он был очень злой. Это черное пятно моего детства, он меня ненавидел. Зоологически ненавидел из-за моего отца.

Отца он тоже терпеть не мог¹⁸.

Но меня очень любила бабушка, его мать. Его, своего сына, не любила, а меня любила. Поэтому дядя был таким сгустком негатива по отношению ко мне. Но произошел скандал, после чего дед снял трубку, позвонил командующему Московского военного округа и сказал: «Лейтенанта Шаповалова убрать из Москвы».

И дядю убрали.

Бабушка потом всю жизнь вспоминала: «Какая дура: когда дед твой умер, я, думая, что одинокая слабая женщина, опять позвонила этому начальнику и попросила вернуть сына».

Действительно, ошибочку сделала, сильную ошибочку. Потому что дальше уже жизнь на Мансуровском с появлением дяди стала серьезно походить на чернушный фильм.

Деды были совершенно из разных пространств, психологически разных. Мой дед с отцовской стороны плохо говорил по-русски. И писал он по-русски тоже не очень хорошо. Он учился еще арабской каллиграфии, поэтому русские буквы напоминали у него электрокардиограмму.

Дело в том, что Азербайджан использовал арабские буквы. Арабского языка дед не знал. Но знал немецкий. Он учился еще при царе в школе, где преподавали немецкий язык. Он учился в светской школе, почему-то в Грузии. В его библиотеке в Баку преобладали немецкие книги. Потом азербайджанский язык перевели на латиницу, и мой отец уже учился на латинице. А для следующего поколения ввели кириллицу. Три поколения писали разными шрифтами. Поэтому я деду иногда помогал составлять и писать письма.

Я активно учил азербайджанский с его помощью и с помощью отца. Я изучал азербайджанский язык в Москве, у меня была большая библиотека. Читал азербайджанских авторов. Все книжки, которые были у отца, типа «Родной речи» и «Хрестоматии» на азербайджанском языке, я вывез в Москву еще в 12 лет. Дед меня поправлял, отстраивал мне произношение. Сестренка Гюли на меня наезжала, говорила, что у меня всё плывет, как тесто. Гюли, кстати, училась в персидской школе и знала фарси.

Деды были совершенно противоположны.

И мой отец и мать тоже оказались совершенно противоположными. Говорить им было не о чем. Отца полностью поглощала живопись. Моя бабушка испытывала к нему сильный негатив. У Марии Андреевны постоянно были какие-то претензии. Когда он уже с матерью развелся, бабушка всё равно продолжала меня грузить, что вот-де твой отец такой-сякой.

Она говорила, что он не умеет рисовать руки, что он не усидчив. Что его сверстники, соученики, сделали уже невероятную карьеру. Оказывается, он учился с автором картины «Опять двойка»¹⁹. И бабушка повторяла, что вот, «человек нарисовал “Опять двойка” и вошел в историю, обессмертил свое имя, а ведь был никто рядом с твоим отцом. Где же шедевр твоего отца, где его “Опять двойка”?! Даже руки не может нарисовать».

Надо сказать, такого усидчивого и работоспособного художника, как мой отец, найти непросто. Он оставил после своей смерти более 1200 картин, не говоря уже об огромном количестве рисунков, набросков, графики.

Моя бабушка, урожденная Шепелева, не любила восточных людей. Имперская русская националистка старого закала, хоть и кабардинка по матери, — это хуже всего. Ее мать воспитывалась с двух лет в женском монастыре и была условной кабардинкой, просто тихая женщина, прожившая очень много лет. Она умерла уже в 80-е годы.

Моя прабабушка пережила своих дочерей. Один раз я видел свою двоюродную тетку Анну. Роскошная светская львица в формате Пятигорска с потрясающей шевелюрой, мощным бюстом.

Бабушка же была гораздо более рафинированная. Юон²⁰ написал ее портрет, он где-то у нас хранится. Там видно всё.

Юность родителей. Валентиновка и дача. Шуша. Первое воспоминание

Во имя Господа Милостивого и Милосердного.

Судя по рассказам моей матери, молодежь ее круга жила весело.

Постоянные встречи, рауты в домах с такими именами, которые сегодня многих людей заставили бы вздрогнуть и побледнеть. Чаще всего они собирались и веселились в доме Людвигова, секретаря Берии.

Мама рассказывала, что иногда поздно ночью, среди смеха и веселья, когда они кружились в бальных танцах в большой зале, в особняке (по-моему, это особняк по Остоженке, 49 — там жил либо Людвигов, либо Кабулов) внезапно появлялся хозяин дома. Всегда необычайно бледный, белый как мел. И говорил он с вежливой улыбкой, медленно пробираясь среди танцующих молодых людей: «Веселитесь, веселитесь. Не обращайтесь на меня внимания», — и следовал к себе в кабинет. Но на него и так никто особенно не обращал внимания, хотя то, что он всегда был белый как мел, появляясь посреди ночи, мама запомнила.

Много времени спустя она стала сопоставлять разные моменты и предполагать, с какой такой работы он мог появляться во втором часу ночи и в таком вот странном бледном состоянии.

На таких тусовках она и встретилась с моим отцом.

Дача моего детства, еще внутри не отделанная, с большой спальней на втором этаже, была обклеена фанерой, напоминающей материал для изготовления ящиков. На стенах мой отец углем сделал большие рисунки, наброски — сидящие восточные женщины в шароварах на коврах. Меня всё это интересовало.

Мне было четыре-пять лет, уже тогда бабушка отпускала неодобрительные замечания по поводу этих рисунков, что руки, мол, плохо прорисованы. Она была человеком целенаправленным, и если у нее появлялась идея, что человек со знаком минус, то она уже просто патологически не могла себя заставить сказать о нем хорошее. Если

Мария Андреевна говорила что-нибудь доброе, то при этом должна была сопроводить тремя-четырьмя негативными комментариями. Да, он талантлив, но при этом лентяй, не способный работать, сосредоточиться, для него нужно создавать условия и прочее, и прочее, и прочее.

Одну работу отца я помню хорошо. Она всегда была перед моими глазами в моей спальне на даче, а дачная спальня сыграла большую роль в моем детстве, я провел там очень много времени и запомнил ее лучше, чем какую-либо иную спальню.

Тепло печи-голландки, которую перенесли с первого этажа, полутемная комната, снаружи опоясанная верандой, съедавшей много света. Дача стояла посреди леса, и ее окружали ели и сосны. И картина, пастозный этюд. Не сразу можно было понять, что изображено. А это были развалины нашего родового имения в Шуше — наш родовой дом, разбитый во время войны 1918–1920 года. Мама бывала в Шуше. Она ездила туда, когда я был маленький. И я там тоже был, хотя этого совершенно не помню.

Опытным путем было установлено, что самое раннее мое воспоминание относится к моему девятимесячному возрасту, когда меня принесли в зоопарк. Помню, что я оказался в огромном помещении, и там были полки, а по полкам ходили звери. Полки были забраны решетками.

В какой-то момент звери начали одновременно рычать с такой невероятной силой, что я чуть не сошел с ума от ужаса. Я был на руках у няньки — кажется, ее звали Маруся. Она говорила, что я затрясся как осиновый лист. Львы, леопарды и тигры одновременно принялись рычать, потому что наступил час их кормления.

Мне никто не верил, когда я позднее рассказывал об этом моем воспоминании. Его все знали, помнили, но когда я рассказывал, мне говорили: «Ты не можешь этого помнить, ты был слишком мал».

Хотя почему такое странное решение, что человек в девять месяцев не может помнить, что с ним было?

Но младенческого Карабаха я не запомнил совсем, хотя мама меня туда привезла в год.

Мама там предавалась своему любимому занятию — верховой езде.

Там были карабахи, привезенные то ли братом деда, то ли приемным сыном деда (все — военные, участвовали в оккупации Северного Ирана во время войны: когда в 1941 году туда вошли советские войска, Азербайджан был активно задействован, поскольку оккупировался иранский Азербайджан). Оттуда кто-то из них вывез шахских карабахов, попросту империалистически ограбив. Лошадей держали в нашей семейной конюшне. Мама брала лошадь и утром уезжала в карабахские холмы.

Отец рассказывал, что местный народ пожимал плечами. В 1948 году было немного непривычно видеть молодую девушку в галифе и сапогах, которая седлает лошадь, выводит ее и галопом мчится в холмы.

Мама, своевольная, привыкшая к независимости, бросила среднюю школу и ушла из девятого класса на ипподром и дальше училась в вечерней школе. Ей надоело учиться, а лошади были ее страстью. Она могла сделать любую карьеру — театр, университет, МИД, всё что угодно.

Но она к людям относилась хуже, чем к животным. Лошади составляли объект ее абсолютной страсти. Она кое-как получила аттестат, для нее остававшийся чем-то внешним и ненужным.

Полиомиелит. Евпатория. Мент с наганом

Я должен рассказать об одном факте моей биографии, который является теньвым «микроаспектом», но важен на бессознательном плане.

Когда мне был примерно год, я заболел полиомиелитом.

Внезапно на даче у меня поднялась температура, начался жар, и меня срочно доставили в Морозовскую детскую больницу. Никто в тот момент, конечно, не думал, что это полиомиелит. Актриса Гоголева приехала в гости, и когда она меня увидела, сказала, что нужно срочно везти в больницу и не рассчитывать, что это простуда.

Болезнь захватили в первый день.

У деда имелся доступ к американскому пенициллину, его тогда можно было получить только через союзников. Это меня спасло.

Полиомиелит делает из человека паука с искривленными ручками и ножками: у меня в классе была такая Наташа Токарчук, ставшая жертвой полиомиелита. Она напоминала мне, что могло бы стать со мной. Она ходила на странных пружинящих приспособлениях, подвязанных к ее ногам, перемещалась как робот. Довольно жуткое зрелище. Но я этого избег.

Я прошел через Морозовскую больницу с курсом пенициллина, меня отвезли в Евпаторию, и там года два или три подряд бабушка подолгу со мной жила, водя меня в специальный центр реабилитации для полиомиелитников, где проходил постоянный массаж. Массаж и купание.

Там наша семья снимала домик. Тогда была совершенно другая Евпатория — с покинутыми татарами домиками и беседками, увитыми плющом. Выглядело как в фантастическом романе.

Я гулял, купался, крабов ловил.

Была там девочка Пакита (краткая версия имени Франциска), моя первая любовь. Испанка, моя сверстница пяти лет. Ее родители тоже снимали домик — политэмигранты после гражданской войны.

Мы играли в гражданскую войну с ней и с другими детьми. Я разбил коленку, и бабушка пошла качать права к родителям Пакиты, что вот-де, из-за вашей дочки мой внук разбил коленку. Они же в свою очередь просто впали в недоумение: ведь дети на то и дети, чтобы коленки разбивать.

Еще был жив Сталин. 1952 год. Зашел я в какие-то гости поблизости, где жил мент. Он сидел в беседке в огромных семейных трусах, полуголый, и чистил наган. Смотрел на меня и подмигивал. Я за ним с большим интересом наблюдал, сочетание синих сатиновых трусов с наганом на меня произвело убойное впечатление.

Есть фотография, где я сижу в панамке на суку, меня поддерживают, я смотрю в объектив, и написано: «Евпатория 1952 год».

Когда я пытался отделаться от присяги и от армии по-хорошему, я ссылаясь на то, что в детстве у меня был полиомиелит и что я не могу ни ходить, ни стоять, ни маршировать.

Всё провиденциально: сейчас я не могу ни ходить, ни стоять, ни тем более маршировать. А тогда я просто нагло врал. Меня отправили в госпиталь, проверили. Проверяли меня электротоком, мучили, пробивали через нервные центры. Дали заключение, что здоров как бык. Один из уникальных случаев полиомиелита без всяких последствий.

Верховая езда. Я — азербайджанец, сказочный принц. Теймураз Амилахвари

Лет до 14 я занимался верховой ездой, как и мой отец. Я занимался в обществе «Труд», бывший «Пищевик». У моего отца и у меня с разрывом в 13–14 лет был общий тренер — Александр Таманов, в мое время уже старик. Он и у моей матери был тренером. Сухой красивый армянин старого закала. Он носил бриджи и великолепные сапоги с подкладкой. Офицерские сапоги белогвардейского фасона, вокруг которых он застегивал насапожники, специальные чехлы, чтобы хром сапог не страдал от конского пота.

У меня были обычные яловые сапоги, купленные в военторге. Первую подготовку я получил у матери и Теймураза, моего отчима. Они меня обучили начальным навыкам, как держаться в седле. Овладел рядом хитростей, тоже подсказанных матерью. Например, когда седлаешь коня и затягиваешь подпругу, лошадь надувает брюхо, потому что ей не интересно, когда перехватываешь очень туго. И вот ты затягиваешь насколько есть силы, она брюхо надувает. Ты должен дать ей снизу коленом в брюхо с размаху. Она выдыхает, и в этот момент можно еще немного затянуть. И тогда уже действительно ты затянул прочно. А если так не сделать, то потом лошадь выдыхает, и оказывается, что еще две дырки свободные, седло болтается, и можно улететь в кусты.

Много мелких хитростей знал. Как лихо садиться в седло, как плавно спрыгивать, эффектно перебрасывая ногу через луку по-кавказски. Я любил верховую езду и гордился, что этим занимаюсь. Иногда приходил в школу чуть ли не со стеком, в бриджах из синей кожи и сапогах, чтобы после уроков сразу ехать на ипподром.

Когда я бывал с мамой в Тбилиси, мы с ней седлали коней — ее Снежок, белый арапчонок, и моя огромная буденовской породы кобыла со спиной шириной с рундук²¹. Бывают такие рундуки в темных прихожих. Мне она нравилась. Мы седлали наших лошадей и отправлялись с ипподрома вдоль речки Вере, мимо еврейского кладбища, вверх по горной дороге. И пускали в галоп.

Это, пожалуй, наиболее счастливые дни, которые я провел с моей матерью уже в сознательном возрасте. Я не считаю моменты самого раннего детства, когда она приезжала меня проводить.

Надо сказать, что я же с ней не жил. Очень скоро после того как она развелась с моим отцом, она вышла замуж за морского офицера-подводника и уехала в Питер, где жила очень неприятной для себя жизнью, потому что там нет ипподрома. Видимо, по этой причине мать потом и развелась. На некоторое время этот брак продлился, потому что они года два жили в Таллине, где ипподром был. Это чуть-чуть притормозило распад семьи. Но они вернулись опять в Питер, и тут уже она не выдержала.

Не понимаю, почему не было ипподрома в таком замечательном городе, как Питер, где когда-то жизнь протекала между парадами, манежем и выездами. В городе, где Зимний дворец, где обитала аристократия, где всё завязано на лошадь, традиционную имперскую вещь, не было ипподрома. Оказывается, такой факт мог повлиять на семью, ее судьбу.

Мама из Питера навещалась в Москву раза два в год. На Новый год и еще какой-нибудь праздник, когда у нее выдавалась возможность. Она приезжала, и для меня это означало появление феи. Она всегда была сказочно молода, красива, в сиянии и духах. Всегда от нее исходил свет. Привозила потрясающие подарки.

Я не задавался вопросом, почему мама со мной не живет. Меня вполне устраивало, что я знал, что она есть, что она очень красива, и что она появляется как фея два раза в год. Не понимаю, когда люди жалуются, что вот-де они жили в неполной семье. Я жил без отца и без матери, и без отчима. Около меня было два человека: бабушка, которая меня строила, и дядя, который меня ненавидел.

Мое детство проходило под диким прессингом двух существ, одно меня своеобразно любило — так, что я этого никак не мог понять и заметить, а другое меня откровенно преследовало. И я считал это всё само собой разумеющимся: я живу хорошо — главное, быть начеку, стараться поменьше попадаться на глаза дяде, да и вообще поменьше попадаться на глаза.

Что у меня нет отца, матери — мне даже в голову не приходило, что какие-то проблемы есть. Я очень обрадовался, когда обнаружилось, что у меня есть отец и родственники по отцовской линии.

Вообще, когда я узнал, что я азербайджанец, моему счастью не было предела. Пока мне внушали, что я русский, я чувствовал, что я живу в Мордоре, где солнце не светит, вокруг серо-кисельная слякоть, перманентная зима, ходят уроды, к которым я какое-то имею отношение, но очень этого не хочу. Когда мне сказали, что я азербайджанец, я понял, что я сказочный принц, случайно оказавшийся в чужой стране.

Конечно, я бывал в Питере у матери. Она жила в Поварском переулке на Невском. Бывал я и в Таллине. Но ни Питер, ни Таллин не запомнились мне никак. Я много посвятил Таллину уже в зрелые годы — тогда он мне уже очень нравился. Но в 12 лет совершенно ничего не осталось.

После того как мама развелась с подводником, она встретила любовь своей жизни — Теймураза Николаевича Амилахвари. Этот потрясающий человек оказал громадное влияние на меня, что странно: я с юных лет избирателен в том, чтобы допустить какое-то влияние. Но тут обнаружилось родство душ.

Он был настоящий князь. Он внушал почтение даже Юрасовскому, моему школьному другу, воспринимавшему только титулованное дворянство. Юрасовский строился сразу, как только его видел.

Теймураз Николаевич родился в 1919 году в семье светлейшего князя, которого расстреляли красные в Грузии. И дальше жизнь Теймураза оказалась мрачной. Ему не позволили поступить в институт как «бывшему». Он был поражен в правах. Некоторое время учился, кажется, в художественной школе.

Большую войну он закончил в Праге после разгрома группировки Шрёдера, командовал на выходе кавалерийским разведывательным полком корпуса.

Теймураз лично был знаком с Василием Сталиным. Поскольку он был кавалерист, а Василий Сталин был фанат конного дела, занимался подбором лошадей и даже имел конный завод, Теймураз принимал во всем этом участие. Когда Хрущев развернул кампанию против Василия Сталина — вроде как его заподозрили в каких-то махинациях с лошадьми — Теймураз принял на себя все проблемы по этой части и получил срок. Его лишили орденов. Он сел, вышел году в 60-м.

Моя мать знала его еще юной, до его посадки, когда он был близким к Василию Сталину бравым офицером. Теймураз, кстати, был огромного роста, 190 см или чуть выше, с армейской выправкой, с длинным костистым барским лицом.

Мать и до посадки была в него влюблена.

Они встретились снова, когда Теймураз уже вернулся из лагеря. Мать, расставшись с подводником, вернулась на ипподром. Они наконец-то соединились. Это была любовь ее жизни, она нашла окончательно себя в другом человеке. Они поженились и уехали в Тбилиси. Туда я к матери приезжал, и мы там скакали по горным дорогам.

Теймураз некоторое время был поражен в правах при Хрущеве. Ему всё восстановили, когда Хрущева сняли, вернули ордена. Орденов у него было много. В 1967 году они вернулись в Москву, стали жить на Мансуровском. А я в это время уже перебрался к своей жене Лене, матери моего сына Орхана.

Я постоянно приходил на Мансуровский, общался с Теймуразом.

Много позже совершенно случайно я узнал, что Теймураз ко мне очень хорошо относился. Это не было особенно видно. Он всегда выдерживал дистанцированное отношение. Корректное, но холодно-ироничное. После его смерти мать мне как-то сказала, что он был высокого мнения обо мне и верил, что у меня большое будущее. Это меня сильно удивило: ведь он умер еще при советской власти, и в то, что она кончится, он не верил. Какое, собственно говоря, у меня могло быть будущее при советской власти?

Яркий человек...

Когда Тенгиз Абуладзе делал свой фильм «Покаяние», он там изобразил, что все Амилахвари расстреляны и уничтожены, и упустил из виду Теймураза. Потом он звонил ему и извинялся.

Оставались еще Амилахвари в эмиграции — во Франции. Один из них воевал в Иностранном легионе, был в хороших отношениях с де Голлем. Так что ситуация с Амилахвари сложнее, чем показано у Абуладзе.

У самого Теймураза был сын Малхаз, который умер уже после смерти отца. Он возглавлял комитет по делам спорта в Грузии в 80-е годы. Женат был на осетинке, и у него остались две дочери²².

Теймураз мне очень много дал.

Человек оказался в страшном совке. Вокруг всё отыгрывалось от максимума, от оптимума, от высокого накала. Всё отыгрывалось вниз, в грязь, в негатив. Он был маргинализован, пошел в кавалерийское училище, прошел войну, лагеря. Коннозаводческая жизнь, общение с конюхами, жокеями, наездниками. Этот человек по своему стилю, субстрату, презентации, рафинированности соответствовал самой продвинутой части европейской аристократии.

Папа его немного отличался. Я видел его фотографии в лейб-гвардейском мундире. Длинная шея, воротник в шитье. Но такая высокомерная, холодная и надменная физиономия, что достаточно раз глянуть, чтобы захотелось устроить революцию. Видно, что для этого человека люди — комары. Без всякого понта, без всякого насилия, а просто естественно — комары и ничего больше²³. Теймураз внешне «демократизировался», но от этого он только выигрывал. Внутри, я думаю, он был такой же, как его отец. Он был очень крутой.

Я бы не сказал, что Теймураз был глубоким человеком — аристократу не надо быть глубоким. Аристократ другим берет — ты понимаешь, что это выше, чем человеческое. Другая порода. Аристократ просто существует — и в этом его великая миссия. Не хочу сказать, что я сторонник аристократизма — тема во многом мне враждебна. Но мне на пути встретился ряд фигур, включая Теймураза Амилахвари, которые открыли мне глаза на то, как было устроено общество сто и более лет назад.

Валентиновка детская. Бабушка с ружьем. История дачи в ее сатрапском оформлении. Сон об утерянном рае

Во имя Господа Милостивого и Милосердного.

С трех-четырёх лет я оставался зимой с бабушкой на даче. Мы там бывали вдвоем.

Чтобы понять, что это такое...

Валентиновка располагается сбоку от Ярославского шоссе, за Королёвом, — в то время это было пустынное место. Зимой там не было ни души. Кругом снега.

Дача выходила не на улицу, а в лес. И там бродили лихие люди. Когда пришла бериевская амнистия 1953 года, из лагерей вышла куча народу, и я видел этих людей у нас на Мансуровском.

Но бабушка ничего не боялась. У нее была двустволка, и она каждый вечер выходила на балкон в темнеющий зимний воздух и стреляла в небо, с тем чтобы дать понять, что она вооружена и очень опасна.

От нее специфическое излучение шло очень далеко. Не помню ни одного инцидента, когда кому-нибудь захотелось с ней связаться.

Снега, заснеженные ели, чистый морозный воздух, скромный электрический свет, приглушенный желтыми обоями спальни. Время мы проводили читая, я на своей кровати, она на своей, каждый под своей лампой.

Как правило, сидели наверху — голландская печь, одна на два этажа, протапливала верх.

Посмотреть на дачу, сфотографировать ее приезжали люди из далеких мест, потому что архитектура была необычной для Подмосковья — и в те времена, и потом.

Архитектура новых русских, их тупые коттеджи банальны, а это был уникальный образец, напоминающий пароход Марка Твена на Миссисипи с колоннами и кружевами. Ее спроектировала бабушка, а у бабушки были идеи кавказской архитектуры. Основу дачи

составляла круговая веранда вокруг всего второго этажа, размеренная белыми колоннами. Колонны соединялись белым деревянным кружевом.

К двенадцати годам моя жизнь делилась на две половины: зимой школа, летом — Валентиновка.

Сложился определенный дачный круг, там я встретил свою будущую жену Лену. История моей первой жены Лены тесно связана с дачей, но с дачей связано и ощущение свободы и тайны.

Огромный двор с садом — при бабушке он был ухожен, там росли плодовые деревья, крыжовник, малина, грядки с анютиными глазками. Но выходишь за ворота — и начинается бурелом, дикий парк и ощущение четвертого измерения. Как будто ты попал в пространство Стивена Кинга.

Этот вкус с того момента всегда оставался со мной — постоянная близость четвертого измерения, выход куда-то, где наступает тишина и только пролетают птицы. Мгновенное ощущение, что ты не в обычной реальности.

Происхождение этой дачи проливает некоторый свет на историю моего деда.

Став в 1943 году директором Малого театра, дед вступил в дачный кооператив. Он обнаружил, что председатель в этом дачном кооперативе не имеет никакого отношения к Малому театру. Некий ловкий менеджер, проходимец, ниоткуда пришел, всё организовал, начал рулить, стал председателем, и все спокойно кивали, и вопрос «кто такой?» никто не ставил.

Дед посмотрел на ситуацию как директор Малого театра и, недолго думая, взял да и посадил председателя. А у того уже был огромный участок от одной улицы до другой. Одна улица выходила на поселок МХАТа (он назывался «Чайка»), а другая выходила в лес. Председатель с 1938 года заложил фундамент и сруб будущей дачи.

Дед забрал всё себе и сам стал председателем.

Году в 1946 из Жмеринки или Конотопа приезжает сестра посаженного председателя и начинает качать права: «Где мой брат? Где

его дача?» Она тоже исчезает в темных недрах ГУЛАГа...

Это я всё читал в документах, хранившихся у нас на чердаке.

Меня это поразило в свое время, потому что я всегда считал, что дача — моя феодальная первозданная собственность.

Я не мог себе представить, что у нее была какая-то предыстория, относившаяся не к моей семье.

Надо сказать, когда я познакомился с ее реальной историей, что в основе был некто, кого взяли за шкирку и посадили, и что это был отъем собственности, меня царапнуло. Не в том смысле, что жаль, а в том, что миф первозданной родовой собственности испорчен.

Но с другой стороны, сама история помогла мне лучше понять деда, по своей натуре брутального баскака, — из тех, о которых до сих пор с ужасом говорят. Ордынский баскак. Брал, отбирал, сажал, присваивал.

Всё это он проделывал не как сегодняшние рейдеры. Люди, осуществляющие рейдерский захват, не воспринимаются как право имеющие.

А мой дед действовал как право имеющий. Любопытный был человек.

Дача оставалась для меня на протяжении многих лет местом притяжения, точкой, куда я всегда возвращался.

Последние годы ее существования стали действовать на меня расслабляюще. Попадая туда, я погружался в сомнамбулическую эйфорию вместо того, чтобы думать и писать.

Особая влажность и особый чистый воздух, хотелось просто пить чай и раскачиваться в гамаке, не хотелось возвращаться в Москву, звонить и принимать звонки. Дача действовала деструктивно в итоге.

И, наверное, правильно, что от нее пришлось избавиться, хотя обстоятельства были объективные.

Но она мне снилась и снится до сих пор, и это мучительный ностальгический сон. Ностальгический сон о навечно утерянном.

Игры в пытки

Классе во втором-третьем, летом, вокруг меня всегда было несколько мальчиков моего возраста, которые играли со мной. Мы строили из песка рыцарские замки, укрепляли их, и всё только для того, чтобы разбить их, мечом в них камни. Чем скорее рушился замок, тем быстрее проигрывал его владелец.

Среди нас был холёный мальчик со слегка обвислыми щеками, в очках. С бабушкой, хорошо мне понятной, кончившей гимназию или притворявшейся, что она кончила гимназию.

Этот мальчик давал мне пострелять из своего лука и поиграть выточенным из дерева пистолетом ТТ.

А играли мы с ним в допрос.

И по ходу игры я был вор, а он был следок. Он меня пытал, допрашивал, нажимал на пулевые раны. Я кричал от боли, но говорил: «Нет, ментовская сука, я ничего не скажу!»

В конце концов, его бабушка услышала все эти ужасы и заявила, что она категорически против таких игр, что это ужасно и что в такие игры играть нельзя.

Мальчик начал хныкать, выть, топтать ногами, и бабушка дала задний ход.

Она разрешила нам играть, но играть мы должны были в шпиона и сотрудника НКВД. Ей показалось, что такая формулировка будет гораздо интеллигентней.

Мы стали играть точно так же в ту же игру: он мне давил на раны, я с проклятиями выл. Только на этот раз я орал что-то вроде сегодняшнего «кровавая гэбня».

Мне было лет девять. Сталин уже умер.

Строго говоря, уже не было НКВД, тогда было Министерство государственной безопасности. Образ «кровавой гэбни» создан в 60-е годы благодаря Хрущёву.

Я же был антисоветчиком независимо от того, кто там что создавал. Гнусный совок, который что-то бормочет о сохранении жизни на Земле, — его как раз и надо мочить. На некоторое время я стал даже социал-дарвинистом.

Бабушка моего приятеля считала энкавэдэшников интеллигентными людьми.

Шпионы и те, кто их ловит — высший разряд. А менты и воры — не интеллигенты. Такая идея.

НКВД играло роль мистической черной комнаты, в которой Синяя Борода что-то держал взаперти, а очередной жене говорил: «Ни в коем случае туда не заглядывай». Естественно, советские люди были выстроены по струнке.

Чем советский человек интеллигентнее, тем он подлее и трусливее.

Детский Карабах. Мардакан. Баку

Из Карабаха меня увезла бабушка — налетела и утащила.

Наверняка она думала, что я там подхватил полиомиелитный вирус. Хотя полиомиелит свирепствовал как раз в Москве.

Карабах для меня свелся к этюду моего отца, который в свои 16 лет нарисовал руины нашего старого дома, существовавшего до 1918 года. Нарисовал в пастозной густой передвижнической манере.

Я, засыпая, на него всегда смотрел. Поэтому связь с Карабахом у меня была постоянная — виртуальное напоминание о нем.

Виртуальное всегда крепче, глубже проникает в сердце.

Я считал дачу семейной собственностью. Дача-то была реальной, но в основе ее лежала ложь. А Карабах хоть и был виртуальным, но он был подлинным, моим Карабахом, моей собственностью, — никого не пришлось сажать. Это был мой лен.

Такая хитрость: думаешь, вот она, реальность, а оказывается, что живешь во вранье, а тут-то всё виртуально, но это истина.

В Баку я приезжал на дачу другого деда — в Мардакан. Хороший дом, но ничего общего с Валентиновкой.

Минималистская сакля, сложена из дикого камня — сакля в буквальном смысле слова. Два прохладных помещения. Вокруг огромный участок, песок с дюнами, инжир, какие-то кусты.

Метрах в пятидесяти от веранды валялся деревянный столб с белыми фарфоровыми изоляторами. А у нас была гора оружия, множество винтовок, в основном малокалиберных. Как-то отец выбрал одну. Сначала он долго ее чистил от ржавчины, приводил в порядок. Приезжая из города, привозил с собой коробку патронов, — в те времена их можно было купить.

И мы с ним лежали в сделанном нами из бархана огневом рубеже и стреляли по этим изоляторам. И время от времени был слышен звон, напоминающий звук лопнувшей струны, когда пуля попадала точно

в изолятор. Она его не разбивала, конечно: фарфор был толстый. Кайфовое развлечение — одно из наших любимых на даче.

Бакинская квартира деда в дореволюционном доме напоминала пещеру. Три комнаты и большой холл. Располагалась она на улице, которая тогда называлась Лейтенанта Шмидта, дом 8. Лестница снаружи.

Просторные комнаты с толстыми стенами, окна закрывались тяжелыми ставнями. Огромное количество пылящихся книг. Вытащить можно было всё что угодно...

Оружие я любил с детства.

Однажды я залез за сундуки, и на меня свалилась настоящая кривая сабля. Не то что сейчас делают, а боевая, мощная и очень тяжелая, с разохшейся ручкой. Я начал ей махать и чуть люстру не разбил.

Я подмосковную природу не люблю, да и вообще русскую природу.

Я только могу ее силой воображения превратить в выход в четвертое измерение, в параллельную реальность. Но эстетически, со своей зеленью, влажностью, чириканьем, она кажется мне унылой.

А вот что по-настоящему цепляет — бархатистый песок, поросший кустарником. В Мардаканах же камыш... Сейчас всё это уничтожено и испорчено, а тогда были барханы, камыш и ракушки. Песок и скудная зелень на нем, как символ аскезы и тщеты. Есть такое хорошее слово «факр» — беднота, нищета, лишенность.

Две мои реперные точки в жизни — горы и песок. Я люблю оказаться среди сухих песчаных пространств.

В Баку было много мечетей. Помимо Теземира есть мечеть, которую Петр обстрелял, и там до сих пор бережно хранится выбоина от ядра на минарете. Во время петровской осады Баку 1693 года ядро попало в минарет, и до сих пор мечеть с этим стоит. Она была действующая.

Но в Азербайджане особо проблем с религией не было. Азербайджан же всегда был слабо религиозным. Настоящий

религиозный накал царил на Северном Кавказе и в Средней Азии.

Дядя Лёня. Цыганки и корибанты. Вера Донская. Катя Врубель. Друцкая-Соколинская. Дядя и его неудачная попытка покончить с жизнью. Самоубийство Тани Друцкой

Мой дядя Лёня был интересный человек.

По прошествии времени мне проще о нем говорить непредвзято, потому что острота противостояния между нами уже стерлась. Он был социальным психопатом, но в такой, может быть, «софт-форме», немного приглаженной тем, что прошел армейскую школу. Но там он тоже себя вел достаточно вызывающе.

Разошелся скандальный эпизод его службы, когда в часть, где служил дядя, приехал высокопоставленный генерал. Стал обходить офицеров, построенных на плацу. Ветер, снег. Генерал шел и пожимал руки офицерам — те, конечно же, без перчаток, а он, генерал, конечно же, в перчатке. И свою руку в перчатке подавал офицерам, пожимавшим ее голой рукой. Он этого даже не замечал, нечто само собой разумеющееся.

Генерал дошел до моего дяди, который стоял с голыми руками, — дядя демонстративно долго и очень тщательно надевал перчатку, застегивал ее и только после этого пожал руку генералу.

Сцена без слов, пауза.

Но что можно сделать Шаповалову? Дядя мог хамить сколько угодно, он был за каменной стеной своей фамилии, своего родства, но отомстил за товарищей-офицеров.

У него установились плохие отношения с отцом и отвратительные отношения с матерью. Моя бабушка откровенно его не любила и откровенно ему в свое время сказала, что она его не хотела. Он вырос под влиянием этой травмы. Человек в прямом смысле нес фрейдистские комплексы на себе с самого рождения.

Я видел фотографию его с дедом из дома отдыха Малого театра в Щелыково — год, наверное, 1947, дяде лет 15–16. Они завтракают

в столовой. Фотография бледная и нечеткая, но видно, что подросток сильно озлоблен на мир, на свою вброшенность в это пространство.

Он стал более психопатичной, более женственной версией своего отца. Нос немножко уточкой, чуть-чуть вздернутый. Волосы не волнистые, как у моего деда, а кудрявые. Глаза карие. Подбородок не такой, как у деда, выступающий твердой калошей, а более безвольный. Губы более женственные. Можно было бы сказать, что это лицо актера.

Он был социальным психопатом, потому что был деклассированным элементом. Он родился как деклассированный элемент, хотя и отец его, и мать были породистыми, каждый из них — по-своему ограненные камни. Не брильянты, но с огранкой. Получилось же в итоге что-то такое нервное и агрессивное.

Он мог предстать приятным и обаятельным. Его сопровождала толпа прихлебателей, он водил дружбу с самыми громкими именами своего времени.

Дружил с Высоцким. Его окружали труппы лучших театров, в основном МХАТа. Актрисы МХАТа составляли его гарем. Причем, актрисы, задействованные в «Живом труппе», цыганки Тани.

Все цыганки Тани из разных трупп были его. Вера Донская²⁴, потрясающая.

Круче женщины в романсе, в абсолютной самозабвенности, не найти.

Есть грубая Кибела, мать-земля цыганская. А есть рафинированная версия. Есть Варя Панина, дочь цыган-конокрадов, а есть Ляля Черная, дочь дворянина Киселева и цыганки. Вот Вера Донская — это Ляля Черная.

Очень красивая женщина. Постоянно курила. Бабушка всё ей говорила: «Ну что же ты, Вера, куришь? Зачем, с твоим голосом?» Пела она так, что Изабелла Юрьева²⁵ могла тихо пойти и залезть в конуру собачью.

Кибела, согласно мифу, идет в сопровождении корибантов — процессия из музыкантов, певцов и танцоров сопровождает великую мать богов. Цыгане — это как раз корибанты, сопровождающие Кибелу. Понятно, что это хтонический культ, связанный с культом Великой Матери.

Интересно, что у цыган есть святая по имени Сара Кали. По легенде, она служанка Марии Магдалины или дочь Марии Магдалины и Иисуса Христа, бежала и высадилась на берегу Франции. Всё это, конечно, придумки. Речь идет не о еврейской Саре, которая называется Черная — Кали по-цыгански, а речь идет о Саре, царице в переводе. А Кали — это богиня Кали, Дурга, являющаяся прямым аналогом Кибелы в индуистской традиции.

Совершенно понятно, что есть хтоническое посвящение, и я это очень рано в детстве уяснил. Хтонические энергии, хтонические токи связаны с этой линией экзистенции.

Почему Протасовы из «Живого трупa»²⁶ так плакали, не могли оторваться от цыганщины? Потому что они были слугами, рабами хтонического культа. Очень энергетическая вещь.

Вера Донская была рафинированным вариантом. Но за ней, за ее протюканной художественной фигурой, артистической и стильной, открываются такие бездны хтонизма, как Соня Дмитриевич²⁷.

Я всё это хорошо понял. Считаю, что я в детские годы, благодаря дядиным музыкальным вечерам, получил хтоническое посвящение в бессознанке, что дало мне потом возможность оперативного маневра уже совершенно в других регионах.

Дядя великолепно играл на рояле, баяне и гитаре — владел ею виртуозно. Он всему учился. Свободно говорил по-немецки. Рассказывал анекдоты, пел романсы, пел дуэтом, мог аккомпанировать профессиональным певицам. Вокруг него постоянно вилась научно-артистическая молодежь. Но, к сожалению, не всегда был выбор качественный.

Например, Паша Пашков. Потомок знаменитого владельца дома Пашкова, физик-ядерщик, человек холеный, но проходимец,

ограбивший дочь Шаляпина. После смерти моего дяди он и его дочку ограбил. Увез всё дядино наследство, включая «Жигули», которые после него остались. Машина в советское время была большой ценностью, а он дочке своего только что умершего друга сказал: «Ну зачем она тебе, что ты с ней будешь делать?» — и забрал.

Были в окружении дяди и очень красивые и яркие фигуры. В основном женщины.

Три врезались мне в память и сформировали на раннем этапе мои представления о женственности и о том, что нужно любить и чего нужно избегать. Упомянутая Вера Донская — «Жалобно стонет ветер осенний». Катя Врубель, внучка художника²⁸, невероятно влюбленная в дядю, помогла ему, когда он ушел из армии.

Дядя фактически стал инвалидом и вынужден был уйти после ранения в 1956 году при подавлении Венгерского восстания, которое он бомбил. Потом он перешел в гражданскую авиацию, но очень скоро оттуда ушел — решил получить гражданское образование, так как у него было только военно-летное училище. Дядя поступил в институт на вечернее отделение и пошел на завод, настоящий механический завод — освоил там специальность токаря. Он сделал великолепную, затейливую медную рамку для фотографий, копию дореволюционной. Подарил ее своей матери, с которой у него были отвратительные отношения.

По вечерам дядя учился, институт был крутой, какой-то физико-технический, и там было полно математики. Катя Врубель с ним сидела, потому что она была математиком. Она с ним занималась, приложила огромные усилия и потратила невероятную уйму времени, чтобы помочь ему окончить институт, — очевидно, надеясь, что он на ней женится. Очень красивая, эстетская девушка. Ходила в черном бархатном платье с хрустальными брошками. Вся в легкой дымке, но немного в ней крови не хватало. Буйства в ней не было, не было Катерины Ивановны, выходящей с шалью плясать перед вице-губернатором²⁹. А была в ней внучка знаменитого художника, математик с родинкой на щеке, что называется «родинкой красоты».

Катя была очень белая, со светло-русыми волосами, но очень аристократическая. Бабушка мечтала, чтобы дядя на ней женился. Это бы для нее искупило уродство ее сына, которого она ненавидела. Вот девушка по сердцу, соответствующая. Врубель — это же имя, черт побери. Врубель — это же ее современник. Но нет — использовал, гулял, учился математике. Выучился и женился на другой.

Женился на еще одной цыганке из «Живого трупа», и звали ее тоже Таней.

Играла она во МХАТе. Смешно, что фамилия ее Друцкая-Соколинская. Ее папа князь Друцкой-Соколинский в ссылке, будучи алкоголиком и слабым человеком, сошелся с буфетчицей — не то с карелкой, не то с мордовкой. И от этого мезальянса родилась, на минуточку, княжна Друцкая-Соколинская. У нее еще был брат, рано умерший от белокровия, и сестра, абсолютно невнятное существо.

Стройная высокая девка с шикарным бюстом и совершенно потрясающим сильным, резким, мощным, но немножко, я бы сказал, стеклянным голосом. Она училась у профессора, брала частные уроки, пела во МХАТе. У нее было слабовато по части воспитания: Друцкой-Соколинский присутствовал условно. Просто алкаш, сосланный по какому-то антисоветскому делу.

Она подходила к Теймуразу и говорила: «Темчик, мы с тобой князя!» — и его перекашивало.

На одну квартиру моего деда приходилось пусть не два князя, но два персонажа с княжескими фамилиями. Такое нечасто встречалось в советское время. С одной стороны Амилахвари, а с другой — Друцкая-Соколинская. Я уже не говорю о Шепелевых и Джемалых.

Квартира странная, заряженная жуткими энергиями. В этой квартире мой дядя пытался покончить с собой. Я тогда учился во втором классе — соответственно, примерно в 1955 году.

Это было так.

Я остался один дома с домработницей Машей. У нас до этого эпизода было два больших встроенных стенных шкафа, забитых оружием. Среди прочего великолепная немецкая винтовка,

малокалиберная, но сделанная очень качественно. Холодного оружия тоже хватало.

И вот я остался с Машей, а дядя появился... У нас был красивый бабушкин семейный буфет красного дерева, и к нему золотой ключик с плетеной головкой. Бабушка любила фарфор, у нас была огромная коллекция, и ко всему прочему стояли саксовские вазы. В одной из этих ваз на дне лежала горсть патронов 5.56, малокалиберных винтовочных патронов.

И вот он появился, волоча за собой винтовку за ствол, и говорит: «Где ключ?»

Маша достает ключ — Маша была верная старая домработница, состоявшая при моей бабушке еще с довоенных времен. У нее сын погиб на фронте, бабушка ее утешала, когда пришла похоронка. Она из деревни попала к бабушке и стала ее доверенной homemate — морщинистая старушка, сохранившая свой ситцевый крестьянский облик.

Грозный голос дяди: «Где ключ, старая?»

Она говорит: «Зачем тебе ключ?», а сама дрожащей рукой дает его.

Дядя берет ключ у нее из рук. Маша пытается стать перед буфетом, на страшном своем инстинкте понимая, что что-то ужасное происходит.

«Уйди, старая». Почему-то он к ней так обращался: «старая». Всё напоминало пьесу Островского.

«Не уйду», — отвечает Маша и пытается в него вцепиться.

Но он ее оттолкнул. Я сразу понял, что ему нужны патроны и что он будет стреляться, хотя мне было лет семь-восемь.

И думаю: «Ну и стреляйся, гад! Давно тебе пора уже освободить меня от своего присутствия!»

Дядя открывает буфет, берет патроны и возвращается через холл в свою комнату, которая раньше была моей детской, но он ее занял, когда вернулся из Новосибирска.

Мне Маша говорит: «Беги, зови на помощь!»

Когда я уже выходил, раздался выстрел. На выходе я увидел, как распахнулась дверь, и он, лежа, как ящерица, оставляя за собой широкий кровавый след, в галифе и босой, прополз по полу, приподнялся и вырвал телефонный шнур. Телефон стоял в холле на столике.

Я выбежал вприпрыжку по Мансуровскому в сторону Остоженки.

Мне навстречу идет знакомая, часто бывавшая у нас в доме, — из тогдашнего дядино женского окружения. У дяди тогда была жена Нина, которую бабушка очень не любила, — просто копия Мэрилин Монро. Тот же бюст, блондинистые волосы, американская манера мазать себе помадой губы. Стилистика трофейных кинофильмов — не та, что в 40-е годы, а чуть попозже. И все девки строились под нее — здоровые бюсты, губы намазанные. По-моему, они все были его любовницы.

И вот идет одна такая, помахивая сумочкой, идет к нам. Я подбегаю к ней и говорю: «Дядя застрелился!» У нее мгновенная реакция — только что она вальяжно шла, и взгляд у нее блуждал по верхним этажам домов. Шла в таком кайфе. А тут она подхватила и пулей понеслась в сторону дома с диким свистом. Сбросила туфли и босиком помчалась.

Я был потрясен. Думаю, вот надо же, девка просто кобыла кобылой, но реакция потрясающая. Я-то понял, что мне там делать нечего, и пошел дальше гулять. Я пришел домой, когда его уже увезли. Оказалось, что дядя промахнулся, выстрелил мимо сердца, и пуля ушла в потолок. Дядя два месяца провалялся в госпитале. Тогда он был еще в армии. Его выгнали из партии за попытку самоубийства. И еще были какие-то формулировки — что-то вроде «за моральное разложение».

Надо сказать, дядя всегда сильно пил. Но, отлежавшись, вернулся, сразу развелся с этой Ниной, начал учиться, взялся за ум, трансформировал свою жизнь и, собственно говоря, умер ни много ни мало одним из руководителей вертолетной промышленности. Он сделал быструю карьеру. Восстановился в партии. Но до самого конца

оставался социопатом, человеком в буйных неладах с собой. Конечно, ископало, как он пел и как он шутил.

Он был острым, очень жестким антисемитом и вообще ксенофобом. За это он и меня ненавидел, кстати, как азербайджанца.

Мне лет девять или десять. У меня деревянный меч. Дядя вошел пьяный в портуpee, в сапогах и говорит: «Давай дневник». А я взял меч и выставил его вперед. Тогда дядя пошел на меня, но в этот момент появилась бабушка и сказала:

— Пошел вон.

— Но я же только дневник хочу проверить.

— Пошел вон.

И он мрачно ушел.

Антисемитом дядя был очень резким. Но, как все антисемиты, любил еврейские дебюты, мог с невероятным мастерством исполнять еврейские песни. Многие подозревали его, что он и сам еврей. Он был кудрявый, черный, кареглазый, брюнетистый парень, распространявший вокруг себя странное темное обаяние, которое так нравится женщинам. При этом евреев он ненавидел, но кое-какие евреи были в его окружении.

Я узнал, что дядя умер, когда находился в путешествии по Прибалтике. Мне позвонила мать и сообщила об этом.

А умер дядя так.

Он в очередной раз на своих «Жигулях» отвозил маму, когда она работала в театре зверей Дурова, и выехал со двора в Мансуровский. Там у него случился то ли инфаркт, то ли инсульт. Он успел затормозить и припарковаться у тротуара и умер прямо рядом с ней на соседнем сидении.

Когда я приехал в Москву, его уже похоронили. Ему было 45 или 46 лет.

Странная жизнь не любимого никем человека. Мама его любила, но маму он сильно обидел. Изначально между ними сложилась конфликтная ситуация.

Такая семья из классической пьесы то ли Горького, то ли Островского, где все связаны фрейдистскими комплексами негатива по отношению друг к другу. Бабушка не любила деда, не любила сына. Сын имел комплексы по поводу сестры, ненавидел своего племянника. Племянник ненавидел дядю. Дымящееся поле.

А вот эти три женщины в дядином ближайшем окружении — Вера Донская, Катя Врубель и Таня Друцкая — три грации, определившие мое отношение к феномену женственности. Таня — зычная, громогласная, бестактная. Она покончила с собой за год до смерти мужа. Она поняла, что он ее не любит, и покончила с собой.

Мне трудно было оценить в том возрасте, но что-то было в них во всех непростое.

Таня написала прощальную записку на тему разговора между ними: о том, появится ли из гусеницы бабочка, из хризалиды вылупится ли бабочка. И она написала: «Прощай, гусеница». И выпила таблеток — как женщины любят. Причем она сделала всё очень аккуратно. Она застелила кровать резиновой медицинской простыней. Одежду аккуратно сняла, оставив на себе ночную рубашку, чтобы не шокировать людей, которые ее найдут.

«Прощай, гусеница!» — было обращение к дяде Лёне. Почему гусеница?

Но моего дядю как-то не впечатлило. Пришел, увидел труп, сказал: «Ну что же ты наделала».

В 1974 умерла бабушка, в 1975 Таня покончила с собой, а в 1977 умер дядя. Они дали возможность Теймуразу с мамой лет 10 пожить спокойно без этого ужаса. По крайней мере, хотя бы какой-то светлый период остался после ухода их всех. Я жил отдельно и просто приходил регулярно в гости.

«Политический» инфаркт деда. Первый класс. «Синяя птица» и кремлевская елка. Одноклассники. Розентуллер в красных ботинках. Патриот Зайцев. Бабушкин «хорошизм». Гений Молгачёв и русский блок самоуничтожения. Пионерские галстуки и их подвиды. Генеральский сын Земсков

В школу меня отвел дед незадолго до смерти. Но трудно было предположить, что этот человек скоро умрет.

Дед мой умер 53 лет, может быть чуть старше, в 1955 году. Помоему, на его могильной плите написано, что он родился в 1902. Мне кажется, здесь нестыковка, потому что не в 15 же лет он пошел воевать в гражданскую войну — в 16–17, наверное. В любом случае он был не старше 55 и не моложе 53.

Дед проводил все уикенды на охоте, а каждое утро, встав, упражнялся с двухпудовыми гирями. Примерно моего телосложения, но более компактный, более плотный, коренастый, ростом примерно 178 см. С густыми черными волосами, черными, почти сросшимися, очень густыми бровями, красным лицом, с очень темными карими глазами. В волосах у него не было ни единого седого волоса. Во всяком случае, так мне казалось. И он постоянно упражнялся с гирями и гантелями, обливался холодной водой. За обедом обязательно выпивал 50 граммов дорогого коньяка — «для здоровья».

И вдруг умер от инфаркта.

Инфаркт у него был «политический». Он входил в ближний круг Маленкова.

Маленков проиграл в 1955 году³⁰.

Как ни странно, дед хотел быть профессором, именно профессором, а не доцентом, но у него была лишь кандидатская. Он решил защитить докторскую, и она у него была посвящена истории Малого театра. Он очень много писал, огромные тома, и всё это в архиве есть — переплетенные тома, напечатанные на машинке. Когда он уже собрался ее защищать, то позвонил своему другу, а точнее,

«личарде» — всегда под локотком. Был такой актер Малого театра Зубов. Старая дворянская семья, но абсолютный блюдолиз, наш сосед по даче, похожий на Алексея Николаевича Толстого, с подгорликом, ожерелком, с длинным лицом, — дворянские лица все под копирку. Дочка у него неплохая была, совершенно безумная Татьяна, математичка. Очень симпатичная.

Позвонил дед Зубову, и между ними происходит такой диалог:

Дед говорит:

— Приходи тогда-то (допустим, послезавтра) на мою защиту.

Тот ему отвечает:

— Не смогу, извини.

— Что?

— Да я болен, видимо, буду болен и послезавтра.

Дед положил трубку и понял, что это конец.

Потом он поехал к своему другу, генералу Кривошеину Семену, и за обедом вдруг схватился за сердце. Его перенесли в комнату, из которой он вышел уже мертвый через месяц. Как говорят, сейчас бы спасли. Теперь с таким инфарктом перемещают, спокойно выхаживают. Но на тот момент это было выше сил Четвертого управления³¹.

Меня приводили проводить дедушку. Он вполне общался, улыбался.

Я сильно прокололся, потому что меня каким-то вещам, связанным, о ужас, с христианской верой, научила наша домработница Анна Тимофеевна. Что-то про ангелов и архангелов. Ну, короче говоря, я проговорился. Говорил с дедом и что-то упомянул про архангелов. Он меня спрашивает:

— Это откуда?

— Да вот, Анна Тимофеевна рассказала.

Дед посмотрел на бабушку и говорит:

— Ну разберись с этим.

Она говорит:

— Хорошо.

Ничего особенного потом не было. Но дед не шутил с такими вещами. Недаром же ушел воевать, как только появилась такая возможность.

Он серьезно относился к «очередным задачам советской власти».

Дед отвел меня в 50-ю школу.

Надо сказать, что я пошел в школу в шесть лет, и чтобы меня приняли, необходимо было вмешательство деда. Дед пришел, и меня взяли с шести лет.

У бабушки был свой расчет — чтобы я имел в запасе год между школой и армией. Не так чтобы вышел, не поступил — и сразу в армию, а чтобы у меня была в запасе еще одна попытка на следующий год.

Тогда это было четырехэтажное здание из красного кирпича. Оно одной стороной выходило в Померанцев переулок, а другой в Кропоткинский. Двор с выходами на обе стороны. Не так давно, может быть, с год назад я специально ходил посмотреть на эту школу. Ее сейчас оштукатурили, теперь она светлого цвета. А была красная кирпичная школа, построенная сразу после войны, с портиком, с кирпичными колоннами квадратного сечения.

Во дворе толпилась пропасть народа. Это был первый год, когда ввели совместное обучение. Много красивых девочек, какие-то мальчики, букеты цветов. Я держался за руку деда.

Полгода я проучился, наступили зимние каникулы. У меня были сплошные пятерки, но это ничего не значило, поскольку классная руководительница, она же учительница по всем предметам в начальной школе, состояла на особом контроле у родителей из хороших семейств. Поэтому она приглядывала за несколькими детьми в классе. И у них до конца начальной школы всегда были хорошие отметки.

Я читал с трех лет. Читал толстые книги для удовольствия. А там примерно две трети либо не умели читать, либо читали по складам с большими проблемами. И писать я тоже до школы умел, хотя большинство моих одноклассников этим похвастать не могли. Я в три года написал маленький рассказ для мамы, он до сих пор где-то хранится в ее архиве.

Прошло полгода, наступили зимние каникулы. В преддверии каникул меня ждало два колоссальных удовольствия.

Во-первых, кремлевская елка, по поводу которой я спросил деда:

— А как быть с елкой?

— Сейчас решим, — сказал он, позвонил Маленкову и добыл мне приглашение.

Елку я не помню совершенно, кроме мешочка с конфетами и орехами.

Во-вторых, «Синяя птица» Метерлинка.

И еще кремлевский концерт, на который мы с дедом тоже пошли.

«Синяя птица», Сахар, Хлеб³² — как в тумане, я сидел с дедом, плохо всё понимал.

Много лет спустя я попытался читать «Синюю птицу» в оригинале, но не пошло. Совершенно безумный автор. Не понял я причины его известности.

Дед ушел из моей жизни до того, как я закончил первый класс. Второй уже был без него.

Смешно встречать домыслы в интернете относительно того, что дед куда-то позвонил, чтобы я поступил в институт восточных языков. Он умер за 10 лет до того.

Да и бабушка вряд ли могла мне помочь, опираясь на свои старые связи.

Узнав, куда я хочу поступить, она меня очень отговаривала:

— Не надо, не надо идти туда. Ты не пройдешь. Поступай в ГИТИС, там по крайней мере деда помнят.

Мне казалось совершенно диким поступать в ГИТИС. Что я там забыл, в этом ГИТИСе? Тем более имя какое — «ГИТИС», какая-то пентаграмма.

Не знаю, звонила ли кому-нибудь бабушка. Она могла позвонить своей подруге Елене Стасовой, личному секретарю Крупской. Но вряд ли Елена Стасова, вечно в пиджаке мужского покроя и с орденом Ленина на груди, могла звонком решить судьбу моего приема в институт.

Короче говоря, дед ушел из моей жизни. А я стал учиться в 50-й школе.

Школа была камерной и очень заботливой в отношении своих учеников. С первого до последнего класса я проучился в классе «А».

Из особо ярких учеников начальных классов меня поразил Толя Розентуллер, самый маленький ученик, ростом чуть выше парты. Но говорил он чудовищным басом, как будто простуженный мужик, который рубил дрова на морозе, промерз хорошо, потом пришел домой и выпил водки. Маленький Розентуллер... У него уже чуть ли не в первом классе была щетина. И он носил красные ботинки. Это было потусторонне и странно. Во-первых, я не привык к красным ботинкам, — к цветным вообще. Во-вторых, мы в те годы считали, что обувь может быть либо коричневой — что очень здорово, либо черной с какой-то вариацией оттенков. Черный — серый, черный — тусклый, черный — блестящий, начищенный. Но красные ботинки — что-то из иной реальности. Маленький говорящий басом Розентуллер в красных ботинках. Сидел он всегда на правой первой парте в правом ряду.

Особый тип составляли интересные хулиганы.

Например, прекрасный хулиган, образчик того, что сейчас называется «ватничество», национал-патриотизм из подвала. Сын алкаша-слесаря Зайцев, с заячьей губой, весь веснушчатый, с распластанным по всему лицу носом.

Вид у него был самый подвально-гопнический. И он был патриот.

Как-то мы стояли перед стенгазетой — многотиражной, выпускалась типографским образом. И там, как ни странно,

фотография американского «Боинга» и подпись, что это «Боинг», допустим, 707, и что американцы создали новый пассажирский самолет.

Мы стояли после перемены и ждали, когда нас запустят в класс.

Зайцев смотрит на фотографию и говорит:

— Во наши запузывают!

Я ему говорю:

— Окстись, какие наши? Это же американский самолет. Написано: «Боинг 707».

— Ты че, какой американский?! Это наши запузывают!

Он даже не хотел прочесть, что там написано, потому что, во-первых, мелко, во-вторых, он не стал бы разрушать свое теплое ощущение от того, что «наши запузывают».

Я понял, что это классическая парадигма, и что именно этого надо ожидать от таких людей. Они будут смотреть на фотографию с подписью «американские инженеры изобрели паровоз» и с гордостью думать: «Это я изобрел паровоз».

Потом Зайцев куда-то исчез. Второгодники попадались любопытные.

Но школа была тяжелой, я ее не любил. Мы занимались в две смены, очень трудно было вставать утром. Занятия в первую смену начинались непривычно рано, и подниматься приходилось часов в шесть, если не раньше. Уроки начинались в восемь.

Я вставал в шесть, обливался холодной водой и садился за домашнее задание, которое у меня оставалось со вчерашнего дня: часть уроков я доделывал утром.

Потом пятнадцатиминутная прогулка до школы. Первые два-три класса я ходил обязательно в сопровождении домработницы — той же Анны Тихоновны. И всегда надо мной нависала бабушка, не позволявшая мне расслабиться, постоянно жестко контролировала, чтобы я делал уроки.

У нее была идея «хорошизма», сверхусилия. Она меня заставляла повторять весь курс во время каникул. Это означало, что в определенные часы — к примеру, с двенадцати до двух или с одиннадцати до трех — я занимаюсь физикой, математикой, русским языком или еще какой-нибудь ерундой по программе пройденного года.

Я должен был за лето постоянно изучать то, что уже пройдено в течение прошлого учебного года, чтобы начать новый год ориентированным, чтобы не отвыкать от учебы за лето и вступить в следующий учебный год почти без перерыва.

И я, как дурак, сидел и занимался физикой, решал задачки. Но толку от этого особо не вышло, потому что я всегда получал по физике двойки.

У нас в классе был гениальный физик Молгачёв, сын географички. Русский человек, глубоко русский парень. С шишковатым лбом, широким носом, насупленный, похожий на дореволюционных «русских мальчиков»³³ из разночинцев. С лобной складкой, отсекавшей переносицу ото лба, развитыми надбровьями. Легкий бубнеж, взгляд вниз. И судьба такая же...

В десятом классе он прошел практически весь университет.

Учителя относились к нему, как к хрустальному чуду. Он без экзаменов поступил на мехмат, он там уже всё знал. К третьему курсу он спился. Сын алкаша, причем буйного, и ходил слух, что наша географичка его убила ради сына. Отец алкаш портит жизнь — надо сына спасать. Может, подлила ему чего-нибудь. Настолько это был гнилой алкаш, что менты даже не стали дело поднимать. Хорошая баба: понятно, что мужик тварь — сдох и сдох.

Но сын уже на третьем курсе спился в хлам. Звездный парень. Он мог бы спокойно играть в любой экранизации романа Достоевского. Лобастый, насупленный, крепкий, спортивный, высокий. Очень компанейский, товарищеский, держащийся в себе.

Что значит русский талант — встроен блок самоуничтожения, как в ракету.

Я старался долго не становиться пионером, но уже было как-то неприлично, потому что скоро в комсомол³⁴, а я еще даже не пионер. Стал я этим пионером, по-моему, в четвертом классе.

Тут какая тонкость. Галстуков пионерских было два типа: тонкий шелковый, дорогой, как бы кипенно-красный, даже с аlostью, и сатиновый, мутно-красный плывуще-фиолетового оттенка дешевый галстук.

У меня были оба — шелковый по праздникам и сатиновый на каждый день.

Но сатиновый галстук морально и психически носить было тяжело, потому что все нищие зайцевы нашей школы носили сатиновые галстуки, если они вообще поднимались в пионеры. В некоторых случаях их не принимали. Простые пролетарские дети, по два года сидевшие в одном классе, гоняли кошек по крышам или голубей пускали, и пионерами не становились никогда. А без этого нельзя стать комсомольцем, а без комсомола ты не мог поступить в институт. Понятно, что эти кошкодавы в какой институт могут поступить? Зачем им быть пионерами? Но какая-то небольшая часть из простых, но скромных становилась пионерами.

Был такой Большаков. Бедный мальчик, учился на двойки и тройки. Но не хулиган, сидел где-то сбоку, тихо. Он был пионер и носил красный сатиновый галстук. Не кипенно-алый шелковый, а сатиновый.

Я носил форму (тогда же форма существовала) — гимнастерку с поясом. Это тоже считалось нижним уровнем, low middle. Настоящие upper классы ходили в кителе со стоячим воротником, как Володя Ульянов. Вот на этот стоячий воротник серьезные люди повязывали каждодневно кипенно-алый шелковый галстук.

Земсков, сын генерала КГБ и внук генерала КГБ, учился на круглые пятерки. Когда он однажды у доски сказал «не знаю» и получил двойку, класс ахнул, потому что двойку Земскову невозможно было себе представить.

Но в седьмом классе он от нас ушел, окончил какой-то техникум. Тогда была странная мода уходить из седьмого класса и поступать

в техникум — это называлось «идти в жизнь». Потом всё равно полагался институт, но техникум должен был приобщить к какой-то непонятной «жизни».

Пошел он в техникум, окончил его и в итоге стал слесарем-электриком в КГБ на Лубянке, в Большом доме, где генералами были его отец и дед, и спился.

Мажорный, вальяжный. Приходил ко мне в гости и приносил пластинки с буги-вуги.

**Выход из сновидения. Сабелька на день рождения.
Ненависть к слову «мир» и любовь к слову «война».
Блокнотик. «История древней философии» Зелинского.
Совок и матриархат как синонимы. Саша Козьменко.
Побег в Иран. Пучки лучистой энергии. Миша Экерев**

Я жил в немного сновиденческом мире. До восьми-девяти лет я находился как бы внутри кокона. Между мной и миром стояла стеклянная стена. У меня не было никаких ощущений, они были как будто заморожены. И я был отстранен, спал наяву.

На мои восемь лет дядя, мой враг страшный, подарил мне настоящую саблю. Это была парадная сабля конца XIX века, как я сейчас понимаю, по форме полагавшаяся чиновничьим парадным костюмам — допустим, письмоводителю, коллежскому асессору. Сабелька и форма.

Такая сабелька была в нашей коллекции. Дело происходило еще до дядиной попытки самоубийства. Он ее тупил специальным бруском, затуплял острие, прежде чем подарить мне. Я просил этого не делать, но он сказал:

— Нет, лучше тебе я подарю тупую.

Он торжественно мне ее преподнес.

Я подумал:

— Как странно! Я ничего не чувствую. А многим ли мальчикам на день рождения дарят настоящую саблю? Это же большое счастье, это же редкость, а я ничего не чувствую. Когда же это кончится? Когда я проснусь?

Я чувствовал стеклянный колпак, который был для меня как тяжелое бремя.

Я проснулся, когда мне было девять лет.

Я собирался в школу ко второй смене. Утро уже прошло, и я был в столовой, в большой комнате, и неожиданно мое внимание привлек радиоприемничек. На дворе стоял, наверное, 1956 год, и передавали

что-то в хрущевском дискурсе — «мирное сосуществование», «борьба за мир».

До этого я воспринимал радио как белый шум, вообще не вслушивался и не придавал значения.

И вдруг произошел щелчок, и тонкая пелена, окутывавшая меня, лопнула, прозрачная резина разорвалась, и хлынул поток света. Я ярко услышал все эти слова, которые произносило радио, и почувствовал глубочайшую ненависть к тому, что стояло за этими словами — к борьбе за мир, к мирному сосуществованию.

Я почувствовал зоологическую ненависть к слову «мир».

С этого момента для меня началась политика и философия.

И поскольку с того дня я испытывал ненависть к слову «мир», то я очень полюбил слово «война». И логически меня стали концептуально привлекать все идеи, которые противoleжали основному направлению пропаганды.

Я прошел социал-дарвинизм, идеи борьбы за существование и страшной борьбы видов, «падающего подтолкни».

Ницше я полюбил за одно имя и за слух, что он является крайне реакционным.

Обязательно полюбил Шопенгауэра.

Выискивал о них скудные крохи информации в советских словарях. Ну и разрабатывал идеи антигуманизма, ненависти к добру, любви к жестокости, к насилию, идеи превосходства. И всё это я записывал в маленький блокнотик авторучкой с синими чернилами.

В конце концов бабушка, мой постоянный Цербер, нашла эту тетрадку, и у нее ум за разум зашел. Она поплыла и, не зная, что делать, глупо пошла в школу.

Мне было около 12 лет.

А было так.

Мои взгляды эволюционировали же постепенно. Когда я первый раз по радио это всё услышал, я начал с того, что стал читать газеты,

и я ненавидел то, что читал. Я думал, что хорошо было бы, если бы сейчас началась атомная война, и чтобы империалисты дали как следует прочихаться всей этой твари, всех их перемочили. Особенно я радовался, когда узнавал о появлении новых американских баз, об очередном каком-нибудь американском генерале, который прибыл в Европу, чтобы устраивать провокации и наращивать военную угрозу. Я потирал руки и думал:

— Давай-давай. Скоро, наконец, это всё разразится, и совка не будет.

Потом я стал более внимательно читать эти тексты. Обязательно каждое утро, когда я шел в школу, я останавливался у стенда и просматривал всё, что относится к политическому пространству.

От деда остался огромный шкаф с книгами, но мусора среди них тоже хватало. К примеру, там была дореволюционная книга про гончих собак с великолепной обложкой. Это было не очень интересно.

Мне попалась книга профессора Зелинского из Санкт-Петербурга, который в 1912 году выпустил «Историю древней философии». Первый том — досократики, прекрасные семь мудрецов. Это было так интересно. Один говорит, что всё есть вода, другой говорит, что всё есть огонь, апейрон, бесконечное в виде сферы. Интереснее любой беллетристики, любой художественной литературы. У меня крыша поехала от счастья, что, оказывается, есть такая сфера.

Я книжку прочел, как не читал никаких сказок в раннем возрасте. После нее я взялся за более серьезные книги и выписывал что-то в свою тетрадочку.

Бабушка нашла тетрадочку, отнесла ее в школу, показала директрисе.

Надо тоже понять бабушку. Она находит текст, где написано, что нужно воспитывать в себе безжалостность, что нет ничего омерзительнее любви к человеку, и первое, что у нее в голове возникает — не этическое возмущение, что у внучка крыша поехала на почве мизантропии, а что внучек собрался на Колыму по статье 58-10³⁵. Такая вот идея. Как же это предупредить? У нее мысль: на ранней стадии придать гласности, озвучить и блокировать,

купировать, чтобы не пошло дальше. Она хотела как бы заморозить процесс и потом со временем постепенно разобраться. А то будет человек так подспудно развиваться, и когда ему исполнится 18, его возьмут под белые руки — и прощай, жизнь.

Она принесла мою тетрадку в школу, и там тоже задумались, что с этим делать. Меня вызвали к директрисе. Пока я ее ждал, молодая с огромной грудью секретарша, хлопающая глазами, заявляет мне:

— Гегеля читаешь, да? Вот у меня тоже приятель читал-читал, а сейчас в дурдоме сидит.

Это, конечно, не прибавило у меня тепла к бабушке.

До сих пор жалею об исчезновении той тетради, было бы забавно с ней столкнуться.

Заряд, который у меня сформировался, шел из солнечного сплетения — ненависть к идее мира.

Из-за того, что рядом со мной была бабушка, у меня еще была ненависть к феминизму и матриархату, их я ненавидел зоологически и считал, что это синонимы — совок и матриархат.

Совок, матриархат, лицемерие...

Я не понимал, что вся борьба за мир, сражения за мир — голое лицемерие. Я на полном серьезе всё воспринимал. Мне казалось, что они действительно такие матриархальные, любящие добро, тепло, чавканье жизни. Я хотел мочить и жечь их за это.

Мой друг Саша Козьменко, с которым я всё это обсуждал, жил внизу, прямо подо мной. Мой ровесник и учился в классе «Б».

Он из интересной семьи. Отец — крупный чиновник железных дорог.

Наш дом построили для Малого театра. Каким-то образом он тоже там появился, но на первом этаже. Не такой солидный, как второй и выше, а первый. Он был кто-то типа Якунина по РЖД. Большой человек с секретаршами. Жена поняла, что у секретарши будет ребенок, что она не любимая жена, и покончила с собой. Саша тогда еще не родился.

Мне рассказывали, что она заперла всё и пустила газ. С улицы разбивали окна, пожарные приехали, муж суетился — высокий костистый человек со странноватым лицом. Может быть, современный Саша Козьменко на него похож, я его не так давно видел. Он переехал со старой квартиры, продал ее.

Козьменко-старший, когда пытались достать его жену, суетился и повторял:

— Мебель не попортите.

Мой дед оказался поблизости и сказал ему:

— Сволочь, у тебя там жена умерла, а ты мебель вспоминаешь.

Это мне бабушка рассказывала раз сто.

Жену вытащили, увезли в морг, похоронили, и буквально через несколько дней, рассказывала бабушка почему-то с ненавистью, пришла секретарша с огромным животом. Из этого живота родился Саша Козьменко. В глазах бабушки он уже автоматически был бастард, полный ублюдок, всё очень плохо. А я помню эту мать его, она безумно любила Сашу. Между ними существовал очень теплый контакт.

Мать была смазливая... Интересная женщина, хотя и не красавица.

И мы с ним сдружились лет в 10–11.

Оказалось, что он тоже антисоветчик.

Мы с ним сошлись на этой почве и даже решили бежать из этой страны.

А куда бежать? Мы решили бежать в Иран. Ну а как бежать в Иран?

Надо украсть деньги, переодеться в одежду его отца. Я один раз надел на себя его костюм, галстук, рубашку, шляпу. Мне было очень интересно мерить шикарную качественную одежду взрослого человека. Шикарные ботинки мягкой кожи, шелковая белая рубашка. Таких вещей не было в те времена.

Я повязал галстук, надел шляпу, взял дядин нож-финку, сколько-то рублей, и мы свалили. Тогда же можно было сесть на поезд без паспорта.

Потом оказалось, что у нас рублей мало. Попытались мы продать мои часы, подаренные мне в пятом классе. Но когда мы принесли часы в часовую мастерскую, у нас отказались их взять. Видимо, заподозрили что-то. Мы ушли, поменяли их у какого-то ханыги и через полчаса принесли уже другие часы. Часовщик их тоже не взял и на нас кого-то вызвал. Тогда мы решили грабить — нож-то есть.

Я говорю:

— Давай будем подстерегать людей между поездами, где пути: поезда разные стоят, кто-нибудь одинокий попадетсЯ.

Я высокий был, штаны немного подвернул. Всё на мне слегка висело, но я себе нравился в зеркале.

Как нас повязали, я не помню. Менты, бабушка откуда-то появилась. Мы еще не успели никуда уехать. Прошло несколько часов, наступил вечер, и тут Саша... У него вечно возникали какие-то свои провокационные цели. В этом смысле он похож на Чаплина, протоиерея.

С нами менты беседовали поодиночке, и он сказал:

— Да, мы бежали, мы хотели бежать в Иран, потому что мы ненавидим советскую власть. Ну какие у нас были мысли? Мы хотели попасть к американцам, поступить в школу ЦРУ, чтобы потом бороться с советской властью, приехать сюда с фальшивыми документами, чтобы вести здесь подпольную, подрывную работу. Наша задача, наша мечта — это вступить в ЦРУ.

Менты оказались сильно обескуражены тем, что Саша им выложил. Потом они решили со мной побеседовать. А Саша, выходя оттуда, сказал мне, чтобы они слышали:

— Я им всё сказал.

У нас же как бы общая идея была.

Я был крайне недоволен, обломан тем, что он так нас подставляет. Но мы же товарищи, так что чего уж тут отнекиваться. Я всё подтвердил: что, мол, да, мечтали стать ЦРУшниками и бороться с советской властью.

Нам рекомендовали больше не общаться.

Прошло несколько месяцев, и развернулся страшный скандал, потому что, сидя на уроке, Саша Козьменко внезапно сорвал с себя галстук, достал принесенный из дома нож и разрезал галстук на кусочки с криком «долой этой красное ярмо». Вся школа стояла на ушах. Пятый или шестой класс.

Его тут же исключили из пионеров. Я подумал:

— Круто, какой молодец! Это же надо!

Но не мог я ему простить, что он сдал наши планы. Мы их конечно не проговаривали, он их сам на ходу изобрел. Я против этого ничего не имел, но зачем ментам излагать?

Длительный период общение было табу. И классе в шестом, бесцветном, провальном классе, который ничем не запомнился, неожиданно на перемене подходит Саша. Это уже меня немножко встряхнуло, потому что мы долго не общались. Он говорит:

— Знаешь, ты когда-нибудь задумывался, чем становятся наши души после смерти?

Я говорю:

— Нет, а что?

— Понимаешь... жизнь — она ведь совершенно не имеет никакого смысла, потому что мы умрем, и после смерти наши души становятся пучком лучистой энергии, которая вылетает в открытый космос, в вакуум. Там эти пучки лучистой энергии летят в бесконечную, вечную, бессмысленную даль среди холодной пустоты, среди искрящихся далеких, абсолютно равнодушных звезд. Пучки лучистой энергии, которые никогда не обретут покоя, не вернутся и не воплотятся ни во что.

Это произвело на меня страшное впечатление! Для меня тут же померк свет дня — в буквальном смысле. Я ходил по переменке кругами и не мог думать ни о чем другом. На второй перемене я стал думать о самоубийстве. Пучки лучистой энергии не покидали меня. Я вышел на улицу и бродил вокруг наших кварталов, вокруг Остоженки, по Кропоткинской; я думал, что жизнь бессмысленна, раз мы превращаемся в пучки лучистой энергии, вынести это было невозможно.

И вдруг навстречу мне идет Миша Экерев, ковыляя и припадая на одну ногу, которая у него была короче другой.

Миша Экерев — странный парень, инвалид, колченогий с рождения. Сероглазый. Из старой дворянской семьи Экеревых. Экер и Сувор — две шведских семьи, переселившиеся при Михаиле Федоровиче. Из Сувора произошел Суворов, а из Экера — Экерев.

Их было два брата: один учился в ИВЯ (Институт восточных языков) на арабском с французским отделением, а он, Миша, учился в моем классе. Умненький! Все его любили, очень правильный. Всё он банально, но правильно говорил, знал, отвечал. И учителя его любили, и девочки, и все его жалели. Всегда дружелюбный, но в меру.

И я ему говорю:

— Миша, слушай. Я хочу с собой покончить.

— А что такое? Что случилось?

— Да вот, ты понимаешь, мы, оказывается, пучки лучистой энергии! Помрем и будем лететь в бесконечной холодной пустыне. Мысль эта невыносима! Хочу покончить с собой.

— Ты знаешь, — говорит Миша, — я тебе на это вот что могу сказать: я тебя понимаю. Но ты подумай вот о чём. Оптимист видит целый сыр, а пессимист только дырки.

Как ушат воды на меня вылили. Эта фраза нанесла такой удар по моему состоянию, что я внезапно опомнился, заморгал глазами и подумал:

— Какая чушь!

Действительно, бред полный. Пучки лучистой энергии... Бывает же такое...

Наваждение мгновенно прошло. Саша Козьменко навел на меня это наваждение, а Экерев, невероятно пошлый человек, которого все обожали за его свехбанальность, с меня это наваждение снял. Я его обнял и говорю:

— Спасибо, Миша!

— За что?

— Да ты сам не знаешь. Спасибо.

— Ну, всегда готов.

И представьте себе, через ряд лет, когда мы уже окончили школу, меня выгнали из университета, уже выгнали из армии, уже жил я с Леной на Гагаринском, иду я к Дому ученых. Миша жил напротив Дома ученых в огромном доме, который сейчас забрали подо что-то ВПКшное³⁶. Иду, и навстречу мне колченогий Миша Экерев, слегка заросший, слегка небритый, и в руках у него огромная бутылка портвейна 0,8. Я открываю широко глаза и говорю:

— Миша, ты ли это?

Он говорит:

— Да, привет.

— Как рад, что тебя встретил. Ты что делал всё это время?

— Да ничего, учился, всё нормалек.

Он говорил незнакомым мне языком, прежде очень корректный, из старой культурной семьи.

— А где учился-то?

— В Институте стали.

— А что ты сейчас делаешь?

— Мастер смены на заводе.

— И что ты собираешься с этим портвейном делать?

— Да ничего, сейчас пойду и дома разопью.

Я пребывал в шоке: не ожидал, что из протюканного, умненького мальчика, сторонившегося любых эксцессов, выйдет такая странная пародия на пролетария.

Брат его, здоровый красавец, кончил ИВЯ, получил назначение в Алжир, делал карьеру в ЦК комсомола и быстро умер от рака крови. Когда мы были совсем маленькими, он учился в 10 классе. А когда я поступил в ИВЯ, он его заканчивал, был на последнем курсе и умер вскоре после этого. Несчастливая семья: у одного ребенка белокровие, другой колченогий.

С Козьменко мы после 12–14 лет контактировали мало, разошлись. А потом я узнал, что он поступил во ВГИК, стал режиссером. Потом его посадили.

И вот я как-то снимался в фильме у одного югославского режиссера, и во время перерыва сидел с оператором, студентом ВГИКА с четвертого курса (а на дворе 1980 год), и заговорили о судьбах советской кинематографии. Ну этот, конечно, как всегда — звезда, гений, четвертый курс, новое поколение.

Он говорит:

— Всё — лохматое дерьмо, ерунда. Но губят же, губят звезд. Вот был один режиссер, гений, и того загубили и посадили. А он обещал реабилитировать весь советский кинематограф.

— Правда? А как зовут? — спрашиваю.

— Был такой Козьменко. А ты что, его знаешь?

— Так мы друзья детства, соседи по дому.

— Да ладно! Ты его сосед? Ты его знаешь? Да ты знаешь, он — гений, вся киномолодежь на него молится.

— Правда?

— Ты еще спрашиваешь? Это вообще что-то, но совок его сломал.

Потом я встречал Сашу, он всегда был пьян. Иногда, когда я жил на Мансуровском, я слышал его ругань и вопли снизу. Девки у него

были красивые — как всегда у режиссеров, несмотря на то что он уже в хлам деградировал. Девочек он подбирал, говоря примерно такое:

— Я сделаю из тебя звезду, — как режиссеры обычно делают.

И делал — они были несчастны все.

Однажды я к нему зашел. Он дал мне кассету и говорит:

— Посмотри. Мой фильм 1988 года. Считаю, неплохо получился.

Это уже были 90-е — 1995, наверное. Я пришел домой, поставил. Это была сепия, не цветной, с желтизной, коричневатой. Экранизация Леонида Андреева ³⁷, как один жандарм попал во время революции 1905 года на баррикадах в плен и сначала ждал, что его расстреляют, потом начал помогать строить баррикаду, а потом его молодой рабочий, который к нему относился с большим недоверием, повел в штаб, а по пути они попали в разъезд казаков с офицером, и тут же жандарм завопил и сдал рабочего, что он с баррикады, и с удовольствием дирижировал его расстрелом. Рассказ яркий, о том, что легаш — всегда легаш. Я бы не сказал, что шедевр, я видел советские фильмы и поярче, и получше, но что-то в нем было.

Потом говорили, что он занимается документальным кино, член гильдии кинематографистов.

Посадили его по политической статье. А там, видимо, с ним плохо обходились.

Пытали и, как говорят, сломали ему ногу, потому что он хромал после лагеря. Бросили бревно на него при разгрузке вагонов. Запытанный, он всю дорогу пил, когда вышел.

**Юрасовский. Княжна Грузинская. Ненависть к советской
власти. Быть рыцарем. ИВЯ. Круг исторического
факультета. Володя Александров. Алла Стерлинг. Алла
Циммерман**

Другая интересная линия продлилась много дольше — Леша Юрасовский.

Его семья связана с нашей странными нитями.

Бабушка Юрасовского, княжна Грузинская, служила секретаршей у Крупской, как и Стасова, дружившая с моей бабушкой.

Княжна Грузинская вышла замуж за Ханевского, детского доктора и семейного врача в нашем доме.

Княжна Грузинская была очень красивая женщина, приятная, милая, правильная. Похожа на мою бабушку, только бабушка — казак в юбке, довольно брутальная. А эта — вся зефирная, но консистенция у них была общая. Даже завитки какие-то общие. Бабушка была просто казарменным изданием этой княжны.

Но бывали и странности. Как-то, когда я учился в 10 классе, княжна Грузинская звонит и говорит:

— Я хочу вас обрадовать очень хорошей новостью. Вы знаете, принято решение, что мальчики из хороших семей будут приниматься в университет без экзаменов.

— Да, это новость хорошая, — говорю.

От этого брака доктора и княжны Грузинской родилась Ирина Александровна, которая вышла замуж за Владимира Юрасовского.

Ирина Александровна преподавала музыку в Гнесинке или в консерватории. Хищная, красивая, с четкими чертами, и видно, что стерва. Плохие отношения были у нее с сыном Алешей.

Владимир Юрасовский принадлежал к старинному дворянскому роду, появившемуся на Руси при Алексее Михайловиче. Шляхетский литовский род с крутым и сложным гербом, где есть несуществующая птица Гранодрант или нечто в этом роде. Он жил в бывшей

холостяцкой квартире тестя, на первом этаже, окнами на итальянское посольство в Денежном переулке, недалеко от книжного магазина.

Они недолго прожили вместе, развелись, но сохраняли отношения.

От брака Владимира Юрасовского и Ирины Александровны Ханевской появился мой школьный друг, с которым мы дружили некоторое время и после школы, Алексей Владимирович Юрасовский.

В квартиру к отцу постоянно шастал Леша, и я заходил.

Там имелось много разных прикольных вещичек, включая гильотину для сигар. У него был даже камин. Всякий раз, когда Юрасовский-старший встречал на Пречистенке меня, десятилетнего мальчика, он снимал шляпу и раскланивался. Один из случайных просветителей, Юрасовский-старший, своими д'артаньяновскими манерами и стилем открыл мне специфическую тайну.

В младших классах школы Леша не вызывал у меня особого интереса. Он был похож на верблюжонка. Но некоторая породистость прослеживалась. В те годы он походил на известную фотографию Набокова, где Набоков с голой шеей и закругленным носиком.

Во втором классе случился эпизод. Я лежу в детской, собираюсь встать. Входит Анна Тимофеевна, наша домработница, и говорит абсолютно как бы из чистого неба:

— А ваш Юрасовский — *яврей!*

Почему «наш»? Откуда она его знала? Я о нем даже не думал, а она мне почему-то о нем сообщила. Ну и как бы это гвоздем во мне засело. Прихожу в школу, и что-то свербит во мне и свербит. Я поднимаю руку. Надежда Алексеевна Петрова, наша учительница из Украины — коса намотана, как у Леси-Украинки, под которую Тимошенко косит. Только шатенка.

Я поднимаю руку, она спрашивает:

— Что тебе?

Я встаю и говорю:

— Надежда Алексеевна, а Юрасовский *яврей*, — и смотрю на его затылок, окаменевающий и как бы вырезанный из другого измерения и вставленный в это пространство, как аппликация. Он не пошевелил головой ни влево, ни вправо, не оглянулся.

Опытный педагог, она велела мне садиться и, не обращая внимания, дальше что-то продолжила рассказывать.

Эпизод забылся.

Потом что-то нас стало сближать. Я же был крайне правый. С одной стороны, профашистский, а с другой — глубоко антисоветский.

Что-то мне показалось в Леше близким. В 14 лет я стал к нему захаживать в гости и как-то говорю ему:

— Леша, я вот ненавижу советскую власть. А ты?

У него лицо вытянулось, и он отвечает:

— Я люблю советскую власть. Я к ней хорошо отношусь.

— Да брось, я же вижу. Мы с тобой одного поля ягоды.

— Нет, ты что-то не понял. Ты не прав, не прав.

А учились мы вместе с первого класса, и у нас в младших классах была общая любовь — «Айвенго». Мы оба читали «Айвенго», мы обожали эту книгу. Фехтовали на переменах на невидимых мечах — такая игра у нас была.

В «Айвенго» я любил по-настоящему только один эпизод, когда еврей Исаак заглядывает в комнату, где стоит Айвенго, тот наклоняется, и у него из-под плаща сверкают золотые шпоры. И Исаак понимает, что паломник на самом деле рыцарь.

Меня пробирало до дрожи, и у меня тогда созрела мысль, что мой путь определен: я хочу быть рыцарем, потому что кроме как рыцарем никем не имеет смысла быть.

Когда меня спрашивали «кем ты хочешь быть?», не мог же я этой сволочи ответить, что хочу быть рыцарем. Я отвечал, что хочу быть историком, изучать Средние века. Пошлая сволочь обычно говорила,

что Средние века уже давно изучены. Ну что же, я буду их изучать по новой. Но про себя я знал, что я хочу быть рыцарем. Не представляю, имел ли это в виду Юрасовский, был ли он настолько безумен и романтичен. Думаю, не совсем. Но очень долгое время между нами ничего, кроме «Айвенго», не существовало.

И вот я ему говорю:

— Леш, ты мне зубы не заговаривай. Я знаю, что ты антисоветчик, ты ненавидишь советскую власть. Поверь, я ее тоже ненавижу. Это не провокация, я никому не скажу.

И тут его прорвало, и он говорит:

— Да, да, да, я ее ненавижу! Ты прав. Ненавижу за то, что они сделали с нашим классом, классом господ! Эти грибы, эти недочеловеки, эти хамы!

Если в младших классах нас более всего объединяла книжка «Айвенго», то в более старших такой объединяющей книжкой стало «Хожение по мукам» Толстого и вообще Алексей Толстой, его вкус художественного слова, который нам передавал неповторимый аромат гражданской войны.

А как знал будущий историк Леша Юрасовский гражданскую войну!

Он обладал огромной библиотекой, начиная от воспоминаний Буденного. Он знал этот период истории в нюансах — ложь, правду, Романа Гуля³⁸, кубанских казаков-автономистов³⁹, изданных в Париже, — всё-всё он знал.

Он был монархистом, ну и я из солидарности тоже примкнул к нему, хотя мое сердце с 12 лет лежало совершенно на другой стороне. Мои симпатии не были связаны с традиционалистским прошлым.

Как-то мы стояли у Дома ученых... И вдруг он мне говорит:

— Знаешь, что я хочу тебе сказать. Я ненавижу евреев. Просто ненавижу.

Я был удивлен, ничто не предвещало этой темы, мы их раньше не обсуждали. Да и такой накал чувств был мне не понятен.

Ну, говорю:

— Понимаю, да.

Леша терялся перед любой острой ситуацией. Он мечтал поступать в ИВЯ, потому что любил тему наемников — «диких гусей», Майкла Хоара, Боба Денара, Катанга, Конго. Он хотел изучать суахили — это соответствовало его романтической тяге к Африке, где настоящие люди нанимались воевать. Но как поступить в ИВЯ? Это же сложно, туда же хрен примут. Ходили слухи, что это очень крутое место.

Он ни секунды не верил, что я смогу туда поступить. Про себя же он, очевидно, думал так: я буду поступать и не поступлю. Куда после этого? В армию? Что же, конец жизни? И он решил поступать в исторический, куда, он думал, поступит наверняка, но неуверенность в себе его была настолько велика, что он даже в дневной исторический не решился поступить. И он стал поступать на вечерний.

Для этого он куда-то устроился как бы работать, чтобы потом перевестись на дневной — выстлать себе всё соломкой. Так он предал мечту своей жизни, этот чертов суахили, и компенсировал тем, что завел себе любовницу с моего курса, которая училась на суахили, красивую девчонку, очень приятную, шикарную. Но проблема в том, что она была дочкой референта ЦК. И он из этого устроил балаган, что вот-де продался.

Я как-то прихожу к нему, а он сидит в трусах в позе лотоса на раскладушке, в руках банка черной икры, он ест ее ложкой. Смотрит на меня, как говорят американцы, shitfaced, косо и ухмыляясь, и говорит:

— Дворянство продается.

Мусолил этот цветочек, а потом избил ее и выгнал. Плетью избил. Хорошая девчонка, жалко ее.

Поступил он на истфак, где сложился круг, куда я тоже заходил, хотя это было не очень интересно. Там Володя Молотников учился,

занимавшийся реформой Александра III по черте оседлости.

К этой компашке близко примыкал Володя Козловский, мой главный ненавистник в университете, с хинди, и Володя Александров, сын министра культуры, которого выгнали за «дело Профьюмо»⁴⁰, а на самом деле за «дело Александрова»⁴¹. Александров-старший, знаменитый министр культуры, член-корреспондент академии наук, философ. При Хрущеве в 1955 году то ли «Фигаро», то ли «Штерн», то ли «Шпигель», то ли «Бильд» дальним объективом заснял его с девками на даче через забор, с сосны. Его сняли, был большой скандал. И он вскоре умер.

А жил Александров в шикарной квартире на Тверской, не доходя до Пушкинской площади. И мы там часто собирались еще с последних школьных лет, сидели в небольшом кабинетике, забитом книгами под завязку. Галича слушали. Бормотали себе под нос что-то типа «Мадонна шла по Иудее...»

Леша закончил свой истфак и на два года ушел в армию офицером.

Направили его в Туркмению, в Мары, переводчиком при сирийском ПВО. Там проходили подготовку арабские части ПВО, ну и он служил переводчиком с английским языком. Английский он изучал у настоящей бонны, учившей его языку с пяти лет. Поэтому английский язык он знал хорошо и всё время оттачивал фонетически — других талантов-то нет. Мы читали английские книжки, американские триллеры, детективы, обменивались тогдашними хитовыми авторами. С конца школы я русские книжки вообще не держал в руках.

И вот он как-то раз, уже пьяный, говорит мне:

— Скажи мне, вот ты должен знать. Когда я умру, я там буду знать английский язык или забуду?

Еврейские девчонки нас почему-то очень любили.

У меня была фанатка Алла Циммерман, она встретила меня, когда я вернулся, выгнанный из вооруженных сил, шел по Садовому

кольцу, и вдруг такая сочная с высоким бюстом и пылающими черными глазами Эсфирь меня останавливает, называет по имени:

— Не узнаёшь?

— Нет, — отвечаю я.

— Ну, я Алла Циммерман, я на тебя смотрела с обожанием еще пять лет назад, была в тебя влюблена.

Алла Циммерман — занятное существо.

Она к Леше тоже неплохо относилась. Как-то пригласила нас домой. А дом у нее на углу Садового и Пречистенки. Там палисадник небольшой. Мы поднялись, весело болтаем ни о чем в комнате, не садимся, стоим. И вдруг заходит ее отец, еврей из тех, что в американских фильмах любят показывать в качестве старого ЦРУшника или генерала типа Моше Даяна. Со впалыми щеками, костистое лицо, обнаженный взгляд тяжелый.

— Это кто? — спрашивает он у Аллы.

— Мои друзья.

— Друзья? А ну пошли вон отсюда.

Ну а мы что, вышли на улицу, стоим. Я думаю: «Вот же гаденыш. Расстрелять!»

А Юрасовский говорит:

— Уважаю таких евреев.

В свое время Циммерман мне сказала:

— Я могу быть постоянной подругой только еврея.

Ну я подумал:

— Была бы честь предложена, не особо-то ты мне и нужна.

Правильно воспитанная еврейка. Отец, заряженный фанатической ненавистью к гоям. Какие-то два гоя пришли к его доченьке. Понятно же, как он к ней относился — как к доченьке любимой. Она ему даже ничего и не сказала, просто тихо нейтрализовалась, спряталась.

Одно дело Алла Циммерман, а то — Алла Стерлинг.

У нас была подруга, очень хорошая девчонка Алла Стерлинг. Она пришла к нам в школу в девятом классе. Компанейская, настоящая, правильная подруга, но ничего особенного — рыжеватая, веснушчатая, с зелеными глазами, очень компактная. Мать ее была в свое время в Гяндже врачом. Она даже говорила немного по-азербайджански. Алла Стерлинг поступила вместе со мной в ИВЯ. Ее распределили на японский. Единственная выступила в мою защиту, когда комсомольское собрание курса принимало решение исключить меня из комсомола и просить об исключении из университета. Выступила и сказала, что все сволочи.

Заканчивая университет, Юрасовский парадоксальным образом сблизился с Аллой Стерлинг, и они стали жить вместе. Типа того что она его невеста. Когда Юрасовский ушел в армию, Алла осталась в его квартире на Кропоткинском переулке, в двух шагах от финского посольства. В том самом доме, который его дед снял еще в 1916 году. Он мне показывал акт нанимания этой квартиры.

Ушел Леша в армию, а Алла осталась жить в его квартире и ждать его. Я к ней часто заходил, мы сидели, беседовали. Она от Леша письма получала.

Как-то я у нее поинтересовался, откуда она взялась. Ну, говорит, мои предки были банкиры, ростовщики, отсюда и фамилия — Стерлинг.

Острая девушка.

Когда он вернулся, то быстро с ней разругался и со скандалом изгнал — «потому что она еврейка». Но почему тогда ей столько времени голову морочил — непонятно. Она потом уехала, кажется, в Америку.

Когда я встретился с Мамлеевым и кругом Южинского, Леша выделился в особый камерный подмир, который я не допускал к контакту с большим, основным миром, миром Южинского. Они, как огонь и вода, были несовместимы — Юрасовский в том круге выглядел бы фриком, при этом он бы воспринимал фриками всех остальных. И я старался держать их отдельно.

Он много знал, был эрудит. Он был интересен неожиданными барственными выкрутасами, которые заставляли смеяться или приводили в хорошее расположение духа. Но всё это было заемное и повторялось как на заезженной пластинке. Одни и те же выражения, одни и те же шутки.

Так что Лёша Юрасовский пучком лучистой энергии улетел в бесконечность. В какой-то период я понял, что с меня хватит, и перестал с ним поддерживать отношения.

Я попытался найти его в интернете. Он в Дворянском собрании, занимается исследованием усадеб. Прочел его письмо — ответ читательнице, та рассказывает историю о какой-то усадьбе, где некий наполеоновский пленный, граф, состоял не то управляющим, не то еще кем-то. Она задает вопрос, а Лёша подробнейшим образом описывает историю усадьбы, графа, его потомков.

Это большая дружба моего раннего детства — Козьменко, и позднего — Юрасовский.

Образование и школа. Сочинение по Чернышевскому. Учителя. «Анти-Дюринг». Мао Цзедун и ревизионизм совка. Программа коммунизма. Смершевец и погром 12 апреля 1961 года. Массовый опыт психоза как опыт свободы

Я задним числом пытаюсь определить, какую роль в моей жизни сыграла 50-я школа, потому что уже довольно давно я задаюсь вопросом, что такое образование, в каком смысле я был образован или не образован, сформирован или не сформирован, и если сформирован, то чем.

Сказать, что я получил высшее образование, я не могу, потому что я слишком недолго учился в университете.

Получил среднее образование?

Всё, что я знаю, не пересекается со школой никак.

Читать и писать я научился до школы, всю русскую литературу изучил за счет самостоятельного чтения, убегая с уроков.

Не могу сказать, что школа приучила меня к какому-то организованному интеллектуальному труду. Под давлением бабушки, временами довольно агрессивным, я занимался тупой зубрежкой без усвоения скучного и неинтересного мне продукта.

А было бы то же самое, если бы я вообще не ходил в школу?

Математику и физику я точно знал бы гораздо лучше, если бы занимался исключительно самообразованием в этой области.

Ну а всё остальное — там тоже ведь скромные форматы.

Единственный из крупных написанных мною в школьные годы текстов — анализ работы Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности». Сначала я эту работу тщательно изучил с карандашом. Она мне показалась убогой. Она полностью, по всем пунктам противоречила основным трендам во мне. Но там был некоторый идеализм, потому что, насколько я помню, Чернышевский

считал, что жизнь должна учиться у искусства, а не наоборот. Он не был соцреалистом⁴². Может быть, это меня заинтересовало.

В общем, я написал работу. Я писал ее долго, и она заняла тетрадь на 12 листов, а может быть даже на 24 листа, мелким убористым почерком. Разбил ее на главы...

Мне в то время казалось, что я проделал большую работу. Я показал ее нашей учительнице русского языка и литературы Светлане Сергеевне. Последовала осоловелая и отупляющая реакция.

Она неплохо ко мне относилась — милая, напоминала героинь тогдашних советских фильмов в стилистике ленты «Летят журавли». Носик вздернутый. Жена мента. Она входила в класс и не снимала шапки. Была очень неприятная привычка у советских барышень — в помещении не снимать шапку. И вот она могла урок вести, и не один урок, не снимая свою заячью шапку. Так в шапке и преподавала. Серая юбка в обтяжку, тонкий свитерок и меховая шапка. Я ненавидел эту ее манеру.

Обычно, вспоминая школу, говорят о педагогах, приучивших кого-то к глубинному диссидентскому пониманию русской литературы. Должен отыскаться Роман Якобсон⁴³, который делится с избранным кругом особо интеллигентных учеников.

Не было такого. Русской Светлане Сергеевне было далеко до интеллигентного еврея. Хорошая девушка, симпатичная, но занята своей жизнью.

Из старорежимных выделялась только Антонина Андреевна. По возрасту она должна была когда-то учиться в гимназии, на вид она была чуть ли не старше моей бабушки. Высокая, сухая, с красным лицом, выступающими на шее жилами. Выглядела она как классная дама из старорежимной гимназии. В моем пятом классе — у нас был 1958–1959 год — конечно, она вполне тянула на 1890 год рождения.

У нее был бзик: она требовала, чтобы мальчики не опускали руки под парту: она очень боялась, что они под партой будут заниматься онанизмом. Такой бзик присутствовал, в основном, у дореволюционных теток, они на этом помешались.

И как-то раз, в один из первых уроков, когда она только начала у нас вести занятия в пятом классе, я отвечал что-то у доски и вдруг получил «пять», сам того не ожидая. Это была моя первая и последняя пятерка по математике за все школьные годы. Не понимал я абсолютно ничего в этой математике и в этой физике.

Две преподавательницы сыграли роль в моем формировании: одна — учительница истории, а другая — учительница обществоведения.

Лидия Ефимовна вела обществоведение — гомерическая идиотка, о ней легенды передавались из класса в класс, из поколения в поколение. Всё ее образование — педагогический техникум, который она закончила примерно в 1928 году. А мы учились в 60-х.

Она не знала ничего. Она постоянно вела диктанты по съездам, по истории партии и диктовала она примерно так: «Пишите, большими буквами: “В”, “К”, “П”, и в скобочках маленькая “б”»⁴⁴.

Как-то раз я поднял руку и говорю:

— Лидия Ефимовна, давно меня беспокоит такой вопрос: вот есть «Анти-Дюринг», а что такое Дюринг?

Она мне отвечает:

— Джемаль, ты вечно задаешь абсолютно идиотские вопросы. Такого слова «дюринг» нет, есть «Анти-Дюринг» — это название работы Энгельса.

Класс грохнул. Никто «Анти-Дюринга» не открывал, но даже эти мои одноклассники, не страдающие избытком интеллекта и эрудиции, поняли, что она сморозила чушь. Я пребывал в шоке, потому что эта книжка интересна тем, что когда ее открываешь, то на самой первой странице самая первая фраза Энгельса — о Евгении Дюринге, профессоре, против которого эта книжка написана.

Я ее всё время разводил на то, что защищал Мао Цзэдуна. У меня была такая фишка: как только урок Лидии Ефимовны, я поднимаю руку и говорю:

— Лидия Ефимовна, а ведь Мао Цзэдун прав: руководство Советского Союза — это же ревизионисты, отошедшие от марксистско-ленинского учения. Мао Цзэдун прав: ядерная бомба — это бумажный тигр. Ну неужели непонятно, что если одна половина человечества погибнет, то другая-то половина будет жить при коммунизме, как говорит товарищ Мао Цзэдун. Разве это не достойная цель?

И всё, урок на этом заканчивается.

Лидия Ефимовна говорила:

— Сдвиньте парты, дети. Давайте посадим Джемаль у окна, сейчас все будете с ним спорить. Джемаль, садись у окна, класс тебя сейчас будет ставить на место. Так, кто первый? Давай, Джемаль, выскажи свою позицию.

Я говорю:

— Половину человечества — в топку, другую — в коммунизм.

— Так, Шмелева.

Поднималась Шмелева, дочь майора, с большой родинкой на щеке, такой одуванчик, и говорит:

— Гейдар, конечно, абсолютно неправ, потому что марксизм-ленинизм — это же всё ради человека. А зачем нужен такой коммунизм, при котором половина человечества исчезнет в атомном огне? Это я заявляю, как дочь офицера...

Потом я еще что-нибудь вбрасывал, и до звонка все были упакованы. Все обожали, когда я устраивал такие представления, потому что урока нет, и Лидия Ефимовна даже забывала нам что-то задать.

Историчка Ева Яковлевна была более профессиональным преподавателем, более адекватной. Грузненькая, плотненькая, затянутая в платье с шелковым блеском, черные гладкие волосы заплетены в косу.

Она меня обожала:

— Гейдар, вы будущая звезда. Я на вас очень надеюсь.

И всегда лучилась, когда меня видела.

От нее ничего уникального не запомнилось, такого бреда, как от Лидии Ефимовны, я от нее не слышал.

Лидия Ефимовна что-то говорит и вдруг ненароком попадает в гомосексуальную тему. Класс начинает хохотать, а она говорит:

— Мальчики, не надо смеяться, все вы познаете радость материнства.

И класс уже ревет.

Классика типа «я как мать говорю и как женщина», «израильская военщина»⁴⁵ просто сыпалась из этих людей. Сочетание, исчерпывающе определявшее этот человеческий срез, с учетом физика Нила Палыча, дошедшего до Берлина капитаном артиллерии.

Физик меня не любил — Нил Павлович, член партии, парторг, запьянцовский товарищ.

А учителем физкультуры у нас был бывший смершевец⁴⁶, похожий на обезьяну, всё время ходивший в школе в обвисшей спортивке светло-сине-салатового цвета с белыми кантиками. Рожа у него была как у орангутанга.

И вот во время урока физики приходил смершевец к Нилу Палычу, Нил Палыч тут же давал нам контрольную, и эти два ветерана шли в лабораторную комнату, запирались и пили 95-градусный спирт, который там стоял для опытов. Выходили только со звонком, красномордые. Случалось это часто.

Нил Палыч меня не любил, и черт его знает за что. Я как-то отвечал у доски какие-то формулы, но никакой связи с этими формулами у меня не было. Я ему говорю:

— Нил Палыч, что-то не идет у меня.

— Ну хорошо, садись, «два», — отвечает Нил Палыч.

Я говорю:

— Нил Палыч, ну а почему бы не «три»? Ну, в принципе, вы же понимаете, что «два» как-то банально. А вот если «три» — то на моем-

то уровне будет очень даже экзотично.

А он говорит:

— Ты ведь турок?

Я отвечаю:

— Да. — С гордостью.

— Не еврей?

— Нет, я не еврей.

— Ну вот и веди себя как турок, а не как еврей. Садись, «два».

Интересный человек по-своему.

Когда в 1961 году появилась программа партии⁴⁷ (классе в восьмом или девятом я учился в это время), с лозунгами, что «наше поколение будет жить при коммунизме через 20 лет», я воспринял эту программу как признание стратегического исторического поражения советской власти, что вызвало у меня, конечно, восторг, потому что я ее ненавидел.

Советская власть в этой программе сама расписалась в том, что она купила себе веревку, намылила и еще выдает ее за шелковый галстук.

На одном из уроков Нил Палыч вдруг стал комментировать эту программу и сказал:

— Ну вот четко обозначены главные задачи и цели без всяких дураков. Вот что главное — брюхо набить, это стратегическая задача коммунистической партии.

Со мной рядом сидел маленький зашуганный Дружинин, с которым я одно время дружил. И он мне шепотом говорит:

— Сами признаются и не стесняются.

Он уже был мной слегка подучен, но и без того он был довольно забавный, читал фрейдистов 1920-х годов.

У меня сложилось так, что по точным наукам у меня было «два» или, в лучшем случае, «три», химия — иногда «четыре». А по всем

гуманитарным — русский язык, литература, английский, география, история — «пять».

После школы я заинтересовался математикой, но со своей, философской точки зрения. Стал изучать топологию, математический анализ, теорию чисел. Встретился с людьми, кое-что мне подсказавшими. Передо мной открылся новый мир. Я понял, что всё, что мне излагали в школе — полный бред, который освоить вообще нельзя.

Что касается физики, у меня тоже не было зацепления с ней. Хотя потом я интересовался и физикой под своим углом.

Много лет спустя после школы мы зашли с Лешей в магазин на Пречистенке и встретили Нила Палыча, сильно постаревшего и превратившегося в бомжа. Он узнал нас и попросил денег.

Бравый капитан, говоривший мне «Ты же турок, садись, “два”», пивший спирт со смершевцем, — пил, пил и опустился. Он был парторгом. Может быть, по партийной линии неприятности были, может, его исключили за что-нибудь.

Смершевец мне запомнился особо.

С утра 12 апреля 1961 года стало известно, что человек полетел в космос, и началось полное безумие. Как только в школе узнали, что человек в космосе, все сразу почему-то стали бить окна и выбрасывать парты во двор.

Гагарин летал час. Мы не знали, как он взлетел, как летал.

По радио говорит Левитан:

— Сегодня впервые человек вышел в космос.

Это разошлось мгновенно и разошлось, как известие о начале войны.

В данном случае психологическая уникальность в том, что старшеклассники, и вместе с ними вся школа, сошли с ума. Как в карго-культе — всё отменилось.

Карго-культы — это когда туземцы решают, что наступило эсхатологическое время, отменяются законы, и теперь всё можно:

спать с чужими женами, есть все запасы, делать, что хочешь. В 1961 году я про карго-культы не знал, но я видел их в реальности.

Парты выкидывали в окна. Толпа с ревом повалила наружу, бросив уроки. Непонятно, что случилось бы дальше, но внизу лестницы стоял смершевец в обвисших трениках с обезьяньей красной рожей. Короткими ударами он вырубал десятиклассников и кидал их через перила в лестничный колодец (не глубокий, там же первый этаж).

Он в одиночку остановил громадную толпу ражих молодцов, которая валила на него. Вырубал и бросал, вырубал и бросал. До тех пор, пока остальные не начали тормозить, подавать назад. Человек десять он вырубил на моих глазах.

Я оставался наблюдателем. Мне же интересно было, чтобы дальше это всё продолжалось, чтобы летели парты, бились стекла, народ сходил с ума. Хотя я в этом не участвовал и не заражался всеобщим безумием, но ощущение смыслового сдвига присутствовало. Я чувствовал сдвиг, вызванный выходом человека в космос.

То, чего не может быть, вдруг стало. Как будто старик Хоттабыч появился реально.

Погром я приветствовал, но, к сожалению, смершевец действительно оказался опытным смершевцем, остановил поток.

Яркое воспоминание.

Во-первых, я увидел, что такое массовый психоз. Во-вторых, я увидел, что я не подвержен массовому психозу. В-третьих, я почувствовал качество массового психоза, на каких дрожжах он поднимается. Это сдвиг в смыслах, нарушение причинно-следственной логики. Человек бросает яблоко, а оно, вместо того чтобы падать, улетает вверх. Это нарушение законов. Нарушение законов является сигналом освобождения, сигналом разрыва обреченности, привязанности к гравитации. Отменяется гравитация, а гравитация — это судьба, рок, стекание всего в черную дыру.

Но есть социальный момент психоза — я так тогда не формулировал, но инстинктивно почувствовал, что тайна психоза в том, что он связан со свободой. Массовый опыт психоза — это

переживание толпой опыта свободы. Не разврат или поездка с девками на шашлыки, поход в баню. Это именно свобода в серьезном онтологическом смысле.

Горбун. Сережа Дружинин. Лева Цинтлер. Дружинин-старший и его сестры-монахини. Нора Вайсфельд

Еврейская тема присутствовала в моей жизни с самого детства. Прежде всего потому, что подвалы в домах в моем районе, на Мансуровском, густо заселили в основном евреями, убежавшими от войны из западных областей СССР. Натуральные хорошие кондовые евреи, говорившие, гортанно перекликаясь, с сильным акцентом, — у них всё время шел дым коромыслом, они били тряпками своих детей, гонялись за ними по двору. «Гевалт» имел место.

Наиболее яркой для меня фигурой, когда я был маленький, пяти-шести лет, был горбун — несчастный молодой человек с типичным, очень красивым лицом, внешне напоминающим актера или певца Морфесси, что-то такое. С большими черными глазами и с мешками под ними, с идеальным пробором в черных блестящих волосах. Он ходил в коричнево-бежевом пальто.

Горбун в хорошем пальто, очень длинном, говорил скрипучим голосом, который меня пугал. Он не мог выговорить мое имя. Когда он меня видел, он говорил что-то вроде «Гидарэээ» и делал вид, что идет за мной. Я от него убегал со всех ног, потому что он мне внушал непреодолимое отвращение и ужас.

В пятом-шестом классе у меня образовалось два любопытных контакта среди одноклассников.

Мой приятель Лёва Цинтлер — здоровый, плотный, рослый для своих лет, курчавый. Из совсем простых.

Сестра Лёвы Цинтлера — стройная девушка старше его, со сросшимися бровями, красавица, строгая, очень серьезная, с легким пушком на губе. С величавым видом она ходила под руку с подругой.

Лёва Цинтлер на каждой перемене подходил к сестре и, пятась перед ней, давал ей отчет: «Я нашалил, мне сделали запись в дневнике, я получил тройку».

А она шла и, глядя перед собой, говорила: «Очень плохо, Лёва, очень плохо».

Иногда немного расширяла: «Ты же знаешь, Лёва, как родители выбиваются из сил. Как же ты смеешь, Лёва. Очень плохо». И даже на него не смотрела, как вор не смотрит на фрэера. А Лёва что-то частил, бормотал, потом отходил от нее и облегченно вздыхал.

Меня поражало его поведение, его боязнь старшей сестры. Ни один лейтенант так не трепетал перед генералом, как Лёва трепетал перед ней.

Однажды он меня взял к себе в гости.

Жили они в Померанцевом переулке. Там есть здание, где родился историк Соловьев, — бывшая гимназия, в которой сейчас Московский ИнЯз им. Мориса Тореза⁴⁸. Если пройти сквер перед ним, то можно найти угловое массивное темно-серое здание. Оно выходит углом в сторону эстакады на конец Остоженки и другой стороной — в Померанцев переулок.

На шестом, кажется, этаже, в коммуналке, у них была комната. Длинный и полутемный коридор с подвешенными по обеим сторонам велосипедами. Сейчас это как греза, образ из другого мира.

Мы проходим к комнате. В ней полумрак и пятна света. Мать лежит на софе, под ней подушки, и она нам милостиво кивает.

Отец, плешивый коротенький человечек, на локтях и коленках ползает по полу, где разложены на вырезанных из газеты лекалах куски размеченных мелом драповых элементов будущего пальто. Портной, после трудового дня в советском ателье за зарплату всю ночь работавший на заказы для клиентов, чтобы дать детям образование⁴⁹. Он не обращал на нас внимания, на шее у него висел сантиметр, а в зубах кусок мела, который он время от времени вынимал и что-то чертил. Где-то рядом ножницы, и он всё ползал среди элементов своего ремесла.

Бедняки самого бедного разбора — из тех, что едят по праздникам гороховые пироги.

Вот разница с папашей Аллы Циммерман, много лет спустя выгнавшим нас с Лешей из своей квартиры. Этот вообще на нас не смотрел. Папашка Алки Циммерман был военный сухой еврей,

сионист с ненавистью в глазах. А этот — похожий на актера Леонова, который про «редиску» ругался⁵⁰, только еще более невзрачный. Представьте себе Леонова, ползающего с сантиметром на шее по кускам драпа. И понятно, что функции этого папашки были совершенно служебные.

А русский портной — это горе и слёзы.

Много позже оценил разницу.

Начал мне шить один такой. Прихожу на примерку. Он мне предлагает пиджачок. Я его надеваю, и оказывается, что у кургузого пиджака сзади оттопырен хвост, дающий складку, когда его застегиваешь. А материала было навалом.

Я ему заранее объяснял, что не надо скупиться, пусть будет вальяжно, свободно, надо плавать. Он меня десять раз обмерял, и в итоге получилось такое недоразумение. Я ему говорю:

— Ты что сделал?! Я же говорил — свободно.

Он говорит:

— Ну как свободно. Тут максимум свободы, которую может допустить пиджак.

А я так понял, что у русских портных был такой стиль, как Черномырдин ходил, когда его еще не взяли в премьеры. Только-только его пригласили, и он там с папочкой бегал очень бодро. И на его толстеньком теле был пиджак, туго его стягивавший и сзади оттопыривавшийся хвостом. Один разрез, и тот топорщился. Если на талии перетянуть, всегда сзади будет топорщиться независимо от того, толстая задница или нет.

Я говорю:

— Это просто чушь какая-то.

Тот начал спорить — как все русские портные. Я сказал:

— Деньги — назад, костюм я тебе оставляю, можешь его кому-нибудь впарить.

Цинтлер был здоровый рослый парень. Лёва вызывал у меня некоторое любопытство, потому что он был очень определен. И сестра у него тоже очень характерная — Алле Циммерман и Алле Стерлинг за ней бежать и бежать. Не интеллигентные матери, служившие в Гяндже врачами, а уже такой Шолом-Алейхем, «Тевье-молочник».

Цинтлер ушел после седьмого класса.

Такого типа выходцы из низов обычно подавались в Израиль, к тому же он был непоседливый парень, всё время получал двойки за поведение. Он не мог сидеть спокойно, был гиперактивный. Ландау из таких не получают. Для физики надо иметь определенную усидчивость, а Цинтлер — жизнест из простых. В 1967 году мог быть уже убит, если повезло, ушел молодым...

Второй мой приятель — Сережа Дружинин. Его бабушка — бундовка⁵¹, бежавшая с Украины, а отец — инженер из русских купцов.

Жил Сережа Дружинин в доме своего отца в Еропкинском переулке, который был еще домом его дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Деревянный дом, покрытый штукатуркой, когда-то целиком принадлежавший этой семье.

Но там у них осталось всего две комнаты. В одной обитали отец с матерью и бабкой, вечно возлежавшей на рундуке. По-моему, она вообще не говорила по-русски. Я слышал от нее только одну фразу: «Сирожа, иди кушать».

Мать — высокая, статная, красивая, дико неопрятная, всегда в пуху, как после погрома, в перекрученных винтом носках, вечно куда-то стремилась с невероятным безумным выражением лица. Кого бы она ни увидела, кого бы ни встретила, она спрашивала: «Ну как мой Сережа?» А Сережа — задохлик несчастного вида, дико закомплексованный, в общем-то, неплохо знал предмет. Но когда он выходил к доске, совершенно ничего не мог ответить, впадал в ступор, нес ересь, получал тройки.

Дружинина дразнили, зажимали и спрашивали, еврей он или нет. А Дружинин говорил: «Нет, нет, я русский». И тогда его били

портфелями, но, видимо, с разной психологической окраской.

Дружинина я перестал бить портфелем и заинтересовался им.

У него дома были интересные книжки. В частности, профессор Ермаков, последователь Фрейда в 20-е годы в советской России. Дешевые издания начала 20-х годов, томики этого Ермакова. Много еще чего любопытного, но всё в чудовищной грязи. Сесть там было невозможно. Я там всегда стоял, потому что при первой же попытке можно было сесть на котлету, которая лежала на стуле. Всё покрыто грязью, жиром, перхотью, волосами.

И во всё это с работы приходил отец, невысокого роста маленький человек с огромным тяжелым портфелем — примерно с треть него самого. Замкнутое страдальческое выражение лица.

Он входил в черном костюме без единой пылинки, белая рубашка и галстук. Единственная неожиданная вещь в комнате — фортепиано. Дружинин-старший ставил портфель и, не обращая ни на кого внимания, садился на вращающийся стул и начинал самозабвенно играть. Он играл с закрытыми глазами.

У нас стоял «Бехштейн» — рояль «с хвостом» (по-французски эта штука у рояля так и называется «*la queue*» — «хвост»). А тут пианино.

Он сидел за ним и играл, ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал, никому не кивал.

Не знаю уж как так получилось, что он женился на женщине, которая еще притащила свою мамашу-бундовку. Ходили слухи, что она, будучи в Бунде, знала Махно на Украине.

Дружинин-старший совершил гуманитарный акт в своей жизни, и эта жизнь превратилась в ад. После чего он только играл, закрыв глаза.

Он служил в «ящике»⁵² на должности видного хорошего инженера.

Они жили в одной комнате, а в другой жили его две сестры, монахини. Те вообще не выходили. Они пускали к себе только Сережу. И когда они открывали дверь, чтобы он туда просочился, я видел, что

там всё в кивотах, окладах, лампадах, свечах, всё горит золотом и полыхает, всё забрано иконами с потолка до пола, очень жарко, натоплено. На лицах, закутанных в платки, бородавки. В сатанинское пространство, где бегали с перекрученными чулками и лежали на рундуке, они не выходили. Брата к себе не пускали. Пускали из жалости только племянника.

Потом я в доме Лены на Гагаринском тоже нашел двух сестер монахинь — они как-то парами обитают. Там на мансардном этаже тоже жили две, но дворянского происхождения. А эти, у Дружинина, купецко-мещанского рода.

Сережа был умненький, и мы много-много с ним обсуждали разных вещей. И фрейдизм, и вопросы философии, и советскую власть.

И вот уже я живу у Лены, 1968 год, иду по Денежному переулку мимо итальянского посольства в сторону Пречистенки, а навстречу мне идет Дружинин. Я говорю:

— Сережа!

Он обрадовался. Я обрадовался.

Привел его к себе чаю попить. Он шокирован обстановкой, потому что тогда у меня практически ничего дома не было, никакой мебели. И такие сомнительные обои, довольно рваные.

Мы пришли, и я его спрашиваю:

— Ну, ты чем занимаешься?

— Я в Институте связи.

— А что так? Это же, по-моему, скучное дело.

— Ну надо же рационально подходить к вопросу о будущем, думать о будущей семье. Связь такое дело, всегда будет куском хлеба.

Как-то не пахло прежним Сережей, и дальше он спрашивает:

— Ну а ты что делаешь?

И я даже задумался, как бы ему объяснить.

— Ты знаешь, я занимаюсь философией и религией.

— Религией? (А мы о ней много говорили, кстати). Странно... Это же смешное.

— Как это смешное? Что ты имеешь в виду?

— Ну это же от страха перед молнией в пещере.

— Сережа, ты что, на голову упал? Как-то ты странно эволюционировал. Стал каким-то зародышем, хотя раньше был родившимся человеком. Что с тобой случилось?

Он как-то поежился. Не знаю, обиделся или нет. Через 10 минут я его уже начал выпроваживать. Полчаса мы посидели, и я задумался, что же это такое? В седьмом — восьмом классе этот мальчик был моим собеседником, а став студентом, превратился в идиота. Больше я его не видел.

Что касается девушек.

Наиболее яркая и памятная девушка была Нора Вайсфельд. Красивая, элегантная, с рюмочной талией, с круглыми бедрами, высоким бюстом, густым очень темным стыдливым румянцем, бархатистой кожей. Просто Эсфирь. И конечно же она была предметом моих вожделений.

В девятом классе она забеременела и родила от некоего Долина, дылды хулиганского вида, одного роста с Юрасовским. Они были самые высокие в классе. Когда они один раз вместе проходили мимо доски, их макушки прошли совершенно на одном уровне, и класс засмеялся. А училка, сидевшая спиной, естественно, не поняла, почему класс хохочет.

Долин Нору соблазнил.

Потом я ее видел в 10 классе. Ее уже выгнали из школы, училась где-то в вечерней и катала колясочку. И шла она по Пречистенке, примерно где сейчас кафе «Азия», напротив Мансуровского, уже с плохой кожей, с прыщиками, поблекшая вся.

Драки и классовая ненависть. Экзамены. Две библиотеки и чтение. Художественная школа. Вадим Кабо. Курение

В школе я вел себя жестко, агрессивно бросая вызов. Я был объектом ненависти в классе.

В первом классе мне нравилась Оля Казакова. Высокая блондинка с васильковыми глазами и абсолютно золотой головой. Густейшие золотые длинные косы. Я ей написал любовное послание, а она его передала Надежде Алексеевне, тут же зачитавшей его вслух. И некоторое время я был объектом подшучиваний.

В классе седьмом я стал драться со всеми сразу.

Сначала в меня кидали разными вещами, а потом попытались скрутить. Тогда я достал из кармана нож-бабочку и порезал руку Земскову, сыну генерала. Тут же пошла кровь, все от меня отскочили.

Бабушка приходила после этого в школу.

Но Земсков не стал развивать тему. Я же сказал, что резал и буду резать, так что вы, ребята, учтите.

Когда я оказался на очень короткий срок в армейском подразделении, где преобладали люди со сроками по малолетке, с двумя-тремя классами среднего образования, с фиксами, с татуировками — на удивление, они меня обожали.

Я впервые стал объектом приязни, уважения, теплых чувств — но у настоящих гопников. А мещанский средний класс, дети этого среднего класса в школе меня зоологически ненавидели. Для меня это являлось нормой, я ни от кого никакой любви не ждал.

Меня ненавидели во дворе как внука моего деда, когда я был совсем маленький. Тогда это была классовая ненависть.

Ненавидели нашего огромного добермана, всех пугавшего.

Ненавидели Пискулина, шофера моего деда.

Ненавидели. Ну и я тем же отвечал. Не то чтобы я их ненавидел, но «для меня эти люди как тени», что называется.

Когда я думаю о людях, о заряде отношения к людям, вспоминаю Женину⁵³ песню. У него есть такой жанр поэтического стеба, поэтического макабра:

Для меня эти люди как тени,
Жрут котлеты и пьют лимонад.
А мои ледяные пельмени
Леденелые в пачках лежат.

На экзамены я первый и последний раз надел галстук. Костюм и галстук я взял у дяди. Дядя научил меня галстук повязывать. И на экзамены я пришел в костюме и в галстуке — есть фотография, где я сижу на табурете в таком облиии. Больше никогда в жизни я галстук не надевал.

В нашей семье есть вкус к одежде. Орхан в 90-х ходил в канотье, с тросточкой и в широкой кремовой чесучовой тройке, как у чеховского дачника. Очень ему шло.

Но кроме деда Шаповалова и дяди галстуки никто не носил.

Кажется, я хорошо сдал эти экзамены.

Мне же пришлось поступить в комсомол. По-моему, это было в 10 классе. Дальше был еще 11, но в 11 поступать в комсомол уже как-то смешно, ведь чтобы попасть в ИВЯ, куда я рвался, нужна характеристика от райкома комсомола. Ее можно было получить, только имея характеристику от школы и от комсомольской организации.

Понятно, что если поступить в комсомол за несколько месяцев до окончания школы, то с этим лучше не приходить. Поэтому 10 класс — предельный срок, что называется. Да, поступил.

И перед выпуском мне дают школьную характеристику, я ее читаю и своим глазам не верю: там такие дифирамбы мне поют, там так меня, оказывается, высоко оценивают. По характеристике выходило, что я в школе был окружен просто дикой любовью и почтением — и языки я знаю, и политикой интересуюсь (еще бы!), и интеллектую.

Когда я принес ее в райком комсомола, там только хрюкнули. Никогда они характеристики не читали. Меня только спросили, почему

я так поздно в комсомол-то поступил — в 10 классе, — нормальные люди обычно в восьмом поступают.

В каком-то смысле школа была счастливым временем. Хотя за 11 лет случилось столько напрягов, факторов раздражения, потери времени, бессмысленности. Но последние годы я уже мало ходил на уроки.

Я выходил из дома и вместо школы направлялся либо в библиотеку, либо гулять, изучать Москву. Ходил по арбатским переулкам до Собачьей площадки⁵⁴, до Патриарших.

В переулках я знал каждый дом — в Кривоарбатском, Староконюшенном, Танеевых. Сейчас там всё не так, и контакт утрачен. Новый Арбат построили при мне в начале 60-х.

У меня было две библиотеки: одна ранняя, детская, куда я записался еще в младших классах. Она и сейчас на Пречистенке ближе к Садовому кольцу⁵⁵. Сразу после художественной школы⁵⁶, в которой я учился, шел в эту библиотеку.

С художественной школой отдельная эпопея. Я учился в ней три года. После обычной школы что-то ел, переодевался и шел в художественную.

Я ее ненавидел.

Я стал единственным за всю историю учеником, оставшимся на второй год во втором классе — всего она была четырехлетняя. После третьего года я из нее ушел.

Я так и не добрался до серьезной живописи маслом, так и застрял на композиции, натюрморте и пластилиновой лепке.

Сразу за ней и находилась детская библиотека.

Вторая, более взрослая библиотека, куда я ходил, располагалась рядом с нынешним магазином «Белый ветер» на Смоленской⁵⁷, неподалеку от нового выхода со станции метро «Смоленская», на внешней стороне Садового кольца. По-моему, имени Добролюбова. Там выдавала книжки рыжая библиотечная работница, старшая сестра моего одноклассника Вадима Кабо.

Это был шутник, балагур, ярко-ярко рыжий — такого цвета, как лиса. Очень маленького роста. Постоянно сыпал шутками, анекдотами. Жил на Пречистенке. В 1990-м году я встретил его сестру, когда получал разрешение на газ для дачи. Приехал в Королев и в закоулке, среди кабинетов, ожидал своей очереди, когда ко мне подошла рыхлая пожилая на вид женщина и говорит:

— Вы меня не узнаете? Я сестра Кабо.

Молодой ладной девчонкой вышла замуж за еврея-милиционера.

В библиотеке Добролюбова я прочитал все четыре тома «Жизни Клим Самгина»⁵⁸.

А в детской на Пречистенке я читал Золя, Флобера, Бальзака, бесконечные «Воспитание чувств»⁵⁹, «Сентиментальные путешествия»⁶⁰.

Всю эту хрень, ни строчки которой невозможно прочесть в нормальном состоянии, я взял на себя. Ничего оттуда не помню, но тогда это следовало прошагать.

Перелопатил огромное количество художественной литературы от Манна с его авантюристом Феликсом Крулем до «Человеческой комедии»⁶¹ и «Ругон-маккаров»⁶².

Компостировать мозги такого рода прозой надо, но лучше по-французски. Но когда я начал читать по-французски для удовольствия, эти книги уже стали для меня нечитабельны.

Я не могу сейчас открыть Флобера, хотя он у меня лежит. «Саламбо» — не самая плохая книжка из того, что Флобер написал. Но сейчас это нечитаемо.

Гофмана я обожал в детстве и в 20 лет читал запоем. «Золотой горшок» и всё остальное. Сейчас это тоже невозможно.

Немецких романтиков я очень любил, Женя⁶³ тоже, и мы их много обсуждали. Но я-то по-немецки нормально не читаю, разве что газеты. А у Жени немецкий язык был первый. Немецкий и французский. И он был дока в людвигах тиках⁶⁴ и других ребятах.

Правильно было уходить из школы и читать. Что было в школе делать?

Вся сволотень, которая со мной вместе училась, на каждой перемене запиралась в туалете и курила. Мне в голову не приходило курить. Я считал, что курить глупо и что курят только придурки.

Но как только я стал студентом, я как с цепи сорвался: начал курить сразу, как сдал экзамены и узнал, что прошел. Летом на даче взялся курить кубинские крепкие сигареты. Курил много лет, трубку и папиросы типа «Казбек». Они были для меня моментом общности с моим отчимом Теймуразом. Он тоже предпочитал «Казбек».

Курил лет двадцать. Бросил один раз, и не курил год. Но потом у меня случились серьезные сердечные неприятности, я сорвался и опять закурил.

Я пытался слезть с крючка, переходил на насвай, привезенный из Средней Азии. Заплевывал тротуары зелеными плевками. Но насвай-то еще круче в плане никотинового яда, он непосредственно идет в слизистую и шибает по мозгам. Абстиненция от насвая гораздо больше, чем от табака. Только дым не идет, не коптишь. А так он опаснее. Я быстро приходил в неконтролируемую ярость и мог сильно ушибить.

В какой-то момент я сказал себе: «Ну что за бред! Неужели я не могу бросить курить? Какая-то ерунда. С завтрашнего дня я не курю». Я проснулся и больше ни разу не взял в руки сигареты. Вокруг меня люди курили, ходили на голове, но что бы они ни делали, у меня даже желания не возникало закурить. Хотя раньше было немыслимо отказаться, это был серьезный addict.

Чубаров и гэбэшники

Мой дядя и двоюродный брат моей мамы генерал Александр Чубаров — сын энкавэдэшника черкеса Сергея Чубарова. Адыга или черкеса. Чубаров до сих пор поддерживает отношения с родственниками отца в адыгском селе.

У него было два брата — Гоша и Вадик. Вадик уехал в Пятигорск к матери и давным-давно умер. А Гоша умер недавно. Гоша был генерал-лейтенант пограничных войск. Мало того, что гэбэшник — политработник пограничных войск.

Вадик был *soft*⁶⁵, учился в офицерском училище внутренних войск и потом сломался. Пожелал уйти и дослуживал срочную. Ту часть, которую он пожелал сократить, дослуживал просто в качестве «куска»⁶⁶, по-моему. Вышел на гражданку, как нормальный человек, поступил в МАДИ в Москве. Он писал романтические провинциальные стихи, пытался всё время изобрести двигатель Ванкеля, давно изобретенный, хотел усовершенствовать его и приставал с этим к дяде.

Я его ненавидел, но больше всего я ненавидел Гошу.

Гоша был классический супер-рашен. Еще курсантом приходил к нам на Мансуровский. Очень скромно садился за стол с диким почтением к бабушке. Курсанты ходили в белой полотняной гимнастерке, с твердыми погонами с курсантской окантовкой галуном. Гимнастерка белая и плотная — как на картине Верещагина «Взятие Шипки».

Он сидит за большим квадратным столом, за которым сживали Алексей Толстой, Остужев, Гоголева, Царёв, Фадеев. Сидит за нашим столом и пытается вести со мной разговор. Мне 12 лет. И он говорит:

— Ну как ты живешь? Чем живешь?

— Я, знаешь, увлекаюсь философией.

— Это правильно. Только знаешь, что я тебе хочу сказать, братан. Вот ты никогда не забывай истину марксизма-ленинизма, потому что

марксизм-ленинизм — это святое. Держись этого, братан, потому что социализм — это надежда народов.

Я готов был взять вилку и всадить ему в глаз. Но я вынужден был всё это выслушивать с каменным лицом.

— Ну а чем ты хочешь потом заняться?

— Ну я, наверное, пойду на востоковедение.

— Это правильно. Нужно помогать народам третьего мира сбрасывать колониальное ярмо. Только держись марксизма-ленинизма. Это самое святое.

У Гоши было не просто училище погранвойск, а политическое училище, готовившее политработников, комиссаров для погранвойск, — такая потусторонняя промывка мозгов!

Внешне он был монстр.

Саша Чубаров же красавец, усы — видно, что у него кавказская кровь, кавказская удаль, кавказский юмор. А на Гоше лежала печать кондовой военщины, кондовой ватной непробиваемости. Он служил в погранвойсках на Дальнем Востоке, потом в Мозамбике, всё прошел и получил на звезду больше, чем Чубаров. А жену, бледную, бесцветную, затюканную, но при этом с каким-то кукишем в кармане, он взял из учительниц во Владивостоке. И она настолько была в него влюблена, что ради него прыгала с парашютом, ходила в атаки, высаживалась с десантных катеров, штурмует берег. Делала невероятные вещи.

И вот они сидят в гостях у Теймураза. Гоша уже заложил за воротник, он пьянствовал от безысходности. Когда совок развалился и марксизм-ленинизм оказался не у дел, вся его жизнь улетела на свалку. Он начал сильно пить.

Но тогда еще был совок. Теймураз был еще жив.

Разговор зашел то ли о Высоцком, то ли о Марине Влади.

Гоша говорит:

— Эх, какая девка, если бы я ее встретил, я бы ей сказал: Мариночка, ну что ты делаешь в этой Франции? Давай к нам! Здесь

мы тебя так ценим.

И это при жене.

Жену его, бесцветную училку, было жаль, она сидела как оплеванная. А парень похотливо рассуждал, как он пригласил бы Марину Влади изучать марксизм-ленинизм.

Это выглядело, как если бы с кухни явился кухонный мужик и начал нести несуразицу за барским столом. А не выгнать — 1917-й год, власть мужицкая.

Арбат и его обитатели. Кино. Графа в паспорте «художник»

Я любил гулять по старому Арбату, прекрасному оживленному месту. Там был кинотеатр «Наука и жизнь» или что-то такое — маленький кинозал, где сейчас турецкий ресторан «Босфор», а может быть, в следующем доме. Узкие тротуары, как на всякой приличной советской улице. Катился троллейбус, густой поток машин.

Всё серо, заезжено, близко, хорошо, интимно.

Немытые не прихорошенные дома, зоомагазины с черепахами и кормом для рыбок, с чучелами уток в витринах. Хороший магазинчик «Красная звезда», где продавалась военная литература — с его помощью я собирал себе военную библиотечку.

В этом кинотеатре я посмотрел знаковые фильмы.

Три фильма меня зацепили именно в сочетании с кинотеатром и с Арбатом. Каждый я посмотрел при особых обстоятельствах — находился в каких-то бегах, от чего-то отлынивал.

На «Летят журавли» с Самойловой я пошел вместо школы.

Второй фильм — Эриха фон Дэникена «Воспоминание о будущем». Занятное кино на тему, что все наскальные рисунки были сделаны инопланетянами.

И «Индийские йоги. Кто они?» Там фигурировал персонаж, которого я потом встретил в жизни. Он показывал асаны почему-то в красных плавках. Некий Боря, он оказался учеником ныне покойного Степанова и стал героем «Смиренного кладбища» Каледина. В «Смиренном кладбище» он выведен в качестве гробокопателя под другим именем, хотя там сказано, что он снимался в фильме про йогов.

Пришел посмотреть этот фильм, совершенно космистский, с акцентом на ефремовщину⁶⁷, парновщину⁶⁸.

По прекрасности к кинотеатру «Наука и жизнь» приближался только «Кадр» на Плющихе. Его давно снесли, крошечный кинотеатр мест на 100. Я там посмотрел «Седьмое путешествие Синдбада». Тоже

при тяжелых, муторных обстоятельствах. Я зашел туда, чтобы от отчаяния забыться. Мне было лет 14. Я получил огромный кайф, забыл обо всех своих бедах. Очень интимное место было. Теперь оно уничтожено.

Арбат с 39-м троллейбусом, «Москвичами» и «Победами», с узкими серыми тротуарами и зоомагазинами...

Пречистенка именовалась Кропоткинской, а Остоженка — Метростроевской. Самое красивое название переименовано по-советски в самое некрасивое. Кропоткинская была самым приличным названием.

Переулки, которые шли от Арбата, были гораздо интересней.

В 1970-м году район испортили. Часть старых особнячков поносили и построили партийные совковые дома из желтого кирпича, изуродовали всё.

Там жили удивительно занятные люди.

На Веснина стоял особнячок, где в глубине имелся проход в мансарду, и там обитал Ванечка Тимашев. В своей легальной профессии — художник, иконописец, реставрировал иконы.

А настоящее его занятие было подделывать документы. Он создавал идеальные подделки, великолепно рисовал печати. У меня есть трудовая книжка, целиком заполненная им. Только первая запись настоящая от издательства «Медицина», где я работал корректором два месяца до встречи с Мамлеевым. Все остальные записи сделаны Ванечкой Тимашевым. Замечательный человек, паспорта рисовал.

Паспорта тогда были зеленые, и их нужно было менять каждые пять лет.

Там была пятая графа: «национальность», и еще одна — «социальное положение».

Социальных положений было три — служащий, рабочий, колхозник. Больше социальных положений не предполагалось. Кто бы ты ни был — не важно, член ЦК или учитель, — все считались служащими.

Когда я получал паспорт, меня спросили:

— Вы кто по социальному положению?

— Я художник.

— Так вы служащий?

— Нет, я не служащий.

— Значит рабочий?

— Нет, я не рабочий. Я — художник.

— Ну нет такого положения — «художник».

— Ну вы подумайте сами. Могу я быть служащим? Я же нигде не служу. Это же неправда. Я — художник.

У бабы поехала крыша, и она вписала мне в паспорт «социальное положение — художник». В Советском союзе, наверное, я стал единственным обладателем паспорта с несуществующим по официальным бюрократическим нормам статусом.

Жалею, что не сохранил его: при обмене забрали. Надо было сказать, что потерял.

В нем была вклеена крутая фотография. Я тогда носил локоны, так что внешность была соответствующая.

Луч тоталитарности. Напуганные и бесстрашные — как это совмещалось. Сталинизм как ИГИЛ без Бога.

О свободе, страхе, счастье и несвободе

О страхе в советских людях обычно говорят в пошлой манере. В моих родственниках ничего советского не было, как и важного советского элемента в виде страха. Они принадлежали к высшей номенклатуре, но и в ней оставались инородным элементом по своему происхождению и сущности.

Моя мать рассказывала, когда Сталин умер, она вошла в комнату к бабушке и, рыдая, сказала:

— Мама, ну что же теперь делать?

На что та ответила с ненавистью:

— Что реवेशь, дура.

Та онемела.

Бабушка моя — человек бесстрашный. Будучи гимназисткой, преподавала в казачьих станицах, на ее глазах убивали. Трудно было ее запугать. Но она была ушиблена этим режимом и очень напрягалась любыми творческими и вообще свободными проявлениями.

В 10 или 11 классе я познакомился с японцем из Университета дружбы народов. Мы с ним бродили по Москве, беседовали по-английски. Он был красный японец, а я его распропагандировал, говорил, что здесь всё не так, нет никакой свободы. Дал ему свой номер телефона. Он позвонил и попал на бабушку, она впала в состояние тяжелого шока и сказала, что он ошибся номером, что здесь таких нет.

А мне она закатила скандал:

— Ты понимаешь, что означает общение с иностранцами? Ты что, хочешь нас всех погубить?

— Почему ты ему это сказала? Какое ты имела право распорядиться моим контактом?

— Идиот, тебя уничтожат!

Ну и так далее.

Таких эпизодов хватало.

Дед был чистый сатрап. Леонид Емельянович Шаповалов по прозвищу Наповалов. Он всё прошел. Он бухаринско-зиновьевских ублюдков сдал, троцкистов замочил, очень правильно всех сдал и замочил.

Не из страха. В нем смешивалась воля к власти и сатраповский карьеризм. Комплекс власти, готовность мочить, и он ничего не боялся. В нем сочетались абсолютная безжалостность и решимость, отсутствие страха и одновременно конформизм. Такое сочетание бывает только в тюркских нукерах наподобие нойона при Бату или Джучи: он ангажирован в службу, он реально выполняет приказы хана. Но он не из страха это делает, в нем нет либерализма, никаких идей свободы. Ни своей, ни чьей бы то ни было. Просто чистая власть. Сатанизм чистой воды. Мой дед был забран в этот луч, луч диктатора, луч тоталитарности.

Когда собрали XX съезд (это был февраль 1956 года, мне 8 лет, дед уже умер), по радио вещали, что разоблачили Сталина.

Я в тот раз наехал на бабушку — зря наехал. У меня тогда челюсть отвисла, я не ожидал, что совок может пойти на такое очевидное саморазоблачение.

Пошел к бабушке в спальню и говорю:

— Ну что? Твой-то, совок-то — всё! Разоблачился! Мочит сам себя! Вот он, твой Сталин!

Я помню, как она приподняла очки и с удивлением на меня посмотрела. Бабушка ненавидела советскую власть и боялась прежде всего за меня. Естественно, ни грамма личного сентимента в ней не было, внасквозь политизированной ханше. Она же деда не любила и не скрывала этого. Дед, судя по письмам, ее любил.

Страшные люди, если честно. Очень далекие от нашей инфантильной расхлябанности. Над нами не капало, бич не свистел.

Люди, условно говоря, выросшие в ИГИЛе без Бога.

Можно ли себе представить ИГИЛ без Бога, ИГИЛ без смысла, где агитационные ролики Риты Кац, в которых режут без крови, являлись для них реальностью, они выросли в этом. Только там всё было с кровью и по-настоящему, это была нормальная практика. Они знали, что чуть шаг в сторону, и Большой Брат их ликвидирует.

А я что? Я вырос за оградой дачи, в которой был рай. Я даже не подозревал, что есть какая-то холодная страшная реальность, где выбивают зубы и ломают кости.

Зубы выбивали в драках, резали в драках. Это была жизнь котят.

Я ненавидел советскую власть, но по большому счету очень долго с ней даже не пересекался, пока не попал в университет и не столкнулся с элитно-мажорным болотом, намеком на которое в моем детстве был только Андрей Земсков, ушедший из нашего класса. Приносил мне пластинки и ходил в блестящих ботинках, объекте мой зависти.

В школе я постоянно читал в газетах хрущевские наезды на диссидентов, потому что тогда было открытое пространство. При Брежневе публичное обсуждение идеологических противников советской власти и полемика с ними стали невозможны.

Подвал или даже разворот в «Известиях» мог занимать разбор Есенина-Вольпина, с его стихами:

Эти мальчики могут понять,
Что любить или верить — смешно,
Что тираны — отец их и мать,
И убить их пора бы давно!

И я думал: «Вот здорово! Какие же люди, оказывается, есть на свете».

Мне не приходило тогда в голову, что я могу их знать, что я могу с ними познакомиться, что это реальная общность, общество, пространство.

Через несколько лет, когда Илья Бокштейн привел меня в гости к Есенину-Вольпину, это для меня оказалось странным шоком.

Человек слышал о том, что есть джинны, и вдруг он видит, как из кувшина поднимается дымок и превращается в настоящего джина в тюрбане.

Я ему сказал:

— Вы знаете, я вас читал классе в восьмом. И я никогда не подозревал, что я с вами встречусь.

Я знал, что они существуют, но ощущение было, как будто я читаю главу учебника истории.

Я не понимал тогда, что я свободен, потому что не понимал, что я могу быть несвободен. Я был абсолютно уверен, что я просто живу и делаю, что хочу. Мне в голову не приходило, что кто-то может создать мне какие-то ограничения, преследовать меня.

Главной моей проблемой был мой дядя, который мог создать физическую угрозу — и создавал. Его просто выгоняли пару раз, когда он уже был готов заняться мною непосредственно. Выше этого ничего не было.

Я не знал, что может быть несвобода.

Когда я оказался в военной тюрьме, то это стало для меня интересным *experience*⁶⁹. Я маршировал среди других заключенных за колючей проволокой, за высоким забором, а над плацем перед корпусом галдела в воздухе стояла туча ворон. Их была туча. С тех пор это для меня особый знак.

Я вдруг ощутил безумное счастье, ощутил реальность свободы, пережил опыт свободы именно в доступном на тот момент для меня максимуме несвободы.

Это было пронзительное счастье. И черные птицы в небе...

Я понял, что ничего не существует — ни колючей проволоки, ни стен.

Ничто надо мной не властно.

Этот момент навсегда врезался в память.

В разбавленной форме сходный эффект несколько раз повторялся, когда я приходил поразмышлять на кладбища в глубинке. Там тоже надо мной летали тучи ворон, галдя. Не так ярко, не так концентрированно, но для меня стая ворон стала психопомпом⁷⁰, проводником в другое измерение.

В школе и в университете я не понимал, в какой реальности я живу. В университете я так себя вел, что вылетел оттуда быстро и с треском. Комсомольское собрание кипело, эти люди не могли взять в толк, как я могу так себя вести.

Я всего-то высказывался про советскую власть, про национальности, комментировал «Смысл и истоки русского коммунизма» Бердяева и еще что-нибудь.

Я вел себя как привык, а это было абсолютно потусторонне для моего университетского окружения.

Они, может, думали, что я провокатор или приехал с Земли Санникова, что я не понимаю правил игры. И я ни с кем не сближался — это оскорбляло.

ИВЯ. Володя Козловский и кампания против меня в университете

Лето 1965 года. Уже после Хрущева, при Брежневe. Я сдал экзамены в ИВЯ (Институт восточных языков), или в ИСАА (Институт стран Азии и Африки), как он сейчас называется.

Экзамены я сдал без проблем. Но пугали, говорили, что там чуть ли не 40 человек на место, всякие ужасы. Ребята из спецшкол⁷¹, немного странные, уличного гопнического вида, сдали вступительные экзамены на тройки. Они были плохо образованны. На политической и экономической географии долго на карте искали страны — могли искать азиатские страны в Африке, и все смеялись. Для иногородних оставалась определенная квота, эти люди жили в общежитии.

Всё, что рассказывали про ИВЯ, оказалось враньем.

К примеру, говорили, что девочек туда не берут.

Ерунда, девок было полно. Вместе со мной поступила Алла Стерлинг. В моей группе училась Родригес-Мундиетта, некрасивая дочка испанских политэмигрантов.

Говорили, что туда евреев не пускают, но евреи там были абсолютно всё. В моей группе был Поляков⁷², хотевший изначально со мной подружиться, Володя Козловский, вокруг которого формировалась целая свора сикофантов и прихлебателей.

Мой друг Виталий Гайдар считал, что Козловский ставил перед собой задачу вернуться в обойму после унижения семьи в лице деда, бухаринского секретаря, которого отправили в Сибирь после расстрела шефа.

Козловский стал секретарем комсомольской организации курса и планировал к третьему курсу поступить в партию и дальше уже, как ракета, улететь. Но в итоге он вроде бы вышел со свободным дипломом⁷³, болтался и потом уехал в Штаты. Он приехал в Штаты и издал несколько томов словаря русского арго, материал для которого он собирал несколько лет, приводя к себе домой отпущенных

из лагерей ханыг, которых искал по вокзалам и записывал тайно на магнитофон.

В моей группе английский вела старуха Шифра Иосифовна, похожая на любовницу Троцкого, со сросшимися бровями, прямым носом, озабоченно-страдальческого вида⁷⁴. Чем-то я ее обидел, и она тоже включилась в мое преследование, когда меня выгоняли.

На собрании было два человека, пискнувших по поводу моего национализма, в том числе и она. И она высказалась насчет того, что я антисемит.

И был еще главный арабист Габучан, заведующий кафедрой арабского языка, армянин из Египта. Он меня ненавидел, потому что я откровенно ему сказал, что я турецкий, тюркский патриот.

Козловский явился организатором кампании против меня — это же была просьба комсомольского собрания курса, просить о моем отчислении из университета. Он всем и дирижировал.

Я был очень тогда простой, наивный. Привык к 50-й школе, где всё происходило камерно, ничего наружу не выходило. Где меня выпускали в качестве спикера по Мао Цзэдуну, и я на 40 минут занимал класс, рассказывая про бумажного тигра и соломенного льва.

Я привык к свободе.

Благодаря совершенно случайно сложившимся обстоятельствам, я вырос абсолютно не в совковой ситуации. Благодаря школе, где скандалы поглощались — хоть меня там и не любили, но никто не стучал. На дворе стояла хрущевская оттепель — вторая короткая оттепель, как я потом узнал⁷⁵.

Говорил я что хотел, и на всё мне было наплевать.

А тут я оказался в волчьей совковой среде с подсиживанием, комсомолом, где «каждое лыко в строку». Любое мое выражение фиксировалось и докладывалось.

Весь такой обновленный, уже после моего изгнания из университета и армии, я зашел к Володе Александрову в его квартиру на Тверской, а там тусовка. Молотников сидит, Юрасовский,

вся братия. И Козловский тоже там. А мы не разговаривали друг с другом.

Слово за слово, и Козловский говорит:

— Я не верю, что кто-то мог прочесть Радхакришнана.

Радхакришнан — автор двухтомника по истории индийской философии. У меня этот труд был, естественно, изучен, и я сказал, что я читал.

— Ну я про тебя не говорю, ты особый случай — ответил он.

И вдруг в конце вечера, когда все расходились, он мне предложил пойти к нему и пообщаться, по душам поговорить. Ну пошли.

Он жил где-то в районе Зоологического музея за улицей Герцена⁷⁶, в переулках.

Дворик, маленький особнячок, высокий первый этаж. В общем, заныр.

Зашли, он достал недопитую бутылку водки, какие-то помидорчики, огурчики, и стал говорить очень откровенно:

— Я ненавижу вас с Юрасовским, потому что вы антисемиты.

— А что для тебя антисемит? — я его спрашиваю.

— Антисемит это... — И тут его понесло. — Ну вот представь себе, живет еврей-профессор, культурная жизнь, бронзовые фигуры, фарфор, полная библиотека книг. А внизу живет слесарь, который напивается каждую пятницу и пляшет, аккомпанируя себе на гармошке. А потом он падает в свою блевотину и спит. И он ненавидит этого еврея-профессора сверху.

Я говорю:

— Это всё замечательно, яркая картина, но в моем случае профессор — это мой дед, а еврей-слесарь живет в подвале внизу. Я даже не говорю, что Леша Юрасовский, живя в квартире, которую его дед снял еще в 1916 году, никак не похож на слесаря. Это в общем бредовая идея, но дело твое.

А так я больше молчал и слушал. Он мне говорит:

— Я хочу с тобой поделиться и открыть свой внутренний мир, чем я живу.

Он широким жестом показал на полку и снял оттуда «Плексус. Нексус» Миллера на английском языке и «Animal farm».

— Вот этим я живу. Ты читал такие вот вещи? Это действительно серьезно.

Я говорю:

— Дай мне «Animal farm». Я, кстати, ее почитаю.

К тому времени роман «1984» я читал, а «Animal farm» — нет⁷⁷.

Больше Козловского я не видел.

Как-то в разговоре с моим другом португалистом Вадимом Поповым всплыло имя Козловского. Мои отношения с Козловским были в прошлом. Я упомянул, что Козловский сыграл роль в моей биографии, организовывал против меня комсомольскую кампанию. Попов вспомнил, что познакомился с Козловским на тусовке, куда его привела жена Людмила Георгиевна (он называл ее всегда по имени-отчеству).

— В процессе разговора, — говорит он, — я поинтересовался, чем он занимается, что он изучает в ИВЯ. Он сказал, что хинди, и подчеркнул, что это конечно не тема, не профессия, не язык.

— Почему же?

— Бессмысленно их знать, потому что они просто мусор, — говорит Козловский.

— Ты что, с ума сошел?

— Ну мы же понимаем, что люди — это американцы, европейцы. Сильный давит слабого... Кому нужны эти индусы?

— И я почувствовал такой шок и такое отвращение к этому ублюдку...

Ничего удивительного нет — человек испытывает тяжелый комплекс неполноценности, является острейшим либералом, а либералы заточены на прогресс, который измеряется исключительно

ростом комфорта и немецким принципом «über давит unter»⁷⁸.
Но не во имя порядка и дисциплины как у немцев, а во имя комфорта.

Виталий Гайдар. Лещенко. Цыгане. Наши разговоры. Достоевский и «человек умер». Советская власть против революции. Герцен. Визуализация

Мой единственный друг в университете Виталий Гайдар был старше на три курса и повлиял на меня определенным образом.

Я сдавал экзамены на факультет восточных языков, который всю дорогу оставался департаментом МГУ. Потом он занимал всю «подкову» старого здания на Моховой, а в то время по центру располагался антропологический музей, а направо как раз и был ИВЯ.

И вот, когда я там тусовался во время экзаменов, я увидел странного человека — юношу с довольно грубыми чертами лица, широким приплюснутым носом и маленькими раскосыми глазками, чем-то похожего на монголоидного азиата. У него были жесткие японские волосы, вихры, козырьком торчавшие надо лбом, и странный прикус — нижняя челюсть была выдвинута вперед. В общем азиатского вида некрасивый молодец, ассоциировавшийся с «русскими мальчиками» Достоевского.

Оказалось, что его зовут Виталий Гайдар. Я поинтересовался, не родственник ли он, часом, писателю. Он ответил, что, к сожалению, нет.

Мы с ним подружились, и между нами сразу возникло сродство душ, потому что он любил Петра Лещенко и цыган.

Лещенко тогда символизировал антисоветчину, свободу, круть, эмигрантщину и белогвардейщину. Пространство свободное и народное. С одной стороны, мрачный ублюдочный ЖЭК, министерства, производственные собрания, а на другой стороне — «Как-то вечером...». Это воспринималось совершенно *irresistible*⁷⁹, очень круто.

Своим детством я был подготовлен к цыганщине и к восприятию романа качественного уровня. Не пошлости какой-нибудь типа Сони Тимофеевой или Петра Деметра, или, не ко сну будь помянут, Сличенко.

Позже я понял, что это экстатическая музыка, связанная с хтоническим культом, хтонической энергией. Цыгане несут странные бессловесные мистерии низшей земли. Именно поэтому в цыганских звуковых загулах очень мало слов, но идут не расшифровываемые припевы с особой экстатикой. Они всё это под христианство пытаются подверстать, хотя речь идет об экстатическом выходе из себя и утрате индивидуального рационального зерна. Человек начинает соприкасаться с темными стихиями низовой диссолюции⁸⁰, диссолюции материи, диссолюции «я». Гениальная Соня Димитриевич появляется в американских голливудских фильмах на тему братьев Карамазовых. Когда она выходит и поет — это мистерия Кибелы.

И так случилось, что я, будучи враждебным миру, понимаю аутентик и инициатическую мистирию экстаза.

Когда мы наблюдаем разгул в ресторане и всю пошлость, выраженную в гостинице «Советская»⁸¹, — это омерзительно, потому что нет ничего страшнее, чем имитация этой темы.

Лещенко же настоящий, аутентичный. Совок его всегда любил, как форму протеста. В домах, где пытались сохранить вкус и аромат связи с дореволюционным прошлым — что называется «черемуху» — собирали Лещенко и на семейных торжествах его ставили.

Но, поскольку это был редчайший автор, и его достать было трудно, то 90 % того, что в совке шло «под Лещенко», являлось лишь имитациями и подделками. Иногда довольно похожими. Я сам об этом узнал только впоследствии.

Виталий Гайдар без напевания Лещенко не ходил. У него был хороший слух, но довольно неприятный голос. Это придавало его пению удивительное обаяние, потому что когда он с выдвинутой челюстью, как у самосвала, напевал Лещенко, возникал удивительный эффект.

Он непрерывно говорил о Канте и Достоевском.

Почему о Канте, не могу сказать, но Достоевский его заразил. Достоевский служил входом в очень близкие нам проблемы — проблемы революции, восстания, подпольного человека.

Главное произведение Достоевского — «Записки из подполья», как у Гоголя «Записки сумасшедшего». Если бы я занимался литературоведением, я бы обязательно написал работу о связи «Записок сумасшедшего» и «Записок из подполья»⁸².

Парадоксы русского, парадоксы русскости у Достоевского: да, всё предал, да контрреволюционер, а вот его предательство в области искусства, в области художественного самовыражения вошло в противоположность. Он сломался, он встал на колени, он раскаялся, он поцеловал туфлю, но при этом его душа восстала против него самого и психически самовыразилась в «Записках из подполья», которые являются экзистенциальным бунтом. Он был провозвестником социального бунта, сущностного отрицания, абсолютного негатива.

Камю пишет «L'Homme révolté»⁸³, и там половина — весь Достоевский.

Достоевский вылезает из шинели Гоголя, а Ницше из Достоевского, получается такая матрешка.

Величие и гениальность Достоевского в том, что он раньше Ницше сказал «Бог умер». Но он произнес: «Человек умер», имея в виду, что человек умер как значимая самоценная реальность, человек уничтожен социумом. И ответом может быть только абсолютный уход от социума, абсолютное восстание, абсолютная ненависть к социальному.

Вся прекрасная панорама от Мышкина до Смердякова, панорама от одной формы безумия к другой — это восстание против общества.

Мы же шизоидные интеллектуалы, мы же исследователи черной метафизики, *métaphysique noire*, мы ищем бездну, которая должна быть актуализирована. И у Достоевского есть этот вкус.

Этот вкус я почувствовал в Виталии Гайдаре. Этот вкус я почувствовал, когда поступал на первый курс, а он закончил третий или переводился на третий...

Он был японист, и физиономия у него была соответствующая. Я с арабским языком был кудрявый, с усиками, смуглявый красавчик, еще и с арабским именем.

Думаю, всё не случайно.

И вот с Виталием Гайдаром мы сдружились. Он был проблемный парень. И он сразу выделил в качестве точки проблемности Козловского. Казалось бы, что ему Козловский? Он на третьем курсе, а Козловский только что поступил. Но практически на любой встрече со мной он Козловского обсуждал. Его очень занимала еврейская тема, происхождение евреев, психопатии евреев, психология евреев, заговор евреев.

В советское время антисемиты были на каждом шагу, просто с разной степенью отвязки. Всё зависело от того, в какой ты нише. Если ты сидишь в среде еврейских интеллигентов, то наезжать на евреев не политесно. Но если ты уверен, что рядом нет евреев, то пожалуйста.

Бытовые вопросы Виталия не интересовали, он входил в детали.

Например, мало кто помнит такого почти незамеченного невидимого персонажа из «Бесов» — Лямшина, который, когда «наши» собирались, играл на пианино «Франко-прусскую войну» (мелодии «Марсельезы» и песенки «Мой милый Августин» переплетались и, в конце концов, прусская мелодия побеждала французскую).

А Виталий чуть ли не лекцию мне прочел об этом Лямшине.

Основными темами наших разговоров были трансцендентализм Канта, «русские мальчики» и революция у Достоевского. А точкой сборки всех этих тем являлся бунт против совка.

Многие считали, что совок — следствие революции, но не думая считали: вот-де чертовы большевики устроили революцию, и теперь вот такая толстозадая тупость царит повсюду, восставший хам пришел, ЖЭК, завод, местком, партком. Не было четкого сознания, что окружающая нас советская реальность никакого отношения к революции не имеет.

Я сам только в 1991 году понял, что есть революция и большевизм, а есть тупая бездарная номенклатурная советская власть, являвшаяся абсолютным врагом революции и большевизма.

Но уже, как говорится, «поздненько метаться».

Большевизм — феномен исторический.

Из того, что мы поняли не признанную нами в свое время ценность, не означает, что теперь мы должны как-то реанимировать эту глобальную историческую неудачу.

А тогда мы очень наивно подходили к истории советской власти. Я не сомневался, что она плавно и тупо идет от выступления на съезде советов Владимира Ильича прямо к едва ворочающему языком Брежневу.

Должен признать, я очень много вещей просмотрел. Не думаю, что это что-то бы поменяло по большому счету. Может быть, даже засорило бы и отвлекло.

Когда советская власть рухнула, стало очевидно, что она была не едина, что там всё намного сложнее, что советская власть была экспериментом, на котором отрабатывалась эволюция посткапитала, посткапитализм и постпотребительская новая формация.

А так я в общем-то баклуши бил в интеллектуальном плане.

Пока я был внутри совка, мне болезненно интересно было прикоснуться к тому, что было до 1917 года. Потому что это казалось другим пространством, другим измерением. Как если бы в руки попал артефакт, привезенный луноходом с Луны, — голыш с другой планеты, принадлежащий в некотором смысле инобытию.

Я вглядывался в фотографии лиц, больше не встречающиеся. Меня поражало, что мы говорим на общем языке, мне понятном и на котором выстроена тогдашняя литература.

Теперь, когда кончилась советская власть, мне так же интересны какие-то куски того пространства. А то, что было до 1917 года, потеряло всякий смысл, потеряло вкус, стало легковесным.

Интересная тогда дореволюционная Россия сегодня стала еще дальше уехавшей, как бы нарисованной, двухмерной, потеряла объем, а прошедший совок его приобрел.

Мне, например, в детстве был интересен дом, построенный до революции. Я с жадным вниманием смотрел на ступени, на нишу в стене, на элементы архитектуры. Теперь мне это не интересно. Досоветское пространство, пространство царской России умерло.

Есть те, у кого острый нюх на такие колебания актуальности.

Был момент — ко мне пришел Игорь Дудинский и сказал:

— Старик, Достоевский больше никому неинтересен, Достоевский умер, всё уже.

Это было, но всё уже — умер, проехали.

И я внезапно ощутил, что он прав. Внезапно я понял, что Достоевского больше нет. В тот промежуток времени Достоевский был мертв. А потом опять ожил.

Вот сейчас Достоевский значит много, причем в гораздо более глубинном, глобальном смысле, чем тогда, потому что Достоевский — это заброс, объем, повод для очень большого разговора. Гораздо более важного, чем 40–50 лет назад.

Такая психика момента, для которой что-то оживает, что-то умирает.

Если читать Герцена⁸⁴, он ходит кругами и сто раз возвращается к тому, что он уже говорил. У него несколько ударных сцен. Сцена с Бенкендорфом и с Дубельтом — уникальный момент в начале второго тома.

У меня Сахарный был в гостях, пришел проведать. И я не мог удержаться и прочитал ему эту сцену. Даже сам подивился в очередной раз, насколько блестяще это написано.

Герцен должен явиться и просить, чтобы его, ввиду больной жены и детей, не отправляли в «Коми АССР». И пока он ждет, он описывает сцены в приемной. Например, там же, в приемной, стоял седой старик-полковник в темно-зеленой шинели с крестами и медалями, весь дрожавший, со свернутой бумажкой в руках. Выходит Бенкендорф с мятым после попойки остзейским лицом, Дубельт за ним семенит в застегнутом на все пуговицы сюртуке.

Этому предшествует сцена, когда строевым шагом появляется генерал — просто генерал на выставку, затянутый в белых лосинах, звенит шпорами, с адъютантом с журавлиными ногами и дегенеративным беличьим личиком, который останавливается поодаль. Появляется Дубельт, и генерал ему рапортует:

— Честь имею доложить, отправляюсь по убытию в такую-то часть, такого-то Мухосранска.

Дубельт говорит:

— Понимаю-с, а что вы хотите-с?

— Явился доложить, хотел бы представиться его высокопревосходительству графу!

— Это хорошо, сейчас я распоряжусь, выясню.

Он скрывается за дверью, потом выходит через полминуты и говорит:

— Граф сейчас занят, но считайте, что вы представились, граф вас благодарит.

— Рад покорнейше!.. — поворачивается с грохотом и выходит.

Герцен пишет, что эта сцена искупила очень многое в том, что предшествовало визиту. Далее появляется Бенкендорф, когда генерал уже свалил.

Бенкендорф проходит мимо старика со свернутой в трубочку бумажкой, и тут старик падает перед ним на колени и кричит:

— Ваше сиятельство!

Бенкендорф шарахается в сторону:

— Что за мерзость! Немедленно встаньте!

И проходит дальше. Старик поднимается весь в слезах, губы у него дрожат. Он как бы очень долго собирался на эту встречу, все силы у него ушли, он добивался приема, и всё рухнуло. Дубельт идет за ним...

— Ну зачем же вы так? Дайте вашу бумажку. Я посмотрю, что можно сделать.

Это настолько остро, современно... Такое переживание вброшенности...

Момент «визуалки» отсутствовал в XIX веке.

Азамат у Лермонтова схватился за кинжал, бросился — у него этот кинжал выбили из рук. Но не видно, как это происходило. Если сравнить с другими абзацами, то не получается, что с этим кинжалом можно было броситься. Азамат не там для этого стоял. Это нельзя визуализировать.

Возьмите Льва Толстого, посмотрите, к примеру: Пьер вошел, когда Элен раздевалась. Ты не можешь, как по сценарию, следя за текстом, людей ставить в кадре.

А сейчас любая сволочь пишет так, что легко прямо по тексту снимать кино, — если это профессионал, конечно. Все учитывают картинку.

Там была другая подробность, душевные движения, а здесь — положение фигур относительно друг друга. Но мизансцена важна, потому что у тебя гораздо меньше работы воображения.

У Герцена всё очень хорошо рассчитано. Как Бенкендорф идет с Дубельтом между колонн, как к ним подходит старик...

У Достоевского лучше, чем у Толстого. Ну как лучше... У него есть определенный синтез мизансцены и «душевных переживаний». Очень своеобразный синтез.

Например, в «Преступлении и наказании» он пишет от лица Раскольникова, что вот сегодня с утра Раскольников был обуреваем тяжелой думой, поразившей его еще вечером. С утра она к нему вернулась, вот он идет по тротуару, заходит в какие-то закоулки, но не видит ничего, и вдруг останавливается перед подъездом. И совпадение того, что этот подъезд резонирует с его думой, его поражает. Он говорит, посиневшими губами, что этого не может быть... Там какой-то синтез наличествует.

Если не брать гениев XIX века — скажем, Бестужев-Марлинский вообще не понимает, где эти тела стоят. С таким же успехом он мог бы описывать пение ангелов в райском саду. Хрен его знает, как там они

перемещаются друг относительно друга. Эти люди и сами не воображали того, о чем пишут.

Гений Достоевский делает в направлении мизансцены шаг.

Но по сравнению с Герценом в этом плане он — никто, потому что Герцен — человек, вышедший на современный уровень, на уровень после кино.

Берешь сцену, как они сидят с итальянскими революционерами за столом: кто встал, кто поднялся, кто отошел. Такое впечатление, что он пишет в эпоху кинематографа, он делает за сценариста работу.

Сейчас для меня смешон всякий интерес к тому пространству, что нас привлекало с Юрасовским, — жизнь царской России, верхушечная ее часть — парады, политические интриги, царь.

Единственное, что осталось интересного — антимонархическое подполье. По-прежнему интересен, как тогда выражались, «святой террор», эсеры, народовольцы, близкий к политике тогдашний криминал. Вот это всё сохранилось.

Лена

Она жила на соседней даче. Ее дед тоже имел отношение к Малому театру, а когда он узнал, что его внучка общается с внуком Шаповалова, он чуть в обморок не упал.

Она сразу каким-то образом на меня подействовала и запала.

Мне тогда было лет 12, когда впервые я на нее обратил внимание.

Довольно долго она оставалась в рамках чисто летнего знакомства. Когда я уезжал с дачи и начинались школьные занятия, я как бы забывал о своих летних эмоциях, и у меня появлялись какие-то другие влюбленности и интересы.

Но до следующей встречи с Леной летом.

Лена поражала...

С раннего возраста я отдавал предпочтение брюнеткам восточного типа, стройным, с темным румянцем, соболиными бровями, узкими талиями, округлыми бедрами. Таких у нас в школе было хоть отбавляй.

А Лена была прямой противоположностью этому. Она была высокой, худой, со светло-русыми пепельными волосами, цвета бледно-ржаного хлеба, и с очень холодными серыми глазами. Взгляд ее был ледяной. У нее была кличка «Снежная королева».

Другое ее прозвище — «Гиацинта де Шантелув», в честь героини романа «Бездна» Гюисманса. Там описывается эзотерическое подполье Парижа в 1890-е годы, постбодлеровский круг. Центральной частью этого романа является история маркиза де Рэ, первого маршала Франции, сподвижника Жанны д'Арк, чернокнижника, который принес в жертву сотни крестьянских детей. Есть круг эзотериков, занимающихся вопросом Жиля де Рэ. В романе центральная история о маркизе чем-то напоминает роман «Дар» Набокова, где некий иммигрант пишет о Чернышевском. Хорошая книжка... Главная героиня, держащая этот салон, — баронесса Гиацинта де Шантелув.

Это прозвище Женя Головин дал Лене. И «Снежная королева» тоже. Но это всё позднее.

Мне было 14 лет, когда мы стали постепенно встречаться зимой в городе.

Оказалось, что она живет в двух шагах от меня: я на Мансуровском, она на Гагаринском.

Я зашел к ней в гости и взял у нее томик Достоевского «Преступление и наказание». Том из серого 10-томника. Я его прочитал и был потрясен. До этого я Достоевского не читал, потому что у нас его не было. В те времена он был запрещен. Мне очень повезло, что я его прочел вне школы. Если бы его преподавали в классе, то, думаю, я бы так внимательно к нему не отнесся. Потому что всё, что преподавалось в школе, осталось неисследованным, неп прочитанным, не воспринятым.

Когда мы поженились с Леной...

Это же произошло не сразу. Сначала мы стали любовниками, потом я попал в армию, потом я вернулся из армии, тюрьмы, психушки и не захотел продолжать с ней, и мы расстались. А потом через год опять встретились.

Жизнь наша возобновилась в Валентиновке, на даче Лены.

А ее дача была совершенно барачного типа — маленький скромный барак, абсолютно не зимний, ни на что не годящийся, с плохонькой печкой, в пяти минутах ходьбы от наших ворот. Надо было пройти вглубь парка, где начиналась улочка Щепкина — там и была ее дачка.

Наши отношения совмещали невероятную простоту и невероятную сложность.

Простота заключалась в том, что я Лену не понимал и относился к ней просто как к необходимому дополнению моей жизни, игнорируя то, что у нее есть собственные мысли по поводу того, зачем она тут.

Но вот эта простота создает второй уровень, который является очень сложным.

Лена была внутренне очень здоровой, но культивировала безумие. Она была симулянткой, но особого рода. Она была метафизической симулянткой. Лена симулировала безумие, но как некий путь. Или,

попросту говоря, была очень квалифицированной юродивой, причем всё это было очень подробно проработано, начиная от одежды и кончая всем остальным. Но у нее была глубокая мизантропия, совершенно страшная. Может быть, она возникла в ней под моим влиянием.

Мизантропия в ней была, и она созрела. Вокруг нее всегда находилось несколько юных девушек очень высокомерного снобистского вида, которые где-то там тыкались как некие подруги, но понятно, что они были бледными кальками.

Поворотным пунктом стало то, что она решила писать рассказы. Она их читала Мамлееву и мне. А Мамлеев эти рассказы у нее переснимал и читал их Вале Провоторову и Головину. Валя Провоторов был очень заинтересован, а Головин попросил его познакомить, потому что это очень круто.

Вот с этих рассказов, я думаю, всё и началось.

Началась влюбленность Жени в нее и наоборот. Он ее полюбил за эти рассказы, он увидел в ней более крутую фигуру, чем он сам. Просто она как женщина слабее, но он с ней вел борьбу, соперничал.

Гражданкин был всегда рад передать очень точно, слово в слово то, чем его нагрузят. И Женя специально сказал для передачи Лене: «На что рассчитывает эта тварь?!»

Когда она услышала это, то она очень светло улыбнулась.

Армия

Я всегда был милитаристом по убеждениям. Слово «мир» для меня было ругательством, а слово «война» концентрировало в себе всё позитивное. Но я не стремился в советские вооруженные силы, для меня это были вооруженные силы врага. Я не верил в их военную природу. И когда я там оказался, то мои худшие опасения подтвердились, потому что это был рассадник быдлчества, тупости и портячно-маечного неадеквата.

Вначале было довольно забавно.

Меня как призывника отправили на поезде под Козельск. Поехал.

Бритоголовый, в сапогах, которые у меня оставались от занятий верховой ездой, — хороших сапогах, которые потом пропали.

Для начала я попал в учебку для молодых солдат. По-моему, был апрель.

Мы жили в дощатых казармах в густом лесу — самое начало брянского леса.

Наша часть была обнесена колючей проволокой. За ней проходила бетонка, и по ней шастали время от времени чудовищные колесные платформы, на которых перевозились ракеты в ракетную дивизию. Но мы не были ракетчики, мы были охраной. Я должен был бы служить в охране ракетных шахт. Помимо нас там располагались разные части. Мы относились к ракетчикам. Бетонные дороги, лес, хорошая природа, чистая и приятная.

Начиналось всё забавно и весело, но вскоре резко началось напряжение.

Всего несколько дней прошло, как я находился в части, только получил форму. Сапоги у меня тут же ловко изъяли и всучили мне плохие сапоги со склада. Я бы предпочел, конечно, остаться в своих замечательных сапогах, но меня заставили их сдать.

Ко мне подходит чернявый сержант с масляной неприятной рожей и говорит:

— Что это у тебя за ручка такая интересная? Можно взглянуть?

У меня была ручка для того времени совершенно инновационная — с тремя стержнями разного цвета, поочередно выдвигавшимися с боков, — красным, синим и зеленым. Я ему дал эту ручку, и он ее спокойно спрятал в карман гимнастерки.

Я говорю:

— Верни!

— Молчать, салага! — отвечает он мне.

Я схватил топор и кинулся на него. Он бросился бежать. Всё происходило молча. Я за ним. Он перескочил через невысокую оградку, я за ним, он вдоль скошенного луга, я за ним. По дороге он выкинул ручку, издавая странные заячьи звуки. И только крикнул:

— Сумасшедший!

Ручку я подобрал, но продолжал бежать. Конечно, я старался его не догнать, потому что если бы я его догнал, то надо было бы как-то доводить дело до конца. Но я знал, что он напуган серьезно, поэтому я бежал за ним километра два, потом остановился, а он еще бежал долго. Спокойно, не торопясь, поигрывая топориком, вернулся назад.

Так я сразу как бы себя поставил среди народа.

Сначала я немного в это играл. Меня назначили командиром отделения. Я стал жестко командовать, на меня стали жаловаться, и меня освободили от этой должности. Но я всё равно развлекался.

Время шло к присяге. И я стал думать, что пора уже завязывать с этой ерундой, потому что я просто теряю время. Никаких присяг я принимать не собирался, еще чего. Я пошел в медчасть, и говорю:

— У меня был в детстве полиомиелит. Его залечили, но это же ничего не значит. Там в моем личном деле должна быть об этом запись. Очень болят ноги, можно сказать, не ходят. Ни стоять не могу, ни ходить.

Вечно пьяный сержант-белорус, похожий на Буратино, с красным лицом, острым носом, мне говорит:

— Я же не могу тебе в кость посмотреть. Кость — она же внутри, твердая. Ну вот ты говоришь, болят, а я-то что могу сделать?

— Ты интересный человек. А я что могу?

— Ну вот и гуляй тогда, иди.

Ну я и иду-гуляю. Дело пришло к тому, что приехал генерал из корпуса. Я себе иду, а у меня уже щетина, пилотку где-то потерял, иду весь расхристанный. Офицеры ракетной части на меня с ужасом смотрят, отскакивают в стороны. А мои офицеры уже видимо махнули на меня рукой. Или может быть готовили какой-то тайный удар.

Иду я, и вдруг навстречу ко мне выбегает тепло ко мне относившийся мужичок Сергей, по-моему, родом из Белгорода, и говорит:

— Там генерал из корпуса приехал, сидит у нас в казарме, тебя спрашивает.

— Пилотку одолжишь?

Он снял свою пилотку, дал мне. Я надел пилотку, застегнул гимнастерку, одернул ее, и особым образом печатаю шаг, как только я умел, кинематографично вошел, бросил руку к пилотке, отпартовал:

— Рядовой Джемаль по вашему приказанию явился, товарищ генерал.

Генерал, похожий на жабу, старый, красномордый. Сидит, смотрит. Спрашивает меня:

— Не хочешь служить, товарищ боец?

— Никак нет, служить хочу, но ноги не ходят, болят ноги.

— А медчасть на что? Обращались?

— Конечно, товарищ генерал, обращался.

— И что?

— Да что, пьяный вечно сержант говорит: «Я не могу тебе в кость заглянуть, кость, она внутри». На том разговор кончается.

— Вот как? Ну позовите сюда этого сержанта. А ты присаживайся пока, товарищ солдат.

Через некоторое время приходит сержант и, на мое счастье, он пьян. Красномордый, идет пошатываясь, тоже пытается печатать шаг, но его слегка заносит, как градусник в стакане, влево-вправо.

— Вы, сержант, начальник медчасти?

— Так точно, я.

— К вам рядовой Джемаль обращался с ногами?

— Обращался, товарищ генерал...

— Ну, и что?

И тут на мое счастье он отвечает теми же словами:

— Я же не могу ему в кость посмотреть. Кость же, она внутри.

— Трое суток гауптвахты. А вас мы отправляем в козельский госпиталь на экспертизу.

Отлично, всё хорошо, перемена судьбы, что называется.

Поехал в козельский госпиталь, туда ко мне Лена приехала. Котлеты, невероятная кухня. Я и забыть успел, что такая бывает. Большой двор, сад, березки, беседки, приятель у меня там завелся — литовец Бурмистровос, с которым приятно было общаться.

При этом меня всё время вызывали на экспертизу и пытали электрическим током. Они смазывали нервные узлы токопроводящей жидкостью, каким-то раствором, подключали ток и смотрели реакцию — прыгает нога или не прыгает. Я изо всей силы старался делать наоборот от того, как хотелось. Если ноге хотелось прыгнуть, я ее сдерживал.

Но, видимо, не очень у меня получалось. Две недели я там прокайфовал, и врачи мне говорят:

— Абсолютно здоров, ноги, как у лося, — значит служи. Сейчас поедешь сам с попуткой в часть, а мы пока будем составлять бумаги, что ты здоров, — дня через три они придут.

Я вернулся в часть и говорю, что меня признали больным — полиомиелит, мол, тяжелые последствия, — меня комиссуют. И люди поверили. Офицеры и сослуживцы меня поздравляли, руку жали, что как же здорово, комиссуют.

А я-то знаю, что через три дня всё будет разоблачено. Ну, думаю, и ладно, гуляю три дня.

Никаких приставаний, хожу нагло, все какими-то делами заняты, а я в библиотеку, беру там «Новый мир» и иду в лес читать. Мне даже замечание сделали, что, конечно, тебя комиссовали, но не надо же так борзеть.

Через три дня приходят мои бумаги, и тяжелый шок для всех. Что же он, просто издевается? Мало того, что он абсолютно здоров, так еще и издевается. Назвал себя комиссующимся, а его признали здоровым.

Вызывают меня и говорят:

— Пойдешь под трибунал. Это называется злостное уклонение от воинской обязанности — до семи лет.

— Ну значит и пойду. А вообще-то у меня всё равно ноги болят.

Отправили меня в военную тюрьму — готовить мое дело для трибунала.

Небольшая корпусная тюрьма, типа СИЗО. Часть охраны — «красноперые», мвдшники. Там был один хохол, белокурый, похожий на эсэсовца, двухметровый красавец с голубыми глазами. Садист. О, как он измывался: заставлял и на животе ползти, и гусиным шагом, и бежать задом наперед с руками на затылке с утра до вечера с перерывами на лесоповал. Отправляли нас на товарную станцию, и мы там разгружали бревна с платформ под присмотром автоматчиков.

С автоматчиками мы шутили:

— Что, есть хоть у тебя патроны?

— Есть!

— Стрелять будешь?

— Буду!

— Врешь ведь.

Такой юмор.

Спали на так называемых «вертолетах» — в камеру ставятся две скамьи, и на них кладутся доски. Каждый со своей доской-«вертолетом» забегает, кладет между скамьями и прыгает на нее. Бушлат под голову. За ним следующий, и так по порядку.

В пять утра подъем и — маршировка, гусиный шаг, ползком.

Вот этот парень издевался.

На нем отлично форма прилажена, густой золотой чуб, пилоточка сбита, подбородок эсэсовский, и он с улыбочкой отдает приказы.

Я побывал внутри их казармы, располагавшейся там же рядом. То, что я там увидел, напомнило момент из «Гиперболоида инженера Гарина»⁸⁵. Когда Гарин уже разбогател и качал золото, он нанял гвардию из бывших белогвардейцев. И те там разложились от безделья, только пили и погружались всё больше и больше в маразм, носки-трусы валялись всюду. Забавное место, надо его перечитать. Все приметы разложения бывших военных, которые только пьют и играют в карты.

Я живо вспомнил эти страницы из «Гиперболоида», когда оказался в казарме: трусы, носки, двухпудовая гиря для занятий спортом между шконок, ни одна постель не застелена, пол жутко грязный и заплеванный. Полный бардак и свинство. Моральное разложение капитальное.

Не знаю, что было бы там во взрослой части, но по общему ощущению было мало дедовщины. Совсем не то, что потом рассказывали. Драки были. У нас были деды, дежурившие ночью и следившие, чтобы мы спали. Был какой-то отмороженный двухметровый таджик, который при малейшем шуме врывался с ремнем, намотанным на руку, и хлестал направо и налево. Дисциплину наводил.

Перед тем как передать мое дело в трибунал, они решили последний раз провести экспертизу. В Калуге по субботам собирался медицинский совет. Он-то и должен был вынести по мне окончательный вердикт.

Привезли меня в Калугу...

Я, кстати, не уверен, что я был официально арестован.

Привезли меня в огромный корпус красного кирпича, где должен был проходить совет. Но именно в эту субботу совет не собрался. А после этого уже никаких вариантов. Никто меня второй раз не повезет, а дальше уже только передача дела в трибунал. И я должен находиться в более серьезной военной тюрьме уже областного масштаба. Накатанная дорожка. Это уже не какой-нибудь там штрафбат или как он называется? Там проводишь год-полтора, а потом возвращаешься дослуживать. Наказательная часть — семь лет за уклонение.

Дело передали в трибунал. Дело готовилось, что-то там писали. Последний ход — медицинский совет должен признать меня окончательно здоровым, чтобы отместить все мои претензии на то, что я больной. И после должны меня судить как злостного уклониста, взять под стражу. До этого считалось, что я еще не под стражей. Под автоматом, за колючей проволокой, но не под стражей. А так бы сидел в камере со всеми атрибутами.

И тут сопровождающие, которые были со мной, говорят: давай сюда зайдем, по соседству. Командир части имеет право принять такое решение. И заводят меня в Бушмановку. Бушмановка — калужский дурдом по имени помещика-немца, создавшего его еще до революции на свои деньги. Здание всё еще существовало — деревянные корпуса для буйных...

Заводят меня в Бушмановку, и я начинаю косить, симулировать безумие.

В «Рукописи, найденной в Сарагосе»⁸⁶ был Пачеко, которого время от времени била дрожь, он корчился, издавал пронзительный вопль, а потом продолжал рассказ как ни в чем не бывало. Вот я такого Пачеко изображал. Но опытные старые провинциальные психиатры

сразу поняли, что перед ними наивный симулянт. Но они оставили меня. Они знали, что меня ждет суд: гуманисты же, гражданские психиатры.

Там я просидел дней 20, прибывали еще мои знакомые из нашей части, гораздо более изощренные. Они же не дураки были жаловаться на ноги. Они еще дома договаривались с какой-нибудь подругой, она им писала письмо, что вот, я тебя бросаю, прощай, извини. И вот он это письмо читал, ходил по части, размазывал слезы, а потом шел в лес, предварительно договорившись с ребятами, и вешался. Через минуту кто-то появлялся как бы случайно, и его спасали, вытаскивали из петли, и хрипящего с ремнем на шее, приносили в часть. После этого — сразу в дурдом. И потом все подтверждали, что подруга написала, что бросает, сука такая... вот их верность... ходил, жаловался, плакал. Таких привозили в дурдом, проштамповывали и через 15 дней отправляли домой.

У меня вышло иначе, сидел я там дней 20. В итоге мне вынесли приговор — «злостный симулянт» — и отправили в Москву на улицу Радио в 575-й военный госпиталь, где находился жесткий психиатрический тюремный изолятор для тех, кто идет под суд, — как бы «Сербского»⁸⁷ в миниатюре.

Я там довольно много провел времени. Попадались интересные люди. Познакомился с летчиком, расстрелявшим с самолета целое колхозное стадо. Он очень веселился, вспоминая, как они кусками взлетали вверх, — такой фонтан из коров.

Был молодец, который застрелился на посту.

Я его спрашиваю:

— Как же ты в сердце не попал?

— Да портсигар помешал, ствол соскользнул. Портсигар был в шинели, и ствол увел вверх.

Он был такой здоровый, что сам дошел до медчасти. Такие лбы в 1905 году воевали на Цусиме, типа матроса Наливайко⁸⁸. И к нему приходила такая же мама, как ватная баба на чайнике. Замечательная парочка.

Был еврей-марксист из Шахт, активный пропагандист марксизма, молодой, цыганистого вида, напоминавший молодых еврейских рабочих 1918 года, ушедших в революцию.

Он рассуждал о том, что все национальные признаки типа папах и черкесок — проявление чудовищной архаичной отсталости. Надо, мол, учиться у Владимира Ильича. Он одевался нейтрально: картуз, чтобы быть вместе с рабочими, и галстук, чтобы быть вместе с интеллигенцией. Картуз с галстуком — самая нейтральная прекрасная одежда, которая освобождает человека от всяких общностей, кроме общности труда.

Он рисовал мне схемы шахт и как всё это дело работает — забой, как рельсы прокладываются, как поднимается уголь. Много чего мне объяснил про добычу угля. Забавный парень.

С нами сидел азербайджанец, не говоривший по-русски ни одного слова. Он не знал, что русский язык существует, пока не попал в армию. Азербайджанец из Армении, из горного азербайджанского села: в те годы азербайджанцев оттуда еще не выперли.

Армения — это ведь наш азербайджанский край, Эриванское ханство, и эти ребята не знали, что есть какая-то Армения. Про Россию тем более не знали ничего.

Он учился в азербайджанской школе, попав в армию, не понимал ни звука, что говорят вокруг. Он был счастлив, когда меня встретил, потому что я ему объяснил, что вокруг происходит. У меня с собой была книжка по азербайджанскому фольклору, и он просто плакал от счастья. Он на моей книжке написал посвящение мне, у него своей книжки не было, так он хоть на моей написал. Где-то она у меня хранится.

Марксист всё время хотел провести пропаганду по атеизации и социализации азербайджанца. Но у них не было общего языка. Я объяснил азербайджанцу, что он имеет дело просто с шайтаном. А парень был верующий, молящийся.

Я ему говорю:

— Видишь, это — шайтан. Он хочет, чтобы ты не верил в Аллаха, хочет, чтобы верил в шайтана.

Марксист понял, что я его троллю в сознании этого парня, и обиделся на меня.

Суровый ветеран-психиатр приходил в форме, в сапогах, с пистолетом в кобуре, и сверху белый халат — так он ходил на работу в свое отделение.

Через некоторое время он мне говорит:

— Мне понятно, что ты симулянт, но я не могу принять по тебе решение в одиночку. Есть предложение направить тебя на беседу к главному психиатру московского военного округа генерал-лейтенанту Таковскому.

Я думаю, ну ничего себе, до чего дошел. В двух местах признали симулянтом и еще отправляют для последней беседы к главному психиатру.

Повезли к главному психиатру, там у него адъютантом сидит полковник в кабинете. Сам генерал-лейтенант — седой мудрый дядька.

Меня вводят...

— Не хочешь служить?

— Не хочу.

— А что будешь делать, если отпустим?

— Учиться, книжки читать, заниматься самообразованием. Попробую поступить куда-нибудь.

— Ну хорошо, иди.

Через несколько дней вышла моя комиссия, и отправился я по второму разу в свою часть. Надо же было получить документы и оттуда уже ехать домой с сопровождающим.

А быть у меня сопровождающим вызвался Евгений Барас, с которым я вместе призывался из Москвы и которого я спасал от массового и могучего антисемитизма. Я же в части пользовался большим авторитетом. Его хотели несколько раз прибить, но я не дал, сказал — не надо.

— Да что ты его защищаешь? Ты только посмотри, как эта тварь слюнявит окурки: они же сразу промокают и тухнут с шипением.

— Нет, — говорю, — оставьте его в покое.

Спас.

Это был негроид ростом метр с кепкой, курчавый до невозможности, очень смуглый с отвисшими негритянскими губами, совершенно неадекватный и неприспособленный абсолютно ни к чему, вечно очень грязный. Он в Москве готовился поступить на журналистику и писал еще со школьной скамьи жалостные человеколюбивые правозащитные фельетончики о стремных кухонных делах в духе нынешнего Малахова: старушке что-то не дали, соседки что-то не поделили. Был такой правозащитно-слезливый жанр с выходом на общечеловеческое. Он к этому жанру пристреливался.

Для души он был поэтом в духе Вальшонка:

Среди лифчиков и распашонок
Будет мрамор белеть доски
Здесь родился и вырос Вальшонок
Несмотря, назло, вопреки.

И была у Бараса Софочка, резиново-пухленькая, беленькая, в кудряшках. Он сам был черный как смоль, а она беленькая.

Его в части зверски гнобили. К примеру, наше отделение назначается в наряд на картошку, мы все встаем в два часа ночи, а он спит, надо бы растолкать, а я говорю, не надо, пусть спит. Мы все идем, чистим картошку. Ее надо чистить до шести, а мы чистим до четырех, потом будим его и говорим:

— Мы за тебя чистили два часа, теперь ты иди дочищай.

Он понуро шел и чистил, проклиная свою долю.

В конце концов, над ним сжалились и взяли его мыть полы в офицерском штабе. Это уже совсем было запаadlo, но он пошел, чтобы только подальше быть от нас. Он прибегал в казарму весь мокрый и грязный, как чушка, залитый водой, с задранными по локоть рукавами, и просил дать ему в рот сигарету, оставить покурить: он-то сам грязными руками взять не мог. У него была такая губа, как

у верблюда, он ее выпячивал, и кто-нибудь клал на эту губу недокуренную папиросу. Этот окурок тут же промокал и с шипением тух. Настоящий потусторонний джинн. Но тем не менее, когда меня комиссовали, он вызвался меня провожать: очень ему Софочку хотелось увидеть заодно в Москве. Ну, поехали.

Много лет спустя, мы тогда уже с Надыром⁸⁹ были близки, в 1997 или 1998 году я лежу на диване на Мансуровском, и вдруг раздается звонок. Звонит Е. Барас (он так подписывался — «Е. Барас») и говорит:

— Вот, это я, ты меня совсем, наверное, забыл.

Я говорю:

— Нет, как тебя такого забудешь. Помню отлично. Как жизнь?

Оказалось, он уехал в Израиль, родил там детей, работал на телевидении, в газетах. Софочка уже умерла.

Сочувствую, сочувствую, sorry.

Сейчас он приехал в Москву и собирается снимать фильм про Ислам. Ну и уже вышел чуть ли не на Надыра — по крайней мере, на его кабинет в Государственной Думе.

На следующий день я немедленно пошел в Думу и Ахмеда с Рамазаном спросил, выходил ли на них такой-то? Да, говорят, выходил.

— Я его знаю, гоните его в шею. Это агент-моссадовец, я с ним служил.

Забавно получилось — иногда они возвращаются.

**Разрыв с Леной. После армии. Статья «76». Радио ВДНХ.
Москвин и издательство «Медицина». Знакомство
с Мамлеевым. Лорик. Первое чтение. Предсказание
Мамлеева о крушении советской власти. Южинский.
Кремлевские курсанты. Малиновский, который никогда
не работал. Алиса Тиле. Саша Васильев. Восстановление
отношений с Леной**

На личном фронте у меня было так: Лена родила сына, а мне после армии и тюрьмы категорически расхотелось вписываться в ситуацию «молодая семья».

Как только я увидел кричащего младенца, всё мое глубокое, взлелеянное в течение всего детства отвращение к прокреации, «продолжению рода», всколыхнулось, и я почувствовал глубокую ненависть к детям, к женскому, к семье, к коляске, к бутылочкам с питанием, к омерзительному запаху детей. Полное и безусловное разочарование в Лене.

Через некоторое время и мне, и ей стало очевидно, что у нас ничего не получится.

Конечно же, она воспринимала это как предательство.

Но, с другой стороны, мы не договаривались про жизнь с детьми. Короче говоря, я остался в несколько неприкаянном виде.

Когда я оказался в Москве после армии, встал вопрос о том, как жить дальше. Надо сказать, что меня комиссовали через статью «76»⁹⁰. Это психопатия. С такой статьей невозможно было восстановиться ни в одном вузе, где имелаась военная кафедра. А военная кафедра имелаась во всех гуманитарных вузах. Но несколько попыток мы с бабушкой сделали. Съездили в скромные институты типа пединститута Крупской.

Она ходила в приемную комиссию, общалась, а я сидел в коридорчике. Но толку не было, потому что понятно: ну какой советский вуз возьмет человека, выгнанного из советских вооруженных сил с большим скандалом?

Но оказалось, что и устроиться на работу не так-то просто.

Нашел я было хорошую работу — диктором на радио ВДНХ. Приехал в дирекцию, обаял за короткий срок всех баб, которые там сидели. Им понравился мой голос, как я говорю, мой стиль. Встал вопрос о документах. Тут-то и выяснилось, что в военном билете стоит отметка, что я комиссован по «7б».

Первый отдел выкатывает глаза и говорит:

— Вы что, с ума сошли? Вы на режимную работу хотите устроиться, диктором на радио ВДНХ. Вы представляете, что будет, если вы вдруг антисоветчину на весь ВДНХ начнете нести? С вас же спросу нет, нам придется отвечать. Вы призовете к свержению советской власти — и вам ничего не будет, у вас «семь-бэ».

Кэзэбешник сидит и говорит:

— Вы можете призвать к свержению советской власти.

Честно говоря, я даже растерялся:

— Вы знаете, масштаб-то маленький. Если бы на весь Союз, а то ВДНХ какое-то.

Он говорит:

— Зато ВДНХ — наш сегмент ответственности. За Союз мы не отвечаем. Но здесь мы сделаем всё, чтобы такие, как вы, не дорвались до микрофона.

Девки, которые со мной беседовали, помрачнели, стараясь не смотреть мне в глаза, холодно собрали мои бумажки и вернули их. Спасибо, но жаль.

Тут я понял, что, оказывается, уйти из цепких когтей советской армии легко, а вот залезть обратно в мышиную норку после того, как спасся от товарища филина, уже посложнее⁹¹.

И тут мамина подруга (она уже давно умерла, раньше моей мамы), работавшая редактором в издательстве «Медицина», вдруг говорит, что у них в издательстве есть место корректора.

О, счастье! Берут в издательство! Уборщиком? Нет, корректором! На интеллигентнейшую профессию корректора. Замечательно.

Я пришел туда. В принципе это была чудовищная, нуднейшая, абсолютно бессмысленная работа орфографической правки идиотских медицинских текстов, в которых я не понимал ни слова, потому что они были написаны на чудовищном жаргоне. Надо было править опечатки и расставлять запятые в статьях для медицинских журналов. Всё было бы плохо и безнадежно, тем более что платили они 60 рублей, если бы там не было Ильи Москвина, племянника знаменитого актера.

Бородатый мужик, живший с только что обретенной молодой женой из лимитчиц⁹². Он обитал в переулке напротив юношеского входа в Ленинку, в графском особняке. Какой-то коридорчик, какие-то две комнаты. Девку свою он держал в черном теле. Я ее видел мельком, она чуть ли не «барин» ему говорила.

Он там вел какой-то непрерывный ремонт. Когда я к нему приходил, всё было засыпано мелом, сесть было некуда. А когда он приходил в издательство «Медицина», у него на заднице были такие белые концентрические круги от пружин на диване.

Он был не лишен юмора. И самое его ценное качество — колоссальная фонотека Лещенко, Морфесси, Паниной, — весь романтический хтонический разгул, так мне близкий с самых нежных лет. Я освежил любовь к Лещенко за счет встречи с Гайдаром в университете, бубнившем себе под нос что-то вроде «Стаканчики граненые» или «У самовара я и моя Маша». Надо сказать, что бабушка Лещенко ненавидела. Видимо, ее в 20-е годы уже достали этим делом.

И вот мы у него собирались и слушали.

Москвин, мало того что был старший редактор этого издательского дома, он к тому же еще был очень известный переводчик со скандинавских языков. Толстые книжки, которые он переводил, печатались с его именем. Он их мне показывал. Он переводил со всех скандинавских языков. Но самое чудо — он знал исландский язык, он же язык древненорвежский, но знал он и норвежский, датский, шведский. Это был его серьезный приработок. Очень мало кто знал

скандинавские языки. После мне только Женя встретился. Но Жене не надо было знать языки, чтобы с них переводить. Он мог создать такую литературу сам. А этот переводил.

И вот однажды сидели мы, можно сказать, на завалинке, во время обеденного перерыва. К тому моменту мы работали вместе уже около двух месяцев. Это был 1967 год, и дело шло к ноябрю. Солнышко проглядывало. И вот Москвин говорит:

— А ты слышал о таком писателе Мамлееве?

— Нет. А как его зовут?

— Юрий. Он пишет очень любопытные вещи. Про монстров, жуть всякую, просто ни в какие ворота не лезет. Круто. Интересно.

Не отвечаю за точность. Ранее в каком-то другом месте я, может быть, поточнее вспоминал. Пытаюсь передать смысл того, что он сказал.

В это время я был уже мало что ожидавшим усталым человеком. Вдруг неожиданно даже для меня самого у меня пробудился интерес. Почему он пробудился? Какой-то Мамлеев. Я ведь мог пропустить мимо ушей.

Но тут я сказал:

— Мне бы хотелось его увидеть. Как он выглядит?

— Он похож на кабана...

— Я хочу с ним познакомиться.

— Хорошо, — сказал Москвин, — скоро у одного моего друга будет чтение. Мамлеев только читает, приходит и читает. Я тебя приведу.

Это обещание мне запало.

Я вдруг почувствовал, что моя романтическая история с издательством «Медицина» исчерпывается и подходит к концу. Это было абсолютно тупиковое направление жизни. Невозможно нормальному человеку ходить и заниматься корректурой

бессмысленных текстов, какой-то абракадабры, получать 60 рублей и терять большую часть дневного времени.

Приходит назначенный день — это было 11 ноября 1967 года.

Мы с Москвиным встречались перед метро «Библиотека Ленина», где сейчас вход в Боровицкую. Одна из моих любимых площадок, 16-й троллейбус ходил недалеко от Остоженки, от Мансуровского, где я тогда вынужденно жил, вернувшись из вооруженных сил. Мама еще тогда была в Тбилиси с Теймуразом.

Вот мы встретились, подошел Мамлеев, и с ним невысокая девушка с невероятной физиономией, у нее были вывернутые ноздри и вздернутый нос, похожа на Гавроша из карикатуры. Она явно мерзла в невменяемом пальтишке, как будто у кого-то украденном или вытащенном из мусорной кучи. Тонкие, как мне показалось, ноги болтались в широких голенищах сапог, как градусники в стакане. При этом ниже полы пальто и до начала сапог коленки были голые, а уже холодало. Она излучала вид лихости, невероятного драйва, удали. В общем, что-то от нее шло разухабистое и позитивное.

А Мамлеев на первый взгляд не производил особенного впечатления. Я бы мог его принять за инженера или сотрудника ЖЭКа или учителя, которым он впоследствии и оказался. В ратиновом пальто, с портфелем, он утробно и уютно побрякивал и поглядывал. Он не произвел впечатления какой-то сверхновой вспышки при этой встрече.

Мы двинулись к месту, где должно происходить само чтение, — на Большую Полянку. Вел нас Москвин, он знал дорогу. Мы пересекли Большой Каменный мост, прошли несколько зданий, миновали поворот на Якиманку и спустились чуть-чуть дальше. На левой стороне одно из больших зданий по Большой Полянке — чуть ниже, где разветвляются Полянка и Якиманка. Дом 11, хотя могу ошибаться. Мы поднялись на какой-то этаж, без лифта. Хозяин нам открыл дверь.

Я спросил: «А про него что надо знать, кто он такой?». Москвин ответил, что просто инженер.

«Просто инженеры» — особая категория в тайной Москве.

У хозяина было лицо человека, страдающего тайными пороками. Сам он в обязательных обвисших трениках, в майке. Он провел нас в свою комнату, комнату классического инженера в центре Москвы, — с невнятными книжками, невнятными диванчиками, невнятным патефончиком, псевдовольтеровскими креслами.

Мы расселись, попили чай. В процессе питья чая Лорик, Лариса Георгиевна, меня поразила.

Она рассуждала обо всём, причем с невероятной лихостью, приправляя речь густым матом. О Канте, Ницше, Достоевском. У нее была своя *animal farm*⁹³: Феденька Ницше, Моня Кант.

— Моня Кант, — орала она, — изобрел ноумен! Это же, хххх, надо! Вот просто представьте, что Моня Кант изобрел ноумен!

Я смотрел на нее квадратными глазами, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного. И надо сказать, что это всё мне понравилось.

Мы расселись, и началось чтение. С первых фраз, произнесенных Мамлеевым, я был захвачен этим чтением как чем-то совершенно потрясающим, чем-то, что всё переворачивает.

В этот вечер было два рассказа — «Антижизнь» и «Голос из ничто».

«Антижизнь» — про одинокого психопата, охотившегося на кошек и вступавшего в контакт с ощущениями потустороннего дальнего преобразования, которое маячило сквозь всё.

Суть мамлеевской прозы в том, что человек занимается инфернальным бредом, потому что за этим ему брезжит привкус дальнего преобразования, к которому он идет сквозь всё.

«Голос из ничто» — встреча в пивной с Абсолютом, осуществившим очередное падение вниз. Дядька в растянутой синей майке с пивным бокалом в руке объясняет герою, что Абсолют не первый раз совершает падение и восхождение, что он был Абсолютом в невероятных высях запредельного безграничного блаженства, потом он превратился в некий персональный Великий дух, потом в архангела, потом спустился по ступеням тронов и могуществ.

Сейчас он человек, но его падение вниз скоро продолжится на новом витке. Он уже чувствует приближение затмения человеческого сознания и обрывки воспоминаний прошлых его путешествий, когда он был слоновьей какашкой или еще чем-то в конце своей деградации. Но дальше он снова поднимется вверх. Такой вот очень странный голос из ничто проявляется в беседе двух хмырей в пивной, засиженной мухами.

Это были потрясающие рассказы, потрясающая проза, потрясающее исполнение. Я даже не знал, с чем это можно сравнить. Мы вышли, уже шел снежок.

И пошли по мосту обратно. Разговор завязался о том, как сокрушить советскую власть.

Мамлеев сказал:

— На мой взгляд, ее можно сокрушить только изнутри. Вот если бы кто-то, какие-то люди, поставив перед собой задачу уничтожить коммунизм, смогли симитировать коммунистов, вступить в партию, совершить прохождение на самый верх и стать членами Политбюро, то это было бы реальным способом уничтожения советской власти.

Мне это показалось неправильным. Мне показалось, что неправильно уничтожать советскую власть путем приспособления к ней, внедрения, имитации, разрушения ее сверху. Мне, по моему темпераменту, хотелось, чтобы она была уничтожена с кровью, драмами, выворачиванием рук, хрустом суставов, рубкой шашкой в подвале, вывешиванием на фонарях. Чтобы это было сковырнуто, как болезненная язва.

Но я признал, что что-то в этом есть, хотя слишком утопично.

Я всегда знал, что советская власть рухнет. Но каково же было мое изумление, когда она рухнула именно тем способом, который 11 ноября 1967 года Мамлеев подробно описал на Большом Каменном мосту где-то в восьмом или девятом часу вечера.

Мы дошли до метро, простились с Мамлеевым. Москвин тоже куда-то нырнул. Он же там рядом жил, возле библиотеки Ленина, там был его переулок и графский особняк.

Мы остались с Лориком, и тут она пригласила меня пройти с ней. А жила она на Южинском, и мы пошли пешком. Так я оказался в знаменитом сакральном месте, известном теперь как «Южинский».

Это был деревянный дореволюционный дом — под стать домам, описанным в мамлеевских рассказах, где живут всякие кошкодавы. Второй этаж представлял собой невероятно длинный коридор, посередине висел на стене тяжелый телефонный аппарат, вокруг которого всё было исписано телефонными номерами. По обеим сторонам коридора шли двери. А в самом конце коридора, где подслеповатое окошко во двор, направо располагалась дверь, ведущая в анфиладку из двух комнат. Там находилось мамлеевское пристанище, но дом был под переселение, и сам он на тот момент жил у тетюшки.

Проваленный старый паркет, причем проваленный в буквальном смысле, гигантские вольтеровские кресла, обтянутые коричневой кожей, на столе известнейший портрет Достоевского.

Там я остался недели на полторы, позвонил домой, чтобы не беспокоились, а на работу уже не появился.

На Южинском непрерывно толклись самые разные персонажи. Это был удивительнейший паноптикум. В другом месте увидеть такое было просто невозможно.

Например, туда заходили кремлевские курсанты — два огромных детины, абсолютно похожих друг на друга, пластмассового вида, в смазных сапогах по форме, но при этом лихие, со сдвигом, как некая постмодернистская пародия.

Когда впоследствии я познакомился с театром Погребничко и посмотрел кое-какие его спектакли, вспомнил этих курсантов: в них было что-то от режиссуры Погребничко, что-то от ухарской безуминки, граничащей с инферналом.

В другой раз мне представили некоего Малиновского, в черном костюме и с галстуком-бабочкой, с пробором. Малиновский походил на персонажа из фильма 1950-х годов типа «Во власти золота». Мне сказали, что Малиновский известен тем, что он нигде не работал. В этот момент Малиновский щелкнул каблуками, подал руку со словами: «Малиновский, нигде не работал».

Появлялся время от времени и сам Мамлеев.

Это уже был угасающий Южинский, и ключевые фигуры, которые его образовывали, туда не заходили. С ними я познакомился много позже при других обстоятельствах.

Я застал уже агонию Южинского, куда на свет фонаря слетались не субъекты, а скорее объекты, персонажи визионерства. Но там всё равно царил потрясающий аромат «сдвига по фазе», вкус разрыва с реальностью, вкус перехода в другое измерение, — не безумие, не постмодерн, не что-то театральное, а выход за угол, в другое измерение. Там всё смещалось. Демоническая реальность, не без этого. Кремлевские курсанты были точно из демонической реальности.

Появлялись интересные персонажи, их судьбы складывались поразному. — Алиса Тиле, например. Обаятельная, адвокат, элегантная, ловкая, вся протюканная, богемная матерщинница и очень интересная девчонка. Она была впоследствии спутницей Пауста, сына Паустовского. Они вместе подсели на иглу и решили покончить с собой. Она его ширнула, и он ушел, а себя она тоже ширнула, но осторожно, и осталась жить. Как-то я ее встречал еще в советское время, на ней уже была патина декаданса.

Или заходил сын создателя фильма «Чапаев» Саша Васильев. Он жил на Ногина (теперь Китай-город), на площади, где на углу был магазин «Колбасы», у церкви, где выход с Солянского проезда — арка во двор, подъездик, на втором этаже громадная квартира невероятных размеров, комнат пять или семь. Она под завязку была забита барахлом, потому что Саша Васильев был фарцовщиком. К тому же он еще был наркоман, сидел на «винте».

У него шел поток людей, бесконечные девки, и конечно там было очень много любопытных предметов. Например, однажды мне попался шишак немецкого офицера времен Первой мировой войны, каска — я ее тут же примерил и был потрясен тем, что она не налезла мне вообще никак, сразу уперлась в кость. Такое впечатление, что голова у этого офицера была величиной с мой кулак. Такого добра там было много. Потом этот Саша умер в жутких страданиях, весь покрытый страшными язвами.

Как ни хорошо было на Южинском, но пришлось оттуда уйти. Пошел я забирать документы из издательства «Медицина», увольняться, после того как я прогулял дней десять. Пришел, очень сухо, ни на кого не глядя, собрал документы, поблагодарил Москвина за очень интересный контакт. И больше я его не видел.

У меня установились очень теплые и глубокие отношения с Юрием Витальевичем. Мы с ним встречались, беседовали. Он был большой интуитивист.

Тем временем к весне 1968, в апреле, восстановились мои отношения с Леной.

Я ее увидел на Пречистенке, догнал, думая, что это кто-то. Оказалось, что это Лена. Она сначала была холодна, дулась, но потом отношения восстановились. Мы жили в Валентиновке и на Гагаринском. У нас часто стал бывать Юрий Витальевич Мамлеев. И уже большая часть его наиболее серьезных чтений проходила там, и многие были исключительно для нас двоих, как аудитории.

Взрослые — несчастные. Взрослые — категория социальная. Расплеваться с социумом. Работа на ипподроме. Работа в ВОХРе министерства автоматизации. Армянские взрывы в Москве

Меня ничего не тяготило.

После того как та пелена, то стекло, которое меня отделяло от мира, кончились, когда я вошел в соприкосновение с реальностью, ее красками и ощущениями, и психологическими нюансами, — запах травы на даче, закоулки сада, они несут какое-то обещание или угрозу, — было много всего, и ко всему я присматривался, принохивался.

Есть расхожая довольно пошлая мысль, что дети хотят повзрослеть и вырваться из зависимости в некую большую взрослую жизнь.

Вокруг меня были люди, жившие несчастной жизнью. На моих глазах два человека кончали с собой. Правда дядя «недокончил». Но его жена год спустя успешно провела эту операцию на Мансуровском, который я считал своей родовой вотчиной.

Что такое быть взрослым? Я вообще не воспринимал эту тематику.

Я же вообще не был вписан в социум.

Взрослый — это категория социальная.

Люди хотят стать взрослыми, чтобы занять какое-то место в обществе.

Я никогда не хотел занимать место в обществе, я хотел его разрушить.

Я с девяти лет зоологически ненавидел любую власть, любое общество.

И нацелен был на то, что рано или поздно я доберусь до конца этой власти и вцеплюсь ей в горло, когда она будет подыхать. Я знал, что так будет, и обдумывал формы организации бытия, которые надо

будет устанавливать вместо этой. Как правило, картинки, приходившие мне в голову, носили достаточно тоталитарный характер.

Поэтому, каким взрослым? Зачем?

Банальные люди хотят семью, детей, ответственности, работать. Мне всё это было не нужно. Я быстро расплевался с социумом. Когда меня выгнали из армии, я уже ни в какой институт поступить не мог. Было понятно, что работать я точно не буду.

После моего небольшого опыта корректора в издательстве «Медицина», необходимого мне для того, чтобы познакомиться с Ильей Москвиным, а Илья Москвин познакомил меня с Мамлеевым — всё, дальше мне уже не нужно было работать.

Я работал только два раза, не считая издательства «Медицина».

Несколько месяцев сторожем в гараже ипподрома, где я писал стихи, и это был попросту мой офис и место уединения. В мою обязанность там входило открывать ворота машинам. Это кончилось жестко — пришли проверяющие, а у меня дым коромыслом, человек шесть-семь гостей сидело. А каморка была метра 2,5 на 4.

Второй раз я работал очень смешно — в охране, в ВОХРе министерства автоматизации мясомолочной промышленности, где-то на Мясной улице⁹⁴.

Мне выдали фуражку, черную шинель, пахнущую козлом, дурацкие ботинки из кожзама, брюки из непонятной ткани. И я — с огромной бородой (я всегда носил бороду), с локонами на плечах, сверху фуражечка, черная шинель с зелеными петлицами. В таком виде я стоял на проходной и проверял пропуска.

Мне запомнилось это потому, что я, работая там, читал «Утро Магов» Павеля, и в этот момент армяне взорвали метро — по радио передали о взрыве. 1977 год.

Армяне всплыли позже, когда их арестовали. Тридцать убитых и несколько десятков раненых, встала ветка метро. Они сделали пять взрывов. Возле Лубянки — главный взрыв, где КГБ и «сороковой» гастроним.

Это была группа борьбы за освобождение Армении от совка — они же Москву взрывали. Конкретная организация, руководитель Степан Затилян. Армянские национал-сепаратисты, которые боролись с советским империализмом. И взрывали они, чтобы мобилизовать ситуацию внутри Армении, создать угрозу армянского терроризма в Москве и добиться независимости. Изолированная дашнакская группа.

Их расстреляли, всех сообщников арестовали. В общей сложности человек сто.

Крутые ребята. Руководитель группы произнес на суде речь — что твой Каляев⁹⁵. Затилян произнес речь, что борьба с империализмом будет продолжаться, что будем продолжать бороться за свободу.

Затиляна лично знал Арам Карапетян⁹⁶, встречавшийся со мной спустя тридцать лет. Дашнаки, крутые террористы, после 1920-го года не играли лидирующей роли в армянской политике, не были первой скрипкой.

Бокштейн. Пожар

К нам с Леной в Валентиновку приезжало много друзей. Живое было начало.

Среди прочих — поэт Илья Бокштейн. Он жил у нас с Леной, выделили ему комнатку.

Познакомила меня с ним Лариса Георгиевна Пятницкая в библиотеке иностранной литературы еще в 1967 году. Она специально нас там как-то свела.

Я был слегка шокирован, но и вместе с тем странно фасцинирован гофмановской фигурой этого карлика. Больной с детства туберкулезом костей, маленький человек с иссохшим телом и большим горбом. Всем своим видом он напоминал деревянную фигуру жуткого языческого идола. У него было выраженное лицо с огромным носом, пронзительными глазами. И от него шла энергетика безумия.

Этот человек был одет в нечто, напоминавшее грязную нестиранную пижаму. От него шел сильный запах жутко немытого тела. Илья принципиально никогда не мылся. Он рассказывал, что когда его водили в баню на зоне, то он прятался под лавку — сидел там, чтобы его не коснулась вода.

Когда мы с ним разговорились, Илья рассказал мне вкратце свою историю.

Он принадлежал к поэтам Маяковки, учился в институте культуры. В 1961 году его арестовали и посадили, но не так, как пишут сейчас в википедиях — якобы за антисоветскую пропаганду и за выступления на Маяковке, а за участие в группе, готовившей покушение на Никиту Сергеевича Хрущева.

Никита Сергеевич проезжал по улице Горького⁹⁷ мимо Триумфальной площади. По этой причине на постоянную радикально-диссидентскую тусовку обращало серьезное внимание КГБ.

Бокштейн относился к плеяде, куда входили Ковшин, Каплан. Там же поэты смогисты⁹⁸, среди которых выделяется Леонид Губанов,

наиболее талантливый и яркий из всех. Все были в разработке.

Но судили и посадили Бокштейна за якобы злоумышление на Хрущева.

Я его спросил как-то:

— Слушай Илья, ты же сам напросился на то, чтобы тебе дали срок. Ты заявил на процессе, что являешься руководителем группы, готовившей убийство Хрущева...

На Маяковке то ли кто-то по-дурацки рассуждал на эту тему, то ли какая-то провокация была устроена. Все службы были подняты на уши.

В то время маршрут следования автомобиля Хрущева из Кремля проходил мимо Маяковки. Сейчас выезд из Кремля через Кутузовский, а тогда он шел по Тверской.

Маяковка, поэты Маяковки, тусовка Маяковки. Ну, и замысел грохнуть Хрущева возле Маяковки — всё перемешалось, и вышел вперед маленький человечек с врожденным туберкулезом позвоночника, ростом 140 см, и говорит:

— Я главный, я это всё затеял.

И ему говорят:

— Ах вот как. Ну хорошо. Явка с повинной.

— Да не с повинной, я не раскаиваюсь, я и сейчас могу повторить.

— Ну хорошо...

Самооговор поддержал суд, который, вместо того чтобы расхохотаться, серьезно кивал. Но времена стояли травоядные, как принято говорить, и дали ему пять лет. Сейчас бы, наверное, получил пожизненное.

Совершенно ясно, что это самооговор. Могли на дурдом заменить, но дали сперва пять лет, а потом еще год дурдома.

Я его спрашиваю:

— Зачем тебе это было надо? Значит, ты сказал, что хотел убить Хрущева.

Получил же просто так пять лет.

И он ответил в своей обычной манере, резким отрывистым голосом:

— Факт эстетизации биографии.

Мы как-то зашли к нему домой где-то на Коммунистической улице, место называлось чуть ли не Коммунистический тупик. Бокштейн в пижаме — вроде тех, что изображают в разных фильмах про холокост. Домашняя пижама, превращенная им в костюм, который он носил, не снимая, утром и вечером.

Она совершенно потеряла вид и цвет, но сохранила образ пижамности.

Открыла дверь особа классического геттовского типа, как в сериалах, акцентирующих этническую тему, или в анекдотических мизансценах. Маленькая сухонькая женщина, дико испуганная. Я хотел, чтобы Илья перебрался ко мне, и мы зашли забрать какие-то вещи. Она пришла в полное недоумение, ей было непонятно, как ее «штетлермешугенер»⁹⁹-сыном может заинтересоваться импозантный молодой человек, по ее понятиям, хорошо одетый, чистый. И что это такое, что это за замысел?

Она боком, как краб, ползла по стене, посматривая на меня и говоря: «Ну же вы-таки не обижайте Илюшеньку, вы же присмотрите за Илюшенькой».

Налет идишной речи был и у самого Бокштейна, хотя он москвич, учился в институте культуры, сидел. Но он часто употреблял идишные слова, даже немецкие он произносил по-идишному. «Юберминч», например, вместо «уберменш».

Я забрал его с собой, предложил ему пожить у нас с Леной на даче в Валентиновке. Потом с дач мы переехали на Гагаринский. Бокштейн тоже переехал с нами и некоторое время там жил, а потом уехал, энтропировал.

У него любопытные были строчки...

Я люблю тебя как любит

Злой солдат шальную пулю.

Град холодных поцелуев
Заморозил грудь земную.
Не заснуть мне, не проснуться,
Я на кончике сомнения,
К стенке тихо повернулся.
Кто сдал мой колени?
Земля вздохнула, выплюнула, хватит,
Прости, что долго по тебе бродил.
И рад бы на покой,
Да нет по мне кровати.
Я до рождения
Ошибку допустил.

Геттовский сумасшедший с проблесками гениальности.

Знакомые картинки,
Собираются персы,
Собираются персы,
48 персон.
Стол накрыли перстами
Для рыжего беса,
Его портрет вызывают 48 персон.

Я Жене в своё время это показал. Это привело его, как и всегда, когда он сталкивался с чужим творчеством, в сильное раздражение. И он сказал, что 80 процентов — графомания, но 20 процентов несёт печать гениальности.

Бокштейн часто появлялся в салоне у Трипольского. Как-то раз он что-то слушал, что-то читал, а потом как всегда резко встал и пошел не к двери в прихожую, а к стенке, уперся в стенку и начал по ней шарить руками и так очень злобно закричал:

— Где тут у вас дверь? Поэт не обязан знать, где дверь!

Это был так неожиданно и так круто. Все захохотали. А я это запомнил на всю жизнь.

Илья уехал в Израиль, и там уже после его смерти вышел его трехтомник. А при жизни были только какие-то разрозненные

публикации. Архив его пропал, если и был таковой. Надо было видеть эти тетрадки, исписанные огромными каракулями. Тот еще архив.

У него был любопытный посыл. Иногда он развлекался следующим образом. С дачи он уезжал в Москву, являлся в субботу в синагогу и троллил евреев. Появлялся такой горбун, монстр, выбирал себе жертву, какого-нибудь аккуратного интеллигента, и начинал такой разговор:

— Как вы думаете, кто такие евреи? Что значит быть евреем? А вот страшная катастрофа, холокост? Она чем объясняется?

И потихонечку начинал раскручивать. Но это же еще были советские евреи, и он был где-то на грани. А потом приезжал поздно вечером к нам на дачу и рассказывал о своих подвигах.

Контакты у него были неожиданные и очень серьезные — выход на Эшлимана, Якунина, Дудко и других.

Он развил в себе невероятную индивидуализацию, заикленность на собственной гениальности, которая освобождала его от любых тормозов и комплексов.

Как-то мы шли по Старосадскому переулку в сторону Маросейки с Мамлеевым и Бокштейном. Жаркое лето, плавящее асфальт, 1969 год. Проходим мимо «Исторички»¹⁰⁰, и вдруг он говорит:

— Обычно литераторы пишут свои вещи с одним значением. То, что написано, то и имеется в виду. Очень крупные авторы, посвященные, вкладывают максимум два значения: первое — фасадное, и второе — зашифрованное. Данте писал свою «Божественную комедию», вложив туда четыре значения. Я сейчас работаю над романом с девятью уровнями понимания.

Забавно читать статьи, что он знал языки, был переводчиком. Никаких языков он не учил и учить не мог. У него в голове было всё совершенно иначе устроено.

Обычно он говорил так: «Мне не нужно ничего изучать и читать, я всё знаю сразу. Допустим, Майстер Экхарт. Спроси меня, что такое Майстер Экхарт¹⁰¹, что у него за послание, что он написал. Мне

не нужно это изучать. Я закрою глаза, сосредоточусь и просто изложу, что он такое и о чем он говорит».

Я предложил ему рассказать, о чем говорит Майстер Экхарт. Илья действительно закрыл глаза, впал в транс и начал нести ересь, фантомы из его бедной головы. Никаким Майстером Экхартом там и не пахло. Но апломбом он обладал удивительным. В его безумии полюс еврейской гениальности противостоял массовой еврейской банальности. Причем сам Бокштейн остро чувствовал противостояние этих двух полюсов. Неслучайно его полюс гениальности физически выглядел как монстр.

Он был сильно озабочен: всё время пытался кадрить девчонок — в метро, где угодно. Приводил их в ужас: представьте гофмановского карлика Носа в меховой шапке с торчащими ушами — и он садится рядом. Бокштейна хватало на то, чтобы выбежать среди зимы в Гагаринском переулке в темный зимний вечер среди сугробов в этой шапке и больших черных сатиновых трусах, чтобы немного погулять.

И вот он начинает говорить, что вот-де Платон, Гамлет. Девушки в шоке.

Однажды Илья привел довольно миловидную девицу, которую он всё-таки склеил на улице. По советским понятиям буржуазная девочка, гладкая и аккуратная. Оказалось, что она учится чуть ли не на пятом курсе Мориса Тореза, на французском отделении. Ей было интересно всё, непростая штука. Но всерьез его никто из такого рода особ не воспринимал.

В памяти о нем сохранились остро очерченные воспоминания. Маргинальная фигура, Илья Бокштейн прошел, оставив несколько строчек своих стихов. Было странно и даже удивительно узнать, что его больше нет. Он родился в 1937-м, а умер в 1999-м. Совсем немного времени прожил. Он был больной человек.

В интернете есть видео с ним. Можно найти, увидеть его физиономию, понять, о чем я говорю. Лицо у него очень непростое. Его никто особо всерьез не воспринимал. Головинское определение «80 процентов графомании, 20 процентов с проблеском гениальности»

объясняет, почему возникали проблемы с широкой публикацией его текстов. Но Илья не терял апломба.

Я слышал его интервью, уже в Яффе, где он говорит, что мир признаёт, что Гамлета понял после Шекспира лучше всех Бокштейн. Он написал поэму о Гамлете, которую, по его словам, разместили в какой-то русско-тюркской антологии вместе с Фазилом Искандером. В этой антологии есть восемь страниц его текста о Гамлете, заслужившего высокие оценки у британского актера-поэта, игравшего Гамлета в Лондоне. «Я понял, что моё знание Гамлета, моё понимание Шекспира подтверждено на международном уровне объективно» — говорит Илья в интервью. Он начал нуждаться в некоем подтверждении — это большой шаг навстречу миру.

В 1968 году мы с Ильей выезжали на процесс Делоне — Богораз по поводу Праги, следили за Прагой¹⁰², следили за Парижем¹⁰³, встречались с Григоренко¹⁰⁴, мы объезжали весь круг людей, ставших предметом моего восторженного удивления в школьные годы, героев детских мифов.

С наступлением холодов в октябре на даче Лены мы топили всё сильнее и сильнее, закладывали всё больше и больше дров. А печка была хлипенькая. И вот однажды я в очередной раз подсунул дров и лег в сырую холодную постель. Ноги были возле печки, и вдруг я почувствовал, что уж слишком горячо. И запах пошел. Я вскочил и увидел, что кровать горит. Оказалось, что от моих стараний и интенсивности огня в задней стенке печки образовалась трещина, через которую шел очень мощный жар с искрами. И тюфяк наш загорелся. Пришлось тушить, заливать водой. А уже стоял мороз.

Больше на этой даче жить нельзя — печка пришла в негодность.

Перебрались на мою, огромную, с хорошей печью, но не топлённую, холодную. И как-то она оказалась менее оборудована и более заброшенная.

Мы там провели около месяца, когда состоялся знаменитый приезд Дудинского с Мамлеевым и каким-то приятелем Игорем.

Мы сидели на втором этаже в единственной теплой комнате, дрожа от холода и кутаясь во всё что можно. Мамлеев дочитал совершенно потрясающий рассказ «Мы готовы ко второму пришествию».

Кто-то сказал:

— Только с чашкой остается говорить... (вроде того что, чем еще на даче заняться).

А Бокштейн, как раз вертя в руках чашку, ответил:

— Почему бы и не побеседовать с чашечкой?

Бокштейна мы таскали с собой всюду. Идти ему было абсолютно некуда. Как-то мы еще раз заехали к его матери. Она бросилась ко мне, заговорила на странном каркающем языке что-то такое: «Же вы-таки позаботьтесь о моем мальчике». Она смотрела на меня, как птица, очень подозрительно, одним глазом, как бы боком. Мать совершенно не понимала, что нам нужно от ее убогого недотыкомки-сынка. Она думала, что, может быть, какие-то страшные виды мы на него имеем. Но раз уж он там как-то занимается, и она разгрузилась от заботы кормить и держать его дома, то «вы уж позаботьтесь».

Подступал ноябрь 1968 года, белые мухи, уже снежок лежал на земле. И нас известили, что мы можем перебираться в Москву. О, облегчение!

Дед и бабка Лены переехали в Черемушки на кооперативную квартиру, и оставили нам свою на Гагаринском, в деревянном старом доме. Царский подарок. По тем представлениям, огромная квартира, с отдельным входом с улицы.

Мы переехали, организовали крутой салон и провели там три очень специальных года. Потом всё кончилось, когда дом решили снести и выселили нас на Большую Очаковскую. Для меня это было как высылка в Берёзово¹⁰⁵.

Гагаринский. Холин. Мамлеев как знаток психопатологии. Реставрация. Дудко. Фарцовщик Шурик. Вор-домушник

На Гагаринском была совершенно убитая квартира без мебели, без всего.

Убитая квартира в старом деревянном доме, который не ремонтировался с дореволюционных времен.

Дом очень интересный, он принадлежал родственнику Чехова, некоему врачу из побочной чеховской родни. Дом старше самого писателя, как мне говорили, 1815 года. Он перестраивался, мезонин превратился в целый этаж.

Главное достоинство этой квартиры было в том, что она была большой и очень просторной, с почти отдельным входом — тыходишь в некий коридор, направо уходила лестница наверх, а перед лестницей дверь к нам.

Ты входил из коридора и попадал в отсек на четверть этажа. Маленькая прихожая, из нее выход в огромную кухню, с ванной и газовой колонкой. Налево вход в просторную комнату — столовую, гостиную, главную комнату салона, с высокими потолками — не такими, как на Мансуровском, где больше четырех метров, но тоже выше трех. Из нее две двери в одной стене в небольшие комнаты.

В одной поменьше у нас была спальня, а в другой был мой кабинет. Туда я перетащил много вещей с Мансуровского и, главное, дубовый дедовский шкаф со всеми книгами. Мы очень сильно пошарились по подвалам разных антикварных магазинов и нашли кое-какую мебель — ту, что не выставляли для покупателей с главного входа, а такую, что для клиентов с черного.

Удалось найти очень неплохое русское барокко — огромный стол под красное дерево, с очень хорошей резьбой — больше, чем был у деда. Большое кресло мне и два поменьше — для посетителей, с львиными головами, у которых в пасть зажаты кольца. Прикольные кресла, обитые кожей, хотя уже в потертом состоянии. Больше в кабинет ничего не входило. Стол, кресла и книжный шкаф.

После этого салон заработал. Через некоторое время мы подтянули Лорика, но та не совсем всё правильно поняла и стала водить туда своих любимых художников — Немухина, Харитонову, Краснопевцева.

Как-то раз мы с Леной оставили там Лорика и ушли гулять. И когда вернулись уже уставшие, нагулявшиеся, мы обнаружили, что вся квартира полна спящих людей, лежавших вповалку на полу, на нашей постели, на столе. Повсюду немухины и харитоновы, они занимали всё пространство. Я открыл окно и стал их выбрасывать одного за другим на улицу. Лорик кричала, визжала, пыталась предотвратить это. Художники просыпались, что-то бормотали, но я их беспощадно выкидывал. Она кричала:

— Вы же хотели салон! Вот вам салон.

— Нет, — говорю, — я не имел в виду такой салон, я имел виду реальный салон, а не спящую у меня на кровати сволочь, я не армия спасения для художников, не ночлежка.

В общем, повыставлял я всех, частью они сами ушли, как всегда, когда надо, быстро очнувшись. И после этой коррекции ситуация выправилась.

Лорик и сама поняла, что она чуть-чуть перебрала, и как-то она переместилась. Сначала она базировалась на нашей площадке. Но мы же с собой еще и Бокштейна таскали, пугавшего многих.

Тем не менее всё-таки ситуация несколько консолидировалась. Консолидировалась она вокруг примерно трех-четырех человек, из которых на первом этапе ключевой фигурой являлся Мамлеев. Он постоянно приходил, проводил вечера и очень часто читал.

Достаточно частым человеком был Игорь Сергеевич Холин. Мы с ним сидели за круглым столом в большой комнате, как всегда с Леной, и он рассказывал нам о своей жизни, подвижнической и страшной.

Вот бы его записать, когда он сидел у нас с Леной на Гагаринском. Он просто сидел и излагал нам свою жизнь, жуткую, как ад. Он говорил очень спокойно. Он был человек с легкой умственной затормозкой.

— Гейдар, но ведь вы же хотите всё уничтожить? Я правильно вас понял? Вы хотите мир уничтожить? Я правильно вас понял?

У него интересное происхождение. Отец — дворянин, офицер, пошедший в Красную Армию. Мать — белошвейка. Родился он в самом конце гражданской войны, в 1920. Отец его погиб, мать вскорости умерла, и маленьким он попал в детский дом. Детские дома, по его описанию, были совершенно чудовищными. Полукриминальные воспитатели издевались над ними, мучили, насиловали, посылали несчастных детей воровать и побираться. Жестко спрашивали с них за объем наворованного и собранного, когда они возвращались. Учебы там не было никакой.

В 18 лет от такого ужаса он подался в Красную Армию.

Он прошел всё от начала до конца, провоевал всю войну, участвовал в трех наступлениях. Это эксклюзив, потому что более чем в одном наступлении мало кому удавалось выжить. И потом после войны его посадили.

На зоне он встретился с Кропивницким¹⁰⁶, который его образовал. Жена Кропивницкого, если не ошибаюсь, была смотрителем библиотеки на зоне, познакомила его с мужем, и тот сделал из Игоря Сергеевича совершенно другого человека, поработал с ним, открыл ему идею творчества, концепцию литературы. Он сделал его грамотным.

Игорь Сергеевич, уникальный автор с уникальным менталитетом, точно воспроизводил клинические алгоритмы народного идиотизма.

Сегодня суббота,
Сегодня зарплата,
Сегодня напьются
В бараках ребята.
Сегодня суббота,
Сегодня, однако,
Ребята не пьют,
Не гуляют в бараках.
Ребята галдят
У ворот комбината —

Сегодня опять

Задержали зарплату.

Жанр, перекликающийся по стилистике со знаменитым рассказом Мамлеева «Человек с лошадиным бегом», о котором один психиатр сказал, что это просто готовый диагноз, всё реалистично описано.

Для психиатров творчество Мамлеева — море разлитое, потому что Юрий Витальевич как сын великого психиатра и сам глубокий знаток человеческих психических глубин, писал не фантазии, а изнутри чувствовал реальную органику психопатологии.

Психопатология была не самоценностью, не самоцелью, она была просто окошком в бездну. Вкус к инфернальному нам продемонстрировал Юрий Витальевич Мамлеев своей великой литературой. Он показал, что вкус к инфернальному живет в самых обделенных интеллектом душах. Собственно говоря, это его главное достижение.

Федор Михалыч¹⁰⁷ пишет о тех еще крестьянах. Фёдор Палыч Карамазов сидит за столом и рассказывает, как мужики порют девок, причем тех, которых будут брать замуж, и говорит: «Экие досады». Эта тема возникает, когда Смердяков говорит, что где-то есть два старца, держащих своими молитвами мир. Его вызывают и спрашивают, где это.

Там же тема, что умучили в Средней Азии пленного русского солдата, сдирали с него кожу для того чтобы он принял Ислам, а он не принял, и скончался. А Смердяков заявил, что ну и дурак, что он бы заявил, что принимает, но пальцы бы крестиком держал, и всех бы обманул. А потом разговор переходит на то, что наши русские мужики очень необычны, потому что они порют своих невест, такой заведен порядок — пороть невесту каждую субботу. Так что крестьяне очень и очень склонны к извращениям. Снохачи, садо-мазо, педофилы — всё это у них в полный рост.

Нужно иметь вкус к инфернальному, для этого интеллект не нужен.

Сейчас большинство людей банально полагают, что вся реальность является в отражении психического зеркала наблюдающего

субъекта, и что ничего объективного нет, нет занывров в какие-то пространства, существующие вне человека.

Есть, и еще какие. Реальные пространства гудят и шумят, но выйти в них можно только через окошки очень нестандартной психики.

То, что описывал Мамлеев, было реально.

И вот Игорь Сергеевич был на подхвате с таким странным социальным, упрощенным, вынесенным в социальное продолжением.

В конце концов он решился и написал роман «Кошки-мышки»¹⁰⁸, знаменитый, очень толстый. По-моему, это единственная его проза. Стихов у него много.

Тогда мне показалось, что зря он сменил жанр. Это вызвало даже у меня некоторое раздражение.

Разговоры с Игорем Сергеевичем были очень интересными. Из его рассказов, которые он вел неторопливо ровным голосом, вставала чудовищная, жуткая, убогая, нищая жизнь, ограниченная колючей проволокой, штыками, эшелонами, посадками, арестами, бесправием, безнадежностью. Эту безнадежность пробивал луч света — Кропивницкий Евгений и Сапгир, — то, что впоследствии называлось Лианозовской школой. Там в основном художники, а Холин — поэт и писатель.

Мы жили с Леной на Гагаринском очень бедно, я уже в этот момент не работал, и было понятно: из ничего ничего не возьмется. Мне предложили устроиться на реставрацию по линии Олега Трипольского. Именно он мне это дело сосватал.

Меня взяли реставратором на ремонт Всехсвятской церкви на Соколе. Там можно было хорошо зарабатывать, но система такая, что налог брался по возрастающей шкале. Допустим, первый месяц ты получаешь пятьсот рублей, с тебя берут налог с пятисот. Дальше, в следующем месяце ты получаешь пятьсот, но с тебя берут уже как с тысячи. Через месяц ты опять получаешь пятьсот, а с тебя берут как с тысячи пятисот. При таком прогрессивном налоге ты оставался с носом очень быстро. Поэтому там мухлевали. Сначала ты получал

двести, остаток тебе каким-то образом давали после. Всё наличными, без всякой бумажной волокиты.

Организовывали это всё околоцерковные проходимцы, повязанные с попами, но образовывавшие секулярный фасад. У нас не было никакого контакта кроме получения денег и объяснения, что сегодня тебе выпишут пятьсот, триста из них отдашь, а потом тебе в следующий раз подкинут. В среднем на круг в месяц выходило рублей двести. Хорошие деньги. Я покупал книжки.

Работа дико тяжелая и вредная.

Под куполом Всехсвятской церкви были фрески XVIII века, тончайшей лессировки. Эти фрески в 1947 году ученики сталинской академии художеств замазали маслом — грубое масло миллиметровой толщины и полная фигня, китч.

Надо было накладывать тампоны, пропитанные нашатырным спиртом — масло рыхлело от нашатыря, потом ты убирал тампон и скальпелем снимал масло. Главное было снять масло так, чтобы не продрать до камня лессировочную живопись. Приходилось сидеть в пузыре нашатырных паров. Сидишь на лесах, как на заборе, в неудобной позе, руки затекают, и медленно счищаешь скальпелем масло. Восемь часов с перерывом на обед.

Мы выходили на маленькое кладбище при этой Всехсвятской церкви, садились на могилки, разворачивали принесенную с собой еду, бутерброды, вареные яйца, ели и дальше чистили.

Требовалось достаточно крепкое здоровье, потому что пары никуда не уходили, скапливались под куполом, голова сильно болела, и руки быстро уставали. Не всегда удавалось достичь ювелирной точности, чтобы не сцарапать, но мы старались. Длилось это всё год или чуть меньше.

Я познакомился тогда с целым рядом известных имен, начиная с Дудко, у которого я бывал часто в гостях, и который тоже меня посещал.

Отец Дмитрий Дудко.

Я ходил его встречать к метро Смоленская, вместе мы шли ко мне, чтобы он не плутал. Дудко был уже в годах, он же участник войны. У него было двое детей, попадья. Он рассказывал, что он, пройдя всю войну, ни разу не выстрелил в человека. И после этого сел.

У Дудко была проблема: он очень любил интеллигенцию и очень хотел ей нравиться. Поэтому все его проповеди напоминали лекции. Когда хоронили художника Анцифорова, я был на похоронах, и Дудко почему-то стал говорить про атомную физику. На Анцифорове он сломался. В этом моменте разошлись его пути с интеллигенцией, которая не поняла, для чего надо говорить над гробом любимого всеми Анцифорова про ядерную физику. Кроме того, он выпускал книжечки своих проповедей, но они тоже были заточены на обработку научного сословия, подтягивания ученых к вере. Он пользовался большим уважением, статусный поп.

Тем сильнее был шок, когда советская власть вынудила его выступить с раскаянием по телевизору. Это было уже в 1980, когда мы не общались.

На каком-то этапе работа закончилась, и мы стали сдавать одну комнату.

Сдавали ее некоему питерскому Шурику, фарцовщику, его привела Лорик, которая всегда приводила левых стрёмных персонажей.

Питерский Шурик фарцевал иконами. Парень лет 30, весь на измене, как обнюханный кокаином. Любопытный материал для изучения фарцы.

И вот пропал Шурик... Мы узнали, что он в узилище, в дурке за решеткой.

Во втором часу ночи звонок.

Мы открываем дверь — и на пороге наш Шурик в больничной пижаме, похож на Буратино, остроносый, питерская белая моль, рыжеватый блондинчик. И с ним цыганского вида крепкий, безумный молодец, в котором как бы всё время подкипало, дикий подогрев внутри.

Они прошли, сели и рассказали историю вызволения Шурика.

Товарищ, его привезший, оказался вором. Они вместе сидели и настолько хорошо закореслились, что вор решил Шурика вытащить. Он подогнал «Волгу», заплатил таксисту, накинул в определенный час на решетку трос, «Волгой» сорвал решетку с окна. Шурик выскочил из окна, сел в «Волгу», и они на дикой скорости, грохоча решеткой за собой, улетели по улицам Москвы.

С этим вором мы еще долго беседовали, я его расспрашивал про его бизнес.

Я его спрашиваю:

— Ты, когда ходишь по квартирам, ты что берешь?

— Я беру телевизоры и холодильники.

— И что ты прямо прешь с какого-то этажа с холодильником?

— А что? Рублей 300.

— Мог бы брать ковры, скульптуры, картины там.

— Нет, это нужен профессионал. А я откуда знаю, что это такое. Может это вообще ничего.

— Ну ты бы мог заняться темой, изучить. Ведь ты же понимаешь, что мимо носа у тебя многие тысячи рублей проходят. И это гораздо проще выносить, чем холодильник.

— Как-то мне не до того. Не моё это.

Потом он рассказывал, как шел на похороны своей матери, зная, что там его будут пасти. У него ТТ холодил руку, он смотрел со стороны, не подходя близко, зная, что агенты его подстерегают, и потом ловко отвалил.

Мне очень понравился парень, он был абсолютно безумным.

**Есенин-Вольпин. Якобсон. Краснов-Левитин. Билет
в Царствие Небесное. Петр Григоренко. Эшлиман. Якунин.
Николай Петрович. Книготорговец Якубович. Эффект
Вассермана. Олег Трипольский**

Лето 1968-го.

В то плодотворное лето я успел познакомиться со всеми героями большого диссидентского круга, уже будучи состоявшимся членом тайного Южинского круга.

Диссидентское подполье для нас было кругом внешним.

1967 — Мамлеев, 1968 — диссиденты, а 1969 — встреча с Женей.

Организатором моей поездки к Есенину-Вольпину был, как и в большинстве случаев в тот период, Илья Бокштейн. Мы собрались и двинулись. Тогда не принято было заранее звонить и договариваться, предупреждать. Визиты всегда были неожиданными.

Мы идем по какой-то улице в центре. Дома тяжелые, каменные, «сталиноидного» плана, с дворами. Поднялись в квартиру, которая, как всегда, в таких случаях набита мебелью и народом. Встретили нас приветливо. Думаю, из-за Ильи — знаменитости в этих кругах, пользовавшегося большим уважением. Всё-таки отсидел пять лет за подготовку покушения на Хрущева. Да и поэт к тому же.

Я пришел в полный восторг, увидев живого Есенина-Вольпина. Вот это да. Я же не знал, восхищаясь им в седьмом классе, что через несколько лет я воочию его увижу. С таким же успехом можно было читать о Кеннеди. Кто-то вне нормальной обыденной жизни, с кем можно встретиться.

Он был, как мне показалось, немножко суетлив. Провел нас в гостиную, а там на софе лежала его жена, пухловатая блондинка в пижаме. Сел где-то у нее в ногах, потому что больше было негде. И она очень лениво и вальяжно спросила:

— Я всем задаю этот вопрос. Вы как зарабатываете себе на жизнь?

На что я сказал ей:

— Я джентльмен.

Она этого не поняла. Хихикнула и замолчала.

Дальше интересная острая беседа.

В какой-то момент появился, извиняясь, некий Якобсон с дачи. Звали его не Роман, а Анатолий. Якобсоны идут сериями. Это был другой Якобсон¹⁰⁹.

Учитель истории и литературы в школе, интеллектуал, философ с определенной известностью¹¹⁰. Его текст, который он читал в тот вечер, напечатали в 1989 году в «Новом мире»¹¹¹.

Замечательный текст, посвященный мачизму советской поэзии 1930-х годов — Иосиф Уткин, Багрицкий... Советский романтический империализм. «Котиков на Командорских трогать не смеее вы...» Исследование жесткой киплингвской романтики раннего советского империализма 30-х годов. Не помню названия, но работа никуда не пропала, а человек, насколько я понимаю, уже умер к девяностому году. Тогда более чем жив, потный и шумный, сказал, что просит у нас прощения, потому что он весь день грузил кирпичи на своей даче. Он тут же снял с себя всё, что можно было снять, и остался в голубой пролетарской майке, испачканной на груди красной кирпичной пылью. Он таскал кирпичи, судя по всему, прижимая их к груди, именно в этой майке. А теперь он вынул пачку листов и начал читать про романтизм советской поэзии 30-х годов — Уткин, Павел Коган, «Бригантина поднимает паруса».

Подтекст действительно хорошего трактата таков, что всю новую советскую поэзию вне Маяковского сделали евреи — Коган, Уткин, Багрицкий, еще кто-то, и продолжение в виде Самойлова, Межирова.

Яркий вечер, перегруженная комната, пухлая блондинка с мещанским лицом с мелкими чертами. Есенину-Вольпину тогда было лет наверно 50 или чуть меньше¹¹², она была не старше 30. Мне 20.

В коридоре перед уходом я внимательно рассмотрел корешки книг.

Коридорчик был забит шкафами с юридической литературой и справочниками.

Есенин-Вольпин — математик, но математических книжек там не было.

Видимо, они стояли в комнатах. А там только юридические справочники.

Сколько в совке можно было иметь юридических справочников? Это же не англо-саксонское прецедентное право. Но когда я выразил недоумение, он объяснил, что помогает людям как правозащитник. Как в тех условиях юридические справочники могли помочь?

Когда я прочел его стихи впервые в возрасте 14 лет, я подумал: способен же человек так сказать, что я могу только аплодировать: «Мальчикам надо понять, что враги их — отец и мать».

Моя мать не была мне врагом ни в коем случае. А с отцом в тот период я только начал как следует общаться и относился к нему очень позитивно. Но концепция, выраженная в этих стихах, была мне близка. Я уже тогда начал разделять конкретику своей ситуации и свои фундаментальные теоретические убеждения. И по фундаментальным теоретическим убеждениям у меня не было разногласий с поэзией Есенина-Вольпина.

Православный теолог Краснов-Левитин написал «Строматы», вручил мне эти строматы лично. Пришли мы к нему зимой по снегу, с какого-то флигеля зашли. Он был тороплив, бородат, поил горячим чаем. И дал свою книжку.

Меня поразила скандальность идеи назвать свой текст названием работы Климента Александрийского, который написал «Строматы» за 18 веков до того. Краснов-Левитин взял да и написал новые строматы — хотя бы «Строматы-2» поставил.

В этих строматах, по бердяевскому образцу, была собрана ахиня — личные воспоминания, ассоциации, частные переживания.

Я запомнил оттуда одно место: когда Краснов-Левитин до революции шел с няней по Александровскому саду, его поразила надпись «Нижним чинам и собакам вход запрещен», и в его маленьком сердце вспыхнул праведный гнев против несправедливого устройства общества. Какой позор, что низшие чины приравнены к собакам.

Недалеко до бердяевского: «Я отказываюсь от царства небесного, если там не будет моего кота Мура. Не приемлю Царствие Небесное без кота Мура и туда не войду».

Какое падение по сравнению с Достоевским, возвращающим билет в Царствие Небесное, потому что там будет примирение матери убиенного мальчика с генералом, который этого мальчика затравил собаками.

Хотя почему Достоевский полагает, что там обязательно должно быть примирение? Великая слезинка ребенка и примирение палача и жертвы — оно откуда-то появляется у Достоевского. Звучит пафосно, но абсолютно ни на чем не основано. Почему-то генерал, травивший собаками мальчика, у Достоевского попадает в Царствие Небесное вместе с матерью этого мальчика, и там они должны почему-то обняться под присмотром высших божественных инстанций. Достоевский туда возвращает билет — нет, мол, не принимаю. Сам всё выдумал и сам не принимает.

Это же Иван Карамазов не принимает. И он не принимает, потому что там произойдет примирение жертвы и палача. «Как? Разве мать простит этому генералу? Как это может быть?»

Откуда это? Почему простит? Он что, забыл о Страшном суде? О вечном огне, в который будут ввергнуты все эти генералы?

Фантастическая картина вне теологии, расклад о некоем прощении, когда возлягут тигр с козлом Тимуром в обнимку, и тигр отдаст свой кусок мяса козлу, а козел свою капусту тигру¹¹³.

Всё пустое, а пафосный Достоевский, всех так доставший, что все повторяют о слезинке, превращается в Бердяева, который теперь возвращает свой билет, потому что кота Мура не принимают в Царствие Небесное. «Нет, пожалуйста, не надо» — и возвращает билет в окошко назад. Интересно, а деньги за билет он тоже потребует?

И дальше уже появляется, черт побери, Краснов-Левитин, подающий в стилистике Бердяева личные воспоминания под видом теологической книжки.

Так легко писать теологию: шел с няней, увидел объявление, прокомментировал.

Были более интересные фигуры.

Например, Петр Григоренко. Яркая личность, с ним я встретился на процессе семерки, вышедшей в знак протеста против оккупации Чехословакии. Мы были возле суда — на сам суд нас не пустили. Григоренко шел с сыном, который его поддерживал под руку. Там же был Якир¹¹⁴. Мы ждали, когда арестантов будут выводить после суда. Вывели их с другой стороны. Туда только Лена Строева¹¹⁵ успела метнуться с цветами, когда их в автозак сажали с черного хода.

С Эшлиманом¹¹⁶ мы встречались в скверике за МИДом на Смоленке. Сели на заснеженную скамейку. Он в качественном черном пальто, хорошо одет, очень комфортно. Я же в плащике, который совершенно меня не защищал, но я был молод, всё это игнорировал, мне было интересно. Мы сели, он посмотрел на меня и сказал:

— Ну, о чем будем говорить?

Я несколько растерянно молчал.

И тогда он сказал:

— Ну хорошо, тогда будем говорить о третьем завете. Значит, первый завет — с Отцом, второй — с Сыном и третий — с Духом Святым. В первом завете — это у нас иудаизм, с сыном — у нас христианство, а с духом святым — это у нас буддизм.

Я был знаком с рассуждениями на эту тему и удивился такой кавалерийской лихости.

Между тем, он продолжал:

— А потом это будет всё скомплексовано втроем, всё вместе. И это будет новое христианство, хорошее и правильное. Когда там

будет и Сын, и Отец, и Дух Святой, и всё это будет нормально взято христианством в единый пучок.

Я его спрашиваю:

— А Ислам?

— Ислам? Конечно, это всё с Отцом, как и иудаизм.

— Да? Любопытно. С Отцом-то там очень жестко, против темы Отца есть дискурс. А Дух вообще-то через слово упоминается, именно Святой Дух.

— Ну, всё равно.

Я понял, что это липовый человек. Больше я с ним не встречался.

С Якуниным было поинтереснее.

Якунин выдвинул цельную очень сочную теорию, — правда, при этом он опрокидывал водку стакан за стаканом. Теорию о том, что на том свете короли будут с королями, а подлые людишки будут с подлыми людишками, в том числе и в раю. Аж до 10 ступеней будет в иерархии. И в ад будет 10 ступеней, и короли будут с королями, и в раю короли с королями будут. Так он рассказывал, хрустя соленым огурцом.

Потом он почему-то заговорил о Мишле¹¹⁷, показал нам «Книгу ведьм». Он был для нас с Ильей Бокштейном Вергилием по кругам такого рода.

Мы встречались в квартире в Плотниковом переулке рядом с нами. Второй или первый этаж, высокие потолки. Он подходил к книжкам, брал их из шкафа, махал этими книжками у нас под носом.

Потом Якунин заезжал к нам во Всехсвятскую церковь, где мы занимались реставрацией. Олег Трипольский один или два раза работал с нами. Появился внезапно Якунин и обменялся коротким разговором с Олегом. Из этого короткого разговора я понял, что в данный момент он зарабатывал на жизнь югославскими «стенками», шкафами и диванами.

Тогда всё было остро, свежо, и даже полные глупости, которые вокруг говорились или делались, воспринимались как знаки чего-то

неизмеримо большего, как знаки некоего обещания, что тайна и измерение вглубь есть.

На фоне двумерного совка даже Якунин, с его гонкой про королей в Аду и в Раю, выглядел как некий монолит из другой вселенной.

Потрясающей фигурой во Всехсвятской церкви был постоянно работавший там Николай Петрович. Он требует отдельного описания.

Высокий крепкий молодец с лицом германского нациста, которым он очень гордился. Прямой нос, твердая челюсть и густейшие золотого цвета волосы, именно золотые в буквальном смысле, как пшеница. Глаза голубые. Вся физиономия у него кинематографически эсэсовская. И он, конечно, нарциссически это любил.

Сам участник войны. В 18 лет попал на фронт, в 1944 году ранен.

Он подробно рассказывал, как он вышел из блиндажа. Ночь, звезды... Он увидел валявшуюся каску, и неясный импульс заставил его нагнуться и ни с того ни с сего надеть эту каску. В этот момент раздался разрыв снаряда, и страшный удар в голову его вырубил. Очнулся он в госпитале после нескольких дней комы. И оказалось, что осколок ударил ему в голову, разворотил эту каску, пробил ее и пробил череп. Если бы не каска, ему бы полностью снесло башку, а так... на этом драматическом моменте он брал твою руку и вкладывал себе в голову. В голове у него была дырка, куда уходили три фаланги пальцев. Ему достаточно глубоко череп пробило. Потом всё это зажило, но дырка осталась под роскошной шапкой пшеничных волос. За ранение он получил «Красную звезду».

После войны поступил в институт, пошел в партию, начал делать карьеру, женился на дочери адмирала Нонне, поднялся до замдиректора серьезного научно-исследовательского института.

Но его мытарило, крутило, мяло изнутри, потому что он искал правду. Всё ему было не так — и партия, и советская власть. В нищестанство его погнало, в нацизм. Но всё не то. То был с Ницше, то с нацистами. Не один он — были у него товарищи, с товарищами в нацизм ходили как в народ. Всё не то.

И он понял, что правда в православии.

Причем не просто в православии, а в белогвардейском, монархическом крутейшем православии с тогда еще не просиявшими новомучениками и с государем императором¹¹⁸.

Для него они просияли независимо от церкви.

Я-то всё это в детстве проходил. Был таким же отморозком, как Николай Петрович, мне всё было понятно, близко. Тем более я был воспитан на литературе типа воспоминаний князя Жевахова, товарища обер-прокурора Святейшего синода.

В воспоминаниях князя Жевахова много примечательного.

К примеру, он описывает крестный ход великосветских дам вдоль окопов в 1915 году. Это надо читать. Или описывает мерзость и безобразие критики простого, честного, любящего государя мужика Распутина, на которого посмели посягнуть ублюдки, не понимавшие, что государь, во-первых, право имеет, а во-вторых, это и была его непосредственная коммуникация с русским народом — через Распутина. Осквернить его покушались, и оскверняющие пакости дерзали говорить о государыне. Распутин, конечно, имел какие-то свои недостатки, он был простой мужик, честно любивший государя и государыню.

Жевахов — это нечто. Жевахов мне был понятен. Книги Алексея Николаевича Толстого стали моим настольным чтением в детстве.

И вот я встретил человека, у которого реально съехала крыша прямо вот в это жеваховское пространство.

Он не из дворян, но из городских мещан, из унтер-офицеров. Не торгового сословия, не из лавочников, мазавших усы скипидаром. Что-то охотнорядское¹¹⁹ в нем было, но не как Репин рисовал охотнорядцев — с толстыми мордами. А охотнорядцы идеологические. Почетным председателем союза Михаила Архангела был государь Николай Александрович. Здесь было всё схвачено.

Николай Петрович интересно рассказывал о своем воцерковлении.

Когда он понял, что нужно прийти в православие, он, во-первых, развелся с Нонной, своей женой. Во-вторых, он очень мощно занялся

развратом и пьянством — перед тем как вернуться в православие. Пошел очень круто. Но партбилет защищал от всего — партбилет, положение, девочки, коньячок, встречи с друзьями.

«И вот я понял, что пропадаю и что мне последний шанс остается. И я понял, что мне надо перекреститься. И хочу, но бес не дает, руку мою держит. И я ее тяну, а он на себя. И я ее ко лбу, а он еще сильнее. Господи, весь изнемог. Я уже весь изнемог, собрался, сотворил молитву про себя и как рвану, донес до лба и пошел, и пошел».

Он пришел в православие лет за восемь-девять до нашей встречи, года в 32–33.

После того, как он воцерковился, он вернул себе Нонну. Эту Нонну я видел. Они приезжали ко мне на Гагаринский, мы сдружились домами. Это была усатая тюлениха на задних ногах. Совершенно черная с влажным коровьим взглядом. Некая странная смесь.

Николай Петрович был антисемитом в лучших традициях, постоянно говорил на эту тему.

Настоящая беседа случилась у нас, когда он сидел со мной на жердочке под куполом — внизу метров двадцать прямого полета и купель. Иногда в нее роняли ватки с нашатырем, которым мы снимали масляную краску. Вот мы сидим в нашатырных парах, голова болит, снимаем скальпелем масляную краску.

И тут он говорит:

— Интересно, а когда наши придут, они обменяют мне Красную звезду на Георгия?

Я чуть не полетел вслед за этим нашатырем. Мне в том состоянии, в моем тогдашнем возрасте понравилось. В 20 лет я был еще с таким духом школьного монархизма. Конечно, я верил немного в других «наших». Не хотелось бы мне менять чью бы то ни было Красную звезду на Георгия.

Олег Трипольский был очень интересным человеком. Чернявый, с густой черной бородой, в очках с большими диоптриями. Художник по камням, занимался резкой, правкой, огранкой. В поздний период у него был помощник Изосим и мастерская на Садовом Кольце. Он

жил на Маяковке, в коммуналке с Риммой, я к нему туда приходил в гости. А потом они переехали в квартирку в доме с надписью на трубе «1935», который находился на железнодорожных путях за Войковским мостом. До Войковской, и пешком еще немного надо было пройти. Там был постоянный салон, где Мамлеев часто читал.

С Олегом Трипольским и Николаем Петровичем мы идем с работы. Олег говорит о том, как бы ему хотелось аскезы, молитвенного подвига, носить на себе под обычной неприметной одеждой серебряные вериги.

Николай Петрович идет рядом и говорит:

— Всё бы вам, интеллигентам, серебряные вериги. А не хотели бы чугунные? Чугунные бы не хотели?

— Да Господь с вами, — отвечает Олег. — Чугун — это же дьявольский металл. Как же вас заносит-то. Не надо мне чугун, мне нужны серебряные вериги.

Чтобы закончить про Николая Петровича, я должен вспомнить еще одну деталь: как я познакомил его с Якубовичем, маленьким, несчастным, очень серьезным, никогда не сдающимся и ни перед чем не отступающим, упорным и упертым, зарабатывавшим на жизнь спекуляцией книгами. Он ходил с огромным «чугунным» портфелем, набитым книгами. Очень серьезный, абсолютно невозмутимый, от его заработка зависело человек 10 в каком-то полуподвале. Калеки, инвалиды-сестры, умирающий дед.

Он на всё зарабатывал книгами. Книги у него можно было достать любые. Я связался с ним, когда у меня появились деньги от этой церковной деятельности. Я стал покупать через него книжки, кто-то меня с ним познакомил.

Он знал о книгах абсолютно всё, как они выглядят, фронтиспис, «Шиповники», «Мусагеты»¹²⁰, любые издательства, бумага, сколько номерных экземпляров. Он никогда не открывал ни одной и никогда принципиально их не читал. Его дело было достать книгу и принести. Он на вид знал, что это за книга.

Черт меня дернул сказать Николаю Петровичу, что у меня есть человек, который может любую книгу достать.

— Ну приведи, — говорит.

Я назначил встречу, когда у нас был обеденный перерыв. Подходит Якубович, метр с кепкой с огромным портфелем в половину своего роста:

— Вот я пришел, давайте говорить.

Николай Петрович — ему:

— Ты спиной к церкви не стой. Стань вот тут за мной.

Тот робко обошел и встал ему за спину. И Николай Петрович уже дальше говорит, не оборачиваясь к нему:

— Что можешь?

— Всё могу.

— «Вестник патриархии» можешь достать?

— Могу.

— А 52 номер такого-то года сможешь достать?

— Могу-с.

— А такое-то можешь?

— Могу.

— А сейчас что у тебя есть?

— Такие-то православные издания.

— Покажи. Ты в руки-то не бери, руками-то не марай, так покажи, чемодан приоткрой.

Тот аккуратно открывает портфель, Николай Петрович берет что-то и спрашивает:

— И сколько?

— 50 рублей.

— Озверели жида пархатые. Что это за цена?

— Такая цена-с.

— Уходи. Стой. «Вестник патриархии» принесешь с 41-ого по 52-ой номера.

— Так точно.

Дело кончилось, по-моему, ничем. Но, конечно, саму сцену надо было видеть — совершенно натуральная, без игры.

Якубовича я водил и к Олегу Трипольскому. Там над ним потешались откровенно. Он же был специфический: он никогда не говорил, что он чего-то не знает. И его как-то спросили:

— А что, как по-вашему, ядерная война будет?

Он говорит:

— Да, будет.

— А откуда вы знаете?

— Я знаю.

— И как это будет?

И он начинает рассказывать. Стали спрашивать о чем-то другом, он и другое знает.

— А как с космосом будет?

Он и про космос рассказывает.

— А есть ли жизнь на Марсе?

Он начинает рассказывать про жизнь на Марсе. Причем он не понимал, что над ним смеются. А там просто в полный рост шел стеб, его наперебой спрашивали:

— Ну хорошо, а в Антарктиде есть инфузории?

Про инфузории рассказывает. Что-то гонит, но бойко, связно, абсолютно бессмысленную ахинею, но невозмутимо. Все давились от смеха, но он чувствовал себя при этом комфортно.

Но при Николае Петровиче ему было плохо. От Николая Петровича настоящее шло. А тут, конечно, интеллигенты.

Феномен Вассермана, особая наглость, просто принцип — надо отвечать на любой вопрос невозмутимо, иначе собьют и затопчут. На секунду обернулся, сбился, смешался — Вий поднял веки, его взгляд на тебя упал, и все сразу кинулись. Пока отвечаешь, всё хорошо. Что-то такое корневое в их системе ощущений.

Потом я узнал, что Николай Петрович стал работать чтецом в церкви, начал службу вести. Что там чтецы делают? Акафист читают? Вот он стал Акафист читать.

Замечательная была шевелюра. Я думаю, что он умер, хотя силы был немереной человек, несмотря на дырку в черепае, в которую я вкладывал свои персты.

Фарцовщики. Их нравы, бизнес и связи. Миша Перченко-Рыб. Джинджи. Стивенсы. Валера Блинов. Петя-Швед

Старый жулик Миша Перченко занимался иконами. Он явился ко мне в дом по наводке Дудинского году в 1968-ом. У него была любовница Джинджи из итальянского посольства. Когда они пришли ко мне на Гагаринский, Джинджи ездила на VW-Жуке. Потом Перченко сбил какую-то девушку на машине и сел на несколько лет. После 1978-го года я его не встречал.

Это был удивительный типаж. Он выдавал себя за фрейдиста.

Миша Перченко приводит с собой Джинджи, потустороннюю уродину. Она приехала в Россию, чтобы лишиться девственности. Он ее лишил девственности, брал у нее деньги. При мне она его страшно унижала.

— Вы не представляете, каким он был, когда впервые явился на мои глаза — он был в синем французском костюме, заправленном в сапоги!

Лена прозвала его Рыбом: не Рыба, а именно Рыб. У нее была склонность давать кликухи. Она углядела в нем холодную рыбу влажную природу. А Джинджи, увидев, что со мной перспективно иметь дело, начала делать мне подарки.

Она меня спросила:

— Что вам привезти?

Я ее попросил полное издание Ветхого и Нового Завета на латыни с имприматуром¹²¹ Ватикана. Она привезла. Потом она мне подарила переиздание восьмитомника Соловьева¹²² со старой орфографией и золотым тиснением.

Рыб говорил:

— Джинджи, как ты понимаешь, я являюсь чистым фрейдистом. Я принадлежу к строго ортодоксальной школе.

А она на него смотрит влюбленными глазами и говорит:

— Ах, евреи, это такая гениальная нация.

Человек с фамилией «Перченко» не может быть кем-то еще, кроме как евреем.

Стивенс¹²³ жила дальше на Гагаринском переулке, где у нее был особняк. Она скупала у художников картины за 10–20 рублей.

Они все скупали. Одним из таких скупщиков был Валера Блинов.

Валера однажды поразил меня. У него был определенный стиль, манеры, воспитание. Одно время он ездил на «Ниве». Он меня куда-то подвозил, и вот к нему подсаживаются двое, явные фарцовщики, причем представители *lowlife*¹²⁴. Он внезапно преображается и начинает говорить на матерной фене, причем не блатной, а именно фарцовочной.

У него исчезают его манеры, и он начинает говорить с другой тональностью, с другой интонацией. Я был в шоке. Оказывается, у Валеры несколько социальных личин, которые он легко меняет.

В 90-х годах мой близкий товарищ Адалет однажды приглашает меня к себе на дачу и говорит, что один человек, сильно ему задолжавший, расплатился с ним огромным количеством картин.

По этому поводу после большого перерыва я вышел на Валеру Блинова. Он очень изменился и из белозубого американского ковбоя превратился в квадратного плотного мужика, который сказал, что он «занимается в системе лужковской недвижимости». Но ничего он не смог сделать с этими картинами.

В этом человеческом садке появлялся швед Петя. Когда я уже жил на Народной, окна моего дома смотрели прямо на мост. Место очень заныристое в нашем смысле, но очень экологически грязное: мост на уровне моих окон.

Телефонный звонок. Я беру трубку, звонит Дудинский. На дворе у нас 1978-й год. Дудинский говорит в своей обычной манере:

— Ты помнишь документальные кадры, когда фюрер раздает железные кресты мальчикам гитлерюгенда? Ты помнишь, как он вешает железный крест дрожащими руками на мальчика?

Я говорю:

— Кто же не помнит эти великие кадры!

— Ты хочешь познакомиться с этим мальчиком?

— Да ладно! Хватит дурака валять!

— Реально, реально с этим мальчиком из гитлерюгенда, на которого Гитлер повесил крест в этом фильме!

— Конечно, хочу познакомиться.

— Тогда приезжай завтра вечером ко мне на Кедрова.

Я приехал. И в какой-то момент входит человек ростом под 190 см, с абсолютно прямой выправкой, в синем клубном пиджаке с золотыми пуговицами, лакированных ботинках с очень твердыми подошвами на каблуках. Он их впечатывал, как будто стремясь, чтобы в паркете оставались отметины как от подков. Вошел он с таким грохотом.

А Дудинский уже теплый, пошатывается, ко всем лезет целоваться.

И говорит:

— Вот это наш великий. Он русский, хотя и швед. При этом он был в гитлерюгенде.

Якобы ситуация такая. Мать этого человека была частью белогвардейской иммиграции в Германии, которая входила в светские берлинские круги райха. Благодаря своим связям, она устроила сына в гитлерюгенд, несмотря на то что он был русский. И будто бы действительно он пережил взятие Берлина, когда там вокруг всё рушилось.

Он сказал, что история про орден — чушь. Это Дудинский всё передернул. Что он к тому мальчику никакого отношения не имеет. Но при этом он утверждал, что он действительно пережил падение Берлина, там был, всё это с грохотом валилось вокруг него. И потом его через паром вывезли родственники в Швецию.

Какие претензии к человеку? Оказалось, что выдумки Дудинского.

Я говорю:

— Хорошо. А чем вы занимаетесь?

— Я занимаюсь коврами. Покупаю ковры, реставрирую их и продаю.

Он у меня дома пришел в безумный кайф от моего ковра, спускавшегося по стене на пол.

Лена как раз заинтересовалась этим бизнесом. Мать одного из наших друзей, преподавательница английского языка в каком-то институте или университете, связалась с армянской ковровой мафией и занималась реставрацией ковров и продажей.

И я Ленке говорю:

— Есть такой швед Петя. Его надо использовать как канал.

Швед Петя был надутый, застегнутый на все пуговицы.

Как-то он вызывает меня на встречу и говорит:

— К вам есть серьезный разговор.

— А что такое?

— Я не потерплю такого отношения к себе со стороны Валеры!

— А что за отношение?

— Он считает меня каким-то агентом! Что я, шпион, что ли?! Он не имеет права так думать обо мне.

— Да? Мне ничего об этом не известно. А как это проявляется?

— Да это видно невооруженным глазом! Он не имеет права!

В скобках замечу, что до этого Валера мне рассказывал, как его Петя пригласил в ресторан. Они там шикарно посидели, брали всё самое дорогое. Потом Петя аккуратно сложил счет и спрятал его в кармашек, вроде как для отчета в бухгалтерии.

— Так, а моя какая роль в этом? — спрашиваю я.

— Вы ему скажите, что я никакой не агент.

— Извините, но как я ему скажу? У него какие-то свои идеи. Разве я могу его переубедить?

Тогда он мне говорит:

— Отойдите сюда, вот за эту колонну.

А мы стояли возле здания «Известий» на Пушкинской. На нем серо-зеленая дубленка с коротким мехом, мне она очень нравилась.

Он приоткрывает полу дубленки и показывает мне сверток. В свертке замотан бронзовый Будда.

— Смотрите, я лично брал в Таиланде. Всего за 300 долларов отдам.

— Извините, но это не ко мне.

— Да? Жаль. Но вы уж скажите Валере, чтобы он дурака не валял.

Мефистофель Казанец. Главный психиатр Тихоокеанского флота. Справка о шизофрении. Агент 007 с лицензией на убийство

К 1968 году в ходе моего общения с Юрием Витальевичем Мамлеевым встал вопрос, как защититься от режима, от системы, потому что система в тот период охотилась за туеядцами. Соответственно, нужно было трудоустроиться. Но никакого трудоустройства я не собирался иметь.

Вторым вариантом было получить «группу».

Когда я начал выяснять, оказалось, что с тем, что у меня было после комиссации — 7Б, психопатия — «группу» не дают. Следовало переквалифицироваться, как минимум, на «четвертую статью», а это шизофрения.

Для этого нужно было пройти серьезное обследование и ВТЭК.

Юрий Витальевич сказал, что у него есть фанат, который его боготворит, трясется над ним, является видным деятелем репрессивной психиатрии, и он, возможно, сможет помочь.

Крупный деятель жил недалеко от Гагаринского на улице Мясковского, параллельно Староконюшенному она шла в сторону Арбата от улицы Рылеева. Особнячок, и мансарда, в которой квартировали эти люди, с потолками метра два высотой.

И вот мы с Юрием Витальевичем пришли туда. В мансарде обитал некто Казанец. Человек, похожий на Мефистофеля, с черной бородкой, под два метра ростом, чиркающий темечком по потолку. Он был не кто иной, как замдиректора института Сербского. На пару с женой они фанатично любили Мамлеева.

Юрий Витальевич меня привел, познакомил с ними. Настоящие полноценные клиенты серьезной психиатрии, абсолютно психически неуравновешенные — видно за версту.

Могу сказать точно, когда мы с Казанцом познакомились: мама с Теймуразом приехали из Тбилиси в 1968 году, до моего дня

рождения, — день рождения у меня 6 ноября. Вот мама ко мне пришла в домик на Гагаринском 6 ноября, а там у меня был пир горой.

Она зашла — светская, излучающая морозную свежесть, ничем не смущающаяся, невозмутимая, хотя «макабр» приближался к картине Кукрыниксов «Последние дни Рейха». Примерно такая же ситуация.

Когда она заглянула на кухню (у нас ванна стояла на кухне), то как раз в ванной лежала одетая жена Казанца и рыдала. Мама даже бровью не повела. Заглянула, посмотрела на всё это, сказала мне: «А у тебя весело», передала мне какой-то подарок, поцеловала в щечку и говорит: «Я, наверно, пойду». Рыдающая жена Казанца оплакивала себя, проклинала Казанца. А лежала она в ванне, полной воды.

Когда я принял решение использовать Казанца для получения справки об инвалидности и попросил его о содействии, он сказал:

— Никаких вопросов нет. Направим тебя в 13-ю, там есть вменяемый и контролируемый врач по имени Белоцерковский. Месяц там всё-таки надо пробыть, всестороннее обследование — это же не фунт изюма. Будет солидная справка, которая тебя отмажет от всего.

По звонку, по рекомендации я приехал, меня приняли, и дальше началось что-то странное.

Я думал так: я не с улицы зашел, я всё-таки приехал от заместителя директора института Сербского с конкретной задачей — быстро подготовить все материалы для ВТЭКа. Смотрю, ничего не происходит, меня мурыжат. Белоцерковский, советского вида шнырь, совершенно невыразительный. Вижу, что он недоброжелательно ко мне относится. Как-то он вызывает меня на собеседование и говорит:

— Значит антисоветскую деятельность ведем?

Я изумился:

— Слушайте, мы не так договаривались. Вы вообще кто такой?

— Да, да. Я всё понимаю.

Я подумал, что, может быть, копают под самого Казанца. Может быть уже Казанец — персона нон грата, и теперь будут использовать меня для удара по Казанцу. У Казанца-то тоже рыльце в пушку: Мамлеева слушает. Я посмеялся над Белоцерковским, отбрехался от него.

У меня было творческое время в этой 13-й больнице. Я там впервые стал подробно разрабатывать теорию смерти, — смерти как центра реальности, вокруг которого все вращается. Духовного центра реальности. Смерти как финала.

Именно там мне в голову пришли первые тезисы по этому поводу. Я вел записи.

В конце концов, с грехом пополам прошел предварительный ВТЭК. Мне натянули вторую группу — 4Б, по-моему. Предстояло еще явиться в районный диспансер, чтобы официально встать на учет.

Мы с Леной поехали в диспансер на Бронной — сейчас уже не вспомню, где именно, но в тех местах.

Огромный медведеобразный главный психиатр заведовал всем этим диспансером, небритый, и морда совершенно свинья. Потом мне сказали, что он бывший главный психиатр Тихоокеанского флота, его оттуда выгнали в шею. Вот он и устроился начальником районного диспансера в Москве.

Я впервые встретил клинического идиота — персонаж из анекдота Галкина или Задорнова. Сейчас, когда такие персонажи выступают, после каждой реплики раздается закулисный хохот виртуальной аудитории. Огромный идиот, похожий на монстра, переделанного медведя из «Доктора Моро»¹²⁵.

Я начал с ним говорить и сразу понял, что это идиот, и стал над ним издеваться. Видимо, у нас с Орханом это общая стилистика.

Он говорит:

— Ну так. Вы претендуете на вторую группу, расскажите, как вы понимаете мир. Что вы думаете о марксизме-ленинизме?

Я говорю:

— Марксизм — это порок сознания.

— Порог, это в смысле, что дальше идти некуда?

— Нет, порок — в смысле извращение.

— Это интересно. А как вы видите мир?

— Ну что, — отвечаю я, — на дне Вселенной лежит Люцифер ничком, точнее, на спине. У него эрегированный фаллос, это ось мира. На этой оси находится наш космос, фаллос пробивает его насквозь и поднимается вверх к небесам. Там расположена Роза Коэли, небесная роза. Понимаете сами, что такое роза. Вам мне не надо объяснять. Естественно, это богоматерь. И вот фаллос Люцифера устремлен прямо к ней.

У него слюна потекла, глаза стали круглыми. Он сказал:

— Стойте! А ну идите все сюда, — обращается к медицинскому коллективу, — все сюда!

Врачи и врачихи восторжеслись: «Что такое? Что случилось?» Все стали в недоумении высовываться из кабинетов.

— Идите все сюда, берите стулья, садитесь. Слушайте, слушайте.

Я продолжал в том же духе про ангелов, которые приходят на прием к этому Люциферу и водят хороводы вокруг этого фаллоса.

У него в глазах безумная радость. На всех с удовольствием поглядывал типа «во, что заливают». Жемчужина-то какая попалась, бриллиант-то какой пришел. А там московские еврейки сидят, прекрасно всё понимающие и уже уставшие от идиотизма своего начальника. Они, конечно, видели, что откровенный богемный симулянт стебется над ними, над их начальником, впадшем в порсячий восторг.

Главврач немного успокоился и спрашивает:

— Ну хорошо. А чем вы собираетесь заниматься сейчас? Что будете делать?

Я решил перейти на рациональный язык и говорю:

— Сейчас я собираюсь писать сборник эссе.

— Конец венчает дело. Слушайте, слушайте, прелесть-то какая! Несколько совершенно несуществующих слов! И несовместимых понятий. Повторите, пожалуйста.

— Сборник эссе.

— Ну это же классический пример шизофрении. Один человек хочет писать целый сборник. Вы хоть понимаете, что сборник пишет коллектив авторов?

— Да? А я буду писать его один.

— А сборник чего?

— Эссе.

— Слово-то какое придумал! А вы знаете, что такого слова нет? Или вы думаете, что есть?

— Я думаю, что есть.

— Нет такого слова «эссе». Значит вы, один человек, хотите писать целый сборник каких-то несуществующих «эссе».

— Да, совершенно верно.

— Ну, что скажете, коллеги?

Коллеги криво поулыбались. Что тут скажешь?

— Ну всё, давайте, идите.

В общем, получил я вторую группу. Благодаря этому выгнанному за идиотизм главному психиатру. Я представляю, как он там психиатрил этих матросиков.

С этой справочкой я был свободен.

Как-то я беседовал с одним армянским политиком. Он мне говорит:

— Ну, ты же был всегда крупным агентом КГБ, очень крупным.

— Ты считаешь?

— Ну мы знаем всё о тебе.

— Я не мог быть крупным агентом, и я тебе скажу почему. У меня с 1969 года вторая группа.

— Так это и есть доказательство.

— Как так?

— Ну это же лицензия на убийство. Ты получаешь право убивать, и тебе ничего за это не будет. Всем агентам 007, имеющим лицензию на убийство, давали как минимум вторую группу. Это как раз и доказывает, что ты птица очень высокого полета.

— Да, тут ты меня поймал.

Это был последний мой контакт с веселой стороной психиатрии. С такой ее солнечной стороной. Все последующие мои контакты были с репрессивной, темной стороной, — «лунной», как сказал бы Дугин.

После того как меня помучил Белоцерковский и обошелся со мной не так, как с человеком, явившимся по рекомендации, у меня возникло ощущение некоторой претензии к Казанцу. Вроде бы мы с ним договаривались, что мы это дело обделаем полюбовно. А этот Белоцерковский вдруг начал на меня наезжать, как на голимого антисоветчика. Наши отношения увяли.

Но потом его собственная семейная жизнь покатила под откос. Даже сам факт того, что его жена лежала одетая в ванной, полной воды, и рыдала, говорил о том, что тут не всё в порядке. И уже ему было не до Мамлеева.

Каждый раз, когда я попадаю в Кропоткинский переулок, рядом с суровыми бетонными стенами института Сербского, вспоминаю замдиректора этого института Казанца, который любил Мамлеева.

Головин

Первое время я не бывал в гостях у Мамлеева. На Южинском, где мы встречались, в этот период он уже не жил. Юрий Витальевич обитал, как он выражался, у тетушки в ожидании, пока не получит квартиру на проспекте генерала Карбышева. В конце концов он ее получил. А до этого мы встречались на улице и приходили на Южинский.

Несколько позже я появился у него. Первый раз я был шокирован его новым местопребыванием — это была квартира гостиничного типа. Комнатка, где умещался письменный стол и диван. На проходе от двери к комнате на полутора квадратных метрах размещалась, условно говоря, кухня — электрическая плита и больше ничего. Справа — туалет. Ванная, кажется, была дальше по коридору, общая, на несколько таких гостиничных номеров. Странное обиталище, но мне там один раз даже удалось остаться ночевать, как-то там разместили раскладушку.

Именно в этой квартире на Карбышева я впервые встретился с Женей. Эта встреча долго готовилась.

Острая часть началась, когда Юрий Витальевич сказал мне, что у него есть два друга, два настоящих посвященных. Один — Валя Провоторов, работал на крупной должности в министерстве образования, а другой — Женя Головин.

Мамлеев явно отдавал предпочтение Вале Провоторову, которого он считал гораздо ближе себе, густопсовее во много раз. Хотя Женю он тоже любил.

Мамлеев манипулировал этим капиталом, этим своим знакомством, рассказывал о нем, но упирался, не желая знакомить, пел Женины песни, цитировал его тексты, пробовал пересказывать Рене Генона, как он его понял от Жени, даже рисовал какой-то чертежик. Но всё это носило неадекватный, непонятный характер.

Валя Провоторов тоже был поэт, писал стихи оккультного содержания. Мамлеев приносил их с собой в общей тетрадке, иногда в подпитии начинал читать и плакал.

Чтение стихов Провоторова неизбежно кончалось рыданиями. Стихи очень стрёмные, некоторые даже не очень понятные стороннему человеку.

С Головиным ему всё-таки пришлось меня познакомить, потому что Головин сам пожелал познакомиться.

Юрий Витальевич долго мне упоминал, что есть у него такой человек, передающий непосредственно знание, полученное от некоего Генона, а Генон — это нечто особое, поднимал он вверх перст.

— Ну а что особое?

Тогда он рисовал букву V, и говорил:

— Это падение человечества до предельной точки, а вот тут подъем — следующий золотой век.

— А нельзя ли поконкретнее?

— Ну тут, знаете, надо бы самого спросить.

Потом он стал чуть больше рассказывать, напевать странные песни, говоря, что песни головинские, но ранние. Действительно, странные песни с вызывающим, иррациональным, даже гопническим обаянием.

Например, такая:

Где-то там, где-то тут, где-то там и тут,
В громадной вышине карабкался верблюдо.
Погляди, у тебя коленки уж дрожат,
А где-то там на вершине три рубля лежат.

Были и романтические, берущие за душу:

Снилась мне черная вода,
И под ней — города.
Может, это только мне приснилось,
Может, и не снилось никогда.
Белые и розовые птицы
Разорвали время на года.

Ранние песни, которые сам Женя уже не пел, написал их лет в 16.

Я говорю: «Юрий Витальевич, познакомьте». Упорно избегал, упорно. Понимал, что начнется великое соперничество. Так оно и случилось. Головин, появившись, сразу перевел Мамлеева во второй разряд.

Но знакомство состоялось, и, насколько я понимаю, прозвучало и встречное требование со стороны Жени.

Я пришел на эту встречу, как раз в квартирку на Карбышева.

Сидел человек, похожий на Сократа, как мы его знаем по скульптуре, с его щеками, лбом, коротковатым носом. С дерзкими, наглыми карими глазами. Даже не наглыми, а холодно-смеющимися и при этом глубоко беспокойными — в этих глазах очень много было. Внутреннее страшное давление, пропасть, и вместе с тем вызов, хохот. У него был тот еще взгляд, то еще лицо.

Мы сначала странно стеснялись друг друга, не знали, с чего начать разговор, и Мамлеев, сидевший между нами, нам мешал.

Мамлеев был старше. Женя старше меня на девять лет, Мамлеев старше Жени еще на столько же.

Заговорили мы почему-то о Канте, хотя Кант никогда не входил в сферу моих интересов. Мы так себя неуютно, дискомфортно чувствовали, что именно о Канте и начали говорить. Но это взломало лед, и мы стали контактировать.

Потом он пришел ко мне. И оказалось, что Женя великолепно владеет гитарой и поет. Он пел не только свои песни, исполнял романсы, блатные песни.

Я помню его появление у нас с Леной на Гагаринском в один из вечеров вместе с Гражданкиным.

Был такой актер Сергей Гражданкин, закончил театральные курсы, по-моему, вместе с Олегом Ефремовым. По крайней мере, я так слышал от него. Жил он на Большой Никитской недалеко от букинистического магазина иностранной книги.

Любопытный человек, державший нечто вроде салона, но особого круга, близко поддерживал отношения с Женей, но не пользовался со стороны Жени никакой любовью.

Они пришли с Женей, оба сильно пьяны. А у меня сидел Мамлеев.

У Гражданкина было совершенно черное лицо, чугунно черное, иссиня-черное, которое бывает, если со всего размаха дать двухпудовой гирей. Они как-то вошли, разместились. Гражданкин всё больше смотрел в стол.

Их появлению предшествовала сцена. Они шли по улице, Женя впереди, а Гражданкин, более пьяный, держался позади, неуверенно шаркая ногами об асфальт.

Навстречу им двигалась подвыпившая компания, потенциально агрессивная.

Женя, поравнявшись с этой компанией, с размаху дал в морду тому, кто впереди, после чего согнулся и ловко покатился клубком на проезжую часть. Компания совершенно оцепенела от такой наглости и вызова. А следующим-то брел ничего не подозревающий Гражданкин, и они обрушились на него, били его ногами, валяли. Досталось немного и Жене, как он говорил, «слегка попортили эпидерму». Но это было несравнимо. А вот то, что обрушилось на Гражданкина, оказалось действительно страшно, но у него хватило сил прийти. Это не прибавило у него любви к Жене.

У них были очень странные отношения. Гражданкин всё время изображал любовь, произносил особо тихим голосом «Женечка». Но никого вокруг это не могло обмануть, всем было ясно, что Гражданкин ему дико завидует и дико его ненавидит.

В те времена он написал свой опус «Похождения Крысы Борбикрены». Это произведение, которое он читал вслух, заставило Мамлеева единственный раз при мне ругаться матом.

Мамлеев завопил: «Ты — бездарь, прекрати немедленно читать это». Всё очень грубо, я подобные взрывы никогда у Мамлеева не свидетельствовал.

Неважно, Гражданкин есть Гражданкин.

Женя жил тогда на Вавилова у своей гражданской жены Ирины Колташевой — Ирины Николаевны по прозвищу Белый Тигр. Он жил

с ней и ее сыном Андреем по кличке Пинк Флойд в маленькой квартирке в цоколе огромного дома.

Муж Ирины Николаевны был полонист, очень известный, недавно умерший. Знаменитый ученый, имевший массу наград от польского правительства. Она и сама была крутой полонисткой. Она откуда-то с Урала, обладала угро-финской внешностью со слегка раскосыми глазами. Знала все славянские языки, была главным редактором издательства «Прогресс» и по совместительству его парторгом.

Номенклатурная должность. Тогда действовали два издательства по теме иностранной литературы — «Прогресс» и «Радуга».

Ее сыну, когда я с ним познакомился, стукнуло лет десять, может меньше.

Ирина была лет на 10–12 старше меня и чуть-чуть постарше Жени — допустим, около 33–34. Серьезный номенклатурный деятель. Благодаря ей мы имели доступ в спецхран¹²⁶.

Колташева скрывала существование Жени, никто о нем не знал. Она его, естественно, прикрывала, но, конечно, она была странным существом. Не знаю уровень доверительности между ними. Я даже не представляю, о чем он с ней мог говорить — боюсь предполагать, — с существом из дремучих уральских лесов.

Когда она пришла к нам впервые на Гагаринский, села за стол, сняла с руки часы и положила их перед собой на скатерть. Лена говорит:

— Это зачем?

— Чтобы помнить про время, за рамки не выходить...

Мы говорим, говорим, Белый Тигр какой-то чай бледненький пьет, и вдруг прыгает и хватает часы. Потом смеется и говорит:

— Как интересно, мне показалось, что это бельчонок передо мной, а это мои часы.

Лена пришла в восторг, она обожала такой глубокий неадекват. По-моему, даже поцеловала ее.

С ней стало всё ясно, что это такое галлюцинирующее существо. Причем ее галлюцинирование порождалось из внутреннего ресурса, из сдвига по фазе. Милая.

Жизнь у нее была очень тяжелая. Ее воспитывал отчим, который ее травил и преследовал. По пересказам Жени, он мазал волосы то льняным, то ли рапсовым маслом, расчесывая их. Почему-то у меня он ассоциировался с отчимом из «Двух капитанов». Женя, рассказывая о нем, вдруг вспыхнул ненавистью, «попался бы мне этот отчим». Я удивился, что он снисходит до таких человеческих чувств. Нечасто меня Женя удивлял таким образом, что у него просыпалось «слишком человеческое»: сочувствие к людям, острая вспышка жалости, ярости, нежелание конфликта.

Не хотел бы быть грубым в отношении его памяти. Он являлся гуру и притом машиной для провокаций по ту сторону добра и зла, по ту сторону человеческих слабостей. На деле роль сыграло мое наивное восприятие, связанное с неопытностью и возрастом. Мне был 21 год, когда мы познакомились.

Женя в необычайной степени обострил индивидуальные процессы, которые шли во мне. Наши разговоры были исключительно провокативными, они стоили многих лекций и книг. Одной фразы, нескольких абзацев разговора хватало для того, чтобы открывались миры понимания.

Тогда между мной и Мамлеевым шла напряженная дискуссия, потому что я стоял на платформе гегелевского панлогизма и считал, что всё реальное и нереальное схвачено в глобальном интеллекте, который всё это содержит в себе и рефлексивно постигает. Всё есть идея, и нет ничего кроме идеи, являющейся мыслящим самого себя интеллектом. Вне него нет ничего. Даже то, что вне его, является аспектом его же самого. Такое гегельянство, недостаточно отрефлектированное и продуманное, хотя мне казалось, что понятое мной.

Мамлеев всё время спорил со мной. Он называл меня «Дарюшей» и говорил:

— Нет, нет, Дарюша, поймите, вы должны понять, что есть нечто, о чем этот интеллект ничего не знает вообще, нечто за пределами интеллекта.

А я говорил, что нет ничего такого — всё внутри.

В какой-то момент после очередной бесплодной разборки у меня случилось видение ночью.

Это было видение колоссального существа, распятого в центре некой бездны. Оно отражается в бесчисленных зеркалах, уходящих вдаль, повторяя друг друга. Это колоссальное существо, распятое в центре, было всем: богом, существом, сущим, бытием, Денницей, Люцифером, Аполлоном.

Оно отражалось в бесчисленных зеркалах, и оно было абсолютно несвободно, оно было велико, несчастно, оно страдало, и страдания были безмерны. Несвобода была безмерна. Всемогущество и духовность, присущие этому существу, были безмерны. Но при этом оно было абсолютно несвободно, и на каком-то уровне разбегающихся анфилад существовал человек как отдаленное отражение. На уровне этого человека существовал шанс бунта и шанс освобождения. Почему? Потому что более близкие отражения были привязаны к своему оригиналу, они не могли восстать, потому что оригинал был в этих отражениях слишком силен, несвобода слишком четко проявлялась. А более дальние отражения уже размывались — пятна вместо изображений.

Там существовали более высокие степени освобождения, но это освобождение уже было никому не нужно, потому что это освобождение хаоса, которое не ценно. А здесь еще форма сохранялась, это был баланс формы и удаленности, когда освобождение имело смысл, это было освобождение именно вот этого.

И существо, распятое в центре, ждало бунта и освобождения именно от человека, которому оно передоверяло восстание. Оно было всем, но при этом оно было абсолютно несвободно именно в силу того, что оно есть *Всё*.

Я записал это видение, очень подробное, страшное и жуткое, очень пронзительное.

Я его записал на тонкой пергаментной бумаге фиолетовыми чернилами. Когда Мамлеев явился на следующий день, я ему это всё прочитал. Он упал передо мной на колени, заплакал и сказал: «Теперь вы наш».

Но после этого во мне что-то произошло.

Это видение было еще до знакомства с Женей.

После знакомства произошло второе видение, тоже ночное.

Я увидел абсолютную ночь, и в этой ночи было 12 концентрических колец силы. Эти 12 колец силы были проявлены, и они рассекались 12 лучами, 12 радиусами давая 144 пересечения. Но именно самым главным, самым важным, предельным и несущим в себе смысл было 13-е невидимое кольцо, кольцо внешней тьмы, за пределами которого ничего нет, кроме мрака и скрежета зубовного. Именно оно, это 13-е кольцо, несло в себе тайный смысл, это 13-е кольцо воплощало в себе то, что отсутствует в этих двенадцати. Эти 12 колец покрывали всё, это была та гегелевская идея, которая мыслит и отражает всё реальное и нереальное. А 13-е невидимое кольцо — то, что в 12 не отражается. И тайна неотражения несла в себе ключ к подлинному.

Я это тоже записал.

В следующий раз, когда я пришел к Головину, как обычно, с Леной, Лена пошла на кухню сидеть с Ирой, а я пошел с ним в гостиную, и там, улучив момент, я ему это изложил, может быть, даже показав бумагу, где я нарисовал схему.

Вместо того, чтобы как-то на это откликнуться, произошла вспышка ярости необычайной интенсивности, он просто пришел в бешенство и сказал:

— Ты не имеешь права на эти мысли, к ним надо доползти на коленях по острым камням, обрывая кожу в клочья. Это надо выстрадать годами страданий. Это нельзя высидеть на диване.

Он меня сильно обидел, я был шокирован и уходил с чувством *ressentiment*¹²⁷. Откуда он знает, что я чувствовал, что я испытывал,

имею я право или нет? Но я понял, что развивать эту тему с ним нельзя.

Я пришел к выводу, что он полностью меня не понимает. Потому что я, конечно, считал, что имею право на эти мысли, на это откровение, просто потому что оно мне дано. Если ты ползешь на коленях по пустыне — это твоя проблема, а мне вот так дано.

Это был мелкий эпизод.

После первой встречи с Головиным на проспекте генерала Карбышева у Мамлеева некоторое время мы встречались еще втроем. Но вскоре я почувствовал резкое неудобство. Головин, я и Мамлеев встречались по инерции от этой первой встречи, поскольку Мамлеев выступал как бы соединительным элементом, но кружка и общего пространства не образовывалось, потому что слишком резко отличалось интеллектуальное пространство.

Между мной и Головиным сразу возникла особая интеллектуальная связь, особая химия, когда я понимал его с полуслова, и мне хотелось знать нечто иное, чем те вибрации, которые ловил Мамлеев.

Мамлеев был психик, ориентированный на художественное творчество. Ему, например, очень подходил Степанов. Со встреч со Степановым он возвращался заряженным, эти встречи давали ему материал для очередных рассказов.

А то, что я почувствовал в Головине, было крайне высоким рафинированным интеллектуализмом.

Мамлеев нам мешал.

Не знаю, мешал ли он Жене, но мне он мешал совершенно точно. Может быть, для Головина всё было проще, он оставался более отстраненным, но мне Мамлеев мешал, и в какой-то момент я ему об этом сказал:

— Юрий Витальевич, знаете, давайте встречаться порознь. Я буду встречаться с вами, я буду встречаться с Женей, ну и вы тоже встречайтесь с Женей отдельно от меня. Нам не стоит больше встречаться в этом треугольнике.

Он заплакал:

— Я понимаю, вы — молодой человек. Молодые люди часто бывают увлечены. Но вы поймите, в Жене ничего особенного нет, он жуёт элементы культуры и сплевывает их в общий котел. И это обычные вещи, всё это обычное. Я понимаю.

Я несколько удивился такой реакции и говорю ему:

— Вот Юрий Витальевич, честно, у нас с вами замечательные отношения, замечательный контакт, но...

Потом он, кажется, даже что-то о моей жестокости говорил. Но мы стали встречаться действительно порознь. Со своим вторым близким другом Провоторовым он меня так и не познакомил.

Как-то я Жене рассказал об этом случае.

— Ты знаешь, Юрий Витальевич настолько тебя не понимает, он настолько неадекватен, ты себе не можешь представить, что он однажды выдал. Что ты жуешь элементы общей культуры и просто сплевываешь их в общий котел.

Внезапно Женя вместо того, чтобы засмеяться, развеселиться, покраснел и сказал:

— Он действительно так сказал?

— Ну что ты, Женя, я же тебе это рассказал, чтобы ты повеселился.

— Хорошо же... — сказал Женя, и я понял, что зря я сдал Юрия Витальевича.

Мы встречались, встречались очень интенсивно, особенно в период 1969–1972, когда жили на Гагаринском. Я часто к нему ездил, иногда мы приезжали с Леной.

Лена шла общаться с Ириной Николаевной, а я оставался сидеть с Женей.

Конечно, это была неравноправная дружба: у нас был большой разрыв по возрасту, разный жизненный опыт. И я субъективно воспринимал всё гораздо более остро. Я думаю, он в наших

отношениях был холоднее и отстраненнее, чем мне тогда казалось. Хотя общее реальное пространство, общая химия имели место.

Это стало страшным развивающим толчком в моей жизни, тем более что Ирина Николаевна как номенклатура, как парторг издательства «Прогресс» и главный редактор этого издательства, имела доступ к спецхрану. А это было гигантское партийное издательство, занимавшееся всей художественной литературой соцлагеря на русском языке. Благодаря ей у меня постоянно были горы книг из спецхрана на английском и французском.

Я активно занялся изучением традиционалистской школы. Генона я читал по-французски так внимательно, как никогда не читал никакого Гегеля. Можно сказать, сканировал пассажи этого автора, впитывал его. Естественно, это действовало на формирование моего собственного мировоззрения, тем более, что гегелевское высокомерие, гегелевский штамп, который, видимо, испытали молодые люди в 30-х годах XIX века в России под влиянием этого философа, вот этот штамп был разрушен.

В этом ключевую роль сыграл Юрий Витальевич, когда долго-долго возделывал мое сознание до тех пор, пока скорлупа панлогизма не треснула, не лопнула, не рассыпалась, и я не увидел совершенно иррациональное трагическое мироздание. Мироздание, где ключевым вопросом является свобода и ключевой константой является несвобода.

В геноновской версии я столкнулся с новой редакцией того же Гегеля, но радикально новой. Если Гегель был Платоном, переговоренным на современном языке и с учетом Аристотеля, но Платоном для атеистов, для людей модерна, то Генон был Гегелем, пропущенным через адвайта-веданту, с учетом современного человека и возвращенный к своим неоплатоническим источникам.

В итоге через некоторое время я почувствовал, что Генон и традиционалистская школа являются для меня вызовом и противником.

Интересно одно замечание Жени по этому поводу.

Когда я стал заниматься Геноном, когда Генон забрал меня уже целиком в свое пространство, я как-то сказал:

— Мне кажется, Женья, что у тебя очень мало энтузиазма, когда мы с тобой говорим о Геноне. Но ведь ты же открыл мне этого автора. Почему же ты так холодно к нему относишься?

— Зато ты, по-моему, не очень холодно.

— Да, мне кажется, что он открывает совершенно потрясающую перспективу.

— Ну что же. Видимо, у Генона такая планида: его звезда всегда будет для кого-то сиять. Когда она тухнет для одного, она зажигается для другого.

Я спросил:

— Женья, а для тебя она потухла?

— Пожалуй, да. Видимо, это так и нужно, чтобы звезда Генона всё время кому-то сияла.

Потом я его спросил, в чем проблема его отношения, и он ответил:

— Мне не нравится его безусловность, мне не нравится его труба, дудящая с неба и претендующая на статус истины в последней инстанции. Мне не нравится, что это беспроегрышная, безошибочная доктрина, где решены все вопросы и есть ответы на всё. И вот это дудение меня очень раздражает. Это на самом деле такая позиция, которую просто невозможно принять всерьез.

По-настоящему я ощутил внутренний конфликт по поводу Генона, наверное, в 1972 или 1973 году. Для меня он долгое время оставался арифметикой, я просто считал, что это то, что есть, но не то, что должно быть. Перефразируя Ницше, «Генон — это то, что должно быть преодолено».

Генон констатирует некую безусловную данность, самодостаточную и абсолютно аннигилирующую любые поползновения к альтернативе, но которая должна быть преодолена. Некий дух, дух чистого негатива, он ищет преобразования из негатива в солнечное перерождение через отрицание этого абсолютного *всё*,

которое является просто всё отменяющим, всё снимающим, косой Абсолюта. Дух негатива является тем камнем, на который находит коса Абсолюта, когда проходит по лугу, снимая траву.

С 1973 года у меня сформировалась четкая идея, что человечество — циклическая повторяющаяся реальность, которая должна быть остановлена. Циклы должны быть остановлены. В этом моменте (хотя тогда я для себя это так не формулировал) я считал, что циклы должны быть остановлены для того, чтобы перейти к новой реальности, альтернативной повторяющимся человечествам.

Позднее я стал придавать остановке циклов эсхатологический подтекст и связывать ее с завершением ветхого Бытия и началом нового в авраамическом смысле. Но в те времена я еще не мыслил в категориях авраамизма.

Я считал, что остановка циклов — это цель эзотерического фашизма.

Цель эзотерического фашизма — это остановка циклов и преобразование импульса, который вращает колесо манвантар¹²⁸, когда один импетус¹²⁹ идет вверх, другой вниз. Когда раскручиваешь колесо перевернутого велосипеда и потом резко нажимаешь на тормоз, колесо блокируется, и там просто видно, как один вектор идет вверх, а другой вниз. Я видел в остановке циклов необходимость вот этого абсолютного разового свершения.

Для меня с 12 лет существовала интуиция подозрения, что мы живем в некой сверхбытийной реальности, некой тотальной данности без свершений, и она чревата свершением, которое всё время ускользает, не может состояться. Главная цель, чтобы раз и навсегда состоялось это свершение.

Я увидел, что христиане пытаются навязать концепцию разового свершения посреди исторического процесса в появлении Христа, раз объявленного ими Богом в бесконечной длительности, уходящей в некое прошлое от творения и в некое будущее к концу времен. Посредине он является и делит историю пополам, как христиане любят говорить. Это точка такого боговоплощения, разовое свершение, после которого история делится на *до*-спасенных и *после*-спасенных. До-

спасенные, соответственно, тонут под бременем первородного греха. Остальные же могут быть спасены, просто присоединившись и приняв Христа после его воплощения.

Я видел в этой идее некий глубокий иррационализм и неадекватность, потому что такая избирательность по спасению людей, которые случайным образом появились во временной длительности после воплощения Христа, казалась мне несколько произвольной и странной.

Тебе повезло родиться после нулевого года нового времени, и тебе очень просто спастись: нужно лишь принять Христа. Формально не остается ничего другого, выбор очень легкий: ты просто присоединяешься к этому отряду принявших Христа и идешь дальше.

В Исламе есть перманентный призыв, обращенный пророками начиная с Адама. Во все времена, начиная с прихода Адама, люди могли присоединиться к малому отряду. Этот момент был открыт, и вставшие на этот путь люди могли бороться с Бытием и с человечеством.

Есть разница.

Бог так возлюбил, по христианскому учению, человечество, что послал своего единородного сына спасти человечество. Но тогда совершенно непонятно, почему, возлюбив его, он не спасает тех, кто был до этого послания.

Даже Платон и Аристотель, которых рисуют на иконах, оказываются в лимбе, они оказываются в чистилище, они не спасены, они лишь могут рассчитывать на то, что их рано или поздно выведут из Ада. А о людях попроще я и не говорю.

Тем более, что если Платон и Аристотель — это христиане до Христа, то тогда появляется много вопросов. Ведь они классические ультра-язычники. Платон и Аристотель не сказали ничего сверх того, что было уже у Лао-Цзы¹³⁰ и адвайта-ведантских¹³¹ учителей. Если они — христиане до Христа, то тогда получается, что и Шанкарачарья¹³² и Лао-Цзы — тоже христиане

до Христа. Чем они хуже Платона и Аристотеля? Тем, что не попали в орбиту эллинизма, только и всего?

Возникало много странных вопросов, на которые Ислам давал четкий и холодный ответ.

В Коране ясно дано понять, что люди не являлись целью исторического процесса. Целью исторического процесса является решение некоего уравнения в замысле Всевышнего, где человек был просто X или Y.

Обращение к человеку с призывом встать на путь решало вопрос об истине, значение которой было совершенно вне человеческой судьбы, в том числе и духовной судьбы.

Поэтому гибель человека в духовном плане, его осуждение или не осуждение было, скорее, как кастинг актера, приглашенного на некую роль. Если он не проходил кастинг, его хлопали по плечу и говорили: «Старик, ты не подойдешь. Можешь идти гулять, у нас тут серьезный театр, мы тебя не берем».

В христианстве всё крутилось вокруг человека как цели, вокруг человека, ради которого всё затевалось. Но если творение и вообще весь мировой процесс был человекоцентричен, то остается очень много незавязанных концов.

Если же человек был исключительно функционален и инструментален, то понятно, что всё это можно было повторять до тех пор, пока не появится правильное сочетание условий, и до тех пор, пока не будет решен этот момент, когда красная черта перейдена — останавливается вращение колеса, совершенно четко блокируется повтор циклов, вечное возвращение равного. Тогда возникает переход к совершенно другой реальности, в которой всё становится правильно, черное становится белым, белое черным, а истина проявляется в том, что она обнажается, как отсутствующая в этой чаше, чаше данности, чаше данного.

Такие соображения посещали меня именно в тот период 1972–1973 годов, но они продолжали тему, которая для меня была параллельна актуальной и ранее — эта тема шла подспудно с Гегелем. Тема подлинного содержания реальности, подлинного смысла

реальности, которая обязательно должна нести некую апористическую¹³³ направленность. Реальность обязательно должна в себе содержать некую безвыходность, тупиковость, абсолютный алогизм, который бы решался через взрыв, через некий скачок в сторону.

Апория не была моим рабочим термином в те времена, да и диалектика оставалась испорчена марксизмом, отвергавшимся как официальная система мысли. Но конечно и апория, и диалектика были тем, что уже тогда в какой-то степени подразумевалось. Апория как безвыходность. Я нащупывал у разных авторов подозрение, что реальность устроена по принципу апории. Сама реальность есть ловушка и безвыходность, но в ней содержится парадоксальный прорыв, слом, возможность избежания.

Даже у таких неоспиритуалистических авторов, к которым дисциплина генонизма относилась подозрительно и дистанцированно, вроде Гурджиева¹³⁴, даже и у таких авторов присутствовал довольно сильный намек на то, что реальность сформулирована и организована как ловушка, и побег из этой ловушки, из этой тюрьмы невозможен. Возможен побег лишь в тюрьму чуть побольше, но всё-таки побег за счет некой непредусмотренной щели или случайно не запертой двери, или, скажем, случайно заснувшего пьяного солдата-караульщика.

Я всегда чувствовал момент, привлекавший меня трагическим вкусом правды и вызовом, таким, я бы сказал, пессимистическим позитивом — возможность победы вопреки.

Шанс героя, у которого нет шансов.

Герой не может выиграть у Рока, но есть некая точка, через которую он может ускользнуть.

Это достаточно традиционное мнение, и это мои ранние соображения.

Позднее стало понятно, что всё гораздо серьезнее, что всё не сводится к апории и к шансу на побег, всё это принадлежит к высшей математике, где проблема решения уравнения абсолютно

не касается человеческих судеб и даже судеб духа в плане, который инструментален и функционален.

Женя много значил для меня не только в интеллектуализме.

Я его сильно любил, его интонации, его тембр голоса были для меня символическими. Такие детали человеческой феноменологии, каждый из элементов — ключ к своему замку, открывавшему дверь в другую реальность, золотые лучи.

Потом в наших отношениях появилась проблема — между нами встала Лена, которая влюбилась в Женю, как многие женщины, кому он попадался на глаза.

Это разрушило и мой дом, и Ирина Николаевна тоже как-то осталась на бобах. Потом она мне же проклинала свою доверчивость, когда она приходила и ловила белок в нашем доме, думая, что Лена является ее подругой. Но это следующая глава.

Наша дружба длилась года три. Может, и больше. Может, четыре-пять.

Она продолжалась после того, как она омрачилась, и дальше.

Я решил Лену освободить от всяких обетов. Я решил, что я стою выше ревности, цепляния за женщину.

И наши отношения с Головиным продолжались. Они продолжались примерно до 1980 года, уже с большим скрежетом, и последний всплеск был, когда он ко мне приходил в 1985. Тогда уже Гюля была. В 1985 году был его последний визит, а я с Гюлей ездил на Рублевку, где он жил с Леной.

Но уже как сквозь вату, как сквозь туман.

Его последний визит на Болотниковскую я очень хорошо помню. Только появился Горбачев.

Женя пришел и сказал, что наконец-то русский народ обрел совершенное выражение черта, соответствующее его традиции, которое гениально описано Гоголем в ипостасях Чичикова и Хлестакова. Черт Ивана (у Достоевского) — полная чушь, вымученный, высосанный из пальца, никакого отношения к русской

идее черта он не имеет. Черт Ивана Карамазова — это головной черт, ненастоящий.

Горбачев — одновременно и Чичиков, и Хлестаков. В Горбачеве они соединяются абсолютно классическим образом. И подтверждением тому служит фраза, которую Горбачев, совершенно не ведая, повторил за Чичиковым, что наконец настало время, когда мы можем встать твердой ногой на прочное основание. Это бессознательная цитата из Чичикова — Горбачев произнес ее спонтанно в одной из своих речей, тем самым доказав, что он классический черт, прямо прыгнувший со страниц Гоголя.

Вторая тема у Жени была, что все маститые мастодонты советского славянофильства, кожиновы и палиевские, застучали хвостами и задвигали ушами, приняхиваясь, потому что поняли, что начинается что-то небывалое, и царство их диванного комфорта и господства кончается. Все эти старые славянофилы, пригревшиеся со своими еврейскими женами в тени толстых журналов, чувствуют, что надвигается нечто, что должно их смести.

Он этих мастодонтов знал. Я-то нет. Для меня Кожинов было просто имя, тем более Палиевский.

Писарев Андрей Андреевич, с которым я познакомился лет через семь-восемь после того разговора, их тоже знал. Он как раз в эту эпоху общался и с Кожиновым, и с Палиевским. Он мне много рассказывал про всю эту славянофильскую братию, потому что ему удалось в те годы стать редактором какого-то отдела в «Нашем современнике».

Возвращаясь к Жене. Он проговорил две темы: ужас славянофилов перед назревающей катастрофой, которую они смутно чувствуют, и сатанинскую природу Горбачева. Он говорил сам с собой.

Наша последняя встреча, когда Головин говорил развернуто.

В 1991 и позднее всё происходило уже очень формально: Лена что-то готовила, какие-то посиделки, тягостные для всех. Исчерпанность контакта на бытовом и личном плане.

В духе он так и сияет вечным золотым иероглифом, а на физическом плане произошла полная исчерпанность наших отношений.

Однажды мы столкнулись пасмурным осенним вечером на остановке. Настроение Жени было под стать погоде. Он был не в пример себе прежнему угрюм, замкнут и чем-то озабочен.

Женя с ходу выпалил:

— А ты знаешь, что знание слова «Аллах» на треть спасает человека от *l'aurore du Mal* (зари зла) в могиле?

— Так ведь много кто знает это слово, что же получается, каждая сволочь достойна спасения?

— Нет, ты не понял, спасется лишь тот, кто знает сокровенный смысл этого слова, познает его подлинную суть, она станет защитой от могильного зла...

Унибрагилья

Мамлеев как-то пришел ко мне встревоженный, торжественный и внутренне притихший, и сказал, обращаясь ко мне, как всегда он делал в нашей среде:

— Дарюша, вы слышали что-нибудь об Унибрагилье?

Я посмотрел на него и сделал вид, что жду продолжения.

Он сказал:

— Да, Унибрагилья и его концентры.

Естественно, я слышал это в первый раз, но что-то толкнуло меня, и я сказал:

— Да, Юрий Витальевич, наконец-то вы вышли на тот уровень, на котором я могу с вами говорить. Я знаю про Унибрагилью и ее концентры.

Он затрясся и спросил:

— Что? Что вы знаете?

— Сначала вы скажите, откуда вы это услышали?

— Об этом говорил Степанов, но Степанов это так, это просто переносчик.

А у Мамлеева все были переносчики, все жевали и сплевывали, все каких-то блох из атеизма на себе несли, которых надо было ловить и отсеивать.

— Он переносчик, он сам что-то слышал, всё что-то мутит-мутит. Но я знаю, что в этом есть глубокая последняя абсолютная тайна.

— Да, Юрий Витальевич, я знаю об Унибрагилье и ее концентрах.

— Что?

— Это особая тема, но я вам могу сказать. Концентры Унибрагильи покрывают всю реальность, но эти концентры связаны с тем, что находится вне их, за их пределами. Представьте себе, что в центре есть некая точка. Точка в центре бесконечности. В этой

бесконечности, естественно, нет никакого центра, ни ориентира, ничего, чтобы это как-то дефинировало. В любой точке вы находитесь *здесь*. Но любая точка равна другой. И вот вы внезапно ставите решительную, реальную точку и протыкаете этот лист бумаги. У вас появляется центр. В этом центре бесконечность кончается. Вы ограничиваете ее этой точкой. И тем самым в этой точке концентрируется весь потенциал той протяженности, идущий вокруг нее концентрирами, всё схвачено. Есть 12 концентров вокруг этой точки, они полностью исчерпывают весь потенциал этой бесконечности. Но важен только 13-й концентр, невидимый концентр, находящийся вне этой протяженности. Вы не уязвили эту протяженность, поставив точку. Лист бумаги, который был абсолютно незапятнан, гладок, бесконечен, а вы поставили точку и пробили этот лист бумаги, вы овладели им. Но 13-й концентр — это то, что не ранено этим центром, то, что находилось за пределами этого. И он тем самым тайным образом вступил в связь с этими концентрирами. Это обращение, это апелляция к тому, чего в этом листе бумаги не было и быть не может.

Юрий Витальевич меня внимательно выслушал и сказал:

— Да, я знал. Я знал, что это именно так, именно в эту сторону. Это именно сюда должно быть. Речь идет о том, что по ту сторону Абсолюта, за пределами Абсолюта, вне его.

Самое интересное то, что спор между нами шел задолго до того, как мне было видение о распятом существе, которое является всем и лишено тем не менее всякой свободы, отражается в бесчисленных зеркалах, спор о том, есть ли что-нибудь вне Абсолюта.

Иными словами, или панлогизм Гегеля отражает абсолютно всё, или есть нечто, что не может быть отражено в этом панлогизме, что тотальный интеллект, абсолютный всесовершенный интеллект не может в себе содержать, и именно это, что он в себе не содержит, и есть главное. Вот в это всё упиралось.

До какого-то момента я с ним спорил. Но после перешел на противоположные позиции. И увидел, что тотальный интеллект, универсальное *всё*, которое есть «нус», вселенский разум, логос — это просто чаша, существующая только для того, чтобы не содержать

в себе того, что содержаться в ней не может. И это единственное, что является предметом утверждения.

И тут ко мне приходит человек и говорит про Унибрагилю и ее концентры. И это как бы замыкается. Я ему говорю, что есть чаша из 12 концентров, возникающая посреди бесконечности, она организует эту бесконечность, но таким образом, что эта бесконечность есть выраженная чаша, или выраженное зеркало, — всё, адресованное к этому 13-й концентру, 13-му кругу, который символизирует то, чего в этой чаше, в этой бесконечности нет.

В этот момент Юрий Витальевич стал абсолютным адептом Унибрагили, для него всё стало на свои места.

Я ему запретил говорить на эту тему со Степановым.

Потом, улучив момент, я как-то со Степановым начал этот разговор:

— Володя, а вот ты коснулся такой темы с Юрием Витальевичем? Ты говорил с ним про Унибрагилю?

Он засмеялся и погладил свою раввинскую бороду.

— Про Унибрагилю? Да, Юрочка что-то такое бормотал, и я подыграл ему.

То есть Юра принес это мне как некую утечку от Степанова.

Я эту тему поддержал, запретив ему со Степановым о ней говорить. А Степанов сказал, что он подыграл Юре, который бормотал что-то невразумительное, и он ему это отпасовал.

Просто гениально! Вот, что называется, эзотеризм в чистом виде.

Увидев, что волейбольный мяч гуляет в бесконечном n-мерном пространстве, я тут же тему прекратил, чтобы не профанировать, отсек ее. Сказал Степанову, что всё понятно, ясно всё. И зарезервировал это себе.

Юра уехал в Америку в 1974 году, года через три после того как состоялась беседа. Через 15 лет после того он вернулся. И вот недавно он умер. И до самого конца он нес в своей груди как самое святое, как самое драгоценное, тайну Унибрагили.

Последнее, что он шептал, когда искал мою руку на одной из последних встреч перед своей смертью:

— Дарюша, Унибрагилья. Наша Унибрагилья.

Он ушел с этим, ушел в глубокую ночь.

Но на самом деле Унибрагилья и ее концентры, реальность, выпестованная в те дни, и является традицией традиций, ради которой ведется страшная борьба между двумя антитезами: чистым монотеизмом с одной стороны и абсолютным монизмом с другой.

Вот именно эта страшная борьба ведется с подразумеванием тайной Унибрагильи, абсурдным образом прорезавшей себя в несуществующем слове.

Спустя много времени я искал во всех словарях, энциклопедиях, рукописях, летописях слово «Унибрагилья», и там нет даже намека.

Слово из ниоткуда обозначает то, что не содержится во всём.

Всё, как пустая чаша, которая не может в себе содержать нечто, потому что оно не может содержаться ни в чем — Унибрагилья и ее концентры.

Мамлеев был великим уникальным человеком. Он пришел с мороза, шепча это слово, и ушел в никуда тоже с этим словом в сердце. И, наверное, это была его важнейшая миссия в подлинной истории.

Не в той истории, где мы пишем и читаем книжки, а в подлинной истории.

Интересно, что эта тема не коснулась Жени, не коснулась диалогов с ним. Не напрасно я развел тогда Мамлеева и Женю в отношении себя, потому что Женя относился нетерпимо ко всяким импульсам, приходящим на том уровне, который он считал недостойным соприкасаться с его подразумеваниями.

Степанов

Невозможно пройти мимо фигуры Степанова. К сожалению, сегодня она маргинальна и в присутствии своем в интернете, и в медиа, да и в воспоминаниях людей. Или проходит тенью, или вообще не присутствует.

Есть пара человек, с ним связанных, которые что-то говорят, что-то пишут, но они недостаточно значимы, недостаточно громко говорят, недостаточно интересны. Их бормотание никак и никем не оценивается.

А между тем Степанов был необходимым элементом треугольника, который я называю магическим: Мамлеев, Головин и он, Степанов.

Степанов служил источником вдохновения для Мамлеева. Головин держал с ним определенную дистанцию, оправданную иронией, но какая-то связь всё равно у них сохранялась. Сам Степанов жестко и глубоко верил в существование такой связи с ними обоими. Хотя всё складывалось несколько проблематичней.

Я не помню, как и кто привел Степанова в мой дом, как получилось, что мы встретились, но каким-то образом он возник, наверное, году в 1969.

Сначала он появился у меня. Обстоятельств не восстанавливаю, но я помню, как мы с Леной ответили встречным визитом. По-моему, это было на 5-й Парковой улице.

Мы приехали в блочный советский дом. Двухкомнатная квартира из тех, где одна из комнат проходная, в дальней комнате спала бабушка, мать Гали Старовойтовой, жены Степанова.

Когда позднее я увидел депутатшу Галю Старовойтову, убитую в ельцинские времена, меня поразило совпадение. Но убитая была плотной, а жена Степанова — тонкой, узкоплечей, узкобедрой, похожей на вьющийся стебель. А когда она надевала меховую горжетку, становилась похожа на лису, вставшую на задние лапы.

С этим домом много связано, и до сих пор, когда я слышу упоминания о Парковых улицах, эти слова проходят тенью по душе. Квартира с советскими зелеными радиаторами, о которые потом, не помню кто, однажды разбил себе голову.

Самое ужасное и неприятное для меня, что посреди квартиры стоял манежик, и в этом манежике прыгало орущее существо месяцев десяти, плод семейства Степановых. Это был Андрей, которого звали тогда Квакушей, и еще много лет его так звали, а теперь это высокого роста мужик за сорок.

Квакуша стал неким символом, знаком наших отношений. Он прыгал и квакал в своем манежике под какой-то светский разговор ни о чем.

Есть тернер и кватернер, фундаментальные геометрические понятия. Если треугольник поднести к зеркалу, то получается некий квадрат. Треугольник всегда можно доработать до квадрата простым поднесением его к зеркалу.

Почему, скажем, три мушкетера? Там же существует Д'Артаньян. Имеются Атос, Портос и Арамис, и где же там Д'Артаньян? А вот в том-то и дело, что Д'Артаньян — виртуальная точка магического кватернера, потому что он возникает, когда треугольник Атос-Портос-Арамис откладываешь в сторону или подносишь к зеркалу.

В этом смысле Д'Артаньяном или магическим замыкающим кватернером был я.

Мы с Леной устанавливали такие контакты, ездили к Жене, к Степанову (по крайней мере, одну поездку я точно помню, дальше, может быть, я один ездил, неважно). Мамлеев у нас дневал и ночевал. Это были основные контакты, замыкавшиеся в магический кватернер.

Но он был связан именно с переворачивающимся треугольником, где четвертая точка не называлась или стояла особо. Это был я.

И вот Степанов. Человек среднего роста, чуть ниже меня, с брюшком, очень плотный, без талии. Как сказал Вадик Попов, с лицом породистого раввина. Точеный прямой нос, можно сказать римский, шедший ото лба, и роскошная черная борода. Он имел

правильные семитические черты лица. Хотя он не считал себя ни в коей мере семитом, а происходил из Воронежа.

Его брат занимался итальянскими партизанами и коммунистами при ЦК КПСС. Я с ним один раз встречался. Совершенно гопнического вида мужичок, который вышел порыбачить. Он собирал дымковскую игрушку. У него имелась масса разных книжек, написанных про итальянских партизан. Он постоянно общался с какими-то итальянскими антифашистами и ездил туда. Пробы на нем негде ставить, на этом брате.

Была у них еще и сестра, киношница и замужем за кинорежиссером. Красивая девушка, с черными волосами, похожая на черную кошку. Когда я сидел у нее в гостях, речь зашла о Шукшине и его книжке о Петушке и царе Салтане, намекающей на шукшинский антисемитизм. В общем, скандал какой-то произошел.

Степанов был чернобородым эзотериком.

Женя рассказывал, что он женился на Гале, она владела английским языком, окончила иняз и вдруг отправилась в Индию. Степанов остался один, и, как говорил Женя, сардонически ухмыляясь, началось счастливейшее время его жизни. Он сидел в библиотеке, сидел в книгах и находился под влиянием некоего Кёрдемона (был такой, позднее уехал в США и стал там миллионером на мультиках).

Кёрдемон занимался эзотеризмом, и они в советскую темную ночь заново открыли Гурджиева и занимались им очень круто.

Позже Степанов заинтересовался суфизмом, суфиями, открыл для себя Идриса Шаха¹³⁵, стал получать письма от Роберта Грейвса¹³⁶, великого масона-поэта, автора «Белой Богини». Роберт Грейвс приехал в Советский Союз и побывал у Степанова, точнее, у его брата на даче. Дача принадлежала брату.

Есть знаменитая фотография, где Роберт Грейвс в сетчатой майке-алкоголичке с бретельками вскапывает землю под яблоней в саду. Увидев эту фотографию, Женя сказал, что потерял сразу всякий интерес и уважение к Роберту Грейвсу, если оно и было до того:

отныне для него Роберт Грейвс — это тот, кто со Степановым в саду окучивает яблоню.

Отец всех Степановых, согласно той истории, которую я слышал, служил комиссаром у Котовского¹³⁷. А Котовский был, как известно, фанатом эзотеризма и возил за собой четыре огромных сундука книг с редкими и очень качественными изданиями дореволюционной литературы на эту тему. Сотрудничал с журналом «Изида», его издателем был Трояновский, который также выпустил много книг по оккультизму. Я читал по крайней мере один или два номера. Там были «Арканы Таро» Шмакова, первые номерные переводы Ницше, даже что-то по-немецки. Котовский изучал немецкий, чтобы поехать в Германию учиться на агронома. Не получилось, но немецкий выучил.

В общем, целая библиотека. Как гласят слухи, эта библиотека оказалась в итоге у отца Степанова.

А отец стал преподавателем философии в ИФЛИ, том самом знаменитом масонском эзотерическом гнезде, из которого вышли все давиды самойловы, особые персонажи-ифлийцы, особое братство. В большинстве своем поэты, но некоторые стали чуть ли не философами. ИФЛИ в 1941 году влили в МГУ.

И вот эти четыре огромных сундука книг, которые Степанов-отец возил за Котовским на тачанке, расположились в невероятных дубовых шкафах на той самой даче, где бывал Роберт Грейвс.

Мне долго морочили голову этой библиотекой.

Во-первых, Женя мне про нее рассказывал, а во-вторых, когда к Степанову обращались, он загадочно ухмылялся, гладил бороду и говорил, что кто будет себя хорошо вести, тот, возможно, когда-нибудь увидит эти шкафы.

Сам он мог их видеть только во сне, потому что на всём сидел брат. Если эта библиотека не миф, а реальность, то она как дымковская игрушка — в распоряжении брата.

В какой-то момент Степанову непосредственно из ЦК предложили стать аспирантом по особой теме в институте философии и будто бы именно за то, что он лично знаком с Робертом Грейвсом.

Надо сказать, сам Степанов закончил пединститут по английскому языку. С грехом пополам он знал английский, но такой казенный формальный английский, нормальный для советского времени. По крайней мере, книжки на нем читать и писать он мог.

Галя вернулась из Индии досрочно в 60-е годы.

А бабушка получила квартиру на 5-й Парковой — как «заслуженный педагог РСФСР». Квартирку дали бабушке, а та пустила туда пожить дочку с зятем.

Степанов был очень интересный человек.

У меня лежит книжка, изданная его сыном в «Эннеагон Пресс», связанном с «Октагоном», который был создан в свое время Идрисом Шахом. Такие ядовитые отпochкования мухомора, возросшего в Лондоне, и сейчас дают поросль.

Но это был человек, который не исчерпывался тем, что он мог написать. А вот когда ты с ним говорил, ты погружался в особое состояние, потому что он был медиумичен, и он ловил и пасовал тебе самые глубокие подраумевания твоей собственной мысли.

Степанов входил в твое состояние и становился зеркалом, ты с ним общался и выявлял такие оттенки мысли, которые ты бы никогда не мог выявить с другим человеком, просто столбиком, отшибающим пасы в твою сторону. А он эти пасы принимал и довершал, как будто все мячи, ему посланные, уплывали в зеркальную поверхность, кружась и исчезая в недрах.

Он был очень интересен, и разговоры с ним завораживали.

Как-то раз меня попросила зайти его знакомая. Она жила в коммуналке в Большом Головине. Удивительно неприятная девушка ультралюмпенского вида, которую он завел из некоего протеста и вызова. Но потом не выдержал и порвал с ней. И она попросила меня зайти. Я зашел, и она говорит:

— Вот тут от него осталась одна бумажка. Я просто хотела выяснить, она имеет какое-то значение или нет?

Он, видимо, сумел, несмотря на очень плохие отношения, внушить ей почтение, раболепие перед собой, хотя она была

гопнического замеса, но он ее выдрессировал. Простой обрывок ученической тетради, но она чуть ли не на подносе мне ее принесла и спросила:

— Я вот хочу понять, это чушь или это что-то? Я взял и прочел строки относительно Джокера. Что Джокер это тот, кто идет к пропасти и потом падает через нее, став мостом, по которому переходят на ту сторону.

Я говорю:

— Нет, это ерунда.

И вернул ей этот листок.

— Ну так я и думала, — сказала эта сука.

Я почувствовал острую сердечную боль по поводу Степанова, потому что это был нереально талантливый человек, не сумевший этот талант как следует оформить.

Как-то я его спросил:

— Володь, а у тебя есть какая-то работа?

— Есть.

— Что за работа?

— «Пентаграмма».

— А большая?

— 150 страниц.

Я говорю:

— А можно ее хоть в руках подержать, почитать?

— В свое время я, конечно, ее дам тебе.

У нас были очень хорошие отношения, и я думаю, что меня он любил.

Как-то раз сидели мы на Гоголевском бульваре на скамейке в плащах, моросил дождик, и говорили мы об Идрисе Шахе.

Что-то я такое, может быть, даже уважительное про Идриса Шаха сказал, на что мне Степанов с раздражением бросил:

— Да если ты кинешь свою кепку на одну чашку весов, то Идрис Шах с другой чашки улетит вверх.

Меня это поразило.

Но случилась одна очень неприятная история, связанная с Юрием Витальевичем, который к тому времени уже года полтора находился в Америке, в Корнеллском университете. А я в это время уже переехал с Гагаринского на Большую Очаковскую улицу, в квартиру, связанную с большим темным периодом в моей жизни, очень мучительной полосой. Но туда приходили мои друзья, и я сам оттуда часто уезжал.

И вот мне пришла открытка от Юрия Витальевича. Это меня потрясло, потому что он уехал и как бы оказался по ту сторону, практически умер. Он писал, что он в Корнеллском университете, всё хорошо, замечательно, что он в эзотерическом обществе, в масонской ложе, среди крутых людей, исполинов, которых в России отродясь не водилось, «а таких, как Степанов, здесь сотни».

Я это прочел, пожал плечами. Юрочка, конечно, увлекающаяся натура. Положил я эту открытку на стол, тяжелый дубовый, переехавший со мной на несчастную Большую Очаковскую. Когда-то он стоял на Мансуровском, еще дедовский обеденный стол. Бросил открытку — и вдруг звонок в дверь. И что вы думаете — входит ко мне Степанов, в гости заехал.

В то время у нас даже не было телефона. Я ходил звонить к автомату на улицу, как на даче. Прежде телефон всегда был поблизости, пусть даже в коридоре. Тяжелые черные телефоны, стоящие или висящие, прикрученные к стене, но всё-таки они дома. А тут приходилось выходить. Поблизости было два или три телефона в будках, один из которых всегда не работал.

Люди приходили без спроса, и тогда это было нормально.

И тут раз — приходит Степанов.

— Ну что же, Володя, проходи.

И думаю: лежит же там эта открытка на столе, хоть бы она ему на глаза не попала. А он проходит — и на тебе, не в кухню, куда я его провожаю, а напротив, в столовую — и сразу к этой открыточке:

— Что тут у тебя за открыточка? — так бесцеремонно. — А, от Юрочки!

Я не успел ее выхватить. Он ее берет, читает, и я думаю: ну и черт с тобой, раз ты такой бесцеремонный, то и получай.

Он ее читает, лицо у него меняется.

— А таких, как я, там сотни... Эх Юра, Юра, а я же с тобой работал. Ничего-то ты не понял. Ну ладно.

После этого пошли мы пить чай. Видимо, день у него пропал. А нечего хвататься за чужие письма на столе. В общем, был наказан.

Потом он сам уехал в Голландию, не так давно умер.

У Аристакияна¹³⁸ дома случилась последняя наша встреча за полгода до его смерти, года три назад. Он рассказывал, как в Испании читал лекции то ли про Кастанеду, то ли про Гурджиева. Не без юмора, искра от прежнего Степанова в нем сверкнула. Переводили его на испанский какие-то мексиканцы, знавшие почему-то русский язык. А может с английского переводили. Народу набежало много.

А потом он умер. Было в нем нечто такое, что не предполагало мысли о смерти. Он, как Николя Фламель¹³⁹, должен был быть вечной странной тенью, участником многих собраний на протяжении многих эпох.

То, что он умер, выглядит более нелепо, чем смерть всех остальных моих друзей.

Это был нереально талантливый человек.

Поэзия безумия

У Трипольского, где читал Мамлеев, часто бывал Сапгир. Сапгир — явление совершенно особое. «Питутели приехали в Колдоб» — можно представить себе такое стихотворение?

Он считал себя поэтом посткультуры. Пригов отдыхает.

В официальном плане он состоял членом гильдии драматургов-кукольников, есть такой специальный жанр — кукольный театр. Он был сценарист кукольного театра. Но он являлся поэтом.

Сапгир очень ярко и очень гнусно, без снисхождения описан в «Книге мертвых» у Лимонова. Там он описывает Сапгира как волосатую тушу, которая любила жрать шашлык и потом валяться, и млет под раскаленным солнцем, в то время как коньяк и шашлык бурчат в его невероятной утробе. Он его описывал в очень неприятных физиологических терминах.

У Лимонова о мертвых ничего хорошего не говорится. Добрые слова он говорит разве что об уголовниках, встреченных им в Сербии, об Аркане, еще о какой-то сволочи. А так 90 % остальных персонажей он поливает грязью.

Меня Сапгир ненавидел. Он считал, что я враг жизни, и когда я появляюсь, то сразу солнце меркнет, всё сразу становится темным и скучным. Для него.

Сапгир переводил что-то. Но это скорее для выживания.

Он имел очень зыбкое пространство внутри себя. Человек, который может выйти и читать публично «Питутели приехали в Колдоб» — это вам не Евтушенко. И там всё стихотворение в том же духе. Мало того — целый сборник стихов.

Питутели приехали в Колдоб
Подумал предприниматель: «Ах ты чтоб...»
Задача: отстающим вымыть клуб
Лысенья, грустенья и белоклочковатый
полустарух по-модному одетый
глядит: полукоттеджи — полухаты.

Или вот Пригов:

Я всю жизнь свою провел в мытье посуды
И в сложении возвышенных стихов
Мудрость жизненная вся моя отсюда
Оттого и нрав мой тверд и несуров
Вот течет вода — ее я постигаю
За окном внизу — народ и власть
Что не нравится — я просто отменяю
А что нравится — оно вокруг и есть

А вот еще Пригов:

Страсть во мне есть такая — украдкой
Подъедать (неизвестно — на кой?)
Колбасы двухнедельной остатки
Как домашний стервятник какой
Но ведь это же, скажем, что дар
В смысле общем и боле невнятном —
Я есть, скажем, что жизни стервятник
Скажем, жизни я есть санитар

Холин очень крутой. Да, Холин — великий.

Дамба, клумба, облезлая липа,
Дом барачного типа.
Коридор, восемнадцать квартир.
На стенке лозунг «Миру — мир».
Во дворе Иванов ловит клопов.
Он — бухгалтер госзнака.
У Макаровых — пьянка,
У Барановых — драка.
Кто-то выбросил рогожу,
Кто-то выбросил помои.
На заборе чья-то рожа,
Рядом мелом «Это Зоя».
Двое спорят у сарая,
А один уж лезет в драку.
Выходной, начало мая.

Скучно жителям барака.

Мамлеев очень любил такие сюжеты Холина:

Я в милиции конной служу,
За порядком столицы слежу.
И приятно на площади мне
Красоваться на сытом коне.

Или такие:

Познакомились у таганского метро,
Ночевал у нее дома.
Он — бухгалтер похоронного бюро,
Она — медсестра родильного дома.

И тоже Холин:

Повесился, всё было просто.
На службе потерял он место.
В квартире кавардак,
Валяется пиджак,
Расколотый фарфор.
Вдруг сирены звук.
На стенке блики фар.
Зашел милиционер, ворча,
За ним — халат врача.
А за окном
Асфальт умыт дождем,
И водосточная труба,
Гудит как медная туба.
Сосед сказал: «Судьба».

Такой солидный блок безумия. Но ведь еще есть стихи Мамлеева. Причем он их писал от имени своих героев. Есть стихи Провоторова Вали, которые Мамлеев читал и плакал над ними, но меня с Валею так и не познакомил.

У Пригова или Холина бессмысленность становится инструментом.

Я читаю Пушкина и для себя не вижу смысла. Я взошел не на Пушкине или Лермонтове. В детстве читал и разбирал в школе «Горе от ума», и мне оно искренне казалось совершенно бессмысленным. Таким оно мне кажется и до сих пор. «Отважно жертвовать затылком». Грибоедов искренне имел в виду какие-то смыслы, но они мне лично не нужны.

Мерзавцы часто бывают талантливыми.

В русской литературе не так много того, что интересно. И много проходит без внимания. Скажем, Сухово-Кобылин с его «Смертью Тарелкина» — большой автор.

Но в русской литературе есть удивительная черта — из цитаты может вырасти совсем не то, что предполагал автор. Известно, что Малый театр возник как театр Островского. «Отчего люди не летают...»¹⁴⁰ — это стало потом главным тезисом кэгэбэшного эзотеризма.

Сапгир, Пригов, Холин, Мамлеев создали новый инструмент, сделали безумие и бессмысленность фактором обнуления совка.

Олег Трипольский. Буковский. Мы и они

К Олегу Трипольскому я попал, когда он еще жил в коммуналке на Маяковке с Риммой Трипольской, которая была еще к тому же Заневской и бывшей женой Генриха Сапгира.

Олег был интересной фигурой, художник, занимался ювелиркой, камнями и фарцевал иконами. Он держал нечто вроде салона. Особенно его салон расцвел, когда он переехал на Речной вокзал с Маяковки. Туда мы зачастили на мамлеевские чтения в 1971–1972 годах. Я там бывал как минимум два раза в неделю, а то и чаще.

Олег был личностью, объединявшей других вокруг себя, на него опирались многие творческие фигуры — Кропивницкие, Холин, лианозовская школа. Многие приходили. И, конечно же, Мамлеев.

Попытка привести туда Женю Головина оказалась неудачной, очень незадачливой. Со своей аурой, со своим посылом, он, скрежеща, вступил в это пространство. Произошло столкновение материи и антиматерии. Кончилось всё скандалом, пришлось еще, кажется, утешать Римму.

О Головине они много слышали и хотели его увидеть, но, когда встреча состоялась, они остались в тяжелом шоке.

Он их эпатировал, оскорбил, наговорил им брутальных гадостей. И потом как-то надо было из этой ситуации выходить...

Буковского в мою жизнь ввела Лорик, Лариса Георгиевна, около 1967–1968 года. Он тогда сидел, и Лора сказала, что нужно навестить его мать и передать для него передачку. Мы пошли к его матери, которая жила в переулках возле театра Вахтангова на Арбате, в одном из старых домов.

По дороге Лариса рассказывала, что у него отец — полковник, и что Володя восстал против своего отца. Мать его, учительница, его поддержала, и они разделили квартиру чуть ли не баррикадой: по одну сторону Владимир с матерью, по другую — отец-полковник. Непримируемое противостояние.

Когда Буковский вышел в очередной раз, в 1969 или 1970 году, он приехал в гости, и мы проговорили целую ночь напролет у меня на Гагаринском.

Он был старше на пять лет. У него был другой масштаб опыта. Хотя я тоже через многое прошел к тому времени, побывав и в армии, в военной тюрьме и в психиатрической больнице. Но это было несравнимо с его опытом, который был и шире, и глубже.

К тому же у него была политическая зрелость.

Мы в тот раз очень много спорили. У меня тогда еще сохранялось много клише, характерных для антисоветчика.

Когда он сказал, что надо изучать Ленина, меня это удивило, потому что тогда я считал, что Ленин — это «фэ». На что он мне заметил, что Ленина надо изучать как гениального стратега, учителя того, как берется власть.

В общем спорили мы, спорили...

Разговор шел о том, что делать после свержения советской власти. Свергать ее предполагалось путем подготовки революции.

Разговор ходил кругами, мы говорили до рассвета, до пяти утра, когда птички уже запели.

Психологически конфликтная встреча, как кошки с собакой. Мы оценили друг друга как существ разной породы.

В какой-то момент он сказал, что когда придет к власти, меня повесит за неформат. Я был неформат для него.

Думаю, он стоял на каких-то, может быть, устряловских позициях в тот момент. Он был национал-большевик с либеральным оттенком. Не знаю, как менялись его взгляды, но я тогда был на классических фашистских позициях. Наверное, тоже были какие-то непоследовательности.

Мы спорили много.

Разговор был о том, что делать, как расправляться, с кем расправляться, ради чего, кто останется, сохранять ли страну, как сохранять.

Вскоре его опять посадили.

Эта встреча, кстати, послужила переломным моментом, после нее я решил получить группу. Стали сильно давить менты и совковая сволота.

Тогда было много одиноких благородных героев, со всеми я пересекался у Олега Трипольского — Галансков, Добровольский, Марченко¹⁴¹. С Марченко мимолетное знакомство, мимолетная встреча. Между нами установилась общая атмосфера взаимопонимания, приятия, даже дружбы.

Я принадлежал к другому кругу — не к конфликтно-политической тусовке, которая приходила и садилась на площадь. Сфера моих интересов лежала в другом. Политическую тусовку я воспринимал как конкурентов. Я считал, что их цели бессмысленны в условиях совка. Чего они хотели?

Я-то знал, чего я хочу. Я хотел личной своей диктатуры, я хотел осуществить трансформацию общества, хотел тоталитарный режим, но альтернативный и враждебный коммунизму. Я хотел национал-социализм без пролетарской демагогии, без рабочих, без Arbeiter Partei. Чуть позднее я установил, что моя позиция в этом плане приближалась к Юлиусу Эволе¹⁴², который считал, что дуче слишком заигрывает с рабочими, с низшими классами.

А вот эти все люди были ориентированы на общечеловеческое, на Запад.

В этой компании было несколько кругов. Круг Делоне и Богораз. Круг Краснова — Левитина. Православные внутренние диссиденты, интеллектуалы, заточенные на метафизику, на религию. Это было интереснее, несколько ближе.

Центром для меня были метафизические вопросы, совмещение метафизики и политики.

В политике для меня было всё ясно — не общечеловеческие ценности, но сакральная диктатура, а вот метафизика раскрывалась долго и проблемно, как внутренняя составляющая, внутренняя мотивация всего остального.

Воля к власти, но воля к власти сама по себе бессмысленна, поэтому я искал для себя оправдания, для воли к власти. И в какой-то момент мне казалось, что я могу найти такое оправдание в философии Гегеля. Хотя Ницше меня тоже привлекал. Сочетание Ницше и Гегеля.

Это всё было объектом размышлений до 20 лет.

Я их целиком и полностью поддерживал, потому что я ненавидел эту власть. Но эти люди мотивировались чем-то другим.

Бунтари, но они верили в какую-то правду. Задним числом я понимаю, что они верили в тот посыл, который был им привит социумом в самые первые годы существования на земле — посыл «за всё хорошее».

Потом они обнаружили, что существует страшный провал между тем, что социум им привил, и тем, что этот социум представляет собой, что он реализует.

И они взбунтовались.

С одной стороны, они обнаружили, что правда не здесь, а «там».

И они стояли за «те» ценности. Совок же тоже не отрицал их — во всяком случае, на словах. В детском саду, скажем, в пионерии он же не отрицал общечеловеческие ценности.

Потом они стали всё пересматривать. Откуда они взяли критерии? Откуда они взяли ориентиры? Они стали говорить, что пионерия — ложь, инструмент лжи. Но они же получили некую матрицу, что такое хорошо, что такое плохо.

В чем огромная разница между мной и ими? В том, что идея блага для меня скисла. Для них идея блага оставалась актуальной, как и общечеловеческие ценности.

Люди выходят в 1968 году, поддерживая Пражскую весну. Они вышли против советского вторжения в Чехословакию, потому что это вторжение давило и топтало Пражскую весну.

Я, конечно, тоже их поддерживал, потому что их выход был против советской власти. Я поддерживал всё, что было против советской власти.

Но если идти глубже, вскрывать метафизический контент, если начать серьезный разговор о мотивации, о причинах, то станет ясно, что они верили в человека, в ценность человеческого существования, в свободу. Они не были антигуманистами, а я им был изначально.

В этом всё дело.

Они были «лехаим», а я был «анти-хаим».

Они были русские мальчики.

Взять аскетичного Базарова из «Отцов и детей» — он же гуманист, он за позитив, за свободу, за счастье, за прогресс.

Диссиденты мотивировались не антигуманистической, а гуманистической идеологией. Они считали совок лживым антигуманистичным, угнетающим человека, построенным на фальши, на ГУЛАГе.

Диссиденты очень мало написали.

Самиздат начали не Галансков, Добровольский, Марченко и Буковский.

Самиздат — это Шаламов, Солженицын, другое поколение, которое я не видел глазами.

Я видел молодых людей, своих сверстников или чуть старше. Они ничего такого не создали. Мы общались с ними, когда они еще ничего не написали.

Позднее Буковский написал «И поднимется ветер». Делоне издал свои воспоминания в Париже. Книжечка Марченко¹⁴³ у меня была, но ее мало кто знает.

Но члены ЦК и политбюро не читали Делоне и Марченко. Для ЦК шло издание номерных номенклатурных книжек — это были совершенно другие авторы, люди сталинского поколения, того ГУЛАГа. В хрущевское время что-то было написано шестидесятниками. Шестидесятники были как минимум на 20 лет старше меня.

Битов с «Пушкинским домом», или какой-нибудь Евтушенко... шестидесятники...

Время оттепели, «тающие ручьи бегут из-под снегов». Они писали очень много. Был Твардовский, «Новый мир».

Мое поколение было другим, оно ничего не писало.

Я встречался с Григоренко, читал его книгу «В подвале можно встретить только крыс». Высокий статный ироничный старик. Но он принадлежал к другому пространству. Там, где даже Якир болтался.

Но эти люди не создали ничего. Это не Шаламов и не Солженицын, не то, что «Имка-Пресс»¹⁴⁴ издавал.

Буковский точно прочитал Конквеста¹⁴⁵. Про остальных не могу сказать, но в каком-то общем пространстве идей они варились, они их обсуждали, если даже и не читали.

Всех, конечно, объединяла ненависть к советской власти, к номенклатуре.

Но я же говорю не об этом, я говорю, что и почему их мотивировало.

Эти ребята, которых я перечислил, не были религиозными. Делоне и Марченко точно. Их мотивировали эсеровские взгляды, что-то такое.

Я принадлежал к совершенно иному пространству, которое не случайно называется «шизоидное подполье». Оно тоже было антисоветским. Но для шизоидного подполья антисоветизм не составлял главного направления. Лично я, может быть, более активно делал акцент на антисоветской составляющей, потому что я вырос в активном борении, активном неприятии советской власти. Неприятие советской власти развивало мой ум, заставляло читать философов.

Для других, возможно, советскую власть делало неприемлемой то, что они сидели в каких-то проблемах, задним числом. Но для меня сначала была неприемлемой советская власть, и это делало из меня философа.

Шизоидное подполье жило в психологии глубин, психологии пограничного существования, в динамическом подвергании сомнению

человеческого вообще. Не просто такой строй или иной, царская власть или западная либеральная, а *человеческое* вообще. Точкой сборки была, конечно, ранняя проза Мамлеева, взрывавшая и зачищавшая *человеческое* как проблему.

Встреча с Женей Головиным открыла мне дорогу в проблематику высшей масонерии, герметизма, традиционализма, что, как ни странно, вызывало у меня сначала полное принятие после Гегеля, которого я с восторгом сливаю.

А потом я начинаю борьбу с ними между 20 и 25 годами, когда у меня случился визион с распятым Великим Существом и его бесконечными отражениями, и шансом отражения порвать эту связь, эту зависимость — потому что ближе отражения слишком ясные, привязаны к оригиналу, дальше они слишком мутные, и не имеет смысла завоевывать свободу, потому что там и так царит хаос.

После этого я вошел в другое пространство, я стал читать по-французски литературу из спецхрана (по-русски этого тогда не существовало). Французский язык стал для меня Вергилием¹⁴⁶, проводником в организованное знание.

Я потратил пять или семь лет на преодоление, на внутреннюю борьбу с генонизмом как с мировоззрением, которое обладает гипнотической и логической беспроегрышностью и безусловностью на два порядка выше, чем немецкая классическая философия. Немецкая классическая философия по сравнению с Геноном — детский лепет. Она сложнее по изложению, но она предоставляет возможность диспута, дискуссии, там есть десятки сомнительных мест, которые можно оспаривать. В этом плане она побуждает к собственной мысли.

А геноновский дискурс — это таблица умножения. Если дважды два — четыре, то о чем тут можно спорить, это бессмысленно.

Я потратил пять-семь лет на оспаривание «дважды два — четыре», на внутреннее преодоление грандиозного окоема, открывающегося внутреннему взору. Но я знал, что его можно преодолеть.

Я не боролся с Гегелем, я боролся с Геноном. И я это прорвал, не в последнюю очередь за счет психологии глубин, за счет пограничной психологической ситуации, некой инфернальности.

Простые умы стираются в пыль Геноном, становятся жалкими идиотами, воспроизводящими серо и смешно эту парадигму, как граммофонные пластинки.

Но когда речь идет о шизоидном подполье, там есть эта соль, разъедающая всё, трансцендентный субъективизм, который идет до конца, разъедает и уничтожает любые матрицы. И, наверное, это помогло мне в конечном счете перешагнуть через гипнотическую силу французского традиционализма.

Женя сказал о Геноне:

— Я считаю, что это — заведомая чушь.

Это меня не убедило само по себе, мне такой позиции показалось недостаточно. Она слишком прихотлива. Но она несла на себе вкус нашего отношения в этом шизоидном подполье.

Мы знали, что такое зло, подлинное зло в метафизическом смысле. В том смысле, что метафизическое зло является питательной средой сверхдуховности.

Зло для духа — всё равно что бензин для автомобиля.

Дух питается злом.

И это интуитивное знание было укоренено в небольшой группе, которая распространяла, irradiровала это знание — куча художников, таких как Ковенацкий, Пятницкий. Они же не думали в категориях, художник вообще не думает. Но они писали свои картины, являвшиеся художественным сопровождением нашего визиона.

Потом шел более дальний круг.

А когда мы встречались с чистыми политиками, которые были просто политиками и ничем больше... Да, они против советской власти, но это очень конкретный корпоратив, — благородный, честный, шедший до конца, политический корпоратив. Они были захвачены романтизмом своего выступления, своей жертвенности,

но они отнюдь не стояли на платформе работы с метафизическим злом, как горючим, на котором надо ехать дальше.

Антисоветчина

Я был всегда открытым антисоветчиком. В школе, в институте, в армии, в дурдоме. Я никакого сопротивления среды не встречал. Меня арестовывали, кидали на губу, сажали в военное СИЗО, прогоняли через дурдом с его тюремным сектором — это всё были действия администрации.

Но когда я общался со своими ребятами по казарме или в дурдоме, где было много людей, косивших от армии, не было споров.

Мне за всё время попал один убежденный «советчик», и то — в дурдоме. Шахтер из Донбасса, из пролетариев, свято верил в марксизм-ленинизм, в Ленина и в торжество мировой революции.

Есть греческое слово «идиот», которое, как мне кажется, более точно отражает суть вопроса. В данном случае я понимаю под идиотом человека, живущего вне общественной жизни.

Отношения с сослуживцами у меня были хорошие, причем со всеми. Меня там любили. В школе, где в основном были представители среднего мещанского слоя, у меня складывались отношения гораздо хуже — тепло-хладные.

В университете наиболее яркой фигурой, который хотел сделать советскую карьеру, был Козловский. Секретарь комсомольской организации, метил в партию, внук репрессированного секретаря Зиновьева, но и он просоветским не был. Потом у него всё обломалось, и он уехал в Штаты. Классическая ситуация.

Остальные были просто интеллигенцией с кукишем в кармане. Хотя это был, конечно, серьезный институт.

Доверие к совку и антитеза ему не развивались строго по экспоненте, как если бы в 1945 году было наибольшее доверие, а в 1989 — наименьшее. Процесс шел волнообразно. В 1960–70 годы всё расслабилось, всё стало несерьезным, смешным и неадекватным, ватным совком.

Я не мог выйти на улицу с бородой и с кудрями до ключиц, чтобы на мой счет не прошлись. Причем побуждения были чисто ватными.

Во-первых, во мне усматривали попа, что вызывало большой негатив. Вторым моментом шло сразу воспоминание о Петре, который «подобной сволочи бороды почиал, и правильно сделал, что почиал». Ни одного раза, чтобы я вышел на улицу в обычном порядке, и кто-нибудь по мне не прошелся. Это забавляло, но деталь примечательная.

В Москве царил провинциальный коллективизм. Люди очень болезненно реагировали на бороду и длинные волосы, ассоциировавшиеся с поповщиной, с церковью, которая вызывала резко негативный отклик.

Столичность предполагает — как, например, Лондон или Рим, Древний Рим — невероятное многообразие рас, типов поведения, вариантов одежды. Она предполагает пестрое многообразие, поскольку речь идет об империи. И местному населению на это глубоко наплевать, потому что столица — это проходной двор, плавильный котел, некий универсализм. Никто не считает себя обязанным реагировать на разные модусы поведения, феномены существования и нести за них ответственность.

А провинция — это некая коллективная ответственность за общую племенную модель. В данной модели носят, например, ирокезы с хвостами, и это знак принадлежности к племени. Любое отклонение от этого воспринимается как разрушение гештальта.

Сейчас выйди ты с витыми рогами и с хвостом — никто на тебя внимания не обратит. А тогда люди не могли пройти мимо того, что их цепляло.

Я до сих пор не понимаю, такая реакция была из-за того, что они ненавидели попов, или же потому, что попы были для них предлогом, и они сами для себя оправдывали свой негатив.

В школе я читал «Известия», где почему-то шла полемика с диссидентами, с цитатами на подвал или на разворот. Вот в таком стиле, как бы компроматном, с претензией на анализ, про меня позже писали Челноков, Колышев¹⁴⁷.

Антисоветчиками, хоть и «тепло-хладными», готовыми принять антисоветскую точку зрения, была фрондирующая молодежь, которая

не шла в комсомольские активисты. Небольшая часть могла идти фарцевать. Но для этого надо иметь особый склад, знание языков, известную лихость, нэпманский задор. Таких было всего несколько процентов.

Ученые не были антисоветчиками.

Нельзя исключать, что, скажем, Сахаров полностью был подотчетен и подконтролен. Атомная физика оставалась режимным пространством. Идеология физиков отличалась от либеральной идеологии, царившей среди обывателей: типа того, что на Западе пироги пышнее. Эта идеология другая: всеобщий мир, господство технократов, ноосфера. Ученые по своей идеологии были просоветскими, естественно, без принуждения и насилия. Не просоветские, как комсомольцы, но просоветские в смысле «Туманности Андромеды».

Я бывал в таких компаниях в хрущевское время. Советский союз ассоциировался с идеей космического преобразования мира.

Если спросить товарища Сахарова, хотел бы он, чтобы совок проиграл, был оккупирован силами НАТО, и США водрузили бы над Кремлем звездно-полосатый флаг, — что бы он ответил? Конечно же, он бы сказал, что категорически нет.

Рай Гагаринского закрыт. Большая Очаковская. Автокатастрофа

Райское существование, которое задним числом кажется таковым, на Гагаринском переулке закончилось резко. Дом, знавший такую концентрацию мысли, духа, семян будущего, в итоге был снесен. Помоему, дом 33 по Гагаринскому переулку, тогда — по Рылеевской улице. На его месте теперь маленький скверик, ничего там так и не построили.

Период лучшего, наверно, в моей жизни существования, завершился грубо и жестко.

В 1972 году, поздней осенью, нам было велено убираться из этого дома в предоставленную нам двухкомнатную квартиру на Большой Очаковской. Если я не ошибаюсь, Большая Очаковская, 26 или 28.

Это было как снег на голову.

Хотя я побывал в страшных приключениях в армии и околоремейских авантюрах за колючей проволокой, но жил нормальной жизнью я всегда в центре Москвы. Поездки на Вавилова или, скажем, к Олегу Трипольскому на Войковскую считались большими выездами.

Большая Очаковская в те времена не имела метро. Добираться туда можно было либо 130 автобусом от проспекта Вернадского мимо Матвеевской, от кинотеатра «Звездный». Либо же надо было ехать от Киевского вокзала поездом в Апрелевку, и третья остановка после Матвеевской была «Очаково». Сходишь, и метрах в ста от платформы перекресток с Большой Очаковской, где как раз стоял этот дом более или менее нового типа, построенный году в 1971.

Нам дали квартиру на первом этаже. Но там был косогор, и поэтому с одной стороны, где кухня и большая комната, окна выходили на уровень человеческого роста, а с другой стороны они выходили на второй этаж, потому что косогор шел вниз, и под нашей небольшой столовой с выходом на балкон уже находилась сберкасса. С одной стороны у нас был первый этаж, а с другой — второй. Условный двор, проулок между двумя домами.

Это был страшный удар. У меня было ощущение Меншикова в ссылке. Так и шутили. До этого я никогда не жил в бетонных домах. Мне казалось, что я поселен на юру, и что через меня проходят электромагнитные колебания, что меня клинит, голова не работает, потому что какие-то жужжащие волны через меня идут.

До этого я жил в деревянном доме, еще раньше — в старом кирпичном.

Это один момент. Другой момент — ощущение глубочайшего одиночества, глубочайшей заброшенности.

Я впервые сталкивался с ситуацией, когда у меня дома не было телефона.

Женя, утешая меня, шутил:

— Это еще ничего, вот Алексей, божий человек, жил у себя дома под лестницей, никем не признанный в качестве хозяина, так что ты еще ничего устроился.

Я криво посмеивался, но ощущение, что что-то нарушено в моей жизни, меня не оставляло.

И жизнь пошла вкривь и вкось.

Наш брак с Леной стал стремительно распадаться, потому что через некоторое время выяснилось, что Лена любит Женю Головина.

Наверно, это я дал ей повод выйти наружу с открытым признанием.

У меня произошла встреча с женщиной, которая произвела на меня сильное впечатление. Когда я приехал в очередной раз на слушание Мамлеева к Олегу Трипольскому, я поднимался по полуосвещенной лестнице, и за мной шла пара — с какой-то дамой поднимался Генрих Сапгир. Ну я вошел, они вошли.

Как потом о ней высказался мой более позднего времени приятель Валера Блинов, видевший ее в Париже с Хвостенко¹⁴⁸: «высокий уголовный тип». В прошлом — жена начальника дальневосточных золотых приисков. Очень хорошо сложенная, с высокими скулами, впалыми щеками, чувственными губами, серыми глазами. Лицо

марухи, но марухи высокого типа — Мурки, которую воры знали и которой гордились. Реальная Мурка. Но я особого значения ей не придавал, просто про себя отметил, что эффектная женщина.

Честно говоря, не помню, что тогда читал Мамлеев. Когда мы садились за стол перед тем, как пить чай или начать слушать, она схватила кресло и сама его потащила. Кто-то мне сделал замечание, что даме надо помочь, на что я огрызнулся.

Мои манеры в этом смысле часто напоминали нынешнего Орхана.

Когда всё кончилось и мы собрались расходиться, она взяла у меня номер телефона, и они уехали с Сапгиром на такси. А потом она мне позвонила, и мы встретились. После этого начался бурный роман. Был поздний октябрь или уже ноябрь 1972 года.

Наш дом на Гагаринском, к слову, стоял брошенный, но еще стоял. Он, кстати, долго стоял — еще целый год, наверное.

И когда всё стало приобретать открытую форму, Лена объявила о том, что у нее есть теперь другая любовь, что она любит Женю Головина.

Очень быстро ситуация покатила под гору, Лена ушла жить в другое место, я тоже стал жить не дома. Был период, когда Большая Очаковская стояла пустая и закрытая. И мы туда съезжались, чтобы переговорить.

Стояла глубокая зима. Мы приехали с двух разных сторон, сошлись в этой пустой, ледяной, никому не нужной квартире, где мы больше не жили, сели за стол.

Вроде даже заварили чай. И стали объясняться.

О чем мы говорили, я не знаю.

В ту пору я носил здоровую каракулевую шапку-«пирожок» брежневского типа. У меня большой размер головы, 62-й, и шапка была массивного вида. Деталь важна, потому что эта шапка мне спасла жизнь.

Мы вышли поздно, решили ехать вместе на такси из Очакова. Встали посреди абсолютно белой замерзшей, покрытой сугробами,

продуваемой ледяным ветром Большой Очаковской улицы, in the middle of nowhere. Налево посмотришь, направо посмотришь — фонари, сугробы. Нам надо было в ту сторону, где стоял гигантский бетонный завод и завод очаковских вин, который квас производит. Дыра еще та. Вдали показалась приближающаяся точка. Это была «Волга-21», уже без «оленья», последний выпуск. Старая «Волга» с тяжелым прочным корпусом. И что важно и что было плюсом к моей каракулевой шапке-«пирожок»: у этой «Волги» было сидение американского типа — не два отдельных, а сплошной диван с поролоном, обтянутый искусственной кожей.

Мы с Леной сели молча на заднее сидение, отодвинувшись друг от друга.

Когда я махнул такси, я заметил, что машина неслась на большой скорости, а затормозив, юзом прошла еще метров двадцать по ледяному заскорузлomu насту на проезжей части.

Мы сели, поехали, водитель сразу набрал большую скорость, и мы понеслись. В конце улицы я увидел, что сбоку, справа, припаркован прицеп грузовика. И у него в лучах наших фар мерцали красные подфарники. Наш водитель, хотя места было сколько угодно, никаких машин, не брал влево, он прямо вдоль обочины шел на этот прицеп. Последняя мысль: «Идиот, он что не видит, что перед нами прицеп?»

Лена обладала не рефлектирующей способностью быстро собираться и реагировать на ситуацию. Она мгновенно соскользнула с сидения и залегла на дне этой «Волги». Поэтому она не пострадала, только кожу порвала на ноге о стойку водительского сидения, потому что ее слегка протащило по полу. А я сидел на правой стороне сидения — и страшный удар... «Волга» шла на 70 километрах, и она впилилась в заднюю часть прицепа так, что выбила у этого прицепа задний мост, а сама «Волга» стала короче на полметра.

Меня ударило о мягкое сидение через бортник брежневского «пирожка», всё лицо разбито. Момент провала, потом я включился, и меня поразило, что вместо водителя я увидел пиджак, накинутый на руль. Я подумал: «Ну и ну, парня вообще нет, вместо него пиджак остался».

Я выбил локтем дверцу, вывалился наружу на сугроб и заливал всё вокруг кровью. Откуда-то вдруг сразу взялись люди, появилась «Скорая помощь», меня погрузили и привезли в 28-ю больницу.

Три дня я находился в горячечном бреду. Тяжелое сотрясение, лопнула лобная кость, мне наложили 20 швов, след от которых можно было разглядеть еще много лет после этого. Мне объяснили, что лобная кость уже не зарастет, потому что черепные кости не зарастают, а только заполняются хрящом, а трещина всё равно остается.

Пока я был в бреду, лежал в отдельной палате, а потом, когда я уже стал адекватен, меня перевели в коридор, где я лежал под окошком. Весь коридор был заставлен кроватями с больными.

И ко мне началось паломничество.

Ко мне приходила Римма, ко мне приходила Лена, которой было хоть бы хны, ко мне приходила Ирина Николаевна, жена Головина, тоже пребывавшая в тяжелом «дауне», потому что Женя ушел из дому, и они вместе с Леной бродили по Москве вдвоем. Она перенесла на меня свои заботы и старалась регулировать поток, чтобы все они не пересекались. Они приносили фрукты, какие-то подношения. Один раз Римма доставила консервы черепахового бульона с черепаховыми тефтелями из голландского посольства. А нянечки терли полы в дикой злобе и ненависти, бормоча мне проклятия, потому что у моей постели грации сменяли друг друга, и гора даров у меня на подоконнике неуклонно росла.

Там произошел замечательный эпизод, который я после своей выписки рассказал Мамлееву, и он написал рассказ на эту тему.

А было так.

Привезли человека: подвыпивший муж пришел домой, и оказалось, что жена его не пускает. Не то чтобы не пускает — вот кто-то есть в квартире, и замок заблокирован. Мужик не может попасть к себе домой. Он понимает, что жена, видимо, с любовником.

Он стучался, стучался и решил ворваться через окно. Видимо, человек был отчаянный и нестандартного мироощущения — не всякий бы на такое решился. Кто-то бы позвал милицию, кто-то начал бы выбивать дверь, а он вышел и полез по водосточной трубе. Видимо,

рассчитывал перепрыгнуть с водосточной трубы на подоконник окна своей квартиры на пятом этаже, и, разбив стекло, влететь в квартиру, как собровец. Он долез, стал тянуться к окну, и тут водосточная труба вышла из зацепления со стеной. Мужик описал дугу и рухнул на мостовую.

Но и после падения он не потерял сознания и продолжал молоть непрерывно всякую ерунду. Когда его доставили в больницу, он без умолку рассказывал истории, анекдоты, веселился, хохотал, его несло, несло и несло, уже в бредовом состоянии. Я подошел к его каталке посередине коридора, он рассказывал эти анекдоты, и вдруг внезапно он раскрыл рот и умер на середине анекдота. Я и еще какие-то слушатели, мы стояли около него, ждали продолжения, а продолжения не было. Тут же подошла нянечка из тех, что меня ненавидели за граций, деловито накинута простыню ему на лицо и укатила его.

Мамлеев, потрясенный эпизодом, включил его и прочел нам незадолго до своего отъезда. Мамлеев впечатлялся такими историями.

Мы еще жили на Гагаринском, он пришел к себе в школу, где преподавал математику, начал проверять присутствующих по журналу. Спрашивает у аудитории, где такой-то.

Ему отвечают:

— Умер.

— Как умер?

— Умер.

— Когда?

— Да вот только сейчас, 15 минут назад. Вот только увезли.

— Да как же он умер?

— Из окна вылетел.

— Ну как это случилось? Что значит вылетел из окна?!

— Да спор тут у нас был, он на две бутылки водки поспорил, что выпрыгнет с 10 этажа, и ничего ему не будет. Надел две дубленки

и выпрыгнул. Думал, что двух дубленок хватит. Ну помнется, будут синяки, но зато выиграет две бутылки водки. Вылетел, разбился, вот только увезли.

Мамлеев пришел совершенно серый и говорит:

— Ну как же так, ведь класс-то десятый! Я же им физику и математику преподаю. Они же ускорение знают, как же так?

Этот случай на него сильное впечатление произвел.

Ну и тут — человек полез на пятый этаж и свалился оттуда. Повторяемость зловещая.

Через некоторое время мне надоело лежать в больнице, и день на двадцатый или двадцать пятый говорю:

— Давайте, я уже пойду, я нормально себя чувствую.

— Вы еще не восстановились.

— Нет, восстановился. Давайте, я вам просто дам расписку.

Дал я им расписку и пошел жить к Римме. Мама поддерживала меня костями от Амона, ее подопечного льва. Она варила мне крепчайший бульон из этих костей, и я восстанавливался с этим бульоном.

Это был самый тяжелый и самый неприятный год — зима 1972–1973 года.

Моя жизнь, вроде как сформировавшаяся после 1967–1968 года, когда я обрел новых друзей, восстановил отношения с Леной, завел собственный дом, когда вокруг меня были единомышленники, узкий круг людей, которые меня понимали — всё было разрушено.

В 1974 году уехал Мамлеев...

Один эпизод года 1976. Один из немногих тихих моментов на Большой Очаковской. Мы на кухне вместе с моей женой Леной и будущим отцом Константином, который тогда был просто Костюня Кнопф. Она лежала на своей постели — кухня была очень большой, это была полукухня, полуспальня.

Я же спал в своем большом кабинете.

И еще у нас была маленькая гостиная. На кухне располагалась ее постель, восьмигранный антикварный столик, который служил нам чайным столиком, ну и, естественно, плита, мойка и всё прочее. Еще стояли кресла. И вот мы сидели за этим чайным столиком с Костюней. Лена полулежала на своей постели как мадам Рекамье, опираясь на подушки. И мы вели очень уютный тихий разговор.

Костюня обладал потрясающими имитаторскими способностями. Он мог гениально изображать Брежнева. Когда он начинал его пародировать, все просто умирали, не хохотать было невозможно. Но и тексты же были соответствующие. У Кости была пластиночка с речами Брежнева, и там хоть стой, хоть падай.

Сейчас мне могут не поверить, но я помню один из замечательных моментов, когда Леонид Ильич говорит, обращаясь к молодежи, что «молодежь комсомольская собирается за рюмкой водки и веселится веселым весельем». Костюня это воспроизводил с блеском.

Мы вот так говорили, плавно переходили к проклятиям в адрес безвременья, в котором мы живем, в адрес политической и духовной духоты.

И вдруг Лена сказала:

— Пройдет время, и вы еще попомните Лёлика. Вы еще будете тосковать и плакать по тому времени, когда Лёлик был жив.

«Лёликом» она звала Брежнева.

Мы тогда посмеялись такому экстремистскому заявлению. Но по прошествии времени я нет-нет, да и вспоминаю это Ленино замечание, и, надо признать, что-то в этом было.

Такой дачной вальяжной благодати (при том, что мой круг не был вписан в систему, а находился в своем собственном мире), такой свободы, такой бессмысленности и неопасности террора, который представляло собой государство, эфемерности конфронтации с ним больше не было никогда.

Советский Союз к тому моменту уже так выродился, что стал беззубым, дачным. Когда пришел Андропов¹⁴⁹ и стал ловить людей

по баням и кинотеатрам, это казалось нашествием инопланетян — настолько брежневская эпоха расслабила людей.

Сахарный. Кнопф. Серафа

Мой старый товарищ Владимир Рынкевич в наших кругах имел погоняло «Сахарный». Кто его знает, у того не возникает вопросов, откуда эта кличка появилась, почему она так хорошо к нему пристала и, самое главное, почему сам обладатель этой клички так ее любит.

Это один из самых сахарнейших людей, которые мне когда-либо попадались в жизни. Встреча моя с Володей произошла через Степанова, через него в моем пространстве появились очень многие люди. 90 % моих знакомств в определенный период жизни произошли через него.

В 1976 году Степанов явился и сказал: «Едем, я тебя познакомлю с моим учеником». У него все были ученики. Думаю, что когда он кого-то приводил ко мне, то за глаза представлял меня тоже как своего ученика.

Бедный Володя...

От метро мы ехали на троллейбусе номер 16. 16-й троллейбус, стало быть, ходил по набережной возле Кремля, мимо кинотеатра «Иллюзион», поворачивал на Нижнюю Радищевскую, до несуществующего теперь кинотеатра «Рубин».

Кооперативный дом, квартира крупной советской интеллигенции, имеющей независимые от государства источники дохода. Атмосфера внутреннего межпоколенческого конфликта и несущая в своих недрах зерно бунта, несмирения, восстания.

Всё было устроено очень иррационально. При входе справа кладовка с какими-то химическими веществами, задерживающаяся деревянными звенящими бусами. В комнате слева от входа инкрустированный столик с шахматной доской.

Мы собрались. Хозяин дома Володя, Кнопф, Серафа, Степанов и я.

Отец Серафим, Серафа — Сергей Сёмкин. Его отец был полковником милиции.

Отец Константин, а.к.а.¹⁵⁰ Кнопф, и отец Серафим были неразлучны.

Я как-то сказал отцу Константину, что если бы у фюрера были такие пуговицы на штанах, то он ни разу не смог бы закончить свою речь, потому что штаны бы всё время падали.

Костя гордился своим прозвищем. У него были блестящие карие глаза, очень похожие на пуговицы.

Серафа носил рясу и смазные сапоги, он был тайным монахом, пострижен старцем из Балабаново.

Мистериальность играла центральную роль в общей ситуации, и в какой-то момент возникла идея отпеть Степанова по литургическому чину, плача и рыдая.

Степанов сам и предложил, запрыгнул бодро на стол, лег очень довольный на спину. В ручки ему вставили горящую свечечку. Всё произошло быстро.

Отец Серафа достал из голенища пачку наклейек, которые покойнику на лоб кладутся. И пошел чин, «плачу и рыдаю»...

Степанов лежал и улыбался, как кот, получивший кусок курдюка.

У меня было ощущение кошунства, которое делало саму ситуацию более острой, более интересной, чем она была бы, если бы этого ощущения не было.

Это было сакральное кошунство.

Что у православных кошунство, то у мусульман — не кошунство.

Сура «Ясин» читается по покойнику, но если человек еще не умер, а над ним читается Коран, то это никоим образом не кошунство, это очень хорошо.

Вообще, идея Ислама и идея Христианства, Иудаизма и всего остального прямо противоположны. Евреи стараются не произносить имя Бога, вычеркивают букву, запрещают произносить всуе. А в Коране говорится: «Поминайте Аллаха многократно».

Кто же мог подумать, что наш Володя четыре или пять лет назад реально возьмет и умрет? Он казался наиболее непотопляемым.

По-настоящему его отпевали в храме на улице Багрицкого. На той самой улице, где нет даже дома-музея этого замечательного поэта. Не заслужил. Там был его домик, плохонькая дача... Степанов и Женя любили раннего Багрицкого.

После этого возникли довольно прочные отношения между мною и Володей Сахарным.

В течение трех недель мы так жили. К нам приходили какие-то люди, кто-то уходил, кто-то оставался, кто-то растворялся.

Свой чин и титул Володя получил именно в эти дни, когда происходила такая многодневная мистерия.

В какой-то момент, когда он рассказывал не очень веселые вещи из его юной жизни, как он подвергся воздействию шокового инсулина в психушке, он упомянул, что, когда человек выходит из шока, ему дают стакан сиропа. И тут Сёмкин, отец Серафим, вдруг подпрыгнул на стуле и сказал: «Да ты же сахарный! Сахарный!» И все подхватили, что Володя — «сахарный», и стало ясно, что это навсегда.

Надо сказать, что у всех в этом пространстве были клички.

Например, великий столп академической науки в постсоветском мире Дугин А. Г. был Пухлым. Моя кличка была Карабас-Барабас. Женя — Адмирал. наших друзей Костю Кнопфа и Сережу-Серафима называли, но только злые языки и только за глаза, «еврейка Сережа» и «проститутка Костюня».

Сережа — типичный мордвин, отношения к национальности прозвища не имели. Сережа был очень психически подвижным и хитрым, прожженным человеком.

Если он попадал в мусорскую, он тут же начинал строчить на лоскутке бумаги кляузы в министерство и сразу ставил на уши всё отделение милиции. Он же был натаскан папашей-ментом.

А Костя был человеком особым.

Костю ко мне тоже привел Степанов. Костя втерся ко мне под покровом, под эгидой своего визита в Дагестан. Он проехался по Дагестану и явился оттуда, шатаясь от культурного шока. Он рассказывал, что видел пропасть, через которую перескочил имам Шамиль. О чудесах наибов, о камнях и могилах, разных тарикатских примочках. И глаза у него горели как звезды.

Он хипповал. У него была подруга, дочь генерал-лейтенанта ВВС Пшеняника, потом ставшая его женой-попадьей. Костю Степанов называл работником церковной индустрии, хотя он был всего-навсего чтецом. Костя Скропотов любил изображать из себя члена Союза русского народа¹⁵¹. Смазные сапоги, ряса, борода.

Он мне как-то рассказывал, что когда под Москвой сошлись Вермахт и Красная армия, то над Вермахтом плавали бодхисаттвы, а над Красной армией Богородица простерла свой покров. И всё это выглядело густым, густопсовым китчем, густой «калиной-малиной».

Внешне Костюня был очень ярок. У него были корни с Западной Украины. Борода лопатой, темные волосы, карие глаза. И он походил на униатского кардинала Слипого¹⁵².

С Кнопфом Женя как-то разыграл ситуацию в своем стиле.

Был такой Токарев Лев Николаевич, главный редактор международного отдела Литгазеты. Он был внуком владельца магазина «Рыба» на Тверской. Женя к ним постоянно приходил в гости и издевался над Валею, женой этого Токарева. Издевался, тонко троллил. И в конце концов в истерике Валя взяла гигантскую кастрюлю с кипящей водой и вылила на Женю. При этом вся вода оказалась на ней. На Женю не попало ни одной брызги. И она завывала страшным воплем, завывала как сирена. И что же наш дорогой Кнопф? У него от нервного потрясения отнялись ноги. Женя очень весело посмотрел на Валью и сказал:

— Ну ты даешь.

Встал и говорит:

— Ну, извини, я не хотел.

— Ты идешь? — спросил он Костю. А Костю начало мелко-мелко трясти, и ноги у него совсем отказали. Женя пожал плечами и вышел. А Костя заплакал, и всю оставшуюся ночь несчастная Валя, облитая собственным кипятком, его утешала.

После смерти Жени он выходил на меня, но потом резко оборвал контакт.

Служит в храме в Подмоскowie.

В 90-е годы он мне дал кассету, где он выступает с проповедью. Я эту кассету послушал, позвонил Косте и говорю:

— Костя, это потрясающе. По-моему, в тебе пропадает талант не то Задорнова, не то Галкина, потому что ты говоришь абсолютно языком Алексия.

Он говорил на той записи таким церковным характерным языком:

— И мы, народ православный...

Вот именно таким, со специальной интонацией. Кирилл-то говорит обычно, не переигрывая. А этот специально растягивал слова.

Я его спросил, как он так ловко насобачился на таком языке изъясняться. Он говорит:

— Это у нас приказ, специальное распоряжение. Надо говорить именно так, мы специально даже язык отрабатываем на курсах риторики.

Я думаю, что я сильно его измученную нервическую душу ранил, потому что я очень жестко с ним обходился в плане испытания его на прочность.

Вадик Попов

Чтобы картина была полной, нужно вбросить образ, который кто-то, наверное, считает периферийным, но я думаю, что он важен. Без него нужные акценты были бы не расставлены.

Это Вадик Попов, он же Вячеслав. Он предпочитал, чтобы его называли Вадимом. Вадим, Вячеслав, Вадик по кличке Кобольд¹⁵³ — кличку дал я.

Это был потрясающий человек.

Нас с ним связывала одна из моих частных школьных преподавательниц английского языка Людмила Георгиевна, а на самом деле Людмила Гамаяковна, его супруга. Замечательной красоты полуармянка-полуукраинка. Улучшенный вариант юной Кардашьян.

Я был в нее, конечно, влюблен. Приходила она к нам через день. А работала она в советско-канадском банке переводчицей. Язык знала бесподобно. Когда я поступил в ИВЯ, я внезапно ее там встречаю уже преподавательницей — она перешла в университет из банка. Но, к сожалению, она вела не в моей группе.

Году в 1967, когда я пришел из армии уже с поражением в правах — ни в какой институт не поступить, я в основном проводил время в библиотеке иностранной литературы, которая к тому времени была уже там, где и сейчас, — на Яузской.

Я приходил, заказывал книги, читал что-то, на меня нахлынывали мысли, и я убегал в курилку от невозможности сидеть на месте. Эти мысли надо было выносить подальше от всего.

Вдруг я захожу в курилку и вижу там свою Людмилу Георгиевну. Мы страшно обрадовались друг другу.

Я ее спрашиваю:

— И как ваша жизнь?

— Я вся в муже. Целиком и полностью погружена в мужа. Вся внутри. Живу его интересами.

— А что у него за интересы?

— Культурные интересы. Он, вообще-то, лингвист. Он кончил питерский институт иностранных языков.

Людмила Георгиевна пригласила меня к себе в гости, они с мужем жили у метро Пролетарская. Мы там сидели — вечер, торшер, в какой-то момент в двери поворачивается ключ, входит он, муж, очень прямо держащийся, в плаще с жестко поднятым воротником и шляпе-борсалино, один к одному Трентиньян в фильме «Конформист»¹⁵⁴, но в жестком издании. Он пронзительно смотрит на меня, разжимает пальцы, и его огромный портфель со стуком падает на пол. Я поднялся, она нас представила друг другу.

И через некоторое время мы уже болтали душа в душу, всё было дико по кайфу, и я уже забыл про Людмилу Георгиевну, потому что парень оказался действительно интересным. Я сначала с долей сарказма отнесся к ее словам, что она живет культурной жизнью своего мужа, но потом понял, что она, возможно, уже дотянула до того уровня, когда можно начинать жить культурной жизнью.

Муж — Вадим Попов. Из Питера, маленький человек с черными глазами, невероятно энергетичный, заводной, пьяница, бабник, танцевавший фламенко, говоривший без акцента на пяти романских языках и на американском английском. Дико напряженный и ориентированный на схватывание того, что перешагивает тусклую мерзкую совдеповскую жизнь. Он просто впился в меня.

В Людмиле Георгиевне наш Вадик Попов души не чаял и очень гордился, что у него жена такая красавица. Он был помешан на сексе и на комплексах гендерных отношений, обожал Миллера, читал его в оригинале.

Всё переплелось. Людмила Георгиевна, преподававшая мне в восьмом классе английский, становится женой Вадима. Вадим знакомится с Козловским, который меня изгоняет из университета. Потом он знакомится с Женей Головиным, и Женя делается частым гостем в их маленькой квартирке на Пролетарской.

В 1968 Вадик пришел к нам с Леной на Гагаринский и сказал, что расстался с Людмилой Георгиевной, что она от него ушла. Как армянка

в хорошем смысле слова, была заточена на комфорт, извиняюсь, тела.

Я его спрашиваю:

— А в чём причина этого?

Есть такие абхазские писатели, которые пишут про Древнюю Грецию, про Рим, про Афины, там главные герои говорят:

— Почему вино горчит, о Кратий?

— Потому что такова природа вина, о Флубий.

Так и я его спросил, почему она от него ушла?

И он мне ответил:

— Она сказала, что не хочет тереться жопами всю свою жизнь в однокомнатной квартирке. И она права, — сказал он. — Она права. Такая женщина... Такая женщина имеет право!

Ушла к более серьезному человеку, у которого было метров пятьдесят, а может быть и все сто. С тех пор я ее не видел, но поддерживал Вадима, впавшего в полный «даун».

Вадим лег в сдвинутые кресла и заплакал.

Наши отношения с ним вышли на новое измерение. Он приезжал к нам с Ленкой на Гагаринский, оставался у нас ночевать. Мы с ним сидели, беседовали, Лена его тоже поддерживала. Мы сблизились и сдружились с тех замечательных пор. Редкий человек, беспокойное сердце.

Вадик открылся немного передо мной. Открылся в том смысле, что он был потрясающим испанистом, португалистом, глубочайшим образом понимал испанскую, португальскую, итальянскую, американскую, французскую поэзию.

У него был приятель Вячек — относительно молодой парень, красномордый, в красной рубахе. Он работал диктором с французским языком на французском радио. Его постоянно сажали за избиение жены, а он выходил, и его снова брали на работу, потому что он был великий гениальный галлицист.

Вадик был последним представителем бузящей исступленной питерской интеллигенции особого покроя. Есть такой феномен — интеллигентная питерская гопота.

В 1976-м году та культурная жизнь, которой Вадим жил, приобрела чудовищные формы. Его квартира, с одной стороны, была достаточно роскошной и украшенной разными историческими штуками, а с другой — ужасно грязной.

Он носил с собой в портфеле цепочку от унитаза, потому что он любил драться со шпаной, с пьяницами. Он также ходил в шляпе, в безупречном костюме, он тогда преподавал в школе ЦК, но с этой цепочкой с гирькой, которую он раскручивал над головой. Всё время у него были разбиты костяшки пальцев.

Сахарный ходил к нему на уроки по португальскому языку: читают они какое-нибудь стихотворение, и он вдруг как даст в стену кулаком, и стена гудит.

Всё время вокруг Вадика крутились какие-то бабы, очень странные порой. Одно время он жил с двумя. Одна — крупная толстуха в два раза его выше, с совиной физиономией, в очках с линзами. Вторая — разбитная русская деваха лет 17–18, тоже выше него.

Они совместно варили борщ на кухне, он его ел хмуро, делая замечания типа:

— Опять без соли! Овощ должен быть проварен с солью!

И опять уходил в поэзию, в пьянство. Там собирались люди. Инженер тяги, например¹⁵⁵.

Вадик блестяще переводил кино. Хорошее кино тогда было большой редкостью. И он приглашал нас в какие-то институты на закрытые просмотры в малюсенькие зальчики мест на тридцать. Вадик переводил фильмы с французского или с итальянского, а фильмов этих не было нигде: в прокат они не выходили.

Он был гением синхронного перевода. Мог, не знакомясь с фильмом, сразу переводить. Если в фильме был мат, он переводил

с матом. Тогда сидящие в зале партийные сволочи добродушно кряхтели.

Мы смотрели какой-то итальянский фильм, и там муж жене выбирал позу для любви.

Вадик этот момент перевел так:

— Да ладно уже, давай по-простому, по-нашему, по рабоче-крестьянски. Зал взорвался аплодисментами, маленький зальчик посвященных.

Вадик любил меня за какие-то недостижимые горизонты смысла, которые он потенциально где-то предчувствовал в моём присутствии.

Он мне как-то сказал:

— О, если бы я переводил тебя, а не всю эту сволочь, которую мне приходится переводить.

Вадик создал совершенно особое рабочее оперативное настроение, связанное со спецификой истероидного маскулизма. Особо выделялся в этом плане Гарсия Лорка. Вадик его читал по-испански, расшифровывал тонкие смыслы, тонкие подраствмевания. Они у него звучали потрясающе. Тема смерти, тема безумия, тема экстаза, тема фламенко, суицида на грани терзания себя плетью и ножом.

А потом я узнал, что он происходил из хлыстов. Его дед или прадед возглавлял один из хлыстовских кораблей в Питере.

Про себя говорил так:

— Вадик, сын Петички.

Вадик никогда ничего не писал. Он жил только устно, в языке.

На каком-то кинофестивале он трепался с бразильскими киноведами в «Национале»¹⁵⁶. Они проговорили часа полтора, прежде чем догадались его спросить:

— Слушай, а ты откуда? Мы никак не пойдем. Всё пытаемся схватить, что за штат, но никак не можем уловить.

Он говорит:

— Да я отсюда, я москвич.

— В каком смысле ты москвич?

— Русский я, русский, советский.

Сказал:

— Заветский я.

От слова «Завет».

Они долго не хотели ему верить, а потом написали большую статью о нем в большой бразильской газете, что КГБ готовит таких мастеров, таких мэтров языка, что мы все отдыхаем, мы никто, звать никак, нас уже сделали.

Он знал бразильскую историю и литературу лучше, чем они.

Кто ценил Жоржи Амаду? В лучшем случае о нем слышали, как о коммунисте. А Жоржи Амаду не просто коммунист — он спиритуалист, оккультист, масон. Подноготную Жоржи Амаду объяснял мне Вадик. Сам бы я его читать не стал — подумал бы, что это какой-то «выползень» из третьего мира. Вадик делал интересным всё. Если бы не Вадик, то мне этого Амаду было бы абсурдно в руки брать.

Вот он разбирал португальское стихотворение «Последний номер». Поэт, загнанный жизнью в номер в гостинице, и это его последняя стоянка в жизни перед тем, как он покончит с собой. Исчерпана вся дорога, сколько веревочке не виться, конец будет всё равно. Последний номер... Он перебирает взглядом предметы в этом номере, очки, ручку, бумагу, кляксы на полу, всполохи феноменологического мира перед тем как навсегда уйти отсюда.

У Вадика был знакомый Юра Кононенко. Между ними установились очень сложные отношения. Этот Юра Кононенко тоже был переводчиком, но по пути гопничества он зашел гораздо дальше. По тем временам это был настоящий бандеровец. Такой жидо-бандеровец, уголовник с большими связями в воровском мире...

Зима 1973, когда я появлялся на Сретенке у Риммы. Звонок в дверь во втором часу ночи. Я открываю, на пороге стоит Вадик

в белой рубашке, залитой кровью как в фартуке, в туфлях для фламенко, с «борсалино», спущенной на нос. И, пошатываясь, он говорит:

— Я только что был почти убит. Я выжил благодаря этим ботинкам!

И он выбил чечетку.

— Я выжил благодаря этим ботинкам, потому что у нас было столкновение на пределе сущности с Кононенко. Кононенко достал финку и начал наносить мне смертельные удары, но я выбил такое фламенко, что у него финка вылетела из рук. И после этого я ушел, оставляя за собой кровавый след.

Мы его ввели, дали ему напиться, сполоснули, вытерли ему грудь обрывками его белой рубашки. А дело было в какой-то девке, но Вадик очень гламурно повышал социальный статус любых приключений.

Он говорил:

— Но это же бандеровец, связанный с криминалом западной Украины.

Серьезный и опасный человек. Это была рубка не на жизнь, а на смерть. Кононенко — человек, который прошел серьезное антисоветское подполье, и на нем сходится всё. Тут и страсть, и уголовщина.

Всё Вадим превращал в культурный артефакт.

Но потом его зависть к Жене разрушила наши отношения.

Женя был бард, пел, великолепно играл на гитаре. А у Вадима мало-помалу стал созревать комплекс творческой малоценности. Знает он языки, ну и что? А что он с ними может делать? Может каких-то португальских поэтов читать, комментировать, в определенном антураже, очень богемно, с алкоголем, при свечах, с драйвом. Ну и что? Это же чужие поэты, чужая ситуация.

И он стал делать следующую вещь. У него был приятель, гитарист Коля Осипов, ученик Крамского¹⁵⁷, но круче своего учителя, — гитаристов такого уровня я никогда не встречал. Виртуоз, делавший

с гитарой что хотел. Очень женственный, не заточенный ни на что человек, обыватель, типичный человек из оркестра, сопровождающий звезду вроде Вари Паниной или Ляли Черной — яркая звезда, и при ней виртуоз, который никто, звать никак, просто ориентированный на то, чтобы получать в конце гонорар. Но чем-то он был обязан Вадиму. И Вадим заставил его участвовать в своем проекте. Он брал стихи русских поэтов, придумывал мелодический ход, и Осипов должен был импровизировать музыку, а Вадим пел эти стихи под аккомпанемент Осипова. Как правило, в основе был довольно банальный музыкальный ход, чаще всего у кого-то украденный.

Они с Колей записывали такое выступление, а когда к нему приходили гости, он включал эту запись и требовал слушать и высказывать свое одобрение. Не сам сочинял, не сам играл, и даже Колю не приводил, чтобы тот играл. Он консервировал вторичный продукт, делал его третичным, и потом предлагал его потреблять. Но всем было очевидно, что человек просто сходит с ума от неполноценности. Он начинает петь:

Голубая речка на холодном дне

Теплое местечко обещает мне¹⁵⁸.

А бедный Коля вынужден наяривать... Или:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер¹⁵⁹...

А ты даже не смеешь и возразить, что тебе это не по кайфу, а уж, не дай Бог, прокомментировать. Надо было не просто похвалить, а с вывертом. «Ты знаешь, здесь, конечно, ты эти нюансы очень точно отметил, но вот тут немного недотянул, более жестко надо было...»

Мы начали ссориться. У него стал обостряться негатив к Жене.

В 1985 году мы порвали отношения при неприятных обстоятельствах.

У меня есть ощущение, что он жив, куда-то уехал, за границу, в Латинскую Америку. Если он бросил пить, то его энергетический потенциал мог бы взорваться удивительной радугой. Он легко мог бы стать тайным посредником между США, Бразилией и Аргентиной, все три языка его.

Последние лет 25–30 я пытаюсь выйти на его след. Когда кто-то попадает из общих знакомых, спрашиваю, видел ли он Вадика или слышал ли что-то о нём. Но никто его не видел и ничего не слышал.

Катер. Достоевский-Крюков. Оля-нимфетка

Генеральский сын Алик Медведев по прозвищу Катер обитал в стрёмной однокомнатной квартире, выглядевшей, как чистый бомжатник. На стене висели джинсы, набитые соломой и подколотые снизу, как у безногого инвалида.

Там имелось множество любительских фотографий голых девок, которых он снимал вместе с Сережей Чудаковым, известным сутенером, поставлявшим писателям жен и временных спутниц жизни. В итоге Сережу Чудакова убили...

«Катер» — по-немецки «кот». Он был похож на кота — округлый, хищный, подловатый, бесстрашный. Целый букет противоречивых качеств. Санчо Панса, но на брутально огненной стороне. Огненный Санчо Панса, который обжигал. Хороший, развитый интеллект, прекрасное знание французского и английского, интересы к эзотерике и философии. Хулиган и пьяница.

Катера в наш круг привел поэт Володя Достоевский. «Достоевский» — это кличка. Настоящая фамилия его Крюков.

«Нищий брат среди звезд ищет губы Адама...»

Позже он стал ведущим переводчиком австрийской и австро-германской поэзии, переводил Роберта Музиля, Майринка. Сейчас сотрудничает с издательством «Энигма», книги в черной серии — все его. В прошлом хиппи, кликуху «Достоевский» он получил из-за того, что всех доставал. С Катером они друзья детства.

Катер интересовался мной и, разумеется, Женей. Женя всегда приманивал таких людей — гораздо больше, чем я.

У нас складывались какие-то сложные отношения с Аликом Медведевым. В общем, гуляли мы гуляли... Стояла середина 70-х.

Я лег спать в доме у Катера. Открываю глаза, и у меня рот открывается тоже, и остается в открытом положении. Потому что надо мной стоит девка невероятной красоты, воплощение цветущей молодости, наивности, чистой нимфеточности.

Катер заплясал вокруг нас. А я ее сразу ухватил и спрашиваю:

— Ты откуда взялась?

Она с совершенно потусторонней улыбочкой мне отвечает:

— А я девочка Рая.

Это шутка такая.

Странствующий хиппарь заходит в избу, и там такая страшная бабка с одним зубом сидит.

И она его спрашивает:

— Ну что, милый, есть-то будешь?

— Конечно буду, чего ж не буду, бабка.

Она ему наварила борща, он поел. И тогда она его спрашивает:

— Ну, а спать-то ты где будешь? Тут со мной или в сарай пойдешь?

Он посмотрел на нее и говорит:

— В сарай пойду.

Утром его будит скрип двери, он открывает глаза и видит потрясающую красавицу в лучах утреннего солнца.

И он ее спрашивает:

— Ты кто?

— Я девочка Рая, а ты кто?

— А я мудака из сарая.

И вот прекрасная Оля сидит напротив. Катер быстро забежал вокруг нас и говорит:

— Знаешь, эта девушка пришла ко мне, и я тебя прошу оставить нас вдвоем.

Дело было ранним утром.

Я ему отвечаю:

— Да, конечно.

Девушка оказалась невесткой советского писателя Дмитрия Нагишкина, автора «Сердца Бонивура». Официальной женой его сына Димы, который работал в Елоховском соборе чтецом и занимался сбором кедровых орехов в Сибири. Замужем за другим сыном этого писателя Нагишкина была Хигушка.

Я ушел от Катера, прихожу домой и говорю Лене:

— Лена, я видел сегодня у Катера настоящую реальную нимфетку. И я хочу, чтобы ты мне ее привела.

Сказал и сказал. Прошло время. Прихожу в Очаково, Лена встречает меня с особой улыбочкой, проводит на кухню, а там сидит эта красотка.

И я говорю:

— Ну, Лена, действительно царский подарок.

Вскоре в Очаково появляется Дима Нагишкин. Огромный мужик, очень красивый, с прямым носом, с сияющими безумно голубыми глазами, с золотой бородой. Он входит, берет ее за руку, глядя на нее восторженным взглядом, низко нам кланяется и говорит:

— Спасибо, что вы сохранили мою жену.

Имелось в виду — взяли, пригрели, не съели ее заживо... Про Очаково же ходили ужасные слухи, что там чуть ли не едят младенцев с горчицей, что там сатанинские оргии, какие-то странные вещи. Все боялись этой квартиры, особенно местные.

Дима пропал с горизонта, она вступила в круг посвященных и просто поселилась в Очаково. Лена обращалась с ней как с милым заблудшим ребенком, очень нежно, мягко.

Пребывание на Большой Очаковской было довольно мрачным и хаотичным. Я очень мало сделал в интеллектуальном плане. В 1976 году возникла возможность оттуда убраться.

Мы решили с Леной развестись и разменять эту квартиру.

С помощью левых, не вполне административно легальных ходов мы это сделали, и я оказался в комнате на третьем этаже на Народной улице, в коммуналке. А она — в маленькой квартирке рядом

с кинотеатром «Ленинград» или что-то такое, и еще несколько раз переезжала.

Я же оказался на Народной, и это было начало совершенно новой эпохи, потому что в итоге финального кризиса — через Питер, через травму Питера, через окончательный кризис отношений с Головиным — он вывел меня в Среднюю Азию, и там началась уже совершенно другая эпоха, эпоха без Южинского.

Пять жизней Мансуровского

Во имя Господа Милостивого и Милосердного.

Мансуровский был очень специальным пространством, я считал его своей родовой вотчиной. Там умерли бабушка, Теймураз, дядя и его жена.

Я бы его разделил на пять периодов.

Первый связан с моим дедом — это дошкольное детство, проходившее в присутствии постоянных домработниц, которых, как правило, всегда было две.

Прабабушка умерла в Пятигорске в 108 лет. Она пережила свою дочь.

Бабушка умерла на Мансуровском в 1974, когда мне было 27 лет, ей формально было 72, а неформально, наверное, 74. Она себе убавила возраст, чтобы не быть старше деда. Может быть, она была даже 1898 года, а писала везде, что 1902. Если она была 1898 года, то всё сходится: в 1918 году ей было 20 лет, и она к этому времени закончила гимназию и учительские курсы.

Дальше она преподавала.

Через весь Мансуровский с самого раннего моего возраста проходили большие гостевания. У деда, потом у мамы с Теймуразом постоянно собирался огромный стол гостей. Готовилось что-то невероятное. Французские торты... Особенно в этом бабушка была великая мастерица, потому что в свое время она научилась всему от матери, а мать специально брала уроки готовки у французского повара из серьезного дома. Она его заставила научить себя секретам французской кухни и передала кое-что дочери, моей бабушке Марии Андреевне. Эти торты были чем-то необыкновенным при том, что они готовились из подручных материалов. Несколько слоев нежнейшего печенья, которое размачивалось, прокладывалось кремом, еще чем-то, каким-то маслом. Всё трансформировалось до неузнаваемости, посыпалось грецкими орехами, слой за слоем. А потом выставлялось на рояль и так доходило сутки.

В те времена же не было холодильников, продукты зимой вывешивались через форточку за окно. В моем детстве холодильник был абсолютно неизвестной вещью. Потом появились пузатые холодильники ЗИЛ, по форме напоминающие мыльницы, закругленные и очень небольшие. Всё это долго существовало, их потом находили на помойках в конце 70-х, даже в 80-е годы переплыли некоторые холодильники, иным было уже лет по 30.

Так же и гигантские телевизоры с экраном 7 на 7 см, которые нужно было смотреть через линзу. Потом их тоже выносили на помойки. Я дал кличку этим телевизорам «жена командира» — Лена хохотала.

Вывешивалось всё, что можно и нужно было спасти от разложения, за окошко в форточку. Иногда туда пыталась прилететь ворона.

В некоторых домах устраивались специальные выемки в стене под подоконником, куда что-то закладывалось. Но у нас был солидный дом, построенный немцами в 1913 году, который подобных эксцессов не предполагал.

Всё устраивалось очень просто и сложно одновременно.

Например, на кухне не было горячей воды — только кран с холодной водой. А чтобы помыть посуду, надо набрать в таз воды, вскипятить эту воду на плите, сделать второй таз с холодной водой, и в двух этих тазах последовательно мыть так, как это делалось в начале XX века на какой-нибудь кухне трактира, где посудомойки, погружив руки в оцинкованные бадьи, мыли посуду. Понятно, что без домработниц не обойтись.

К праздникам приходили натирать полы. Это были обглоданные нищетою жилистые полотеры, с тюремными татуировками. Они переодевались в треники, разводили воск в ведре, которым затем ловко поливали паркет и, словно на коньках, его раскатывали, став одной ногой на щетку, сунув ногу в специальную петлю. И отталкиваясь другой, они катались со свистом. Я любил маленьким за ними наблюдать, но чувствовал недоброжелательство, исходящее от них. Я уже тогда понимал, что это именно классовое недоброжелательство.

Потому что маленький пухлощекий барчук — а одевали меня именно как барчука, в бархат и кружева, — и такой барчук смотрит на повоевавших и посидевших на зоне, как вот они драят эти полы. Я хорошо чувствовал электричество негатива между собой и ими.

В доме было много икры, крабов, фрукты, виноград. Шофер деда Пискулин носил огромные коробки из распределителя¹⁶⁰ и ставил их на большую квадратную тахту, где вечером мы под пледами отдыхали. Тахта два на два метра, и мы на подушках лежали с бабушкой или мамой. Входил шофер и ставил огромные коробки. И в этих коробках чего только не было.

Как-то бабушка куда-то уехала, и мы остались с дедом вдвоем. Она оставила нам запеченного маринованного карпа. Дед превращал всё такое в приключение. Он сказал:

— Ну вот, мы с тобой вдвоем, мы одни, теперь мы будем есть этого карпа.

Помню этого карпа, помню даже морковку на нем.

Этот первый период закончился смертью деда. После смерти деда меня мучили тем, что я ненавидел, — рыбными котлетами, от одного их запаха меня начинало мутить.

Период номер два шел под знаком дяди, возвращенного бабушкой из изгнания, привезшего с собой жену, и непрерывных скандалов с его матерью, моей бабушкой.

Всё носило театральный характер, они обзывали друг друга именами персонажей из классической литературы. Например, она ему говорила, что он Иудушка Головлев¹⁶¹, а он ей, что она Кабаниха¹⁶². Не то чтобы это было шутя — с дикой яростью, в пылу, самозабвенно. Иудушка Головлев — самое постоянное, что она прилагала к дяде. Почему-то он у нее вызывал такие ассоциации, хотя я лично не нахожу в нем ничего от Иудушки. Она имела в виду, что дядя — интриган и лицемер, наверное. Но дядя был буйный, а Иудушка был тихий и вкрадчивый. Кабаниха более подходила — бабушка представляла тип самоуправного матриархата с тираническими и тоталитарными замашками, жесткими установками.

У нее преобладали ригидные представления о том, что хорошо, а что нет — смесь дореволюционных осколков и сталинизма, который был ей вбит страхом и плеткой. Это был перманентный эксцесс. В ужас ее приводила моя возможная встреча с иностранцами — всё в таком духе.

Идея была такая: непрерывные занятия, непрерывная учеба — причем читать мне тоже мешали. Я не любил заниматься, но любил читать книги, любые. Философию чуть позже, конечно, художественные книги, причем разные. Ну, например, Майн Рид — я всего его прочел очень быстро.

Типичный наезд бабушки на меня начинался так: «Что, книжечки читаем? А как насчет уроков? Почитываем все книжечки, а потом что будем делать? Пойдем в рабочие?» Одним из террористических методов воздействия на меня было сравнение с простыми людьми.

У нас во дворе на Мансуровском, где сейчас мастерские Церетели, располагался гараж. Этот гараж я очень любил. Туда заезжали большие грузовики, их там ремонтировали, стояли лужи бензина, особый запах гаража, очень специфический, действовал на меня опьяняюще. Запах смазки, мазута, бензина, машин. Ходили там звероподобные работяги, шоферы в негнущихся комбинезонах.

Вот они постоянно служили для бабушки иллюстрацией: что вот, посмотри на судьбу этих людей, хочешь быть одним из них, тоже хочешь быть шофером? Это была ее постоянная линия. В классовом смысле бабушка являла крайнюю неполиткорректность.

К простым людям, которых она вызывала, чтобы они что-то сделали, она обращалась только «Иван», независимо от того, как их звали. Приходит печник. Она ему говорит: «Иван, надо сделать то-то и то-то». Когда он пытается сказать, что зовут его Василий Петрович, она это игнорировала, и ее поведение было чудовищным по отношению к этим людям.

Однажды на даче летом печник долго делал печку в летней кухне. Мне нравилось за ним следить, как он затейливо выкладывает по кирпичику внутренность печки. Мы с ним обсуждали сравнительные достоинства ТТ и нагана. Пробьет эту березку ТТ

и пробьет ли ее наган. Я с ним говорил, стоя рядом и наблюдая за его работой. Он клал кирпичики, и внутри очень мастеровито появлялись разные переходы. Я считал, что работу он делает чудесно.

В этот момент хлопнула калитка, до летней кухни в глубине сада метров 70–80. Хлопнула калитка, на аллее появилась бабушка из гостей. Куда-то она ходила поблизости. Когда она ходила в гости, она всегда надевала платье из черного муарового шелка с белым брюссельским кружевом, закалывала его здоровенной гранатовой брошью, сантиметров семи, из почти черного граната.

Бабушка быстрым жестким шагом прошла по аллее прямо к нам в кухню. Этот Иван едва успел отскочить в сторону. Прямо в черном муаровом платье она опустилась на колени на заляпанный глиной и кирпичной пылью пол, засунула обе руки по локоть в печку, уже почти законченную, и мощным движением просто разворотила ее, кирпичи полетели в разные стороны по всей кухне. Я такого не ожидал. Она говорит:

— Халтура. Переделать.

Встала и ушла. Иван стоял белый как мел:

— Да, бабушка у вас ничего. Бабушка хорошая.

Он молча опустилсся и стал собирать кирпичики, класть их назад. Второй раз его работа мне уже не казалась такой хорошей, мне было его жаль, и я не мог уже с ним говорить про пистолеты и про наганы. Что-то ушло, какой-то кайф, какой-то свет всего дня и наблюдения за его работой. Приятная эйфория погасла.

В этом эпизоде содержится формула, парадигма ее восприятия, ее присутствия.

Бабушка была очень ригидная особа, ориентированная на то, чтобы любой ценой оставаться наверху социума: «мы через гражданскую войну, через шашки, виселицы вырвались наверх, где мы были до этого, мы вернулись опять сюда, и мы не должны ни на секунду сползать ни на полступеньки, мы должны только подниматься, топить всех, кто посягнет на нас. Потому что если ты сходишь с этого круга на самом верху, то ты уничтожен. Твой путь — к убогим Иванам в стоящих колом, пропитанных мазутом

комбинезонах, где тебе остается только пить идохнуть в безвестности».

У нее была такая школа, которой у меня-то не было. Она-то прошла ужасы. Гимназистка 18 лет, окончившая гимназию с «Боже, царя храни...» по утрам перед занятиями, и потом пединститут, какие-то курсы, учительство в казачьей станице во время гражданской войны, где она видела каждый день то, что сегодня подается под названием «исламское государство». Вот эти ролики, которые мы видим в виртуальном мире, она наблюдала в реальности каждый день. Не один десяток подтелковых¹⁶³ на ее глазах порубали пашками.

Человек с таким бэкграундом и с таким багажом, она воспринимала общество вокруг себя как зверинец, как джунгли, где надо выживать. Деда она уважала, но не любила, может быть, даже презирала, но он был для нее ступенькой наверх. Она презирала его как человека ниже себя, но уважала как человека, который понимал, что такое политика — в особенности, что такое политика дома. Если убрать в сторону стилистику, то она бы очень хорошо понимала «Игру престолов». Борьба феодальных домов вписана в ее психику.

«Оставаться наверху» — вот ее императив.

Она плохо относилась к дяде, потому что это был богемный, сумбурный, истеричный, слабый человек, как она считала.

Дядя, конечно, слабым не был. Этот человек был ранен, он участвовал, если не ошибаюсь, еще в Корейской войне как летчик-истребитель, на финальном ее этапе. Он участвовал в 1956 году в подавлении Будапешта. Потом у него начали очень быстро развиваться какие-то слабые моменты со здоровьем, в результате чего он был вынужден уйти из авиации.

Он закончил гражданский институт, и буквально через несколько лет стал одним из руководителей вертолетной промышленности страны. Вернулся в номенклатуру, причем вошел в эту номенклатуру с такими гандикапами, как попытка самоубийства и покончившая с собой жена.

В детстве я его ненавидел как перманентную угрозу. И он меня ненавидел как сына любимой сестры от нелюбимого им зятя.

Эти люди прошли, оставив очень малый след, при том что в них был сильный потенциал. От них исходило мощное энергетическое поле. Они были центрами притяжения.

Тот же дядя был центром притяжения для ярких людей, которые считали его большим человеком.

И мне задним числом интересно: вот они прошли, как тени, — кроме моей памяти ничего не свидетельствует о том, что они жили, но они сильно повлияли на меня. В грубом плане, в плане лепки, в плане пинков, замесов.

Я рос на противостоянии бабушке, дяде, школе, советской власти.

Все элементы вокруг меня были поводами для негатива, отрицания, противостояния. До 14–15 лет я вообще не встречал в своей жизни ничего, что я бы принял как некий позитив, с которым я согласен, что дает мне какой-то комфорт, позволяет мне почувствовать себя в своей тарелке, расслабиться.

Второй период на Мансуровском, обозначенный дядей, длился до 1961–62 года, когда появился Теймураз, — противостояние, с одной стороны, тиранической диктатуре матриархата, а с другой — психопатической фрейдистской ненависти дяди по материнской линии.

Но случались светлые пятна — музыкальные вечера, довольно частые.

Красивые женщины, много романсов, музыки. Центром всего оставался дядя с его неистощимыми талантами и энергией.

Вокруг меня все хорошо понимали и знали музыку.

Лена занималась церковным пением, регентствовала в хоре, уже расставшись со мной. Она получила музыкальное образование. Но это прошло мимо меня.

Женя очень хорошо музыку знал.

Джаид одно время даже колебался между карьерой оперного певца и художника. У него был преподаватель оперного пения

Воробьев, тенор в Большом театре. У него в принципе было два возможных пути: он был потенциально гениальный певец и потенциально гениальный художник. У него был абсолютный слух.

У дяди был абсолютный слух. Дядя вокруг себя держал людей и женился только на женщинах с абсолютным слухом. Его жена Таня, актриса МХАТа, игравшая цыганку, обладала звонким, резким и неприятным голосом. Она любила брать на голос.

Женя мне объяснил, почему женские голоса так неприятны: они лишены обертонов.

Один раз она запела незадолго до самоубийства. Бабушка только умерла, и Таня распевалась на даче, на той части круговой веранды, которая на лес выходит, где мы сидели с Орханом, когда он приезжал.

Она там распевалась, а мы были внизу, и Теймураз возле колодца стоял. Он матери говорит:

— Что это за безобразие. Человек умер только что, а она так открыто позволяет себе выражение радости. Надо пойти и сказать ей немедленно.

Мама пошла туда, и раз — распевки прекратились.

У нас был «Бехштейн» — кабинетный рояль, табуреточка вращающаяся.

Во время игры поднималась крышка. Настройщик постоянно им занимался.

Дядя очень классно на нем играл.

Приходила Марина Нариманова. Мне было тогда 12 лет, а ей 16. Она училась в Гнесинке, готовилась к экзаменам.

Это была первая близкая мне по возрасту суперкрасавица. Я был в восторге от нее. У меня возник такой образ, что она сиамская принцесса, потому что у нее была желтоватая, нежная смуглая кожа, чуть-чуть раскосые глаза, пышные черные волосы, которые поднимались неким «шиньоном», и с челкой. Я с тех пор полюбил челку у женщин.

Марина представлялась загадочной принцессой с вазы. Она приходила к нам, потому что дома у нее было пианино, а ей нужен был рояль. Я, двенадцатилетний, в восторге замирал в дверях, глядя на точеную шестнадцатилетнюю сиамскую красавицу. Ее мать, Фаина Ефремовна, была моей частной учительницей английского языка, я к ней ходил в 6–7 классе.

Второй период кончился, когда я поехал сначала к матери и к Теймуразу в Тбилиси, потом в Баку к отцу и деду.

И после этого начался третий период Мансуровского — от девятого класса до изгнания из университета. Его финалом стала армия.

Когда меня комиссовали, я вернулся опять на Мансуровский, и это был уже четвертый период, который стремительно завершился. Бессмысленные дни в издательстве «Медицина», неприкаянность, непонимание, как жить дальше.

Но встреча с Мамлеевым, восстановление отношений с Леной и мой уход с Мансуровского на Гагаринский — четвертый период миновал.

Отношения мои в третьем и особенно в четвертом периоде и с дядей, и с бабушкой, и с самим Мансуровским становились всё более дальними, всё более условными, всё более лишенными остроты.

В пятом периоде на Мансуровский я приходил в гости.

В 1968 году мать переехала с Теймуразом опять в Москву для работы на Московском ипподроме. Они стали жить на Мансуровском, с которого я как раз ушел.

Жизнь началась у них очень непростая, потому что бабушка, конечно, не давала им расслабиться. Она вворачивала свои штопоры со всех сторон и в Теймураза, и в маму. Теймураза она не любила, подозревала его во всех смертных грехах, а негативом было у нее несколько моментов: а) то, что он князь; б) то, что он был близок к Василию Сталину; в) то, что он сидел в лагере, что он сиделец. В наш дом, дом Леонида Емельяновича Шаповалова, кто впущен-то?! Князь, который в советском лагере сидел! Для нее это всё составляло остропровоцирующий негатив.

В 1974 году она от нас ушла, попортив в течение лет шести кровь и жизнь маме и Теймуразу, после чего они получили, что называется *respite*, лет двенадцать сумели счастливо прожить на Мансуровском до смерти Теймураза в феврале 1987.

Теймураз стал для меня знаковой и значимой фигурой, я к нему очень хорошо относился. Задним числом я даже удивляюсь, насколько он оказал на меня влияние, при том, что он был не интеллектуал, и если и творческий человек, то закопавший свой талант.

Он начинал свою жизненную карьеру с художественного училища. Но потом стал кавалеристом, офицером, как и его отец. Только отец был пажом Его Императорского Величества, а он был разведчиком в Красной армии. У него творческое начало претворилось во что-то другое. В нем проявилось настоящее старорежимное грузинство... «дорогие тосты продолжаются».

Теймураз всегда был очень хлебосольный, у него был открытый дом. Всякий конец недели у него собирались по 25–30 гостей за огромным раскладным столом, который ломился от яств. Когда совок отштамповал кальку «застойно-застольные времена», мне было понятно, о чем речь, потому что двенадцать лет тянулись в таких вполне застойных продолжениях «дорогих тостов».

Ничего лицемерного там не было. Приходили старые друзья дома по линии матери и по линии ипподрома. Бывал Толя Ржанов, один из ведущих конструкторов Королева, который с матерью вместе учился в школе, сын актера Ржанова из Малого театра. Юрий Назаров, киноактер, тоже старый друг матери, Юрий Соломин — друзья дома по линии матери, не по линии дяди. По линии ипподрома — Эфрос, директор московского ипподрома.

Мама после того, как ушла из профессионального спорта, стала дрессировщицей. У меня до сих пор сохранились ее корочки из министерства культуры, где она была официально обозначена как дрессировщица крупных хищников.

С работы она никого не приглашала. С Дуровой у нее сохранялись довольно натянутые отношения, хотя домами мы знали друг друга — дуровская династия и наш дом.

Серьезных разговоров не было. Но тосты никогда не были адресными, не были льстивыми. Все гости близко друг друга знали. Поток шёл истории из артистического прошлого. И, конечно, главным рассказчиком был Теймураз, но и другие какой-то вклад вносили.

Теймураз был человек большого стиля, с особой аурой.

Всё-таки непросто находиться в присутствии настоящего светлейшего князя.

Реально — это как работающая батарейка.

Юрасовский, который всё время пыжился и искал, откуда взялись его шляхтичи, переселившиеся при Алексее Михайловиче, хотел ещё дальше корни найти. Мало ему было времен Алексея Михайловича, он их в Балканы желал вывести. Но когда он появлялся в присутствии Теймураза, он знал свое место. Он отдавал честь и прятался. Он понимал разницу между Юрасовскими из Орловской губернии и Амилахвари. Держался тихо.

Но, конечно, Теймуразу доставалось на Мансуровском.

Теймураз вернулся из заключения в 1960, в 1961 я с ним познакомился.

С матерью они прожили 27 лет — большая яркая жизнь. Теймураз был главной любовью моей матери. Главной и единственной настоящей.

На Мансуровском прошли важные для меня годы интеллектуальной загрузки.

С концепцией философии как способа жизни и способа душевной деятельности я встретился, когда мне было двенадцать лет, когда я нашёл книгу «История древнегреческой философии», и она дала мне старт. После этого восемь — девять лет были посвящены вхождению в интеллектуальное поле. Потом уже пошла шлифовка — общение с Мамлеевым, Головиным. Чтение реальных авторов на оригинальных языках вывело меня на некую платформу абсолютно собственного понимания реальности.

А с 90-х годов Мансуровский, окончательно покинутый моей семьёй, лишившийся былого лоска и блеска, почти на 20 лет стал моим

кабинетом, офисом, штаб-квартирой.

Кризис. Джинны болотного образца. Явление Джаида. Питер. Катя Подольцева. Круг завершился. Дудинский

Водоразделом в моей биографии несомненно стала «Ориентация — Север»¹⁶⁴, и она появилась как раз тогда, когда я пережил очень большой и многоступенчатый кризис, связанный с исчерпанием Южинского периода, того смысла, который был для меня актуален с 1967 года, со знакомства с Мамлеевым, и потом в большей степени с 1969, когда я познакомился с Головиным.

Всё было внутренне исчерпано.

Исчерпанность начиналась с того момента, как мы решили с Леной разбежаться в 1976 и разделить нашу квартиру на Большой Очаковской.

Мы развелись, и в результате сложных многоходовок я оказался на Народной улице.

Меня не оставляло чувство, что я теряю время. У меня возникала явная лакуна, явный перепад в самоощущении. При этом я находился в состоянии умственной работы, которая никогда у меня не прекращалась.

Но на внешнем плане я понял, что буксую.

1978 год для меня стал годом сурового кризиса.

Мне исполнился 31 год. Поиски и пути, которые меня поддерживали в моей внутренней работе, исчерпались. Внешне я вёл достаточно богемный образ жизни. Но к 1978 году я понял, что все угольные пласты, все месторождения я уже выработал, и за этим брезжила совершенно новая конструкция, новый визион.

Но я еще был разъединен с этим смыслом в непосредственной экзистенции.

Мое тело, мое присутствие были на одной стороне, а некоторое интеллектуальное видение — на другой. Я приближался к новому видению, и его абрис проступал сквозь туман.

Подобным образом мы видим причальные конструкции, какие-то краны и трубы, когда подплываем на барже к пристани ранним утром, но ты туда еще не приплыл, не сошел на эту землю. И эта земля вызывает у тебя надежду, а возможно, даже некоторый страх.

В этот период я вел сложный, тяжелый образ жизни с людьми, погруженными в достаточно бессмысленное существование. Впервые в моём физиологическом механизме произошел сбой, у меня неожиданно проявились признаки болезней, о которых я никогда не думал, что они могут иметь ко мне какое-то отношение. Вдруг я почувствовал себя физически очень уязвимым.

После этого сразу началась смена декораций...

Дом на Народной, в котором я тогда жил, существует и поныне. Он сейчас покрылся штукатуркой и краской, а тогда был просто зеленовато-облезлый кирпичный дом в центре на набережной рядом с Таганкой, совершенно барачного типа, разве что чуть-чуть пригламуренного.

Там жили очень любопытные люди.

Моими соседями оказались московские пролетарии — семья, состоявшая из толстого плотного мужика в годах, отца семейства, лет под 60, где-то неплохо по тем временам работавшего, квадратной красномордой его жены и их монструидального сына.

Он модно подворачивал джинсы почти до середины голени, не просыхал, тупо женился на лимитной приезжей, они тут же заделали ребеночка, которого назвали Денисом. Во дворе стояла их «Победа», никуда не ездившая. Отец с сыном ее катали на руках по двору.

«Победа» была настоящей женой этого мужика. Когда он приходил с работы, быстро на кухне хлебал варево, приготовленное его кубышистой женой, надевал стоячий от мазута и масла комбинезон и шел лежать под эту «Победу».

Возвращался он во втором часу ночи.

Каких-либо результатов лежание совершенно не давало, я только один раз видел, чтобы место, на котором эта «Победа» стояла,

пустовало.

Как-то раз вечно пьяный сын попросил отца:

— Батя, давай продадим эту «Победу» и купим хоть какие-то нормальные «Жигули».

За что отец его чуть ли не избил со словами:

— На этой «Победе» еще в 1952 году мой начальник ездил, у которого я эту «Победу» купил. А ты смеешь говорить, чтобы я ее продал.

Мне был любопытен конструкт этих сущностей, я бы не рискнул причислить их к человеческому уровню. Любопытные джинны болотного образца.

Соседи мне не мешали. Разве что большая и похожая на сарай ванная использовалась ими как склад запчастей для этой «Победы».

В принципе, это тоже не мешало, потому что запчасти лежали не в самой ванне, а рядом.

Там я жил, и там происходило много интересных вещей.

Я постелил ковер, путешествовавший со мной еще с Мансуровского.

Этот ковер я помню с раннего детства, он лежал у моего деда в кабинете. И когда дед меня туда пускал, я на нем играл. Ковер спускался с четырехметровой стены и далее раскатывался по полу, метров восемь в длину, метра три в ширину. Я его как-то приспособил у себя.

Еще привез с собой тяжелую мебель частью с Мансуровского, а частью с Гагаринского. Места чтобы спать там не было. У меня была тонкая поролоновая подстилочка-матрасик, днем она стояла, прислоненная к стене, а ночью я раздвигал мебель, клал ее на пол и ложился спать.

В этот период я встретился после долгого перерыва с отцом. У нас после моей женитьбы на Лене сильно ухудшились отношения, и мы немножко разбежались.

Он был против этой женитьбы — считал мезальянсом. Он хотел найти мне азербайджанку. При этом сам отец не женился на азербайджанках. В Азербайджане женишься не на женщине, а на ее семье.

Он говорил о Лене всё время неприятные оскорбительные вещи, и мы с ним разошлись.

И тут отец резко прорезался, позвонил мне, пришел в гости. Это была осень 1978 года. Мне было 30, а ему, соответственно, 50.

Он был свеж, очень красив. Каштановая борода, джинсы, голубая монгольская рубашка из китайского шелка, перстень с золотым львом. Стильный настоящий художник.

Он вошел в мою комнату на Народной, оглядываясь с таким внимательным прищуром, как к бедному родственнику зашел бы занимающийся благотворительностью богач. Посокрушался, что нет места для спанья. А у меня всё было совершенно занято. У окна стоял огромный дубовый стол, дальше кресло с резными львами спиной к двери, с одной стороны книжный шкаф, тоже массивный и дубовый, а с другой — бывший книжный шкаф, переделанный в одежный. В пространство, покрытое ковром, между креслом и одежным шкафом ничего невозможно было поставить — только кинуть матрас, когда ложишься.

Он посмотрел внимательно на мою потертую стильную кожаную куртку Вопо, кем-то мне подаренную. Она висела на резных львах. Отец сказал, что куртка хорошая, только грязная, такие вещи надо носить чистыми.

Уже первые жесты и слова ввели меня в некоторый предварительный негатив по отношению к перспективам дальнейшей беседы.

Тут отец увидел немецкую каску, красовавшуюся на кувшине, замотанном в бархат. Он сказал:

— Фу, выброси эту гадость.

Я спросил почему, и он ответил, что может быть кто-то зайдет и увидит немецкую каску.

— Русские выиграли эту войну, русские всё выигрывают. Зачем тебе немецкая каска? Русские так сильны...

Но я сдержался.

Потом он предложил мне спуститься вниз и пойти в ресторанчик «Поплавок», пришвартованный прямо напротив моего дома к дебаркадеру. Сейчас его давно уже нет. Я там до этого никогда не был.

Мы перешли дорогу, спустились в этот «Поплавок», он заказал себе какую-то невнятную еду, поели... Я всё время про себя отмечал, что он очень хорошо выглядит. И потом мы пошли где-то посидеть на скамейке.

Отец сказал мне:

— Нужно завязывать все эти глупости с фрондой, с оппозицией... Особенно художнику... Художник всегда работал на хана, всегда работал на государство. У меня вот Давид Кугультинов¹⁶⁵ заказал свой портрет, и я его написал. И что? Он отказался его брать и платить за него деньги. А МОСХ¹⁶⁶ этот портрет взял, и я деньги получил. Поэтому всегда надо на хана работать. Фронда, оппозиционное творчество — это ерунда.

Я говорю ему:

— Папа, в свое время я полюбил тебя именно за то, что ты был фрондер, оппозиционер, ты в принципе очень негативно отзывался о всей реальности вокруг тебя.

Он ничего мне не ответил.

Мы вернулись ко мне, и он сказал:

— Знаешь, у тебя критический возраст... Последний, когда ты еще можешь что-то сделать. В твоём возрасте надо жениться и завести детей, потому что потом ты испортишься, будешь уже в постпрокреативном возрасте. И тебе надо закончить юридический и стать адвокатом. Ты будешь защищать бакинских цеховиков, мы это устроим.

Я его спрашиваю:

— Как я могу стать адвокатом, как я могу поступить в юридический?

— Ерунда. Имя деда еще влиятельно, есть связи. Мы всё устроим, тебя примут. Поучишься, получишь диплом через два года, женишься на девушке из хорошей семьи, ее семья окажет тебе поддержку. Будешь защищать крупных бандитов и цеховиков. Сможешь зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц¹⁶⁷.

Это была финальная точка в нашем разговоре, после которой я понял, что дальнейшее наше общение не имеет никакого смысла. Я что-то пробубнил, и через какое-то время мой отец вежливо ушел.

Не знаю, что он вынес из нашего разговора, из моей реакции на его предложения. Но после его визита я почувствовал чудовищную депрессию. Если у меня и была когда-то депрессия, то именно тогда.

Рядом со мной не было никого.

Мамлеев находился в Штатах, и я его уже считал наполовину умершим и видел во снах. Он превращался в полумифическую фигуру.

С Головиным мы уже разошлись из-за Лены.

Не было тех, кто возник чуть позднее. Я был совершенно один, и в какой-то момент даже мысли о самоубийстве посетили меня.

И тут ко мне заходит Володя Степанов. Это был, по-моему, сентябрь или ранний октябрь...

Заходит Степанов, а я вообще весь черный с лица. Он меня спрашивает:

— Что такое?

А он был очень чувствительный, эмпатичный. И я ему всё рассказал. Рассказал про встречу с отцом. Он постарался какими-то ироническими фразами поднять мне настроение.

И вдруг говорит:

— Знаешь, против этого есть единственный способ: нужно встать и просто идти куда глаза глядят. Если я тебя позову — пойдешь?

— Да, пойду.

— Ну тогда собирайся. Прямо сейчас и пойдем. У меня уже и билет есть, я еду. Ты поедешь со мной?

— Да, а куда?

— Это неважно. Ты же уже согласился. Вставай и идем.

Мне в моём тяжелом состоянии было всё равно, и я совершенно спокойно согласился. Других вариантов не было. Встали и поехали.

Приехал на Ленинградский вокзал. Он на свои деньги купил мне билет, я тогда был на мели. Сели в сидячий вагон. Он шутил, шутил.

По-моему, он сказал: «Алитет уходит в горы»¹⁶⁸ — применительно ко мне провиденциальная фраза.

Приехали мы в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград. «Мой черный ход из этой хаты» — аллюзия на тот день¹⁶⁹.

Приехали мы затемно. Я не спрашиваю, куда мы идем. Идем и идем. Приехали без вещей, я в той кожаной куртке, которую мой отец обхаял как грязную.

Степанов говорит мне:

— Ну ладно, в двух словах я тебе опишу, куда мы идем. Тут есть такой круг — он, в общем-то, женский, но женщины там очень серьезные. Они обладают специальными возможностями. Очень непростые женщины, связанные с некоторыми направлениями в магии, хотя здесь, наверное, это слово будет неточным. Там, конечно, есть и мужской элемент, но он вторичен. Но это всё друзья. Мы появимся и будем в кругу друзей.

Мы оказались на Благодатной улице. Поднялись на какой-то этаж по тем временам шикарного «кооператива» из желтого кирпича, позвонили. Нам открыли дверь, и мы оказались в огромной квартире, по советским временам номенклатурной. Даже неонаменклатурной, потому что она была не то что профессорской, где огромные залы перетекают друг в друга, и мебель разваливается от старости. Это была пятикомнатная квартира с хорошей планировкой и новенькой мебелью. Открыла нам женщина баскетбольного роста с челкой, абсолютно

золотая блондинка с жестким волевым подбородком, прямым носом, спортивной фигурой.

Она нас радостно встретила, мы вошли. Володя говорит:

— Ну, а где Широков?

Она нахмурилась:

— У своей... Вообще не знаю, что делать. Всё же было уже согласовано, мы должны были уезжать в Америку. И тут надо же было ему загулять. Нашел какую-то бабу и всё срывает.

Сели... Чай пошел... Я вышел в соседнюю комнату, а там на подстилке лежала женщина мелковатого плана с жиденькими волосами, но, видимо, много о себе понимающая, потому что когда я поздоровался, она мрачно пробормотала сквозь зубы:

— Не приставай.

Я вышел, вернулся опять к чаю.

Спрашиваю:

— Кто это там такой сердитый?

— А это вот Наташа Прокуратова, известная личность.

Я понял, что это она относилась к тем непростым «магическим» женщинам, составлявшим основу кружка. Потом мне Степанов объяснил, что ее шеф и покровитель Лев Нузберг, руководитель и создатель творческой художественной группы «Движение», уехал в США, взял с собой всех, но оставил только Франсиско Инфантэ (он сейчас тоже довольно известный художник, иногда его имя встречается) и вот эту Прокуратову. И вот Сергей Жигалкин, как человек, желающий послужить делу художественной свободы, согласился свою биографию, свою жизнь принести на алтарь поддержки независимого искусства и жениться.

На следующий день я его увидел — это был лейтенант Глан¹⁷⁰ в чистом виде. Высокий худощавый парень с широкими плечами и узкими бедрами. Вьющаяся блондинистая курчавая бородка, голубые глаза, смотрящие совершенно в заоблачную даль, прямые волосы, мужественное лицо. По нему было сразу видно, что это надежная

опора. Говорил он скороговоркой Московской области. Был технарем, математиком-программистом.

Что же касается хозяйки квартиры, то звали ее Подольцева Катерина.

У нее был идиот-братец — на минуточку, врач олимпийской сборной СССР, и в обломе по этому поводу, потому что он хотел быть просто гбшником. А гбшником ему не дала быть его жена. Оказывается, чтобы стать гбшником, надо получить разрешение жены. Жена его не послала в ГБ. Он чувствовал себя неудачником, непрерывно пил, являлся к сестре и кричал, что квартира его. Напиваясь, он ходил в трусах и искал свой партбилет. Такое случалось уже после меня.

У нее была дочка Лиза. Сама Катя была математиком. Ее муж, Алексей Широков, тоже математик, гениальный — он мог любому левой ногой написать диссертацию. И они уже договорились, что они «паровозиком» едут в Штаты, женившись на еврее и еврейке, чтобы потом их кормить в Штатах по гроб жизни за то, что они их вывезли.

Они были абсолютно счастливы и довольны.

Беда заключалась в одном — Широков был совершенно безумен. Взяв спичку, он спрашивал:

— Это чье копье? Это копье архангела Михаила.

Или, поймав осу, он подносил ее к носу собеседника и спрашивал:

— А это кто?

Он закадрил жену капитана дальнего плавания, который находился в походе.

Широков с ней периодически спал.

Катя Подольцева пребывала в расстроенных чувствах. Мы жили со Степановым в этой квартире, где постоянно шло такое гудение.

Прошло, наверное, дня два, и вдруг...

А у Кати Подольцевой был настоящий кабинет: письменный стол с вращающимся креслом, книги сзади и стул для приема посетителей

перед столом. И вот она появилась в моей комнате, и говорит:

— Можно вас попросить зайти ко мне в кабинет?

Я захожу, она сидит за столом, я сел за стол просителя и приготовился слушать.

Она говорит:

— Вот, видите ли, я вас люблю.

И я попал в очень как-то интересную ситуацию. Как говорят азербайджанцы, «из одного сердца в тысячу сердец». Я же никогда не отказывался от таких предложений. И я тогда подошел к ней, встал на одно колено и сказал:

— Я постараюсь сделать вас счастливой.

А что тут скажешь в таком случае? Я же не мог ей сказать: «Я тоже вас люблю». Прозвучало бы маразматично. Разве что «спасибо, я принимаю ваше признание».

Это была очень странная, очень несчастливая и неудачная связь, потому что мы с ней совершенно не подходили друг другу.

Вечером, когда вернулся Степанов, мы уже существовали в какой-то из бесчисленных комнат, хотя до этого мне даже в голову не приходило иметь с ней какие-то отношения. Степанов вошел, и я почувствовал через дверь, что он дико обломался.

На следующее утро Катя, по своему обыкновению, вызывает Степанова в кабинет и говорит:

— Володя, дело в том, что тебе, видимо, придется уехать.

Он охренел:

— Прямо вот так?

— Да, вот так. Я люблю Гейдара.

К тому времени я с Широковым уже познакомился. Это был любопытный персонаж: огромного роста, метра два, его физиономия с гигантской золотой бородой представляла собой копию скульптурного бюста Зевса, который рисуют в художественных школах. Его голубые глаза отличались от зевсовых, они были очень

близко посажены, и в них плескалось безумное деревянное выражение остекленевшей от алкоголя пьяной крысы.

Он всё время кадрил девок. И девки сначала расцветали, когда к ним подходил такой гигант. А он к тому же был культурист с бицепсами диаметром полметра или больше, и меня посадил на культуризм.

Подходит такой колосс, начинает с девушкой разговаривать, она вся плывет. Но через пять минут она уже не знает куда деваться. Она посмотрит в его глаза и понимает, что надо бежать. Глядя в его глаза, любой понимал, что в голове у него улюлюканье и свист ветра. Но при этом он реально был гениальным математиком.

И, как у гениального безумного математика, у него имелись свои идиосинкразии: он считал, что математикой является только матанализ, а всё остальное есть шарлатанство и чистая фикция.

Я ему как-то говорю:

— Коля, меня испортили в школе, а я хочу знать математику, она мне нужна, но не в практическом смысле, а вот я хочу освоить математическое мышление как метод.

Он говорит:

— Мы с тобой будем заниматься. Я тебе не обещаю, что ты станешь великим, но хорошим крепким математиком ты станешь.

Я получил от него лишь один урок, там же на кухне:

— Представь себе, что ты находишься в потустороннем саду на неизвестной планете. В этом саду растут удивительные и самые неожиданные растения, лианы, странные стебли, орхидеи. Так вот, это сад, в котором роль растений исполняют функции...

Это единственное, что я от него услышал в качестве урока по математике. Но это стало сильным топливом, потом я перестроил его фразу на счет функций и разработал на основании нее собственный подход, свою математику. Но это неважно.

У нас пошла гульба с Катей Подольцевой. Сначала всё было невероятно бурно. Но потом мы оказались как два существа, запертых

в клетку. И мы начали охреневать от всего этого. Кроме того, дело происходило в Питере, а Питер я ненавидел. Я ненавидел его еще с детства, с тех пор как я туда приезжал в гости к матери, в каком-нибудь 1961. Все мои пересечения с Питером были очень несчастливыми.

Делать мне было совершенно нечего. Я пытался в то время писать роман «Электронный голубь». На это дело меня вдохновил Андрей Белый¹⁷¹.

Идея была такая.

Реально мавзолей Ленина представляет собой оккультный храм, пирамиду, и там есть оживающая мумия Ленина. Мумия является центром некоего культа, в нем участвует определенное количество посвященных. Ключевой фигурой оказывается птица, голубь, и он должен пройти определенное преобразование. Голубь представляет собой созданный в глубокой египетской древности искусственный интеллект. И не мумия должна воскреснуть, а искусственный интеллект должен стать живым, воскреснуть к реальной жизни. Голубь реально является голубем Святого Духа, но он заключен в тесный флакон искусственного интеллекта, который, с одной стороны, обладает полнотой возможных представлений, а с другой ничем не отличается от химической реакции аспирина в стакане воды, и он должен пройти преобразование.

Сложная, запутанная конструкция, идиотский текст. Страшная муть и окоlesiца. Но я его писал. Я никак не мог из него выпутаться, но как фанат, держащийся за последнюю соломинку, садился каждый вечер за письменный стол и писал. Я писал в общей тетради на пружинках, она пропала бесследно, и туда ей и дорога.

Потом мы поехали в Москву. Я показал Кате свое жилище на Народной. Она была чуть-чуть в шоке, потому что ее избранник, которого она воздвигла на пьедестал сверхчеловека, ютится в двух комнатухах чудовищного дома, спит на подстилке. Она же была простая девка, в сущности.

Через некоторое время в наших отношениях начался кризис.

Кризис достиг апогея, когда через полгода я опять был в Москве с ней, и мы сидели у Степанова. Там был Женя. Когда мы вошли в комнату, он уже был очень пьян, сидел с Владимиром Ивановичем Отрощенко, его тогдашним личардой.

Женя повернулся в нашу сторону, увидел эту 180-сантиметровую статую с золотой челкой и спросил своим особым шепотком:

— Это что за кисонька?

Как мне призналась потом Подольцева, одного голоса хватило, чтобы сразить ее насмерть. Вот эта «кисонька» пробрала ее, вызвала дрожь, и она поняла, что она теперь любит Головина.

Наши отношения еще продолжались какое-то время по инерции. Я несколько неадекватно пригласил Женю в Питер отмечать мой день рождения. Он приехал, атмосфера становилась нестерпимой, и я попросил его уехать.

Летом 1979 года мы сделали с ней марш-бросок, поход на берег Иссык-Куля из Алма-Аты. Пешком прошли через два или три перевала, покрытых лесом. По моим позднейшим представлениям, довольно легкий путь. Но тогда я был не в форме, и это потребовало от меня серьезных усилий.

Такова преамбула к моему последующему перемещению центра тяжести в Азию. Это был пока небольшой задел.

По возвращении из Алма-Аты на квартире одного из наших друзей, по-моему, Вадима Попова, Катя попросила меня зайти в ванную, так как это была однокомнатная квартира. Я зашел. Она закрыла за собой плотно дверь, пустила воду и сказала:

— Дело в том, что я люблю Женю.

Я ей ответил на это:

— Конечно-конечно, я понимаю. Женю любят все.

Я остался в Москве, а Женя уехал к ней в Питер.

Удивительно, что его пребывание в Питере продолжалось три или четыре года, причем он очень мощно проявил себя там, в отличие

от меня. Я ни с кем не хотел знакомиться, ничего не хотел там делать, писал «Электронного голубя».

Головин там общался с людьми, играл, записал кучу кассет, которые потом непонятно куда делись. Возможно, Катя их позже увезла в Америку.

В Питере было общество, кучковавшееся вокруг племянника Ромма¹⁷² по имени Кит. Это был центр креативной тусовки, состоящей, как обычно, из золотой молодежи, фарцовщиков, художников, поэтов. Кит погиб то ли от передоза, то ли от чего-то еще, память о нём зудела в Питере, какие-то люди там оставались. И Женя попал в пространство, которого я длинной палкой не касался, а Женя в нем вращался и пел.

Он поработал с Катюшей хорошо. Я ее встретил как-то в Москве на кухне у Жигалкина через пару лет после того, как она начала жить с Женей, и я почувствовал себя полностью отомщенным. Ручки у нее тряслись, как при Паркинсоне, она прикуривала одну сигарету от другой, и было видно, что девка катится очень далеко со свистом, как бильярдный шар, по наклонной плоскости. На тот момент она уже прожила с ним дольше, чем со мной.

В конце концов Женя оставил ее и вернулся в Москву к Ирине Николаевне, но в итоге — к Лене.

Возвращаясь к теме «Ориентации — Север».

Пока мы еще с Катей не расстались, но отношения уже были проблемными, мы поехали на дачу к Дудинскому. Был февраль 1979 года, когда Китай напал на Вьетнам. Это произвело на меня почему-то сильнейшее впечатление.

Во-первых, я подумал, что это преамбула к большой войне.

Во-вторых, у меня было абсолютно апокалиптическое чувство.

Я был совершенно выбит из колеи. Не могу объяснить, почему это произвело на меня такое действие. С тех пор мы пережили столько нападений гораздо большего масштаба и гораздо более близких мне. Некоторые воспринимают футбол более остро, чем открытие фронта, появление горячей точки.

Но тогда нападение меня шокировало. Стоял февраль.

Потом мы расстались, и опять я вернулся к этой Народной улице, к этой комнате, и к той простой позиции, из которой Степанов вывел меня в октябре 1978 года, взяв меня вслепую на Благодатную в Питер.

Я сделал круг и оказалось, что этот круг — ложный. В этом круге не содержалось ничего, кроме потери времени.

Мы сидели у Дудинского на даче. Он сказал:

— Ты должен написать книгу. Культовую книгу, которая будет как Священное Писание. Я знаю, ты можешь. Книгу, которая станет харизматической, которая всё перевернет, и у нее будет просто дымящееся облако фанатов, потому что ты — бездонный кладезь.

Он меня так уговаривал некоторое время, и идея внезапно захватила меня самого. Действительно, какой-то чудовищный макабрический электронный голубь и — серьезная работа, нацеленная на результат.

Дудинский вернулся к теме чуть позже и сказал, что готов всё сделать, чтобы она была написана. Мы договорились, что я буду диктовать, а он будет записывать.

Кому диктовать. Руслан Айсин

Писать я не люблю, в этом плане я лентяй.

Мне многие люди предлагали записывать мою диктовку, но часто они оказывались неадекватными для этой цели. Они хотели решить какие-то свои собственные проблемы.

Например, Вадик Попов предлагал мне написать диссертацию для его возлюбленной. Девушка по фамилии Кукаркина, дочка солидного функционера из министерства по делам кинематографии, хотела защитить то ли кандидатскую, то ли докторскую по театру абсурда. Попов намеревался сделать ей такой подарок. А мне он сказал, что заплатит за эту работу ста пятьюдесятью тушками кроликов. Такой вот бред. Я сказал, что кролики мне не нужны.

Он мне предложил наговаривать на магнитофон и всё расшифровывать. Мы сели у него дома, но у нас не пошло, его присутствие мне мешало — ищущее пустое присутствие мужской пусто-агрессивной единицы. Он гнал что-то свое, всё время хотел вставить свои пять копеек.

Был такой чемпион мира по штанге в среднем весе ингуш Исраил Арсамаков. Сеул, 1988 год. Он возглавлял отдел штанги в олимпийском комитете РФ. Как и все спортсмены начала 90-х, он был связан с ОПГ, при деньгах. Он купил квартиру в полукруглом доме, который смотрит на памятник Гагарину, оборудовал студию и хотел, чтобы я в лекциях изложил то, чем мы сейчас занимаемся. Но физически его присутствие всё ломало, этот человек просто блокировал мои попытки что-то изложить. Он хотел, чтобы я просто сидел и излагал, как труба с неба. Я могу так, но при условии, если рядом со мной будет не Исраил Арсамаков.

С Русланом (Айсиным) у нас абсолютный симбиоз, мы с ним как братья. Он меня воспринимает полностью, как живое дыхание. У меня ни разу не получалось работы с человеком мужского пола, кроме как с Русланом. Руслан — уникальный случай, он живет в этой теме, в этом поле.

С Дудинским такого не было. Хоть Дудинский и очень старался, но Дудинский — женственный тип. Он не агрессивен, у него нет таких «заначек», расставленных по карманам. А Попов был мужчиной нижней категории, просто «трахальщик». И у него в голове сидело, что Кукаркина ему даст, если перед ней на стол положить диссертацию. Это всё очень сильно лезет.

В чем трудность с мужчинами-секретарями? Мужчина сопротивляется тому, что слышит. Внутри себя он хочет сказать: «Старик, да всё не так на самом деле. Ну ладно, ты говори, но я-то знаю, что всё не так».

Орхану невозможно диктовать, он будет каждый раз кидаться к планшету и искать в википедии, где я назвал неправильно цифру или не то слово сказал.

С мужчинами невозможно работать. Есть книга Эккермана «Разговоры с Гёте»¹⁷³, и такие казусы бывают.

Вот с женщинами работать хорошо. Не со всеми, конечно, но в целом — хорошо, потому что они тебя воспринимают как интеллектуального героя. Они пьют твои слова без размышления.

Катя Виноградова была потрясающим исполнителем, потому что это минимальное присутствие, только поглощение, только потребление.

Таня Тарасова уже хуже. Она закончила философский факультет, училась в аспирантуре, и у нее в башке огромный склад разной эрудиции, мешавшей ей, но всё-таки это лучше, чем с секретарем-мужчиной.

А вот с Русланом у нас симбиоз, которого не было ни с кем никогда.

Сам я тоже писал. Но эти тексты я осудил, я их видеть не могу. Что-то нахожу в своих архивах. Некоторые местами забавные. Но, в основном, всё треш.

Ориентация — Север. Как это всё началось

Я к работе всегда подхожу обстоятельно, и у меня есть такой бзик — символизм чисел. Я не могу ничего начать делать, не рассчитав математическую графику исполнения.

В данном случае должно было быть 50 глав, которые бы уместались в двух томах, по 25 глав в каждом. Каждая глава из 72 тезисов, в дальнейшем предполагалось их раскрыть в отдельных статьях на две-три страницы. Получалось, что 50 глав должны вылиться в 3600 тезисов, покрывающих все сферы описаний, все гештальты, все подходы. И если помножить 3600 на три страницы, то получится около 10 000 машинописных страниц — это, на минуточку, собрание сочинений Л. Н. Толстого. Работа жизни.

Почему 50 глав? семью семь — 49, плюс замыкающая глава. А семью семь потому, что 7 — сакральное число, дубль мужского числа.

Все числа, согласно традиции, имеют гендерную принадлежность. Нечетные числа — мужские, а четные — женские, кроме чисел 5 и 6, в них гендер переставлен: 5 является женским числом, а 6 — мужским. Это два числа, связанных с Адамом, адамические числа. 5 — земной Адам, а 6 — Адам небесный. После 6 идет 7, которое является нечетным и мужским. Это единственный случай, когда в числовом ряду оказывается повтор — два раза подряд идет мужское число.

По системе традиционалистских координат, 7 — количество манвантар в кальпе, прошедшее от начала кальпы до той точки, в которой мы находимся.

Всего в кальпе 14 манвантар, 14 циклов. 7 — ее половина. Мы спускаемся с самого верха, с полукружья, и останавливаемся на той стороне диаметра — это 7. Поэтому у нас Большая Медведица, которая является небесной стрелкой времени, стрелкой макрочасов, состоит из семи звезд.

Если мы проходим в следующую манвантару, то прибавляется еще одна звезда, и Большая Медведица будет уже из восьми звезд. В предыдущем от нашего она была из шести звезд. Каждый раз

по истечении цикла Полярная Звезда, к которой привязана ручка ковша, становится частью Большой Медведицы.

На санскрите Большая Медведица называется Септариши, что означает «семь мудрецов» или «семь святых». Еврейская менора, подсвечник для семи свечей — тоже образ Большой Медведицы. Большая Медведица описывает свастики вокруг мировой оси, и один полный круг составляет большой халдейский год, 25960 лет. Этими годами измеряется время человечества.

7 — важная цифра.

Единственное место, где встречается семиконечная звезда — древняя грузинская эмблема и ее герб.

Азербайджанский герб — восьмиконечный, потому что это установка на земной рай, два перекрещивающихся квадрата — символ земного рая. А вот семерка находится между двумя треугольниками и двумя квадратами.

72 — очень важный момент.

Наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Моя религия разделится на семьдесят два пути, но верным будет семьдесят третий». Есть разные версии этого хадиса у разных передатчиков. Некоторые даже жестко утверждают, что остальные пути ведут в огонь. Другие говорят более осторожно: 72 пути содержат лишь частицу истины, полнотой же истины обладает только 73-й.

Моя идея заключалась в том, что я даю 72 тезиса, которые указывают на 73-й, которым является всё мое послание. Мое послание — это и есть 73-й путь.

Тогда я еще не был практикующим мусульманином, которым я стал, когда поехал после этой книги в Таджикистан и там уже сошелся с носителями Ислама.

Но я всегда был мусульманином, всегда считал себя мусульманином, всегда внутренне был укоренен в Исламе, но по образу жизни я принадлежал к правой богеме, что выражалось в неких эксцессах, которые сопровождали мою повседневную жизнь.

Я набросал в присутствии Дудинского темы, на что он кричал:

— Гениально!

И я стал диктовать.

Сразу слил коросту пустого времени, изжитости того, что было. Остаток выкристаллизовался и превратился в драгоценный камень, зерно моей доктрины. Это зерно заключалось в следующем.

Я к тому времени прошел в лаптях обутой Крым и Рим — Генона и его школу в оригиналах из спецхрана. Что-то мне привозили и дарили. И я знал, в общем-то, всё про великую примордиальную традицию, наиболее наглядно представленную в адвайта-ведантизме — «ты есть то», абсолютное тождество.

Но возникал простой вопрос. Если я в своем нынешнем состоянии, которое будет стерто, — понятно, что оно будет стерто, но пока оно еще не стерто, я знаю о том, что есть Абсолют. Если я знаю о том, что есть Абсолют, значит я не тождественен ему в этот момент, потому что я его знаю, как нечто отдельное. Если я знаю о том, что есть Абсолют, будучи хотя бы тeneвым, виртуальным образом не им, то это значит, что Абсолют не абсолютен.

Но Абсолют-то должен быть.

Как же тогда? Значит, раз Абсолют не абсолютен и это доказывается тем, что существую я, знающий об этом Абсолюте, тогда Абсолют есть нечто иное, нетождественное тому, что все воспринимают как Абсолют.

Преамбула, с которой я начал, так и называлась: «Абсолют». И дальше уже идея раскрывалась в разные стороны. К примеру, что такое любовь. Любовь — это экстатическая агрессия.

Дудинский

Я диктовал, Дудинский писал от руки, потом он относил эти записи к себе, печатал их на машинке, приносил мне на правку, я правил и опять диктовал. Тогда компьютеров не было, 1979 год. Только машинопись.

Диктофон не предполагался, диктофон — это профанация.

Мы писали долго, несколько месяцев — два или три. Жигалкин навещал нас, давал денег на еду, говорил, что вносит в это подвижничество посильный вклад.

Кстати, ему зачтется.

Книжку напечатали в самиздате на базе Института системного анализа — того самого, из которого изошли Егор Гайдар¹⁷⁴ и другие. На ксероксной аппаратуре¹⁷⁵ она была размножена, собрана и сброшюрована. Так что Институт системного анализа, возглавляемый Гвишиани, тоже приложил руку к появлению этой книжки.

Мы сделали сто экземпляров. Они разлетелись со свистом. Проданы они были по минимальной стоимости, и вся выручка пошла на оплату бумаги, ксерокса и денег сторожу. Люди приходили, чтобы ее купить, реализацию взял на себя Дудинский.

Книжка неожиданно превратилась в то, что Дуда и обещал — в культовый и харизматичный трактат. Она открывала двери в театр папы Карло из нарисованного на холсте очага¹⁷⁶.

Я написал посвящение Дудинскому на фронтисписе, что я благодарю его за помощь.

С тех пор он стал моим врагом. Когда мы встречаемся на юбилеях смерти наших друзей, он старается в глаза не смотреть. Он, видимо, ожидал, что я его подниму в соавторы, но никогда этого не произносил. Да и соавторства не предполагалось: он сидел и записывал то, что я диктовал. Его критическая роль заключалась в том, чтобы иногда говорить:

— Я не понял.

Тогда я переговаривал, сохраняя смысл, и Дудинский говорил:

— А, теперь понял.

Он выступал как семантический корректор. А так он записывал, приговаривая:

— Ух ты, круто, круто, супер, давай еще.

Таково его участие. И я поблагодарил его. Но он почувствовал себя сильно обиженным и лишенным причастности и славы.

Талантливый парень.

На Южинском Дудинский с 1963 или 1964 года. Он с Мамлеевым познакомился, когда ему было 15 лет. Он и историк, и активный участник Южинского гештальта. Он там в самом нутре сидит.

Другое дело, что он сидит там как кот, который ходит вокруг хозяина. Как Осип, в которого кидается сапогами Обломов¹⁷⁷. Что он может рассказать об Обломове? Что-то может, но написать этот роман — вряд ли.

Его хотели выгнать из университета, но поскольку отец был референтом ЦК, большим человеком, ограничились тем, что его выслали в Магадан, и там он стал главным редактором местного городского телевидения. В тех краях и Козин¹⁷⁸ в то время доживал. Дудинский был его частым гостем, они дружили.

Он человек журналистско-публицистического типа. Его книга «Двор во дворе» стала для меня неожиданным открытием. Сейчас эта идея популярна — неадекватно всемогущий герой посреди банального пошлого мира. Некий молодой человек встречается с девушкой. Она думает, что это простой парень, а он ее везет в Абхазию на шашлыки частным самолетом, а потом оказывается, что он одной ногой связан с международными мафиозными структурами. Другой ногой он в КГБ, отдающий ему честь. Третьей ногой его на выезде со двора расстреливают киллеры, и над этим местом просто птички кружат. Такие вот героические мифологемы 80-х годов, которые сейчас стали общим местом.

Дудинский умный парень, но совершенно несчастный и безумный. Чиганава, одна из его жен, мать Гай Германики¹⁷⁹, говорила, что когда он дома пил, то иногда приговаривал:

— Я готов всё отдать, лишь бы быть хотя бы лейтенантом КГБ. Но не берут, не берут. Даже в этой роли никому не нужен.

Он пьющий человек и пьет много, несмотря на состояние здоровья. Жизнист, у него очередная 28-я жена, даже какой-то ребеночек сейчас появился.

До этой книги у нас было двенадцать лет дружеских отношений.

Когда мы сталкиваемся на улице, мы разговариваем. Но внутренняя коммуникация прекратилась.

Доктрина «Ориентации — Север»

Дугин верит, что вся моя идея и всё мое мировоззрение до сих пор без единой добавочки укладывается в главу «Абсолют» «Ориентации Север». Когда говорят, что вот есть джемалевская доктрина метафизики, он отвечает: «Да, да, я помню, глава “Абсолют”, я читал».

Какая это была идея? Она меня поразила в сердце, когда я лежал, глядя в звездное небо, и вдруг понял, что если я знаю о существовании бесконечного, то я являюсь чем-то иным по отношению к нему, по отношению к бесконечному. Потому что тождество не может разглядывать само себя. Тождество равно самому себе и не может быть мыслью о самом себе. Раз оно тождество, то оно просто совпадает в некоем апофатическом *Ничто*.

Даже Гегелю потребовалось две стороны идеи — идея Бытия и идея Ничто, слитые в одно, чтобы было различие Бытия и Ничто, тезиса и антитезиса, но это уже не тождество.

Если речь идет о чистом тождестве, оно не может знать про себя. Чтобы знать нечто, нужно быть другим по отношению к этому нечто.

И я другой по отношению к Абсолюту и не являюсь его частью, которая в нем исчезает, пусть даже потом я в нем и исчезну.

Но в данный момент, сию секунду, когда я о нем думаю, я не тождественен ему, и это меняет всё, потому что тогда Абсолют не абсолютен.

Раз Абсолют не абсолютен, то он не является истинной бесконечностью, и я его ограничиваю. Я его ограничиваю своим знанием о нем, своим созерцанием его. А раз так, то значит Абсолют должен находиться в другом месте, а не там, где я могу его осознавать. Он должен быть там, куда я не могу посмотреть, и где я не могу его увидеть. Как глаз, который может увидеть всё, но только себя не видит. А раз он себя не видит, то этот глаз и есть Абсолют или, вернее, первый образ того Абсолюта, который по-настоящему не позволяет быть чему-то, кроме себя. Абсолют, который видит глаз, — это иллюзия, а глаз — это реальность.

Вот эти мысли меня пронзили. Но главная мысль, что Абсолют не абсолютен, что он ложен, и что утверждение надо искать не в нем, а в другом направлении.

У меня всегда вызывала улыбку индийская метафизика, всякие школы типа Санкхья¹⁸⁰. Есть, допустим, Брахман — и как из него Атман вдруг получился? Почему Брахман выступил из самого себя?

Если это по-настоящему полный абсолютный Брахман в апофатическом покое и полной самотождественности, то он не может выступить из самого себя, и знать себя он тоже не может, потому что он себе тождественен. Он находится в простой черной бездонной авидье¹⁸¹, в которой ничего не может быть. Там не может быть нас, не может быть нашего сознания, никакого идущего вниз эшелона манифестаций.

Если я есть, и я свидетельствую, что есть бесконечность, то я ей не тождественен. Если я ей не тождественен, то это не бесконечность, потому что я ее ограничиваю своим свидетельствованием о ней.

Почему суфии такие хитрые? Хитрые суфии говорят: «я и Друг», «я и Другой — мы беседуем». Очень хитро они отказываются от идеи Брахмана и переводят в разговор «совершенного и несовершенного». Они уходят от темы бесконечного и конечного и переходят к совершенному и несовершенному. Потому что если есть бесконечное, то конечного быть не может.

Я считаю, что это колоссальное интеллектуальное достижение — представление о том, что конечное возникает из того, что бесконечное слабо, потому что оно направлено наружу, на изгнание, на отрицание того, что не оно. Не бесконечное, которое содержит, а бесконечное, которое постоянно снимает любую возможность ограничения. И тем самым оно вводит ограничение.

Это как раз есть Рок, Дахр, Абсолют, который преследует всякое ограничение и постоянно его снимает. Это горизонт Рока, стоящего над Бытием.

Откуда он взялся? Он взялся из деградации великого Всё, которое есть содержание чистой мысли. Просто мысль заключает в себе точку отталкивания, она стремится быть «плюс X» к этому Всё.

У Генона есть выражение «affirmation absolue», абсолютное утверждение, которое допускает внутри себя всё, кроме ошибки. Тогда получается, что если абсолютное утверждение не абсолютно, если это вообще не утверждение, то именно ошибка есть то подлинное, что остается вне его. То, что является ошибкой с точки зрения всеобъемлющего Абсолюта и как бы не существует, то и есть подлинная правда.

Когда я это понял, это переформатировало весь мой подход.

Эта идея стала альфой, от которой надо было идти к омеге. Она легла в основу первой главы.

Она уже содержала в себе весь последующий контент, который являлся просто логическим выражением этого понимания.

«Абсолют не абсолютен» — содержание первой главы. И всё остальное — тема ужаса, любви, пробуждения — раскрывает основной тезис.

Вторая фундаментальная идея, которая пронизывает эту книгу, состоит в том, что всё сущее — это *opinion*, *opinion universal*, нечто, по поводу чего может быть какое-то мнение. В последующем это перешло в тему описания, в понимание реальности как описания, системы описаний.

Дело в том, что мыслил я по-французски, и представление об описании — это перевод. Так мне работалось.

Объективной реалистической правды по Платону просто нет, есть разные мнения. Есть мнение, что вот это — стол, это — птица, есть мнение, что я — это я. Мнение вариативно. Поскольку оно вариативно, концепция строится на том, что Абсолют не является утверждением.

В конечном счете система мнений — ложь, которая образует Бытие.

Тут впервые возникает идея о том, что специфика истинного Бытия является ложью.

Бытие как то, что есть, — это ложь.

Поэтому единственный путь, который императивно нам предлагается — это трансцензус по отношению ко лжи, быть нетождественным этой лжи. Нетождественным именно в гностическом смысле, не в пафосно-этическом, вроде «жить не по лжи»¹⁸², а именно в гностическом. Выход на перспективу неукорененности во мнениях.

Три опорные точки: Абсолют не абсолютен, сущее есть система мнений, которые являются ложными, задача в том, чтобы быть иным по отношению к этой системе, преодолеть ее.

Из этого развивается всё остальное — от иронии до ужаса.

Ужас для меня является важным, его можно добавить, как четвертую опорную точку, потому что я воспринимал ужас, как не зависящее от нас переживание, которое не принадлежит опинионизации.

Не мнение, а разрыв с мнением, один из вариантов разрыва с мнением. Это похоже на встречу плоти с огнем.

Можно строить много описаний по поводу внешней, отдельно поставленной нам среды, но когда тебя берут за палец и этот палец опускают в газовую горелку, описания сразу кончаются, и возникает выход на постреальность, или внереальность.

Ужас — вариант встречи с огнем, вариант, освобожденный от грубой физикальности. Что такое Ужас? Например, шок от того, что кто-то провел у тебя по спине рукой, когда ты вошел в темную комнату, не ожидая там никого встретить.

Или ты увидел в зеркале в темной комнате какое-то шевеление.

Говорят, Сталин так убил Аллилуеву. Он зашел и увидел, как нечто движется за занавеской. Тогда он, не думая, выхватил пистолет и выстрелил туда три раза, и из-за занавески вывалилось тело его жены.

Вот ужас от встречи с Другим.

Другой является концентрацией и средоточием неведения или отсутствия — то самое неведение или отсутствие, о котором

я сейчас пишу, как о форме описания Зла. Чистое неведение есть Зло. Оно, в принципе, может быть сконцентрировано и персонифицировано, с ним можно встретиться. Это Зло, которое к тебе явилось как Бог, потому что когда мы встречаем текст «Страшно впасть в руки Бога живого», то это есть ничто иное, как встреча с Другим, который выступает как чистое неведение.

Другой есть неведение, есть отсутствующее, есть то, что не существует, но при этом является главным центральным, абсолютно конкретным *здесь и теперь*.

Физиологически это адреналиновый выброс.

Когда дзен-буддисты говорят о достижении сатори, они имеют в виду шоковое переживание адреналина, которое надо разбавить до одного процента, чтобы можно было перманентно его переживать. Если его оставить в том градусе, которым оно является, то человек просто сдохнет через несколько секунд.

Эффект длится долю секунды, поэтому он выживает, переживает этот опыт. Правда, какое-то время трясутся руки, некоторое время он ходит красный с повышенным давлением, но это всё укладывается. Если продлить — человек помрет. Если разбавить, можно ходить в этом подогреве, в состоянии сатори, к которому стремятся дзен-буддисты.

Для Ислама это начальный пункт — и это завершающий пункт для дзен-буддизма. Для Ислама — это просто точка перед началом фразы.

Ужас — именно это, гностицизированный огонь, освобожденный от брутальной физичности газовой горелки. Гностицизированный, потому что имеется в виду встреча — с учетом всей описанной выше метафизики.

Вот четвертый момент.

Тогда это разрабатывалось совсем не так, как мы сейчас это разрабатываем.

Сейчас я вхожу в тему, накидываю для себя концепт, размечаю реперные точки, ввинчиваюсь в вопрос интеллектуальной дрелью.

Тогда я делал это интуитивистски.

У меня был блок «Любовь», «Любовь как экстатическая агрессия». Почему это экстатическая агрессия? Потому что я тогда так чувствовал. Я чувствовал, что любовь — это жертвенность, жажда выплеснуться, но выплеснуться в насилии и в сжигании, которое убивает тебя самого. Поэтому любовь не направлена к объекту, судьба объекта абсолютно иррелевантна. Или, можно сказать, что это такая любовь к объекту, которая рассматривает судьбу любимого как абсолютно иррелевантную. Ты стремишься к смерти, к тому, чтобы задушить в своем внутреннем огне то, что ты любишь.

Дальше идет техника пробуждения. В нас есть внутренний мертвец. Это тоже открывшийся мне визион. Внутри нас есть мертвец, которого надо оживить. Вся посвятительная цель, посвятительная практика в моем контексте — это оживление внутреннего мертвеца. Внутри нас не должно остаться ничего мертвого, ничего спящего.

Но как оживить внутреннего мертвеца? С помощью боли или с помощью секса. Женщина есть внутренний мертвец, выведенный наружу, которого ты встречаешь как объективированную икону твоей смерти. Ты носишь ее внутри себя как свою смерть. Даже не как смерть — как гибель, потому что смерть — это сознание. Смерть — это сознание, заключенное в тебя, пока еще твое тело не распалось, как зеркальце, спрятанное в карман, перестает давать блик. Пока оно дает блик, это та же смерть, которая наступит, но она ограничена проекцией зеркальца. Оно дает блик — сознание работает как отражение, как оппозиция. На темной шершавой стене, покрытой цементной шубой, появляется блик, оппозиция. Это и есть сознание.

А женщина — это гибель. Ты носишь эту гибель внутри себя, и ее надо оживить. Надо оживить либо внутреннего мертвеца без женщины, либо оживить женщину, которая является твоим внутренним мертвецом. И это особая форма секса. Ты спишь с женщиной как с мертвецом, как с трупом, таким образом, что это становится магическим вызыванием ее к жизни, она должна проснуться к жизни.

Но это, конечно, освобождено от таких сопутствующих вещей, как зачатие и рождение.

На меня оказали влияние три больших автора.

Юлиус Эвола с его книгой «Метафизика секса»¹⁸³, которую я прочел по-французски. Потом эта книга, к моему раздражению, появилась в переводе Ванюшкиной, полусумасшедшей пивной нацистки. Она знала итальянский и французский и напереводила очень много сакральных европейских текстов.

Вторым автором был Густав Майринк¹⁸⁴, о котором мы поговорим поподробнее.

Корпус работ Майринка об эзотерическом соитии, пиромании Мириам, описанной в «Големе». Мириам, дочь раввина Гиллеля, являющегося полюсом чистоты еврейства. Инфернальная сторона еврейства — Вассертрум, а ангелическая сторона еврейства — рабби Гиллель. Его дочь Мириам ждет смерть в пламени.

Третьим для меня был Гёте. «Sagt es niemand, nur den Weisen...», «Всё живое я прослаблю, что стремится в пламень смерти»¹⁸⁵.

Когда я был сторожем при гараже на ипподроме, куда меня устроила мама в 1974 году, если не ошибаюсь, я изучал «Golden Federn», «Золотое перо» — сборник классических немецких поэтов. Мне попались эти строки, и они настолько показались мне изошедшими из моего сердца, что стали общим фоном. Эволу или Майринка я воспринимал через призму Гёте именно с позиции вот этих строк. Строк такой отчетливой чистоты у Гёте не так уж много.

Я подразумевал нечто свое, но импульсно это были блоки текстов, встреченные мною в «Големе» и в «Метафизике секса». Но это всё было изменено глубочайшим образом. Потому что в тех книгах не было пробуждения женщины или пробуждения внутреннего мертвеца, когда никакой сырости, никакой внутренней тьмы, ничего, что является абсолютно пассивным и абсолютным отрицанием фундаментального утверждения, в тебе не остается. Ты становишься черным светом. И тот черный мрак, бывший ночью гибели, становится черным сиянием.

Я разрабатывал этот эзотерический путь посвящения, и в «Ориентации — Север» он, в принципе, прописан. Но там это

не сказано явно, книжка действует подразумеваниями.

Почему она так сильно действует на людей, что ее помнят до сих пор? Многие даже не знают, что я делал что-то, кроме этого, многие думают, что моя жизнь — только я и «Ориентация — Север». А дело в том, что она действует подразумеваниями, а не дискурсивным раскрытием.

На этих нескольких подразумеваниях стоят все 1800 тезисов. Не все они хороши стилистически. Некоторые, может быть, слишком громоздки, некоторые искусственно делятся надвое. Есть один тезис, но, чтобы выдержать графический и математический ритм, его приходилось делить надвое и менять чуть-чуть синтаксис.

Шла такая работа.

В «Ориентации» я изложил суть моей метафизики в том виде, как она отложилась на тот момент во внутреннем восстании против всех тех систем, с которыми я имел дело в течение своей жизни: против немецкой классической философии, против школы традиционализма в лице Гегеля. Против имманентизма, пантеизма, космизма, против целостного классического мировоззрения, составляющего сущность европейской мысли от Сократа до Ницше во всех ее вариантах.

Конечно, на тот момент в книге было много субъективистского. Например, такие темы как «Ярость», то есть какие-то моменты, связанные с состояниями существа.

Но главной темой было, что всё существующее есть некое универсальное вселенское мнение или описание, за которым не стоит никакой безусловной независимой утвердительности и никакой истины, никакой подлинности.

Это есть не более, чем мнение.

Пусть даже это будет универсальное соборное мнение, сумма всех мнений, финальное мнение всего обо всём, всего о самом себе, которое следует взорвать, — это мнение ничего не стоит.

И главным моментом было то, что есть Абсолют, но он ложный. Абсолюту противостоит Иное, выражающееся в том, что оно не является сущим, оно не причастно сущему, оно таково, что, с точки

зрения сущего, его абсолютно нет. И именно это является модусом его утвердительности, его безусловности, его сверхценности.

Мой близкий в последующие годы друг Ахмад-кади Ахтаев¹⁸⁶, амир Исламской партии возрождения, которому я дал почитать эту книгу, сказал, что это совершенно мусульманская книга, написанная немусульманским языком.

Забавно, что такие персонажи, как Силантьев¹⁸⁷, очень любят обращать внимание на главы «Фаллос», «Вагина», и что это скандал. Наличие таких глав-де есть вызов всему человечеству, это недопустимо.

Эти люди просто не знают, что в фикхе есть гораздо более нелицеприятные, с точки зрения пуританского чувства приличия, детальные описания, касающиеся полового акта, потому что там всё имеет правовой характер, и физиология полового акта описана в деталях. Так что мусульманина, знакомого с шариатом, выросшего в исламском правовом пространстве, физиологические моменты не могут шокировать.

Ахтаев даже не заметил, что в моей книге что-то такое есть.

Это деталь, говорящая о некой несовместимости ментальных установок у так называемых «исламоведов» и у реальных мусульман.

Конечно, есть мусульмане, ничего не знающие об Исламе, но воспитанные под покровительством исламской матрицы с ее чувством греха, чувствами приличия, и, возможно, для них тут существуют какие-то проблемы. Но когда я познакомился с корпусом шариатского права, на некоторых главах мне икалось. Да, есть там от чего покраснеть матерому, испытанному в любовных боях мужчине.

Но такая религия, как Ислам, не имеет чувства стыда. В этом отношении она подобна медицине.

Суммируя, как я сейчас вижу, «Ориентация — Север» явилась моим разрывом с генонизмом и с Гегелем. Номинально я порвал с ними в 1968 году, но реально это произошло через 11 лет в 1979.

«Ориентация — Север» стала манифестом выхода из постмодернизма.

Это был шаг по ту сторону постмодернизма как уничтожения нарратива и ликвидации великих топик.

Это было утверждение того, что нет ничего, кроме трансцендентного, но парадоксальным образом. Трансцендентное бралось здесь как абсолютно *иное*, и задача только состояла в том, чтобы снять дуализм между *этим* и *тем*.

Потому что *то* должно оставаться необремененное *этим*, оно не должно определяться как *иное*.

Иное несет на себе печать как *иное* по отношению к чему-то. Оно должно быть иным *par excellence*, *иным* в независимости от того, есть ли нечто, от чего оно отталкивается.

Это идея абсолютно *иного*, необусловленного *иного*.

Я шел именно к этому.

Там решалось много попутных проблем.

Надо сказать, что это были тезисы. Предполагалось, что каждый тезис я разовью в небольшую колонку или статью, эссе. И вторая книга предполагалась.

Но после первой меня арестовали.

Арест. Дугин

Мы закончили эту книгу, и я собирался поехать в Таджикистан с Жигалкиным. Мы даже купили билеты. 1980-й год, август, перед Олимпиадой. Но я был арестован, и Жигалкины поехали без меня.

Меня задерживали глубокой ночью, под утро. Я лежал на своем поролоновом тюфячке и читал взятую у Юрасовского книжку на английском языке некоего Леонарда Шапиро¹⁸⁸ — «Totalitarianism». Тонкая, но большого формата, А4. Я читал ее с огромным интересом. Во введении автор рассуждал, что тоталитаризм изобретен Муссолини, который первый сказал, что мы создали тоталитарное государство.

Далее следовали дистинкции между тоталитарным и авторитарным государствами.

И вдруг дверь слетела с петель — просто, без предупреждения. Они подкрались, входную дверь им открыл сосед, а когда оказались напротив моей комнаты, они вышибли дверь страшным ударом, как мы видим в фильмах про спецназ.

Они сразу навалились на меня, а я и так лежал на животе носом в книгу. И когда меня взяли и утащили, моей единственной мыслью было, что же станет с книгой. Надо помнить, что это 1980-й год. Такие книжки были дороги и редки. Это был дефицит, привезенный из Штатов каким-нибудь дипломатом. Где его возьмешь? Что с этой книжкой стало, я не помню. Не исключаю, что она пропала.

И пока Жигалкины были в Таджикистане, я сидел в тюремном отделе «Кашенко»¹⁸⁹, где гэбня меня мучила и допрашивала на темы «фашистской организации», «Черного ордена СС»¹⁹⁰, связи с границей, планов использовать Олимпиаду для установления каких-то контактов или каких-то провокаций. «Ориентацию — Север» они еще не прочитали. Она тогда находилась в состоянии подготовки к печати в самиздате.

В общем, меня выпустили дней через 40. Но существенно помучили.

До этого я подвергался четырем или пяти арестам. В каждый арест меня пытали сульфазин¹⁹¹ом — персиковое масло с серой, это средство придумано в Райхе.

Мне говорили:

— Вот вы фанат Райха. Мы будем знакомить вас с некой эссенцией, которая составляет суть вашей любви, вашей связи, вашей ностальгии. Это персиковое масло с серой. Сера здесь — инфернальный аспект, а персиковое масло — для юмора.

Если кому покажется, что дискурс для гэбни слишком сложный, то я напомню, что это были гэбэшные психиатры — у них юмор был.

Надо сказать, невероятно мучительно, когда тебе вкалывают в одну точку сульфазин. Ты просто лезешь на стенку, у тебя затвердевает это место, и ты не можешь никак лечь: как бы ты ни лег, страшно больно. Боль как от удара ломом — тупая звериная боль. Мне вкалывали в четыре точки — под лопатки и в задницу. А это означает, что ты находишься в полном аду. И еще, чтобы не вертелся и не пытался облегчить свое поражение, тебя прикрепляют вязками к кровати.

Там я испытал на себе ощущение боли, что мне помогает сегодня, потому что трудно сказать, что круче — самые острые моменты за последние три года похожи на те. Только там 12–18 часов и проходит, а здесь это длится и не проходит.

Но я вышел и поехал на дачу в Клязьму к Сереже с Наташей (Жигалкиным), которые уже вернулись со своих кайфов. Там, как всегда, самовар. И сидит юный Дугин, пришедший знакомиться со мной. Это был сюрприз.

Он, оказывается, уже года три слышал обо мне и Головине, мечтал с нами познакомиться. Тогда ему было 18 лет.

Когда незадолго до нашего расставания мы совершили с Катей Подольцевой переход из Алма-Аты на берег Иссык-Куля и еще две недельки жили на берегу, с нами была небольшая компания — Рокамболь Сергей¹⁹¹, его тогдашняя жена Марина, отец этой Марины, Митя Шехватов, Лена по кличке Зеленая, тогда 18-летняя хиппушка.

Митя Шехватов дружил с Жигалкиным. У Мити была дача рядом с дачей дяди Дугина, где Дугин отдыхал. Митя был его старшим товарищем, который строил его. Митя учил юного Дугина с 15-ти лет, что есть большие люди: есть Головин, и есть Джемаль. Они — огромные. И если ты будешь себя хорошо вести, то, может быть, я тебя с ними познакомлю.

Я захожу и вижу, что на лавке, в предбанничке, сидит молодой человек, очень толстый, сравнительно высокого роста, килограммов 120–125 весу, в майке, с бритой головой. Голубые безумные глаза, как у палача в «Елифанских шлюзах»¹⁹². И одет он кроме майки в солдатские шаровары и шлепанцы на босу ногу, а шаровары подвязаны завязками. Я понял, что это такой хипстерский прикол, что человек как бы бросает вызов общепринятому.

Он обратился ко мне:

— Я — фашист, я вижу в вас фюрера. Я хочу следовать за вами. Мы будем всех вешать.

Мы идем в сад, весь в зелени, с клейкими листочками. И он говорит:

— Что вы мне посоветуете? Что мне делать?

И я ему ответил:

— Учить языки.

— А с какого языка начать?

— С французского, только с французского. И надо читать Генона. Это непревзойденная школа мысли. Ну и к тому же это ключ ко всем мировым метафизикам, ко всем мировым традициям и цивилизациям.

И он взялся за это дело так рьяно, что через несколько лет знал языков пять или семь. Кстати, когда он начал учить французский, буквально через год он стал мне присылать письма по-французски и писать статьи по-французски. У меня глаза полезли на лоб. Единственное, что у него все мужские артикли были с женскими словами, а женские артикли с мужскими.

Он год проучился в МАИ, закончил первый курс и бросил. Потом опять поступил туда же и опять бросил.

Он занимался языками. Он же дико способный парень, в том числе и к языкам. Писал статьи по-французски, «Молния не заставит себя ждать», что-то такое. Статьи он писал в стол. Мне присылал. Я их читал, потом мы созванивались и их обсуждали.

1980-й год, мне 32, а ему 18. Это перечеркивает домыслы, что Дугин был частью Южинского пространства. Только виртуально. То же самое и с «Черным орденом СС» — он был разве что виртуальной ячейкой этого ордена.

С Дугиным началось новое интеллектуальное общение.

Я учил его, развивал. Я раскрывал перед ним картину, мы разговаривали. Он выучил французский язык, начал на нём читать книги. Он проштудировал всего Генона за год и стал иступленным фанатом Генона, не подвергающим сомнению ничего. Но он был не слепым фанатиком, а человеком, который въедливо хотел раскрыть внутренний смысл каждой фразы и каждого указания. И мы находились в постоянном режиме дискуссии.

Но это уже всё потом, а пока что после вот этой встречи я собрался и, несмотря на позднее время, несмотря на начало осени, взял и злобно поехал туда, где только что побывали Жигалкин с Наташей.

Жигалкины в Таджикистане встретились с человеком, сыгравшим в последующем некоторую роль, — с неким Каландаром. Встретились они с ним в Фанских горах. Взяли у него адрес в Душанбе и дали этот адрес мне.

С этого начинается совершенно новая эпоха, новая глава в моей жизни.

Водоразделом становятся четыре элемента: расставание с Подольцевой как окончательное закрытие предыдущей жизни, из которой меня вывел за руку Степанов, а потом Женья Головин закрыл эту тему вместе с собой, уведя Подольцеву из моей жизни; написание «Ориентации — Север» при секретарской поддержке Дудинского;

арест и пребывание в пятом корпусе Кащенко; встреча с Дугиным как с юным учеником.

Эти четыре момента, отнюдь не равноценных, но перекликающихся, собрали кватернер, образовавший ступеньку, с которой я перешел к следующей главе моей жизни, называющейся «вхождение в исламское пространство», и путь внутри практического суфизма, путь внутри исламского движения Сопротивления Абдулло Нури¹⁹³.

Тамам¹⁹⁴.

Душанбе. Каландар

Из «Кащенко» я направился в Таджикистан. Я отправился туда один, без моих тогдашних друзей, что стало providенциальным, правильным поворотом событий, потому что, если бы поехал в компании, я бы никогда не пережил моментов, предопределивших мою дальнейшую судьбу.

Ехал я на поезде с дешевым билетом, наблюдая за страной, разворачивающейся по обе стороны от железнодорожного полотна, покупая вяленую и соленую рыбу на станциях.

Как всегда, проезд по стране и взгляд на ее пейзажи и на ее население не внушали особой эйфории. Я не чувствовал никакой симпатии к этому пространству, пока не доехал до среднеазиатских территорий. Там я ощутил свою глубокую сродственность с этим пространством.

Это был первый раз, когда я поехал в Таджикистан — 1980 год. До этого я уже побывал в Алма-Ате, совершил переход сквозь заросли на склонах Тань-Шаня, восьмидесятикилометровый переход на берег Иссык-Куля. Но это всё было не то. В тот раз со мной были посторонние люди. К тому же Кыргызстан не обладает тем сакральным вкусом, как Таджикистан, Памир. Хотя Иссык-Куль я очень люблю.

В Душанбе я направился по адресу на улице Клары Цеткин за известным всему Душанбе гастрономом «Гулистон». Город маленький: можно проехать на автобусе или на троллейбусе за полчаса или минут за сорок от поворота на аэропорт до вот этого «Гулистона». Там я прошел пешком вглубь дворов, отходящих от центральной магистрали, за цирком. Четырехэтажные многоквартирные советские блочные дома, от которых исходило бы мрачное уныние, если бы они находились не в Душанбе.

Но Душанбе искупал абсолютно всё.

Перед подъездами сидели местные пенсионеры, внимательно оглядывавшие всякого входящего. Уже шла война в Афганистане, туда был введен «ограниченный контингент», и Таджикистан считался

прифронтовой полосой. Я как-то это особенно не брал в расчет, у меня тогда преобладало наивно-прекраснодушное, я бы даже сказал, расслабленное отношение к ситуации.

Я поднялся на второй или третий этаж, и мне открыл дверь полуголый человек с огромной бородой по середину груди, с правильными чертами лица, которые портил немножко безумный вид и совершенно сумасшедшие глаза.

Даже в его сумасшествии от него шла такая фальшь, как будто он играет сумасшедшего в провинциальном театре или на каком-то утреннике в любительской постановке. Меня, как человека опытного в вопросах сумасшествия, прошедшего большой путь, изучая сумасшедших с 1967 года непосредственно, можно сказать, работавшего неформальным психиатром, его поведение не обмануло.

Я понял, что этот человек является законченным, сложным и хитрым психопатом. Я представился другом Жигалкина. Тот, замаявшись и поломавшись несколько секунд, сделал вид, что вспомнил, и пропустил меня внутрь.

Это была совершенно бомжовая люмпенская квартира с крайне бедной обстановкой и следами маргинального существования. Но у него оказалась очень интересная, очень приличная и яркая жена, которую звали, кажется, Надя.

Каландар¹⁹⁵ — это кличка. А так его звали Володя Иващенко. Он родился в Таджикистане, происходил из казаков. Он был местным уже в третьем поколении. Его прадед пришел в Таджикистан со своей семьей году в 1890, и его родители родились в Таджикистане. Он был глубоко местным и принципиально отличался от всех остальных русских в своей модели отношения к таджикам, таджикскому пространству. Он был или пытался быть частью этого пространства. Он очень любил традиционный аспект вроде всяких дедушек. Меня он сразу назвал «дядя шейх».

С самого начала наши отношения сложились очень странно. Он стал пробовать на мне свои психопатические заходы. Надо сказать, что он был художником. Он закончил, или не закончил, художественное училище в Душанбе.

Его жену все называли по кличке Кая. Вновь приезжие считали, что это ее корейское имя. Но у советских корейцев корейских имен не бывает, зато у них встречаются экзотические русские имена, особенно у женщин. Можно, например, встретить Марфу, Пелагею — они все крещеные. И поскольку у них нет ощущения доминирующего паттерна, ощущения родины, они все называются странно. Если вы попадаете на корейское кладбище, то вы встречаетесь с Фёклами и Пелагеями, которых больше нигде не найдете.

Красивая, тоже выпускница художественного училища в Душанбе, со студенческих пор любила Каландара. У них было двое детей, только что родился второй. До этого у него была предыдущая жена, якобы выбросившаяся с балкона той же квартиры.

Причем мне это всё подробно рассказал в лицах сам Каландар: как он шел от «Гулистона», от остановки, этим двором, а там проход к подъездам расположен так, что балконы выходят на ту сторону, которая со двора не видна. И вот что-то заставило его заглянуть за угол. Он подбежал, потом поднял крик, но она уже умерла. Он вывел меня на балкон, показал, откуда она кидалась.

Вся квартира была завешана его картинами. Я бы не назвал это мазней — скажем, провинциальное подражание Рериху, но со своими тараканами. В основном изображение гор со светотенями, намекавшими на проступающие физиономии, на игру пятен, образовывавших какие-то лики. Его картины оставляли тяжелое впечатление. Он полагался больше на яркие контрастные цвета, скалы и снега.

Каландар был большой ходок в горы. Поскольку он являлся психопатом, усидчивостью он не отличался. Пока он находился у себя в квартире, он изнывал и безумствовал от того, что ему хотелось в горы. Он собирался и быстро бежал туда. А когда он оказывался в горах, то начинал сразу думать о жене и детях...

Таджикистан. Расщелина. Олим Назри. Хазрати Бурх. Атола. Terra Foliata. Аманаты

Когда я там появился, был октябрь. А октябрь — уже не горное время. И я Каландару говорю:

— Вообще-то, я приехал, чтобы пойти в горы.

А Каландар долго мне показывал свои картины, внимательно следил за моей реакцией. Безумие его проявлялось в том, что он начал приставать к мне, что я являюсь колдуном и оказываю на него психическое воздействие. Я понял, что спорить бессмысленно, потому что ему нужно, чтобы я был колдун. Ну, колдун так колдун.

Я ему говорю:

— Давай, едем скорее.

Он сказал:

— Ты знаешь о Хазрати Бурхе, о его мазоре¹⁹⁶?

Это одно из самых святых мест для суфиев Таджикистана. В советское время ходила такая байка, что, если сходить семь раз в зиярат к Хазрати Бурху, это будет равно одному хаджу.

И мы вышли на дорогу...

Если ты хочешь в горы, то выбираешься на восточную окраину Душанбе, на трассу, которая ведет в сторону Хорога, Памира, Бадахшана. Большая трасса, по ней гоняли дальнобойщики. И ты там стоишь у обочины, голосуешь.

Мы вышли с рюкзачками. Кто-то нас игнорирует, проезжает мимо, кто-то говорит, что едет только до Обигарма. Но как-то удалось доехать.

По дороге Каландар нес агрессивно-депрессивную хрень. В какой-то момент пришлось сойти и пересесть на узик или газик и двигаться дальше, мимо Комсомолабада¹⁹⁷ в сторону села Тавилдара, от которого начиналось ущелье Вахиё, где находился мазор.

Там со мной произошло удивительное событие, изменившее мою жизнь, ставшее совершенно необычайным фактором, повлиявшим на меня радикальным образом. С этого для меня началось новое время.

Я впервые увидел гигантские объемы Памира. Это еще была трасса. Справа простирались бездонные пропасти, ревел Варзоб.

Мы ехали, и вдруг я увидел слева... А там шла сплошная каменная горная стена, вдоль нее плечо с шоссе, по которому мы двигались, далее обрыв вниз — и Варзоб.

И вдруг я увидел расселину, от нее шла долинка, и эта долина была как будто другим пространством. Мы быстро ехали, но тем не менее у меня запечатлелся этот образ. По долине тек ручей, извилисто сверху вниз, и над ним стояло дерево с кроной. Возле него сидел мальчик, он набирал воду в кувшин. Когда я это увидел, внезапно мою душу охватило такое ощущение благодати и счастья, покоя, как будто я вошел в райское пространство. Я даже не успел понять в чем дело, мы уже проехали.

Забегаю вперед, скажу, что я потом много раз проезжал этим путем и проходил раз за разом пешком это место — я примерно заметил, где это было. Там дальше в стене имелась ванночка, куда выходила труба с краником, из нее в небольшой бассейн капала вода. Можно было напиться, сделать тахарат (омовение). Я отметил это. Я прошел вдоль этой стены, просто щупая ее, ведя по ней рукой — никакой расщелины. Сплошная стена, причем даже подозрения не возникало на возможность расщелины: просто каменный скальный массив.

И я, конечно, вспомнил и «Зеленую дверь» Уэллса¹⁹⁸, о том, как герой единственный раз очутился в саду, где его охватило неземное блаженство... А потом он ушел, потому что ему надо было куда-то, и всю жизнь он искал эту зеленую дверь, ходил мимо стены, и никогда эту зеленую дверь больше не встретил.

И вот я увидел эту расщелину, и потом много раз я проходил, ведя рукой по этой стене, и не нашел даже малейшей трещинки.

Там, где этот мальчик набирал воду в кувшин, сидя под кроной дерева, был другой свет, свет другого измерения.

Потом я понял, что увидел Махди, потому что Махди является некоторым, чтобы оказать им помощь. Как правило, это 12–14-летний юноша, реже 16-летний. Он является человеку, засыпающему в мечети: тот просыпается и видит юношу, выглядывающего из-за колонны или проходящего мимо.

Но я увидел его в таком облики.

Мы поехали дальше, и я, конечно, сохранил в тайне это впечатление, но моя душа наполнилась неизъяснимой силой, неизъяснимой благодатью и чувством посвященности. Я понял, что прошел порог, перешел на другой уровень духовной реальности.

Мы доехали до Тавильдори, спустились и пошли пешком вверх по долине Вахиё. Дошли до моста напротив Сангвори Боло, т. е. верхний Сангвори. Сангвори означает «Каменное», то есть село «Верхне-Каменное».

Там жил Олим Назри, странноприимец. Его, конечно, поставила советская власть не просто следить за водой (официально он мерил уровень воды в реке Киргизоб). Непыльная работенка, но, я думаю, он был связан с КГБ. Просто это понятно. Ему было за 40. Семейный, с несколькими детьми. Ходил он в рваном халате. Но его неформальная функция — почему я говорю, что он был кэгэбэшник, — состояла в том, чтобы принимать паломников, давать им переночевать перед тем, как перейти мост в Сангвори Боло.

А там какие мосты? С помощью трактора через пропасть натягивались стальные тросы, и они закреплялись за валуны. Под валун мощно вбивались ломы, державшие этот трос натянутым в предельном состоянии. Он, конечно, всё равно прогибался, идти по нему было далеко.

Так вот, два троса, на них кладутся доски, закрепляются проволокой, ну и третий трос брошен сверху как перила. И длиной он будет метров 50. Ступаешь на это сооружение, на эти два троса, они под тобой ходят ходуном, а внизу метров 30, как хороший многоэтажный дом. Внизу ревет вода Киргизоба, играющая булыжниками величиной с «Жигули» — они подскакивают, как бильярдные шары.

Когда я родился, у меня было кровоизлияние в мозжечок. И поэтому с момента рождения у меня были большие проблемы с высотой. Я испытывал головокружение от высоты и физиологический страх. У меня был такой эпизод, когда мой соседский друг Саша Козьменко заманил меня в разрушенный многоэтажный дом, где не было полов, только перекрытия и обваленные лестницы, и там он предлагал пройти по перекрытию сантиметров 30 ширины. Сам он перешел, и говорит: «Иди сюда». А меня просто парализовало. Но я же не буду ему объяснять, почему. Нам тогда было по 10–12 лет. Да я и сам тогда не знал толком, почему я так переживаю высоту.

И вот в горах я победил этот страх. Даже два страха. Еще у меня был страх глубины. Я смертельно боялся отплывать на глубину, превышавшую мой рост.

Я прошел по этому мосту. Впоследствии я легко ходил по таким мостам, и более длинным, и хлипким, да еще с тяжелым рюкзаком. Ходил даже по канату, держась за другой канат и передвигаясь боком, как рак. В горах это обычное дело.

В одну из наших вылазок позднее Валера Блинов на месте, которое нам казалось совершенно ровным, падает на четвереньки и с круглыми глазами начинает ползти. А там просто склон и тропка едва заметная, но вполне достаточная, чтобы идти.

Мы остановились с Сережей Жигалкиным и спрашиваем его:

— Валера, что с тобой?

А он даже слова сказать не может, потому что то, что для нас просто тропка, для него космическая бездна, как если бы он вышел в открытый космос с «Аполлона» и с круглыми глазами смотрит на сияющие светила. Такое бывает с людьми.

В 1985 году мы ходили с Валерой Блиновым в горы. Он очень много снимал.

Потом он устраивал в Серебряном Бору на французской даче показ.

Он привез с собой из Парижа складную палатку, умещающуюся в зелененькую колбаску, и ледоруб, который стоит в углу нашей прихожей. У него сейчас истерлась резина с рукоятки, и вообще он погнулся.

Вся парижская горная экипировка досталась мне.

Этот ледоруб спас жизнь Гюле.

На следующий год мы поднимались по почти вертикальной стенке, я шел за Гюлей. Она соскользнула и стала падать вдоль стены прямо мне на голову. Я выставил вперед ледоруб... За секунду до этого я не знал, куда делать следующий шаг, держался как муха. И вдруг она летит на меня, и я стал как бы частью этой стены — как каменный. Она со страшной силой обрушилась ногами в подставленный мной кетмень. У нее от удара посинели ноги, она же пролетела метров 15. У нее погас свет, и отключился звук. Ее полчаса колотил озноб. У меня был такой выброс адреналина, что я не заметил удара. Вот этот ледоруб спас ее.

Я переломил себя в 1980 и перешел через первый свой мост. Он упирался в площадку, от которой шла тропка, и по ней надо было забраться на довольно высокий берег. Мы поднялись, и нашему взору открылись поля, засеянные ячменем, и сакли, саманные домики.

Олим Назри дал нам возможность отдохнуть и поесть и вкратце рассказал какие-то байки про этот мазар.

Мне так и не удалось выяснить, что это за фигура Хазрати Бурх, к чему он относится, когда он жил. Но местное население было погружено в гештальт, в котором этот Хазрати Бурх был современником Моисея, но как бы вне времени. И он был любимцем Всевышнего.

Одна из сильнейших запомнившихся баек — о споре Хазрати Бурха и Аллаха.

Спор был по поводу того, что не должно быть Ада.

Хазрати Бурх говорил:

— О, Аллах, Ты создал совершенное творение, но в нем есть Ад и мучения, и это огромный изъян, это язва. Раз есть Ад, то лучше бы

Ты вообще его не создавал. Оно стало бессмысленным. Ты должен Ад закрыть.

— Нельзя, — отвечал ему Аллах. — Потому что это наказание для грешников, для неправедных.

— Нет, этого не может быть, потому что наличие наказания создает неправедных. Не наказание существует для неправедных, которые сначала грешат, а потом подвергаются наказанию. Сам принцип наказания порождает тех, кто потом под это дело подходят. Закрой — и тогда не будет грешащих.

Всевышний отказался выполнить просьбу Хазрати Бурха. И тогда Хазрати Бурх обиделся, повернулся и ушел. Сказал, что больше разговаривать со Всевышним не будет. Но Всевышний так любил Хазрати Бурха, что отправил за ним вдогонку Хазрати Мусу, поручив ему вернуть Хазрати Бурха.

Муса догнал его и говорит:

— Ну нельзя же так. Ты же всё-таки с Богом говоришь. Ты чего вообще?!

— Нет, если внутри творения будет Ад, то я не разговариваю с Творцом. Не должно такого быть.

Муса его уговаривал и убеждал, не мог же он вернуться, не исполнив повеления Всевышнего. Умолял-умолял... Тогда Хазрати Бурх вернулся к Творцу и опять спрашивает:

— Ну что, не закроешь?

— Давай договоримся так, — отвечает ему Всевышний. — Я буду его закрывать один раз в ...

И дальше назвал какой-то день, в пятницу, допустим, какого-то месяца. Тогда Ад будет закрываться и творение будет становиться абсолютно совершенным, без Ада, все будут выпускаться, но только, допустим, раз в году. Или раз в 10 лет. И Хазрати Бурх был вынужден согласиться, нашли компромисс.

Эти люди, всё это рассказывавшие, не знали, когда жил Моисей. При этом они говорили «послал Моисея». Они не знали, что Муса жил

за 1300 лет до рождества Христова. Для них всё было вневременно, события с Хазрати Бурхом происходили в виртуальной вневременности, как мифы Древней Греции. Вечная коллизия между архетипическими фигурами.

Про то, как этот мазар открылся, также ничего конкретного узнать было нельзя.

По другой легенде, охотник заснул, потом его змея укусила, он нашел кувшин и т. д. Я не очень хорошо помню. Якобы 100 или 150 лет до этого.

Но концов нельзя найти в принципе.

Есть только мазар, который любил весь Таджикистан, и туда шло паломничество. В летние дни до 70 паломников проходили через Олима Назри, и каждого он как-то привечал, кормил, оставлял ночевать.

Каждый ему оставлял какие-то деньги. Олим Назри, возделывавший к тому же свои поля с ячменем, был рублевым миллионером. А тогда рубль стоил дороже доллара. Но ходил он в рваных халатах. Когда его бритоголовые дети приносили нам чай с сахаром, они смотрели голодными безумными глазами на этот сахар, как на высшее лакомство, не смея до него дотронуться. Они были одеты в старые рваные сержантские мундиры Советской армии со споротыми погонами, совершенно заношенные, нищенские. Питались они черствой лепешкой и чургот (типа мацони), сахар для них был суперлакомством. Мы им потихоньку давали этот сахар, чтобы отец не видел.

Мы переночевали у Олима Назри и пошли дальше. Сначала по лугу с высокой травой, мешавшей идти. Луг сокращался-сокращался, образовалась тропа между пропастью и каменной стеной. Сомневаюсь, что там прошел бы осёл, хотя говорят, некоторые ослы проходили.

Мы шли, я держался за стеночку, и вдруг эта тропка привела нас в удивительное пространство.

Это был второй удар после мальчика с кувшином.

Я напомним, что стоял поздний октябрь. Уже шли дожди. Где не было камня, там краснозем уже плыл.

И вот — гигантская береза, а вся площадка под ней усыпана желтыми листьями. Местная горная береза по-таджикски называется «тѹси» (тѹс). Эта береза была такой, что на ее срезе могла бы разместиться небольшая комната — метра 3–4 в диаметре. Она, конечно, была высокой, но по сравнению с чудовищностью ее толщины это было не особо заметно. Высотой она была метров 20. Самым замечательным была ее крона, от самого дерева исходили стволы по полметра. И эта крона накрывала всю поляну сверху. А поляна была приблизительно сотку или две. И на этой поляне сбоку стоял маленький глинобитный мазар, на самом краю пропасти.

Край уже осыпался, глинобитный мазар был стянут с помощью каких-то невероятных ухищрений стальным канатом, удерживавшим его от того, чтобы не рассыпаться. Купол у мазара из листового железа, из жести, ослепительно сверкал белым серебряным светом.

Ощущение было совершенно потрясающим от этого дерева, от этого стянутого канатами глинобитного сооружения.

Мазар длиной метров пять, шириной метра три, с маленьким условным минаретом, поднимавшимся башенкой. Он тоже был перевит канатами. Рядом хибарка, сарайчик, внутри которого хранились керосиновые лампы, соль, спички, чуть-чуть керосина, мука и замшелые черные казаны.

Я там помолился, что для салафитов было бы просто предельным вызовом, шоком и оплеухой — молитва на мазаре. Но для меня мазар играл совершенно специфическую роль. Это был визит к тайне и внутренней сущности смерти. Это не был визит к святому, тем более какому-то «вечному» святому, тем более не к тому образу, центру, излучающему баракат и могущему чем-то помочь.

Это был визит к *центру*, в котором концентрируется смерть как *здесь-присутствие* черной ночи, присутствие чистого негатива, находящегося по ту сторону всяких сравнений, аналогов.

Смерть как знак Бога, вот здесь она концентрируется, на мазаре, который не является простой могилой.

В простой могиле лежит человек погибший, а не умерший. В «Ориентации — Север» я написал, что есть абсолютная разница между гибелью и смертью. Гибель — это разрушение феномена извне, а смерть — это то, что приходит изнутри, обнаруживает себя изнутри, потому что смерть — это сознание, в отложенном виде являющееся смертью. Пока еще человек не умер, смерть — это его сознание, его *здесь-присутствие*. Смерть — это *неподобие* ничему. Она работает как сознание, будучи помещенной в пока еще действующее тело.

Мазар был для меня центром смерти, но при устранении человека, когда смерть обнаруживала себя в своем чистом виде, безотносительно к тому, кто умер.

Я был настроен и воспринимал эти места вне того контекста, в котором ваххабиты или суфии их воспринимают.

Мы помолились, хотя я не знаю, молился ли Каландар на самом деле. Он делал вид, что тоже молится, у него была какая-то нью-эйджевская идея подключения к каким-то энергиям.

Потом нам захотелось есть, мы развели костерок, поставили казан и стали готовить атолу.

Атола — мучная похлебка, главная еда таджикских дехкан. В раскаленный казан ты сыпешь муку, начинаешь растирать ее по горячей поверхности без соли и масла. Мука становится коричневой, и ты чуть-чуть подливаешь воды. Когда эта штука превращается в клейкую липкую массу, ты опять подливаешь немного воды, опять мешаешь. В конце концов ты доводишь это всё до похлебки и ешь. Просто мука, обжаренная в казане и разведенная с водой.

Я честно скажу — это посвятельная еда.

Это еда, вкуса которой я не помню, но я знаю, что это был вкус неба, вкус Рая, потусторонний вкус.

Но самым мощным ударом, самым страшным в позитивном плане моментом было то, что я вдруг осознал, что нахожусь на поляне, усыпанной в несколько слоев золотыми листьями.

Дело в том, что я прошел большую школу герметизма, я знал, что такое Terra Foliate, земля, усыпанная листьями, — тема, присутствующая у определенной школы герметиков. Это попадание в другое пространство, характерной чертой которого являются золотые листья, покрывающие землю. Есть такое изречение, встречающееся, кажется, у Роберта Фладда¹⁹⁹: «Тот, кто знает Terra Foliate, может забросить все книги, а тот, кто не знает Terra Foliate, никогда не научится читать»²⁰⁰.

И вдруг я осознал, что нахожусь на этой Terra Foliate, которая для меня всегда была метафорой.

Вот она, реальная Terra Foliate, рядом с этим мазаром, под этим невероятным фантастическим деревом, ничего подобного которому я не видел.

Вот эти два момента соединились.

Когда я увидел мальчика в расселине, я еще не знал, что я эту расселину не найду, что ее нет. И вот эта поляна с деревом и с этим мазаром...

Я зашел внутрь. Там была гробница около шести метров длиной и двух шириной. Она была покрыта белой тканью. Я прочитал Фатиху, на коленях произнес дуа.

Когда мы шли назад, меня так переполняли чувства, что я скандировал Фатиху. Я как будто летел по этой тропинке, по которой незадолго до того едва мог ступить, держась за стеночку.

Каландар корчился, его это вгоняло в чудовищную измену. Он шел впереди меня, и его ломало.

Мы возвращались в город. Остальное уже было неважно. Поймали попутки, на перекладных кое-как добрались.

Меня переполняла внутренняя тайна, которую я никому не рассказывал — ощущения от мазара и ощущения от просвета в каменной стене, где мне открылось совершенно иное пространство.

Когда я встречаюсь с концептуальностью mundus imaginalis²⁰¹, знаю, о чем идет речь, я пережил встречу с ним.

Когда это завершилось приходом на мазор Хазрати Бурха, я понял, что я получил посвящение.

Через некоторое время был мой день рождения. Шестое ноября я отмечал на квартире Каландара. Были я, он, Кая и приехавшая из Кургана бабушка Каландара, тихая старушка с большой бородавкой на щеке.

Он сделал шикарный плов.

Кроме художественной школы Каландар еще учился в мореходке где-то в Ростове, причем он учился там на кока. И он действительно обладал большим талантом. Насколько он был плохим художником, настолько он был совершенно гениальным поваром.

Шестого ноября мы сидели на полу, разложив дастархан, бабушка поодаль в некоем подобии кресла, стоял полумрак, нашу скромную трапезу освещала скромная лампа.

Было очень тихо, и даже Каландар вел себя спокойно, хотя он был демоном во плоти. И вдруг я подумал: да ведь мне исполнилось сейчас 33 года.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несусу!²⁰²

Некоторое время я еще пробыл там, а потом, заряженный этим ощущением, уехал в Москву. Но, прежде чем уехать, я должен был взять с собой аманаты, некие залоги. И что это было?

Во-первых, я побывал на странном базарчике через остановку от «Гулистона». Базарчик располагался на пустыре за домами, за невнятной забороподобной преградой. Там продавалось вообще непонятно что.

Я купил там отрез полусинтетического брезента на штаны, зеленого с золотом цвета. Когда этот брезент намокал, он стоял колом.

Но мне он понравился из-за своей плотности. И я решил, что буду носить штаны из этого брезента.

Вторым аманатом стали косы из грубой керамики. Я купил 12, а может быть, даже 24. Достаточно хрупкая, плохо запеченная керамика, раскрашенная традиционными узорами. Белый и черный узор по бежевому фону. Тащить это с собой было мукой мученической, но я всё-таки утащил этот пудовый отрез и косы, каждая в полкило.

Всё это предстояло провезти в поезде, и я провез.

Из отреза несколько позднее мне сшил штаны Гулливер, известный хипповский мастер. Потом Гулливер погиб в горах. Лена Зеленая, которая была с нами на Иссык-Куле, стала после смерти Гулливера подругой Мити.

Лена Зеленая и сейчас есть, она подруга Гюли. Через Лену я отрез сдал Гулливеру, он снял с меня мерку, сшил штаны, я их носил долго, может быть, пару лет. Летом была та проблема, что, когда ты потел, штаны превращались в броню. Синтетический брезент становился подобным жестяному доспеху. Штаны плотно охватывали ноги вверху. Но ничего, мне нравилось.

Носил их только в Москве, в Душанбе не брал.

Я очень долго пользовался этими косами, но потом они мало-помалу побились. Я держался за них, и последняя дожила до конца советской власти, а может даже и перешагнула за 1991-й год, хотя они были очень хрупкими.

Это были два аманата моего первого путешествия в Таджикистан.

1981. Деградация пространства. Дудинский в официантах. Последний год брежневизма. Выход «Ориентации — Север» и «Шатунов»

Когда я вернулся в Москву, я понял со всей очевидностью, что дальше моя жизнь должна быть связана с Таджикистаном.

В этот период многое происходило. Я довольно негативно переживал, что на моём месте в Питере оказался Женя Головин. Это было для меня сильным и болезненным ударом по самым разным причинам. Повторения одного и того же, уже в фарсовом исполнении, подрывали ценность нашего прошлого. Я испытывал острое болезненное чувство в связи с этим.

В 1981 году я уже более-менее преодолел все эти моменты, тем более что за мной уже стоял духовный опыт, полученный на мазоре Хазрати Бурха.

И я понял, что нужно делать, как дальше работать. Я начал к этому готовиться.

Тем временем шла московская жизнь, причем она стремительно деградировала. Происходило затягивание болота ряской.

Живой дух из Москвы уходил.

Забегая вперед, скажу, что пиком омертвления неформальной жизни был 1984 год. В 1981 одним из признаков тяжелейшего кризиса и разложения нашего пространства стало то, что Дудинский, неожиданно бросив статус журналиста и даже вроде бы какого-то редактора, ушел в метрдотели в кабаке на Столешниковом переулке под названием «У дяди Гиляя».

Я был потрясен таким поступком, но видел, что это тенденция.

Будучи в Питере, я еще тогда обратил внимание, что многие люди, считающиеся интеллигентными, шли в официанты в тот период — 1978–79 года. Об этом мне как раз рассказала Катя Подольцева. Какие-то из ее друзей уходили работать в рестораны, хотя считали себя протюканными фрондерами и интеллектуалами, объясняя со всей

полнотой цинизма, что надо браться за ум, делать бабки и нечего страдать ерундой.

Примерно в таком же духе высказывался и Игорь Дудинский, антибуржуазный отвязный человек, который находился вне всего, вне житейских пошлостей.

А тут он говорит:

— Черт побери, надо делать бабки.

Для него это плохо кончилось, никакие бабки он делать не умел, поил всех друзей, приходивших к нему, быстро разорил кабак и остался должен огромную сумму денег. Он же никому не отказывал, позволял приносить выпивку с собой, что было строжайше запрещено.

Один раз я заходил в этот кабак.

Он располагался в полуподвальном мрачном помещении, выложенном камнем с претензией на то, что всё это некая пещера. Дудинский там ходил с небывалой новой важностью, которую я никогда у него раньше не видел. Он чувствовал себя при деле.

Я понял, что огромная трещина пробежала по стене нашего дома, потому что Дудинский, при всей своей интеллектуальной маргинальности, был показателем. Он являлся одним из наиболее ярких выразителей тусовки. Он служил перемычкой между шизоидными кругами и художниками, диссидентами, поэтами. На него замыкалось много разных компаний. Он был небесталанным комментатором и неплохим писателем.

И вдруг всё поползло, стало разрушаться.

Он женился на Чаганаве — тоже характерный шаг. Чаганаву, окончив театральное училище по части макияжа, сознательно пошла работать в баню парикмахершей. Правда, свою дочку Гай Германику, сейчас известного режиссера, она отдала в театр «Ромэн».

Атмосфера стала тяжелая. Еще совсем недавно она была легкой.

Скажем, в 1979–80 году мы жили созданием «Ориентации — Север», в пространстве, где мне помогали писать «Ориентацию — Север». Но в 1981-м году всё погрузилось в полный свинизм и шло

от плохого к худшему. Москва опустела. Головин, с которым я рассорился, жил в Питере, Мамлеев — в Штатах. Только что появившийся Дугин, 20-летний пацан, активно изучал французский язык, но еще было совершенно непонятно, что с ним станет в ближайшее время.

Это был последний год брежневизма, но мы об этом еще не знали. Более того, казалось, что это время никогда не закончится. Совок засыпал, впадал в анабиоз, при том, что шла афганская война. Всякая диссидентская деятельность, всякая работа в литературе, в живописи, полностью прекратилась. В нашем очень узком кругу было не так, но круг обезлюдел, хотя пришли новые фигуры — например, Сергей Жигалкин, человек с большим запасом энергии и энтузиазма.

После того, как в самиздате вышла «Ориентация — Север», возникла идея, что необходимо издать «Шатуны».

«Шатуны» в самиздате изданы полностью, и это уникальное издание сейчас, оно неповторимо, потому что позже книга подверглась мощной цензуре со стороны жены Мамлеева, Машеньки. Став христианкой, она превратилась в невероятную ханжу, Сниткину «номер два»²⁰³, она выбрасывала всё, что ей казалось дискредитирующим, наносящим ущерб христианству или лично Мамлееву, которого она стала переделывать и лепить в своем ханжеском ключе. Глава о Куротрупе и его ученике Алёше была изъята впоследствии.

Мы же издали книгу целиком, не предполагая, что кто-то когда-нибудь осмелится посягнуть на этот текст. Предисловие написал Дудинский — как письмо молодому интеллектуалу, и адресовалось оно Александру Дугину. Послесловие было метафизическим, литературоведческим комментарием, его написал я.

И «Ориентацию — Север», и «Шатуны» мы издали в сотне экземпляров. Для самиздатского издания большой тираж. Книги расходились, люди перепечатывали.

В возобновившейся «Волшебной горе» решили напечатать мое послесловие к тому самиздатскому выпуску «Шатунов». И чтобы я дал добро, они переслали мне электронную копию нашего первого

издания, из которого Машенька выбросила не менее двадцати процентов текста и до сих пор не дает разрешение публиковать его целиком.

Выход в самиздате этих двух книг стал значительным культурным явлением в 1981–1982 годах. Думаю, что «Шатуны» были изданы в 1982 году. В определенном смысле это было освежение пространства. Правда, наших скромных сил было недостаточно, чтобы серьезно повлиять на большую Москву, но расходящиеся круги от этих камней имели место.

Второе путешествие в Таджикистан

Мое внимание целиком переключилось на таджикское пространство, таджикскую тему. Москву я теперь рассматривал как некий дополнительный фон, как нечто, что еще по инерции существует, но мои интересы теперь были сосредоточены там. Я уехал в Душанбе во второй раз, уже не ориентируясь ни на кого, ни по каким адресам. Перед тем как зависнуть в Душанбе, не зная, где мне приклонить голову, я ушел в горы, как Заратустра.

В Фанских горах, совершив несколько переходов, я попал в очень интересное место. Моренное озеро на высоте более 3000 метров. Там вообще не было ничего живого, но происходили всякие паранормальные явления.

Я был там не один. Со мной были Сергей Жигалкин, Митя Шихватов и Дугин. Кроме того, там со мной была девушка по имени Лина с потрясающими волосами пепельного цвета — роскошная шевелюра, спускающаяся до крестца. Такие волосы можно увидеть только в кино, когда смотришь фильм про аристократов XVIII века, но у них парики, а тут всё натуральное. Вот там на этом озере мы были свидетелями паранормальных явлений, стресс достиг такого уровня, что ребята сорвались.

Там была огромная поляна среди скал с несколькими сотнями самых разных скелетов и черепов с рогами. Животные приходили туда умирать. Это было странное жуткое место, покрытое белыми костяками. Иногда вспархивал одинокий стервятник, доклевывавший давно иссохшие мумифицированные обрывки мяса. Точно, как в фильме «Рукопись, найденная в Сарагосе»²⁰⁴.

Мы столкнулись с тем, что вокруг наших палаток кто-то ходит, хотя мы знали, что на десятки километров нет и не может быть ни души. Кто-то дергал за веревки палаток, мы слышали скрип шагов. Мы выходили и видели появляющиеся тропинки, которых раньше не было. Эти тропинки бежали, петляя среди камней, чтобы упереться в скалу и исчезнуть в ней.

В какой-то момент нервы сдали. Митя и Дугин... Митя — тот молодой человек, в свое время рассказавший Дугину о Головине и обо мне, и через него Дугин вышел на Жигалкина и на меня. Они были в одной палатке. Их крики меня разбудили. Я выглянул... А мы же все были вооружены, у нас были качественные кованые ножи под 30 см каждый.

Жигалкин, тоже на взводе, сказал:

— Если кто-то так шутит, то я очень не рекомендую. Кто будет елозить по стенке палатки, я буду бить ножом сквозь палатку, не взирая ни на кого и ни на что.

Но это тоже была истерика, потому что было понятно, что никто так шутить не будет.

И вот среди ночи раздались крики. Я выглянул, хотя очень не хотелось, потому что я только провалился в сон, а было холодно, изморозь, дождь. Очень хотелось оставаться в состоянии забытья, но пришлось выбираться из теплого спальника. Я взял нож, выглянул и увидел Митю и Дугина на коленях. С дикими криками они шарили перед собой фонарями, сжимая ножи. Звали они меня, а не Сережу.

После этого мы и сказали утром Дугину, что на следующую ночь он берет спальник и идет ночевать на кладбище с рогами. Почему-то Митю мы оставили в покое, хотя он тоже орал как резаный. Дугин пошел, провел там ночь, вернулся под утро злой как черт, сел, не разговаривая ни с кем.

Трещина в его отношении ко мне тогда появилась впервые.

Дугину с самого начала сильно не понравился Таджикистан. Ни атмосфера, ни настрой, ничего. Любое лыко шло в строку. Когда, поймав попутку, мы ехали на грузовичке с какой-то полублатной, полукриминальной командой установщиков столбов линий электропередач, у нас возникли напряженные отношения.

Мы выскочили из этого грузовичка, унося ноги, и Дугин сказал:

— Вот это Азия, вот это Таджикистан.

Хотя это была команда шабашников, все из разных мест России. Я постарался объяснить Саше, что это просто гопники, причем

из России, что среди них таджиков нет. Но переубедить Дугина не получилось, ему там не нравилось.

Через некоторое время мы покинули озеро, ушли вниз.

Товарищи мои улетели, а я остался.

Дальше начались уже мои проблемы.

Мне было нужно там остаться, я знал, что здесь я буду разрабатывать свое новое политическое пространство. В конце концов, разве я не был членом Ордена? Разве у меня не было миссии?

Я пошел в известное мне место на Клары Цеткин к Каландару и обнаружил, что Каландар временно уехал к бабушке в Курган. И я оказался в довольно странном положении.

Напомню, в Афганистане шла война, Таджикистан стал прифронтовой территорией. Советские спецслужбы всегда были параноидально настроены, они считали, что вошли в Афганистан с тем, чтобы туда не вошли американцы, которые просто развели наших, как детей, убедив их, что они туда войдут. У советских спецслужб существовала такая идея, что всё должно кишеть американской или моджахедовской агентурой.

Не могу сказать, что там на каждом шагу чувствовалось назойливое давление кровавой гэбни. Они тогда работали качественно. Я даже забывал, что всё реально находится под колпаком, но под колпаком оно было.

И мой второй визит туда, надо думать, не остался без внимания, тем более после моего ареста и содержания в пятом корпусе «Кашенко». Я поехал в Таджикистан первый раз, потом второй. Дважды два было сложено и получилось четыре, и я почувствовал неприятное присутствие у меня за плечами.

Я бродил по городу, заходя в книжные магазины. В те времена я всегда заходил в книжные, когда бывал в чужих городах.

И я думал, как же мне выйти из положения и где же мне найти пристанище. На тот момент я считался, в общем-то, бомжом, и в этом плане оставался незащищен и подставлен. В ту пору я еще не знал, как с этим делом работать.

И как-то в центре, в одном книжном, ко мне подходит невысокий лысеющий черноватый человек, похожий на Молотова²⁰⁵ или на Жжёнова²⁰⁶, или на соединение Жжёнова с Молотовым. Кошачье лицо с усиками.

И между нами происходит такой разговор:

— Я вижу, у вас проблемы.

— Да, видите совершенно точно... Прямо как астроном.

— Я вижу, что ваша главная проблема в том, где жить.

— И опять вы попали в точку.

— Я вам могу помочь.

— Я вам буду благодарен.

— Пойдемте.

Мне терять-то нечего, потому что я знал, что меня могут взять в любой момент, достаточно одного звонка в Москву или звонка из Москвы. Страна воюет. За внешним фасадом расслабленного Востока тикают часы адских машинок. Поэтому я согласился.

Мы с ним поехали... Троллейбус, автобус, на каких-то перекладных. И мы оказались возле Бозори колхози, Колхозный базар, или просто Путовский, потому что он располагался на углу проспекта Ленина и улицы Путовского. Путовский — комиссар, расстреливавший таджиков пачками. В советское время в Таджикистане, и не только там, улицы назывались именами палачей, в данном случае палачей таджикского народа. Одно только таджикское имя было или два: переулок имени писателя Бехбуди и улочка Абдуллы, красного командира. Некий Абдулла, красный командир, также удостоился, а так в основном комиссары, уничтожавшие мусульман. Все улицы Душанбе были названы их именами.

Приехали на Путовского, перешли от рынка на другую сторону, где магазин «Майда-чуйда» («Тысяча мелочей»). Перешли, зашли за него и оказались в районе большой соборной мечети, где позднее

сидел Тураджонзода (Ходжи Акбар Тураджонзода или Турачонзода²⁰⁷), где был козиет²⁰⁸. Это всё еще впереди...

Маленькие дворики, домики, что называется частный сектор за заборами. По дороге мы познакомились, и оказалось, что это армянин по фамилии Петросян. Кажется, его звали Володя. Родом из Москвы. Более того, мать у него была русская.

Он привел меня к себе домой. Там нас встретила его жена, чистая армянка без всяких примесей. Она была из породы худых армянок. Женщина с жестким уродливым лицом, с худыми, поросшими шерстью козлиными ногами. Одета она была в легкое ситцевое платье, висевшее на ней как на вешалке. Работала она парикмахером в салоне, в двух шагах от дома, тоже на улице Ленина. Кстати говоря, она выполняла парикмахерские работы и для меня, брила мне волосы, сохраняла со мной рабочий контакт.

Петросян говорит:

— Ты понимаешь, я не могу тебя держать даром и кормить. У тебя есть деньги?

— Нету.

— Тогда у меня есть к тебе предложение. Ты месяц будешь работать на меня, а потом я дам тебе заработанное, куплю билет в Москву, если захочешь. Но ты мне будешь помогать.

— Да, проблем не вижу, а что мне надо делать?

Он рассказал свою историю.

— Я вообще-то по жизни скульптор. Родившись в Москве у русской матери, я всегда был армянским националистом. Я бредил Арменией, мечтал уехать в Армению, прикоснуться к армянской земле и стать там великим скульптором, потому что армянский народ — это нация скульпторов. Но я не понимал, что это означает, пока не попал в Ереван. Там действительно скульпторов, как нерезанных собак. Я приезжаю туда, не знающий армянского языка полукровка из Москвы, с претензией на то, что я скульптор. Это вызвало ко мне негативное отношение. Некоторое время я, конечно, перебивался, работал на подхвате, тесал камни. Но я понял, что так жить нельзя,

никаких перспектив в Ереване у меня нет. Но мне удалось найти там себе армянскую женщину. Я женился на армянке, чтобы продолжить свой род уже с чистыми армянскими генами, преодолеть это родимое пятно со стороны матери, восстановить полноту генетического рисунка.

У него действительно там квакали двое маленьких носителей генетической чистоты.

— Вот это я оттуда вывез. В Москву я возвращаться не хотел, она была мне противна, и я поехал в Душанбе, потому что таджики — наиболее близкий нам, армянам, народ.

Эту странную идею я не раз замечал как у некоторых интеллигентных либерастических таджиков, так и у таких же армян. Видимо, не случайно, что Армения и Иран поддерживают друг друга в политическом плане. Что-то здесь есть.

— Короче, — говорит он, — я работаю на кладбище...

Тут у меня ухо поднялось.

— Я делаю надгробья. Работа тяжелая. Я делаю заливку из цемента, и когда она остывает и затвердевает, я шарашкой ее полирую под мрамор, а потом бормашиной вывожу соответствующую надпись, крашу специальной краской, снимаю опалубку, и у меня получается прекрасная плита, но как ее доставить к могиле? Ты же видишь, что я хилый, а ты, я вижу, ничего себе. И вот твоя помощь будет заключаться в том, что ты будешь эту плиту относить к могиле.

— Относить? Она же весит килограммов сто, наверное.

— Ну, сто двадцать, сто пятьдесят... Когда как. Но у меня есть тачка. Правда, она с одним колесом, но глядя на тебя, вижу, ты справишься. Правда, Южное кладбище, оно у нас холмистое, придется иногда плиту и вверх по склону везти.

В 1978 году в Питере меня тоже пытались трудоустроить. Меня отвели к Володе Дубинину, предложившему мне работать на кладбище, — по-моему, оно тоже называлось Южное. И тоже мне там надо было носить плиты. Володя меня сразу предупредил, что

от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти кг. Володя Дубинин был другого порядка оператор, и у него всё было покрупнее. Причем он говорил, что надгробья надо носить на кончиках пальцев с напарником. Если уронишь и разобьешь, то плита стоит до трехсот рублей, которые будут взысканы.

Я про себя подумал, что, видимо, я не ушел от этой работки на кладбище. Куда бы я ни направлялся, кладбище тянулось за мной. Выходит, всё-таки надо отдать дань и отпахать, иначе дела не двинутся.

Со следующего дня я приступил к работе.

Мы поехали на кладбище, оказавшееся интереснейшим местом. Я фактически там занимался этнографическими исследованиями. Не мусульманское кладбище, оно делилось на три части: условно русская, с православными и сектантскими штундистскими могилами, очень большая еврейская и корейская.

В еврейской части было интересно: надгробные камни с массой надписей, со специфическим местным колоритом. Попадались такие имена, которых я в жизни никогда не встречал: библейские талмудические, где Забулон или Наомия самые простые. Потрясающие фотографии евреев в меховых шапках.

Корейский отсек тоже примечательный. Корейцев хоронят ногами к камню, а головой к тому, кто к этой могиле пришел, — не как обычно, когда ты приходишь к усопшему и стоишь у него в ногах.

Я начал возить плиты на тачке, кувыркавшейся по кочкам. Петросян шел рядом и поддерживал плиту. Он боялся, что та может улететь и разбиться.

Долго мы не работали, часов до двух. На обратном пути мы останавливались в кафе недалеко от его обиталища и съедали цыплят табака.

Ночевал я у него во дворе на куче досок, накрытых брезентом. На этот брезент я кидал сложенный вдвое спальник. И когда шел дождь, накрывался своей палаткой и смотрел на звезды.

И, естественно, я изучал таджикский язык. Я начал этим заниматься еще в горах и продолжил уже с полным погружением. Я шел в народ, активно его практиковал, запасся учебником для русских, изданным в сталинские времена. Там были обязательные колхозы, трактора. Я его штудировал и практиковался, в основном, на базарах.

Их было два — Зеленый и Путовский.

Путовский более цивилизный, а потому более скучный. А Зеленый базар, Бозори сабз или Бозори Шохмансур — отрада сердца, густое средоточие жизни.

Вот там, на Зеленом базаре, практикуя в народе таджикский язык, я и познакомился с теми людьми, которые потом определили мою биографию на всю последующую жизнь.

Зеленый базар. Эшони Халифа

Впервые это произошло на Зеленом Базаре.

Бозори Шохмансур был в Душанбе центральным местом народной фольклорной жизни. Там я впервые увидел настоящих нищих с повязанными тюрбанами, в рваных халатах, сидевших на земле, просивших милостыню и распевающих дуа. Там присутствовали потрясающие представители сельских пространств Таджикистана, туда привозили продукты из самых разных мест: из Кулоба, долины Каротегин, Хучанда. Очень пестрые люди. Торговцы насваем, всегда тайно подторговывавшие анашой.

Насвай был разрешен. Это просто табак, который под язык кладешь, и всё. Но поскольку он является веществом, входящим напрямую в контакт со слизистой оболочкой, то действует он гораздо сильнее. Дыма нет со всякими тяжелыми металлами и сажей, а чистый никотин прямо попадает в кровь. Эффект у насвая, а главное — привыкание, в несколько раз сильнее чем от обычных сигарет. Я видел, как страдает человек, у которого кончился насвай, и это что-то страшное. От отчаяния он мог даже взять в руки сигарету, хотя прежде никогда не курил, и она, естественно, ничего не заменяла, потому что насвай — это действительно ударная вещь. Я был свидетелем как люди, в первый раз бросившие насвай под язык для пробы, падали на четвереньки, их тошнило, голова шла кругом.

Табак — очень сильнодействующее средство, он гораздо тяжелее, чем некоторые легкие наркотики. К тому же он дает сильное привыкание и тоже наркотик. Толерантное отношение к табаку говорит о полном иррационале современного социума, потому что преследовать анашу и торговать табаком и алкоголем, на мой взгляд, просто верх идиотизма и непоследовательности.

Я с огромным кайфом, с огромным наслаждением бродил по закоулкам Зеленого Базара. Большое место, кишачее народом, с массой прилавков и маленьких магазинчиков вокруг. Там продавалась множество интересных вещей. Например, чорух и калуш — национальные сапоги, деревянные гребни для расчесывания бороды, разные тубетейки.

Всё это было острым и не теряло притягательности в последующие годы, потому что носило концентрированно символический духовный характер. Если я сейчас увижу деревянный гребень для бороды шона, выточенный вручную, я просто умру от ностальгического удара. Особые специальные вещи, заряженные некоторой энергией.

Таджики — совершенно особый народ, и их эстетическую парадигму лучше всего можно было бы выразить через сочетание черного и красного цвета в самом простом и элементарном дизайне. Скудный сельский эстетизм, основанный на минимализме, аскезе...

Я же рассказывал, как я ел атолу на мазоре Хазрати Бурха, когда мы перетирали в казане муку, подливая туда понемногу воды. В это блюдо не полагается добавлять ни масла, ни приправ. Хорошо, если есть соль. И это — настоящая национальная похлебка. Скуднее и аскетичнее трудно себе что-то представить — разве что мох с валунов, которым питались подвижники в египетской пустыне. Если на этот уровень не выходить, то атола — самое аскетичное.

В своих блужданиях и встречах я постоянно упражнял таджикский язык, который интенсивно учил.

Недалеко от Зеленого Базара был «Олами китоб», «Книжный мир», куда я постоянно заходил. Парадный магазин, где ничего особо интересного не было. Но тем не менее у меня начинала складываться первая таджикская библиотека. Я ее штудировал. Я прислушивался к уличным разговорам, наречиям, к тому, как, например, просят передать деньги в троллейбусе, или как компостируют билеты, учил разговорные выражения. Я всё это впитывал. По прошествии времени я начал уже замечать новые фразы, идиомы, появлявшиеся в речи.

Так, изучая язык, я встретился с людьми, которые мною заинтересовались. Они увидели, что перед ними приезжий, из Москвы, но при этом мусульманин, с акцентом говорящий по-таджикски, интересующийся им. Я не походил на других русскоязычных, появлявшихся в таджикском пространстве.

И они сказали, что мне необходимо встретиться в горах, в долине Вахиё, с большим шейхом Накшбандия Эшони Халифа.

Эшони Халифа — это не имя, а титул, но все звали его только так. Эшон — это «они» на таджикском фарси, и это обращение адресуется только духовным учителям, о которых говорят «они». Причем это «они» превратилось в самостоятельный титул. Эшонами называют орденских мэтров, мастеров Накшбандия.

Я с детства знал это слово из советской пропаганды, из атеистических брошюрок, с ненавистью утверждавших, что вот-де «таджики — темный народ, который подчиняется своим эшонам». Потом я узнал, что «эшон» в переводе значит «они», как, допустим, раньше в России говорили простые люди о барине «они не велели принимать». А «халифа», помимо того, что это просто «халиф», одно из редких арабских слов, имеющих женское окончание, но мужской род. Помимо того, что оно означает «халиф», «наместник», оно еще означает «учитель». В медресе в начальных классах «халифа» — это «учитель». Сочетание «Эшони Халифа» было титулом исключительно этого шейха.

Его отец был шейхом, и его дед был шейхом. И нить эта шла довольно далеко. Причем прапрадед его уходил в Пакистан, дед возвратился в Таджикистан еще до революции. Заметный род с большими, в том числе и зарубежными, связями.

Люди, которых я встретил, сказали, что мне нужно отправиться туда.

Путь в те места лежал мимо Сангвори Було, но дальше, не переходя на ту сторону через речку Киргизоб, а по той же стороне, что вела от Сангвори Було. По горной тропе нужно было продолжать путь, пока не выйдешь на кишлаки Арзынг, Рог, Пашимгар.

В Пашимгаре была ставка. Это очень далекое место в глубине долины Вахиё. Оттуда уже переход на Ванч. А Ванч был уже закрытой территорией, куда без печати погранцов официально никак попасть было нельзя, только явочным путем. Но Пашимгар был еще на доступной стадии.

Я это намотал на ус.

Русский тип в мусульманском окружении. Как уголовники портили Азию. Русская элита Душанбе. Салон прокурорши. Лекция о спасении мира. Салон Серебровского. Дом Успенской. Высокомерие русских по отношению к таджикам

Тем временем из своего замечательного Кургана появился Каландар. Это уже было следующее лето после Петросяна. Лучше он за это время не становился, он «прогрессировал». Дело в том, что, когда я с ним встретился, он бросил пить и курить, у него была исключительно вегетарианская диета. И он очень напрягал тех таджиков, к которым мы вместе попадали в гости.

Гостям же что предлагают: шурпу, манты или что-то в этом роде. А когда человек начинает объяснять, что он ничего не ест... Тем более он объяснял это таким образом, что его воспринимали, как тяжелобольного. Он говорил: «Я не ем ничего, что ходит, летает, ползает», — и на него смотрели, печально покачивая головой в недоумении. Мне это тоже не было приятно, потому что это бросало тень на меня.

В общем он ничего не пил и не ел, и от воздержания его всё время колбасило.

Я успел застать его картины в духе дегенерировавшего псевдо-Рериха, но без фигур, без гуру, без летающих персонажей. Просто скалы с тенями, образующими какие-то физиономии. Потом я понял, что он имеет в виду, потому что этого в горах очень много. Ты постоянно ходишь среди демонических ликов, проступающих в светотенях на камнях, на снегах.

Но он всё сжег. Он собрал все свои работы, а их в его прибожованной квартирке было не менее 60. И сжег. В принципе, туда им и дорога, но жест был отчаянный. Через некоторое время он снова начал пить, есть мясо, приобрел новую размашистость и навязчивую удаль, стал еще более агрессивен и неадекватен и норовил придумать всё новые и новые обвинения против меня.

Я понял загадку русского человека — русский человек постоянно измышляет обвинения против себя, адресуясь к тем, кто против него ничего плохого не делает.

Его идея была в том, что я магически на него воздействую.

Бабушка его жила в Кургане, но она туда переселилась — сама она была русская из Таджикистана. Древняя бабушка, родившаяся еще в дореволюционные времена. Не из тех, кто попал в Таджикистан, чтобы рыть там каналы в 30-е годы, не мразь всякая.

Надо сказать, что когда людей при совке выпускали из зоны, то у них было поражение по месту проживания. Например, «минус 12» означало, что запрещено жить в столицах союзных республик, но где-то разрешалось, по-моему, включая Прибалтику.

Были другие «минусы» — до 112 или до 120. Но среди этих городов никогда не фигурировали среднеазиатские. Выйдя после отсидки за любое преступление с любым поражением в правах, человек имел право поехать в Среднюю Азию. Поэтому в Средней Азии концентрировался специфический контингент русских. Не борцы с царизмом, не борцы со сталинизмом, а разномастные уголовники. К ним добавлялись те, кому уже нечего было делать на остальной территории, — например, золотозубые бродяги, подрядившиеся ставить столбы для высоковольтных передач. Они тоже оседали в Средней Азии, смешивались с уголовниками, и сами они были полукриминалом. Но это были не настоящие блатные, а те, которые работают, как-то выживают. То, что называется «мужики». И всё это там воспроизводилось.

Надо сказать, что там было пониженное содержание евреев. К тому же там имелись свои сефарды, сильно отличавшиеся.

Работая на кладбище с Петросяном, я заинтересовался необычайным богатством росписи на еврейских могилах. Они были разукрашены невероятными биографиями и совершенно безумными именами. Вот с этого я начал знакомство с сефардами. Потом оно стало более углубленным. Я ушел в изучение сефардизма, войдя в эту среду.

Каландар вывел меня на так называемую «русскую элиту» Душанбе. Это был интересный богемный круг с повышенной концентрацией ашкеназийской крови. Многие переехали из центральной России, они чувствовали себя более комфортно в азиатском пространстве.

Эти люди были заинтересованы в ньюэйджевском эзотеризме, в буддизме, индуизме. Им в голову не приходило интересоваться Исламом, даже суфизмом. Для них таджикское поле было вообще вынесено за скобки, оно даже не обсуждалось, за исключением каких-то комедийных моментов.

Для начала Каландар-Иващенко предложил мне пойти в салон к жене местного прокурора. Да, у Каландара были такие выходы, потому что русскоязычное азиатское общество в столицах республик в те архаичные советские времена было не так уж жестко стратифицировано. В Москве Иващенко, конечно, не попал бы ни в какой салон к прокурорше, но в Душанбе он считался хорошим, интересным фриком, который заслуживал того, чтобы его приглашать для украшения общества. К тому же в этом обществе прослышали про мое появление и с большим интересом хотели со мной встретиться. А повод был такой: в Душанбе должен был приехать с лекцией некий докладчик из Киева.

Мы с Иващенко пришли на квартиру к прокурорше. Обычная совдеповская квартира, обставленная советской мебелью, соответствующей статусу прокурора: лакированные столы и стулья, фарфор и хрусталь. В большую гостиную набились куча народа, все хорошо знали друг друга. Через некоторое время появился докладчик в сером костюме — мелкий проходимистый человечек мышистого, но нагловатого вида, и начал лекцию.

Я слушал его, лежа на ковре, и это было нормально: какие-то азиатские обычаи всё-таки проникали. Прямо на полу стояли блюда с фруктами. Я лежал на подушках как главный гость среди слушателей. В ту пору я сильно отличался от моего нынешнего состояния. У меня были локоны до плеч, густые и черные, и огромная черная борода. Я немного походил на известные зороастрийские иконки Заратустры. Некоторая экзотичность в моем облике была.

У тамошних людишек я возбуждал живой интерес, неподдельное любопытство.

Лектора звали не то Рапопорт, не то Фридман. Он понес метель о том, что в Киеве жил некий злой гений физик Гальперин, которого он, Рапопорт, хорошо знал. И физик Гальперин разработал формулу и утверждал, если ее досчитать до конца, она приведет к тому, что вся вселенная сворачивалась в ничто. И этот Гальперин работал при зеленой лампе, тоже игравшей роль в этой ахинеи. И тогда Рапопорт бросил Гальперину вызов, потому что он хотел спасти мир.

Я посматривал на окружающих во время повествования, чтобы понять их реакцию: все слушали с напряженным вниманием, а он, разливаясь соловьем, нес дурдомовскую, кондово диагностическую околесицу про физика Гальперина, про себя, бросившего вызов. Он пришел к этому Гальперину, и они сидели по обе стороны зеленой лампы и смотрели друг на друга. Рапопорт говорил: «Ты этого не сделаешь», а Гальперин ему отвечал: «Сделаю». И в конце концов Гальперин проиграл, он отступил, потух, поник, и мир был спасен. Потому что если бы Гальперин выиграл, то нас бы уже не было, мир бы свернулся. Рапопорт закончил свой рассказ словами вроде того, что: «Я, Рапопорт, спас мир».

Никто не смеялся.

Я очень внимательно смотрел на этого субъекта с бегавшими глазами. Я поднялся и вышел на балкон, когда уже было очевидно, что доклад спасителя мира о том, как два еврея решали судьбы вселенной вокруг зеленой лампы, закончился.

Через некоторое время он присоединился ко мне на балконе и осторожно, бочком, подполз и остановился у меня возле локтя. После этого он спросил:

— Можно поинтересоваться, чем вы занимаетесь?

— Да в основном я занимаюсь гематрией.

Гематрия — это каббалистические упражнения, связанные с числовым значением еврейских букв. Их перестановки дают разные комбинации. Например, Адам и Ева вместе дают числовое значение 66.

Есть еще арабский вариант гематрии — абджад. В нем имени Аллах так же соответствует число 66.

Он слегка подпрыгнул, ушки у него стали торчком.

— А можно спросить, как вас зовут?

И тут я пустился во все тяжкие. Я начал намекать на то, что я еврей очень высокого, знатного рода, высокого посвящения. Я сказал, что мое имя Хайдор.

— А фамилия?

— Ну так уж я сразу вам и сказал свою фамилию.

Потом разом вокруг меня образовалась толпа из гостей прокурорши, они мяукали как кошки и спрашивали, какая у меня фамилия.

Как-то я от них отбился и ушел, оставив их сильно разочарованными.

Но через это я проложил дорогу в более узкий круг, который собирался около художника Серебровского, в прошлом художника МХАТа, уехавшего в Душанбе. Он работал на каком-то хлебном месте, у него была хорошая квартира на высоком первом этаже. И вокруг него кучковался народ, где центром были актеры и актрисы русского драматического театра.

Серебровский был ньюэйджевский буддист, неоспиритуалист или индуист. Он рисовал в особой, как бы пуантилистской²⁰⁹, манере всякого рода индийские танцующие фигуры в шароварах.

Там присутствовала некая Нина Иванова, влюбленная в Серебровского, и весь этот круг был заряжен на обсуждение безумной любви Ивановой к Серебровскому. Она была актриса русского драматического театра Душанбе, причем примой. У нее из-за рака была отрезана грудь, а может быть даже не только грудь. Эффектная брюнетка, очень стильная. Она меня пригласила к себе и пыталась понять, кто я такой.

Позировала она как женщина большой судьбы с эзотерическими выходами, много понимающая, играющая полуцыганку, полуженскую

гуру. Но с трудной судьбой русской интеллигентной актрисы.

Мы морочили друг другу голову, но при этом я собрал интересную информацию по русскому кругу. Через это я попал к матери известного одно время писателя Зульфикарова.

Фамилия ее Успенская. Иранистка, окончившая ленинградский востфак в университете и направленная на работу в Таджикистан по комсомольской путевке. Там она встретила настоящего перса, не таджика, а потомка украденных туркменами персов, которых использовали как рабов.

В Бухаре, остававшейся независимым эмиратом, шла работорговля до 1910 года, потом ее запретили. И в качестве рабов там фигурировали украденные персы.

Вот их потомки образовали персидский анклав. Садриддин Айни²¹⁰ написал роман «Рабы», посвященный этой категории людей.

Муж Успенской был из рабов, родившийся свободным, но у рабских родителей, похищенных из Персии.

Очень известная женщина, старый академический полюс русской науки, она совместно с Рахими²¹¹ написала большой таджикско-русский словарь на 50 тысяч слов — первый большой академический таджикско-русский словарь советского времени.

И вот меня привели к ней в дом.

Я тогда, можно сказать, только начинал овладевать таджикским языком. Но она очень прониклась ко мне, у нас состоялся интересный разговор. Она сказала, что не понимает литературу своего сына, но всё равно им гордится. Зульфикаров тогда был популярен, получал премии, его издавали за границей. Она мне показала какие-то его книжечки. А я его тогда еще не знал, познакомился с ним какое-то время спустя. Он был потрясен тем, что я знаю его мать.

Из разговора с ней я понял, что в части имперского высокомерия и пренебрежительного отношения к местному населению, среди которого они жили, академическая наука со старыми интеллигентскими корнями ничуть не уступала новодельным невежам,

занимавшимся буддизмом, сидя в центре иранской исламской цивилизации. И тех, и других связывало и объединяло барское высокомерие белых сахибов. Причем если у Серебровского это высокомерие было просто дурацким, то у Успенской оно было весьма раздражающим и проявлялось в странных деталях.

Например, она интерпретировала какие-то обороты таджикского языка таким образом, как будто таджикский язык является простонародной деградировавшей формой персидского, и якобы персы часто из-за этого над таджиками смеются. Хотя на деле, если брать по времени, по генезису, по известным писателям, то таджикский язык является более нормативным, а современный персидский — просто новодел. Все или почти все известные миру литераторы, писавшие на фарси, по своим корням были таджиками. А в Таджикистане до сих пор в некоторых местах помнят Македонского.

Шихали Усейнов

Я описал русскоязычный круг Душанбе начала восьмидесятых. Но не коснулся фигуры, не совпадавшей с этим кругом, хотя она и принадлежала русскоязычному пространству. Эта фигура служила медиатором между всеми пространствами, и все, кто приезжали в Душанбе, проходили через него. Это был Шихали Усейнов. С ним я тоже познакомился через Каландара.

Каландар в 1982 году перебрался на новую квартиру. Не ту, за «Гулистоном», в которую я в первый раз попал, а на квартиру буквально через дом, в соседнем четырехэтажном барачном домике, тоже ужасном, но там было пусто, и Каландар делал какой-то ремонт. И туда внезапно запросто в гости зашел человек невысокого роста с бородой на порядок больше и гуще моей: черная борода до середины груди, такой бы сегодня позавидовал любой салафит в Сирии, просто крутейшая борода. Волосы у него росли прямо от бровей, и из-за своей густоты они стояли почти вертикально. Шапка черных волос, густейшие черные брови и очень милое и интеллигентное лицо. Звали его Шихали Усейнов.

Низкий лоб указывает на витальность.

У меня низкий лоб, у моего деда с материнской стороны был низкий лоб. Низкий лоб — показатель витальных сил, и он не обязательно свидетельствует о слабости умственных способностей. А высокие лбы, как правило, говорят об истощении витальных сил, о том, что человек находится в фазе вырождения. Например, у дегенеративных героинь голландской живописи высокие лбы. Интеллигентный высокий лоб свидетельствует, что человек худосочный — хорошее, подходящее слово, потому что соки в нем худые.

Так вот, Шихали Усейнов. В Баку есть проспект, названный в честь его деда: проспект Усейнова. Вдруг оказывается, что он азербайджанец. Находясь в таджикском пространстве, встретиться с азербайджанцем было для меня просто подарком. Мы тут же заговорили по-азербайджански.

Каландар сразу начал ему хамить, провоцировать, и мы вышли, отъединились от Каландара.

Я понял, что этот человек заинтересован во мне, крайне внимателен. Я спросил, как он попал в Таджикистан.

У него была потрясающая история.

Дед его — известный нефтепромышленник. Отец — крупный бакировский чекист, причем идеологически убежденный, как это обычно бывает в миллионерских семьях, абсолютно фанатичный.

Сам он пошел по стопам отца, окончил юридический факультет Бакинского университета, куда меня мой папа тоже хотел определить, чтобы я стал адвокатом и защищал цеховиков. Но Шихали реально закончил этот факультет, а когда он там учился, проходил практику в бакинской Баиловской тюрьме, в которой в 1911 сидел Сталин. Мощная, с именем, царская и советская тюрьма, где расстреливали. А он там в звании сержанта дежурил в качестве вертухая — вертухай-практикант, переживший массу интересных историй.

Он мне подробно описал, как приводится в исполнение смертный приговор.

Человек сидит в камере смертников, очень взволнован, и вот его конвоируют в кабинет к начальнику тюрьмы. Это круто — почти что как к Анубису²¹² на судилище.

Тот встает и читает ему официальный отказ Верховного совета в просьбе о помиловании — всё изложено канцеляритом. Ему читают отказ. И он сначала не может понять, не может вникнуть, но потом до него доходит, что в просьбе о помиловании ему отказано.

В этот момент почти каждый человек открывает рот, чтобы сказать «а», и ожидающий этого и стоящий сзади наготове старшина забивает ему в открывшийся рот резиновую грушу. Груша острым концом входит в рот, человек уже не может кричать. Следующим движением поверх рта наклеивается наклейка и надеваются наручники. Потом его ведут через двор, и в этот момент все заключенные, которые понимают в чем дело, начинают бить мисками, кричать, а он ничего сказать уже не может. Его ведут в специальную

расстрельную камеру, и там дежурный, очередной сержант, берет из сейфа специальный расстрельный наган, потому что у нагана ослабленная мощность, он не разносит башку вдребезги.

В камере его ставят к стенке, а в стенке есть специальная дырка, и затылок его приходится напротив этой дырки. Сержант вставляет пистолет в эту дырку и стреляет в тот момент, когда свет там перекрывается, — он не видит, в кого стреляет. Пуля попадает в башку, и смерть наступает мгновенно, после чего приходит специальный служитель, замыкает кровь, а труп утаскивают. Такой процесс.

Я его спрашиваю:

— А как же ты попал сюда?

— Я понял, что я не хочу служить в системе МВД, я не хочу быть ментом. Но мне, как человеку, который учился на красный диплом, предлагали сразу по выходе с факультета серьезное карьерное место — заместитель начальника уголовного розыска Карабахской автономной области и сразу капитанские погоны, в перспективе быстро превращавшиеся в майорские. Но я понял, что я не буду ментом. Освободиться от МВД очень тяжело. Пришлось напрячь моих друзей, друзей отца в МВД в Москве, чтобы соскочить с крючка. В итоге мне сказали, что меня отпустят, но с условием, что я уеду из Баку. И я уехал в Душанбе, а куда еще мне было ехать?

В советское время существовала такая система, что ты не мог просто приехать в другой город и прописаться там, только потому что тебе так захотелось.

Собственно говоря, вся площадь принадлежала государству, и ничего свободного нет. Чтобы где-то прописаться, ты должен там работать, а чтобы работать, надо иметь прописку. Порочный замкнутый круг. Поэтому единственный способ остаться в избранном городе — там жениться.

Но в Душанбе это тоже не так просто, потому что Шихали был азербайджанцем. На ком он там может жениться? На русской он жениться не хотел, потому что все девушки там происходили в основном из семей алкашей-уголовников. Таджичку никто не отдаст,

потому что кто он такой? И единственное, на ком ему оставалось жениться — на кореянке.

Так он совершил самый страшный и самый ошибочный шаг в жизни.

Его кореянка служила юристом стройбанка республики. Она тоже окончила юридический факультет, только таджикский. Ее звали Ульяна, она работала в стройбанке республики и устроила Шихали туда, и он тоже был юристом стройбанка республики. Но одновременно он стал работать тренером в молодежной шахматно-шашечной секции в горсаду. Он преподавал международные шашки, в которых он был мастер. По шахматам он был кандидатом в мастера.

У него подобралась своя команда, и он приобрел известность на весь Душанбе, особенно, потому что он набирал в свою группу только мусульман. Все остальные преподаватели шахмат и шашек были евреи и брали к себе своих. А он принимал исключительно мусульман — таджиков и узбеков. По-моему, у него даже там был казах или казашка.

Он был человеком мусульманской ориентации. Но как? Интеллигент, не молящийся, но с искренней ориентацией на Ислам как на «наше». Вот это — «наше». Мы — мусульмане. И негативизм против всего, что было антиисламским. Он был за Ислам во всём.

Мы с ним душевно сблизились. Я его очень жалел по поводу этой Ульяны. Я бывал у него дома...

Как-то у него выдался отпуск, и целый месяц он был свободен. Его напрягли строить халупу в саду родителей Ульяны. У ее родителей был сад с халупой, и они хотели, чтобы там появилась еще одна техническая халупа. И ее должен был строить зять.

Я пришел к ним в гости — дом посреди высокой травы, деревьев, которые росли прямо в центре города за высоким забором. Шихали меня встретил, заказал мне чай. И только мы сели к столу, как из высокой травы выскочил человек, похожий на ефрейтора японской армии из антияпонских военных фильмов, с короткой стрижкой и желто оливковым лицом. Он выпрыгнул, как заяц из окопа, и что-то прогавкал: видимо он говорил по-русски, но это напоминало японское

гавканье. Смысл был таков, что мы тут расселись, а работа стоит, надо строить, кирпичи класть. Сказав это, он куда-то провалился. Потом появилась сестра жены, работавшая в Академкниге. Это считалось очень здорово, через нее можно было достать редкие академические книжки. Красивая корейнка — они в молодости все красивые. Она ходила злобно, как пантера, через эту траву, шелестя платьем. А мы сидели за сбитыми скамейками и сбитым столиком, а она мимо нас ходила в чернильном облаке негатива, как каракатица. Бедный Шихали жмурился и говорил мне по-азербайджански:

— Счастлив будет тот, кому она в жены достанется.

Через некоторое время ему пришлось возвращаться и продолжать класть камень на камень, а я пошел дальше по своим делам.

Я ему очень сочувствовал. Эта Ульяна его даже один раз довела до слез. Но деваться Шихали было некуда: у него тогда уже было двое детей — дочка и сын.

Этот человек играл ключевую роль в том пространстве в оперативно-политическом смысле. Я напомним, что дело происходило в прифронтной республике, прифронтной полосе, которая пользовалась, по мнению тогдашних силовых структур, особым вниманием со стороны недоброжелателей Советского Союза и недоброжелателей операции в Афганистане.

В Душанбе валом приезжали самые разные люди, в том числе искатели приключений, туристы, ньюэджевские спиритуалисты.

Все русскоязычные приезжие замыкались на две фигуры. Одной фигурой был Каландар, на которого в Фанах чудесным образом вышел Жигалкин.

А вторая фигура — Шихали, через руки которого проходили все приезжие, потому что он был связан с Каландаром и приходил к Каландару всегда, когда хотел, как бы Каландар ни бухтел, ни шипел, ни хамил.

Шихали приходил и разглядывал, кто приехал.

Меня он сразу взял в оборот, мы с ним говорили только по-азербайджански. Много говорили про Баку. Он очень ностальгировал,

потому что вся его семья была там — сестра, мать...

Прочие русскоязычные люди, достаточно специфические, не сводились к Серебровскому и прокурорше.

Например, некий Мерзляков, прошедший и Крым, и рым, лагеря, войну, дезертирство. Он походил на актера, игравшего Котовского в фильме «Однажды в Одессе»: длинное лошадиное лицо и усики по моде 30-х годов. Любопытный человек, постоянно бывал в горсаду.

Но так или иначе вся публика замыкалась на престижных прокурорше и Серебровских, а та, что кучковалась в горсаду, тяготела к Шиху. Сад примыкал к стене шахматно-шашечной школы, где он был одним из тренеров.

В этом же саду была мантушная, где время от времени работал Сангак Сафаров²¹³ и готовил манту, когда выходил с зоны. Спустя некоторое время он стал лидером Народного фронта. До этого оставалось на тот момент еще десять лет. В качестве хобби он был убийцей и время от времени попадал на зону.

Когда мы покупали и ели эти манту, мы не интересовались, кто их готовит. Он там был не один, не факт, что каждый наш манту изготовлен Сафаровым.

Но интересно, что он работал в том самом горсаду, в 20 шагах от лавок, где мы пили чай и ели самсу и манту.

Сефарды. Певцы на таджикских свадьбах. Фарух Арабов

В горсаду образовался особый круг. У Шихали было два приятеля — коллеги по этой шахматно-шашечной школе. Один — почти стопроцентная копия Ельцина: двухметровый сефард Симхот, что по-еврейски значит «радость». Он был настолько похож на будущего Ельцина, о котором еще речи в 1982-ом году не шло, что его можно было бы использовать как двойника. Дикий русофоб, когда кончилась советская власть, мгновенно уехал в Израиль.

Вторым был Рафик, Рафаель, тоже сефард.

Рафик говорил так:

— Гейдар, вот когда я обеспечу семью, построю себе дом, я займусь обязательно духом. Буду заниматься духовной темой. Но сначала нужно обеспечить семью.

На тот момент у него был колоссальный домина, где столовая была расписана фресками в духе китч: с летающими ангелочками, эротами, обстреливавшими из луков кита, выпускавшего фонтан воды. Столовая метров 30. Но он хотел еще какой-то дом строить, прежде чем начать заниматься духом уже основательно.

Все эти люди говорили на иврите. Все они неофициально кончали хедер. Все могли читать Тору.

Я рассмотрел это пространство изнутри.

Симхот прошел тенью и растворился, двухметровый «Ельцин». А с Рафиком мы сошлись близко. Рафик добывал себе деньги не шахматами, Рафик пел на таджикских свадьбах. У него были «жигули-четверка» темно-красного цвета, на которой мы иногда ездили на Варзоб, в разные места, но это уже другая тема...

Надо сказать, сефарды прочно оседлали бизнес музыкального сопровождения национальных народных таджикских гулянок: той, обрезание, свадьба. Они музыкальны, они имитаторы, они говорят на версии таджикского языка, и они поют народные песни. Но вы всегда услышите, что поет чужак. Они портят народную культуру, искажают ее.

Сефард, исполняющий по-таджикски народную таджикскую песню, делает это слащаво. Понятно, что он имитирует, понятно, что это не его.

К сожалению, это оседлано ими так, что таджикскому народному исполнителю не просочиться. Камни пригнаны так плотно, что между ними нельзя просунуться никому. Они стали влиять на музыкальную культуру, на музыкальный фон — и разрушали его. Шихали подробно исследовал музыкальную деятельность такого рода.

Русскоязычный «элитный» круг шел вокруг Серебровского и прокурорши, а не элитный — вокруг Мерзлякова. В центре между ними находился Шихали. Ему на прокуроршу и Серебровского было наплевать, но не наплевать было на приезжающих.

Наконец, Каландар, на первый взгляд просто опасный психопат, бегающий с ножом и в тапочках по горам, а по возвращении исполнявший заказы на ремонт и расписывание кафе, что, как правило, не мог довести до конца. У человека была дикая неусидчивость, просто диагноз. Кстати, он успел посидеть на зоне — с уголовным прошлым. Его пытались убить: ранили, по-моему, в Элисте. В общем, сложный человек. Сейчас он жив, монах в одном из подмосковных монастырей. С ним поддерживает отношения Жигалкин. Не знаю, насколько часто, но некоторое время назад он говорил, что видел его. Я его не встречал после 1985 или 1986 года.

Прежде чем закончить эту главу, надо сказать несколько слов о другой знаковой фигуре, не относящейся к русскоязычному пространству, но важной для понимания масонско-элитных советских связей того времени.

Фарух Арабов жил в Душанбе недалеко от института истории партии на улице Орджоникидзе, недалеко от улицы Ленина, напротив ЦУМа.

Тихая цветочная зеленая улица, тихий двор, высокий этаж, большая трехкомнатная квартира с верандой. Родной внук Арабова, который привез золотой поезд к Ленину, будучи личным банкиром эмира бухарского. Этот золотой поезд эмир бухарский послал Ленину в 1920 году, чтобы тот оставил Бухару в покое и не распространял там

Советскую власть. Есть фотография: Ленин в золотом бухарском халате и Джурабек Арабов, дед Фаруха, обнимает Ленина за плечи. Эта историческая фотография стояла у Фаруха в спальне.

Фарух закончил что-то очень крутое гуманитарное. Он знал арабский, знал фарси. Он писался таджиком, хотя его родственники Арабовы из Узбекистана — все министры и замминистры, числом не меньше трехсот.

Вальяжный плейбой, слегка шурящийся, любивший пожить, работал он преподавателем философии в сельхозинституте. И когда я к нему пришел, он принимал у себя председателей колхозов, которые должны были сдавать философию, учась на вечернем отделении. Они с собой привезли баранов, пачки денег. Он их принимал... Там был какой-то невероятный плов.

Я тогда носил войлочный остроконечный колпак, только вернулся с гор. И Арабов начал меня троллить и подшучивать надо мной. Типа того, что это у меня за «кулох». Но он понял, что ему имеет смысл поменять тональность, и мы с ним сблизились.

Он рассказывал мне огромное количество важных инсайдерских вещей о таджикском менталитете, о таджикском народе, о таджикском сексе, о таджикской семье, об отношении к счастливой и несчастливой жизни, о том, как соседи относятся к счастливой супружеской паре.

К счастливой супружеской паре соседи относятся очень плохо, потому что таджики будут ее изводить. Таджикское пространство не любит счастье. Когда люди живут счастливо и всё у них хорошо, они полностью ублажены, самое главное, в сексуальном смысле, это ни в коем случае нельзя показывать. Надо причитать, подвывать, жаловаться друг на друга и на жизнь. Тогда соседи будут сочувствовать, обсуждать, давать советы и расслабленно относиться. Это фундаментальная национальная черта. В Таджикистане не любят счастливых пар.

Я же рассказывал про Олима Назри, который имел миллионы, но ходил в рваных залатанных халатах, а дети у него носили старые мундиры советской армии со споротыми погонами на голое тело и смотрели на сахар голодными безумными глазами.

Традиционный принцип таджикского народа — ориентация на поскуливание, на похныкивание, рассуждение о том, что жизнь — тяжкое прохождение полосы препятствий, тяжкая ноша, скудота. Если человек показывает, что для него жизнь — Диснейленд, он вызывает к себе сильную неприязнь. Особенно если он показывает, что он счастлив со своей женой. Сексуальное счастье вызывает резкий негатив.

Арабов рассказывал интересно.

Что такое «кимоб»? «Кимоб» — некое событие, причинившее психическую травму, и слово, связанное с этим событием, становится сигналом, вызывающим сильнейшее отторжение и сильнейший стресс. Такое существует у многих среднеазиатских народов, но сильнее всего развито у таджиков.

Например, мотоциклист ехал по мосту, под ним мост обломался и рухнул, и он сильно изувечился, сломал ноги. После этого если ему скажешь «мост», то у него начнется рвота и колики.

Другой проснулся ночью, чтобы попить, не заметил спросонок и хватил стакан со сцеженным молоком жены. Его тут же вырвало и с тех пор, когда он слышит слово «молоко», у него начинаются судороги, колики. У большинства людей физиологическое отвращение к женскому молоку, и оно сразу ими опознается.

Этот синдром называется «кимоб», таджики тщательнейшим образом скрывают эту черту своей национальной психофизиологии как некий закрытый для чужих элемент.

Я приходил к нему пить чай и слушать.

Он выходил на меня в 1990-е годы, когда пытался уйти из Таджикистана в Москву. Его тогда преследовали. Он провалил какой-то бизнес-проект и остался должен большую сумму денег. Он спасал от ментов свою дочку, удивительную красавицу, но это уже поздние дела.

Но тогда, в 1986 году, он был на коне. В 1988 году, уже под занавес, он был приглашен референтом в ЦК таджикской компартии.

Плюс к этому он занимался переводами Мухиддина ибн Араби²¹⁴ вместе с Шарифом Шукуровым, его дружкой в Москве. Этот Шариф Шукуров, побитый оспой сын академика, суфийствующий проходимец, занимался «суфийским» искусствоведением. Они на пару переводили Мухиддина ибн Араби.

Как-то он мне показывал привезенную книжечку на арабском языке, изданную в ГДР в востоковедческом издании. Она называлась *Kleine Schriften*.

Я его тогда спросил:

— Почему ты всё-таки решил переводить? Какая у тебя сверхзадача?

Его ответ был интересен:

— Жизнь проходит. Могила всё ближе. А мы ничего не сделали. Пока есть возможность по крайней мере сесть на хвост великому человеку.

Тот Таджикистан — бесконечно более сложный, чем нынешний. Если представить красивую только нарисованную картину и прижать к ней лист бумаги, то на нем отпечатаются кляксы. Нынешний Таджикистан — такой листок по отношению к Таджикистану прошлому.

Тайна российских шейхов. Адам Дениев

На столе у Фаруха стояла фотография из домашнего архива. Дед и Ленин.

Дед в халате сидит и имеет довольно-таки дикий вид. Кривая беззубая улыбка. В чем тут интерес?

Садриддин Айни пишет, что, хотя Джурабек Арабов надувал щеки и утверждал, что происходит от праведных халифов и он — Арабов, потому что он от арабов, но злые языки, пишет он черным по белому, говорят, что он никакой не араб, а еврей.

Это был my first intimation (первый намек) относительно того, что с этими ребятами, шейхами, «ведущими свой род» и прочее и прочее, не всё так просто.

Позднее я встретил на своем пути Адама Дениева, полковника КГБ и одновременно нашего соучредителя Исламской партии возрождения в 1990 году. До того, как его разоблачили, он читал мне лекции по поводу Дениевых и Арсановых, двух великих кланов, которые всем вирды²¹⁵ дают.

Он просто рассказал, что когда рухнула система сопротивления, когда сдался имам Шамиль, то охранка учла опыт имамата и мюридизма. Для них стал вопрос ребром о подмене этой системы. И они привезли йеменских евреев, которых поселили в зоне гребенских казаков, между ингушами и чеченцами. И стали эти йеменские евреи и чеченскими, и ингушскими шейхами.

Простые горцы же не понимают. Видят перед собой пышнобородых стариков с огромными черными глазами, говорящих по-арабски — они же с Йемена, это у них родной язык. Горцы стали их почитать как святых.

Вот отсюда и идут шейхи, которые вирды дают. Это не folk-history.

Дениев был сын гэбэшника и, возможно, внук гэбэшника.

В канун первой чеченской войны мы с Мусой Амалиевым едем по Чечне.

Он одной рукой рулит и при этом всё время привстает, проводя другой рукой по лицу.

Я говорю:

— Ты что делаешь?

— Ну как, здесь авлия, слева-справа, кладбище.

— Интересно, — говорю я. — Ты что, суфий, что ли?

— Нет, конечно, я не суфий, но у меня есть устаз.

Спрашиваю его:

— А эти устазы, они кто?

— Устазы эти — дети таких реальных устазов, шейхов, основоположников.

Я говорю:

— А как бы мне поподробнее об этом узнать?

Он говорит:

— Можно.

И вытаскивает из нагрудного кармана, как драгоценность, фотобумагу, и там такие клеммочки, каждая величиной с двух- или трехкопеечную советскую монету. И там их около 20. На каждой из них изображены суровые старики в папах.

— Это наши основоположники, основоположники суфизма и всего.

Причем одна фотография нарисована. И он называет их всех по именам.

Я ему говорю:

— Вот ты говоришь, что это шейхи-основоположники.

— Да, это вот те, с которых всё пошло.

Я его спрашиваю:

— Когда фотография пришла на Кавказ? В 1840 году были во Франции братья Люмьер, а сюда это дошло году в 1880. Вот эти люди тут изображены с седыми бородами. Значит, им в 1859 году, когда имам Шамиль сдался, должно было быть 20–30 лет, и их поснимали где-то в 1900. Ты хочешь сказать, что до 1900 года здесь вообще конь не валялся, не было вообще ничего? Это что, люди, с которых есть пошла чеченская земля, которые изобрели вирды и всё такое? А что тут до этого было?

Он задумался.

— Муса, этих людей тебе привезла охранка. Они все являются тайными агентами, а ты им и их потомкам до сих пор кланяешься, лбом стучишь. Факт фотографии это доказывает.

У него как-то всё в глазах помутилось, поплыло и он говорит:

— Ах, я дурак.

Он-то о себе много понимал. Окончил целый институт в Питере, у него диплом, что он умный чеченец. Но он не соображал всю дорогу, что люди, изображенные на фотографиях, не могут быть основоположниками мировой мудрости.

Дениевы и Арсановы и в ссылке стояли над всем этим далеко и высоко. Они были в этой ссылке командующими. Вернувшись, при Хрущеве, они кем стали?

Обкомовцами. А их родственники? Все что ли они были шейхами? Это же кланы.

Любой племянник сразу автоматически был шейхом?

Когда в Чечне пошел первый кризис, Завгаева прогнали, а Саламбека Хаджиева Москва назначила главным коллаборационистом на Чечню, при том, что там уже был Дудаев. Хаджиев ничем не командовал, но до этого он был министром нефти СССР.

Вот он был из Дениевых.

Царская власть заменила всех независимых реальных людей.

Кунта-Хаджи проповедовал анти-джихад. Кунта-Хаджи говорил:

— Если у вас отберут Ислам и заставят есть свинину, не восставайте. Восставайте, только если посягнут на чеченский язык, ни в коем другом случае не восставайте!

Умер в ссылке — ну и что? Он был один из тех, кто нейтрализовывал движение, нейтрализовывал вообще всё. Люди плотно взяли на себя задачу.

У Адалета Джабиева был друг Дениев, из этих же Дениевых. Тоже нефтяной магнат, но ничего в нем не было чеченского — говорящий высоким голосом толстозадый человек с круглым лицом и немножко бабьими чертами. Его звали Магомед Дениев. А сынишка у него... В фильме «Полуночный экспресс» про американца в турецкой тюрьме, попавшегося на наркотиках, начальник тюрьмы с собой водил сына, пухлого дегенерата в шортиках. Один к одному сынишка этого Дениева. Как будто он играет в этом фильме.

Человек зоологически не чеченец, гены у него не чеченские. Он — Дениев.

Больше скажу — те хаджи, которые правили средней Азией, тоже появились вместе с Кауфманом и Скобелевым. Естественно, ни к каким халифам седьмого века они отношения не имеют — XVIII век, и то на крайний случай. Это привезенные извне люди.

Но народ не задумывается о таких важных моментах, принимает, что подсовывают.

Меня интересует рабочий сюжет, сюжет для следственного дела. Как сшить дело по тем или иным категориям населения? Я вижу, что тут есть правда, физическая правда. Я вижу, что здесь схвачен нерв некой тайны. Мне доказательства вначале не нужны, я их потом получу.

Эта схема очень органична. Охранка думает, как ей разобраться с мюридизмом. Может быть, действительно привозные? В чем проблема? В революцию же 200–300 человек вместе с Троцким приехали из Америки.

Делается это просто. Должна быть синтетическая амальгама. Привозишь правильных евреев, с которыми у тебя взаимопонимание. Они, конечно, вступают в браки с местными, берут местных красоток из семей, родов, ничем не выделявшихся при Шамиле, а уже после ареста Шамиля поднявшихся. И тут как раз наступает синтез. И все эти люди говорят:

— Мы от арабов.

После того как пророк запретил попирать землю Хиджаза еврейской ногой, единственное место на Аравийском полуострове, где евреи остались как у себя дома — Йемен. «Йеменский еврей» — понятие устойчивое. Сохранились йеменские евреи, оставшиеся после исламизации, когда все уже вокруг были мусульманами, а они оставались евреями. И сейчас они есть.

Везли их офицеры охраны в таких, знаете, офицерских фуражечках без козырьков, типа какого-нибудь Печорина, которые съездили за ними, пригласили и сказали:

— Ну, придется принять Ислам, мы знаем, как вы принимаете. А то как же вы нашу задачу сможете выполнять, если по-прежнему будете у Стены Плача толочься?

Когда будет у нас возможность, мы возьмем пару проб на анализ.

Алферов. Азия

Впервые о Сергее Алферове я услышал от Пакиты, жены широко известного в узких кругах деятеля Валеры Блинова в году 1980-м. Валера Блинов, плеейбой и фарцовщик, а Пакита — прекрасная девчонка, секретарь-переводчица во французском посольстве, с юга Франции, немножко испанского типа. Девушка очень активная, с милым акцентом, она интересовалась феноменами культурного мира. И вот у нее были два пристрастия, о которых она постоянно говорила: художник Сергей Алферов и Мамонов из «Звуки Му». «Ах, Звуки Му, звуки му, звуки му» — я помню, как она это всё время повторяла.

Алферова очень активно покупали иностранные дипломаты для своих детских, потому что это был необычайно светлый импрессионист со специфическим почерком.

Я не придавал до поры всему этому значения, просто удержал это имя в голове, что есть такой преуспевающий художник. Художников в свое время я повидал больше чем достаточно, поэтому очередное имя успешного художника меня особо не цепляло.

Наши пути пересеклись в Таджикистане.

Алферов происходил из серьезной семьи. Его прадед или прапрадед участвовал вместе с Воронихиным в проектировании Казанского собора в Питере.

Человек очень своеобразный. Радикальный аутсайдер, причем аутсайдер по сущности. Он принципиально не въезжал в реальность и не хотел в нее въезжать. Брутальный черный брюнет, с черной бородой, черными глазами, весь такой угольный, очень азиатского вида. Когда он повязывал поясной таджикский платок вокруг головы, как делают дехкане, когда он заходил в какой-нибудь дука²¹⁶, в первый момент все относились к нему с большим почтением, как если бы зашел серьезный бобо. Но потом, когда они вглядывались в его безумные блуждающие глаза, полуоткрытый рот, у всех вытягивались лица.

Он любил ходить в таком азиатском прикиде.

Когда мы с ним встретились, он бежал из Кулоба²¹⁷, где его арестовали, потому что он учился в исламской подпольной школе и выполнял разные поручения: бегал с листовками, с брошюрками, туда-сюда бродил. В конце концов его в Кулобе повязали.

Он смешно рассказывал, как таджикский капитан госбезопасности с ним разговаривал:

— Ты что здесь делаешь? Что здесь делаешь?

— Ну, я изучаю таджикскую культуру.

— Ты иди к себе Пушкина учи, Лермонтова учи. Нечего здесь таджикскую культуру учить. Пушкина иди учи.

Алферов как-то там выжил — наверное, прежде всего в силу того, что он с открытым ртом безумно водил глазами, его отпустили. И он переехал.

Появился на моей явочной квартире, где я отсиживался. Так я с ним познакомился. И вспомнил рассказы Пакиты о нем.

Год, наверное, 1982 или 1983. Я сидел на улице Клары Цеткин в районе магазина «Гулистон». За ним во дворах четырехэтажки. В одной из них располагалась стрёмная квартирка, где я залегал. На эту квартиру его привели, но он хотел улететь в Москву. У него были какие-то деньги, на которые он пошел покупать себе аэрофлотовский билет. Через некоторое время он является и говорит:

— У меня отобрали деньги. Я подошел к кассе, там цыганки меня остановили, зазомбировали, и я им отдал деньги. Что делать?

Тогда я ему дал еще денег и сказал:

— Вернешь картинами.

Он говорит:

— Да, а как, что конкретно?

— Ты мне дашь двадцать листов гуаши по 5 рублей каждая, двадцать листов.

Он согласился, набрал нужное количество, наскреб по сусекам. Что-то потом на даче висело. Кое-какие интересные листы мы кому-то

подарили. Потрясающие черепаха и птицы — наивный импрессионизм, берущий за душу.

Зарабатывал он в Таджикистане тем, что расписывал дома. Ходил по дворам и предлагал свои услуги — вроде того:

— Давайте я вам гостевую комнату распишу. Я могу вам расписать вот такую гостевую комнату — куза, муза.

Куза — это кувшин. Значит, кувшинами, деревьями с гранатами.

Как-то зашли мы с ним в один дом, где он должен был еще какие-то деньги получить за старую работу. И там сидел народ, хозяева с гостями. Они благодушно его подняли на смех, потому что он разрисовал всё гранатовыми деревьями, кувшинами, цветами, но гранаты нарисовал хвостиками вверх. В результате чего получилось, что на дереве висят мешочки с деньгами или с конфетами. Человек просто не видел, как гранат растет. Но люди добродушно посмеялись, денег дали, сказали, что, может, к счастью, что они так висят.

Мы вместе с ним как-то попали в Гиссар. Потрясающее место, вариант «Белого солнца пустыни» — совершенно белый, пустынный, выжженный солнцем, странный город, с одной стороны маленький монолитный, а с другой — широкий, просторный и потусторонний. Идешь по нему, и ни души, только белые стены домов, площади, мосты через высохшие речки.

Там мы ловко отловили одного узбека, инженера на молокозаводе. Молодой 30-летний амбициозный узбек из тех, что нацелены на членство в партии.

А мне нужно было снова где-то залечь, пересидеть, и я к Алферову прибился.

Когда нам попался этот узбек, Алферов начал как обычно «куза-муза», «всё распишем». А узбек попался деловой. Он сухо сказал:

— Мне куза-муза не нужно. Никаких надписей, не дай Бог, не нужно. Вы мне шотландкой все стены распишите в современном стиле.

Шотландка — это клетка, а помещение было, наверно, метров 30. Как его клеткой расписать? По линейке что ли?

Мы пришли, посмотрели и решили выйти из положения так: бочка с насосом и фукающий распылитель, разные краски заливать и делать фигню в стиле молодежных кафе, которые расписывали в эпоху Гагарина, в 60-е годы: навороты в духе космоса, спиральные галактики. И вот так, в наложение, пустили ему ряд спиралей.

Он нам дал бочку с распылителем, краски. Мы оттуда не выходили. Утром и вечером приносили еду, причем вечером — мощный плов, необычайно вкусный, утром чургут и лепешки. Мы работали. Я немножко помогал, конечно, фукал в основном этой штукой.

Мы много беседовали. Мы лежали на курпачах, разговаривали о жизни.

Я начал понимать этого человека в его удивительной отрешенности.

Он тепло и добродушно относился ко всему. Говорил, что он входит в положение таджикской женщины. Идет такая апа, мать пятнадцати детей, — какие у нее проблемы, как он ощущает ее сложные заботливые мысли о благополучии всего семейства, как он уважает ее за это.

Я его спрашиваю:

— Слушай, а почему ты таджикский язык толком не знаешь? Ты же в исламской школе учился, где здесь тебя только не носило. А вот язык так и не выучил.

— Ты знаешь, мне так кайфово их слушать, когда я их не понимаю. Но когда среди всей этой речи врываются слова типа «трактор» или «управделами», или что-нибудь еще в этом роде, я понимаю, что лучше не знать, о чем они говорят. Когда не понимаешь, состояние совершенно эйфорическое. Буду понимать — тайна, романтика уйдет.

У этого узбека в то время отец умирал от рака, и кричал он так, что было слышно. Мы же работали в фасадной комнате, которая

на улицу выходила, перед палисадником, а дом уходил анфиладой вглубь — комнат, наверное, десять. Дом еще метров на 50 уходил в сад. И он там лежал, в дальней, и сквозь все эти десять комнат было слышно, как он кричит.

Когда мы с Сергеем уезжали, нас пригласили на прощальный обед, рассчитаться и попрощаться. В беседке лежал старик. Пришел мулла читать Коран над ним, старик был уже в агонии. Я своими глазами видел, как этот умирающий в муках старик перестал кричать, и у него на лице появилась блаженная улыбка, как у младенца, как будто его укололи морфием. От коранического чтения... А до этого, сквозь агонию, он ничего не воспринимал. Очень острый момент.

Крики, сопровождавшие нас в течение тех 10 или 14 дней, что мы там провели, были острой приправой к нашему существованию.

Потом, когда мы всё закончили, вышли, и вокруг нас ярко засиял враждебный чужой город, лучи солнца отражались от белых стен. И ни души. Мы вдвоем посреди картины Верещагина.

Сергей мне говорит:

— Ты возьми что-нибудь под руку, чтобы вид был деловой, и я тоже что-нибудь возьму.

Он взял метровую деревянную линейку, а я — рулон бумаги. И он мне еще показал, как ходить: ходить надо насупленно, ни на кого не глядя, типа по делу идешь. Это очень хорошо действует на местных стражников.

— Ты пойми, здешние силовики — это классические средневековые стражники по психологии. Они не трогают работающих людей, которые идут по своим делам. А вот если ты будешь идти задумчиво, пялиться по сторонам — тут же остановят и уже не отобьешься. Просто бумага, какая-нибудь линейка, мастерок, ведро с инструментами — это всё железное алиби. Только идти надо таким шагом, как будто ты знаешь, куда идешь, а не прогуливаешься.

Сам он именно так, с приоткрытым ртом, обычно и ходил.

Мы пошли по городу искать новую работу. Так ее и не нашли. Я слинял из Гиссара в Душанбе, и наши пути разошлись.

Потом, уже после конца советской власти, я узнал о нем. У меня пошли политические события, гражданская война, тут Ельцин появился. Я узнал, что Сережа уехал в Лондон. И в Лондоне он сидел очень долго. Так же, как мы в этом Гиссаре, но в подвале — и постоянно рисовал. Потом он вернулся. Я его встречал в Битцевском парке, где он картины продавал.

А потом его убили неизвестные люди, по официальной версии — из хулиганских побуждений. Ему разбили голову на автобусной остановке. Он очень долго умирал, ему никто не помог. Он полз весь в крови среди прохожих, среди людей, ожидающих автобус. И кто-то сказал его жене, у тебя там, вроде, муж умирает. Но это было уже через несколько часов. Он лежал на земле с разбитой головой, и его все переступали, обходили.

Жуткой смертью умер: как говорят, он был в сознании. Он просто не мог говорить, только стонал.

Я его вспоминаю, как мы были вместе... Странно завершились его странствия по миру — страшной смертью на московском асфальте.

«Всемирная гражданская война»

В 1984 году Жигалкин за мной записывал, и Саша²¹⁸ тоже записывал. В какой-то момент кто-то из них вышел, а кто-то продолжил. В итоге появилась небольшая работа, небольшой манифест, где было несколько полных глав, и одна глава была тезисная. Эту главу я считал самой главной и интересной, она называлась «Всемирная гражданская война».

Главная идея там была такая: конец истории должен обязательно проходить в конвульсиях и агонии тотальной гражданской войны, которая должна пройти через все семьи, роды, кланы, этносы. Это будет борьба за то, кто останется наследником реальности в качестве человека. Потому что те, кто проигрывают, физиологически перерождаются, меняются и отпадают от человеческого состояния.

Я не имею исторических аналогов, но обрывки своих мыслей я иногда нахожу, когда заглядываю в какие-то книги. Как правило, это мне неприятно, потому что я очень не люблю встречать пародию на свою мысль у каких-то чужих людей. Я тут же это закрываю и ставлю туда, откуда взял.

Чем меня всегда раздражал исторический гнозис — что гностики бьются над идеей превосходства, выстраивают некую иерархию, то есть над этим богом еще бог, над сущим богом — не сущий, а фактически они бултыхаются в болоте онтологии. Не могут преодолеть идею бытийного наличия, бытийной реальности.

Всё, что я нахожу в этой сфере, оказывается бултыханием в сфере Бытия, потому что уже о самом Бытии нельзя сказать, что оно есть. Само Бытие не перепрыгивает через эту планку, потому что предикат «есть» можно выставлять только к феноменологии, которая создается благодаря Бытию. И Небытие включено в Бытие.

Здесь есть некоторая проблематика смыслов и терминов, поскольку то, что я имею в виду под Бытием, Генон называет «la possibilité infini», то есть «безграничная возможность».

Конечно, la possibilité infini предполагает, что бóльшая часть, то есть безграничная протяженность, — это la possibilité de non-

manifestation, то есть возможность непроявления, а Бытие — это возможность проявления, которая по отношению к возможности непроявления — как точка в этом безграничном.

С моей точки зрения, и то, и другое — это всё Бытие.

Изначально существует мысль — мысль Бога, мысль трансцендентного Субъекта. Ни Единое, ни что-то еще — всё это онтологическое «плюханье», которое возвращает нас в Бытие.

Эта мысль является мыслью Бога, мыслью о Боге, мысль, которая является Богом.

В чем специфика этой мысли?

Она является антиидеей.

Она даже не знает, что есть какая-то идея.

Эта мысль предполагает в себе драму следующего порядка: она есть Всё и одновременно она есть воля к «другому».

Эта мысль, будучи тотальным Всё, стремится к тому, чтобы превзойти это тотальное Всё, потому что она жаждет большего, нежели плерома.

Есть плерома, полнота, — она предшествует любой апофатике. А мысль, которая совпадает с этой плеромой, не удовлетворяется этим совпадением, — она говорит, что есть иное, нежели эта плерома.

Но плерома-то включает в себя абсолютно всё.

И поэтому «есть иное, нежели плерома» означает, что это утверждение невозможного, потому что невозможно быть вне плеромы.

То есть суть мысли заключается в постулировании невозможного. Это невозможное предшествует самой идее возможности.

Это — невозможное, потому что этого не может быть, потому что плерома исключает всё, кроме того, что она.

Утверждение невозможного как центра — это гностический скандал внутри мысли. Потому что утверждать то, что превосходит

плерому, полноту тотального Всё, — это скандал, и его надо маскировать.

Мысль непрерывно маскирует от самой себя свою внутреннюю содержательность. Идея того, что существует нечто сверх плеромы, которое не существует, естественно, маскируется тем, что это объявляется невозможным.

Невозможное — это маска иного по отношению ко всему.

Но этого мало.

Невозможное само остается скандалом.

И дальше вот это Всё, которое являлось исходным материалом для преодоления, деградирует и падает.

Оно превращается из «Всё-как-плеромы» в простую и чистую негативную бесконечность, которая служит для того, чтобы просто отрицать всё, кроме себя, то есть отрицать то, что невозможно.

Невозможное становится отрицаемым.

А Абсолют, в который вырождается плерома, становится отрицающим.

И то, что мы называем апофатическим негативом, Абсолютом — то, что в традиционных метафизиках выступает как Брахман, Эйн Соф²¹⁹ — есть некий горизонтик «павшего» — бывшей плеромы, которая стала косой, отрицающей всё, кроме себя, единственная функция которой — скрывать, что центром и содержанием мысли является невозможное.

Невозможное просто объявляется отрицаемым. И фундаментом мысли является отрицаемое.

Теперь, этот Абсолют.

Он же внутри себя пуст и не самодостаточен. Он живет только исключением. Он живет эксклюзивно. Он исключает, имея в виду самое главное, что «этого не может быть, потому что оно — вне меня», то есть всё, что «вне меня» — исключается.

Из этой негативной пустой ограниченности рождается возможность. Но возможность рождается после невозможного. Сначала у нас есть невозможное как скандал, а возможное рождается как конечное.

Возможное и конечное — это синонимы. Возможное — это и есть конечное.

Возможное появляется как точка.

Это есть нечто обратное — как в камере-обскуре или в негативной фотографии.

Вот Абсолют, который не имеет ограничений, — он пустой, он отрицает всё, кроме себя, у него нет границ, которые он всё время снимает, — а точка тоже не имеет границ, потому что она не имеет измерений. Она в некотором роде тоже является бесконечностью, но инвертированной. Это инвертированная бесконечность.

Сущность инверсии выступает просто по отношению к другому. Она является точкой, ограничивающей сам Абсолют, которую Абсолют должен снимать, отрицать эту точку.

В этой точке проявляется и манифестируется сокрытое невозможное.

Самого сокрытого невозможного мы не видим. Зато мы можем видеть точку, возникшую из «слабости» пустого Абсолюта, которая этот пустой Абсолют будет отрицать.

Эта точка и есть начало Бытия.

Оно есть то Бытие в чистом виде, которое проецируется на пять парадигм или на пять моделей: уникальность, альтернативность, возможность не быть уникальному, возможность не быть альтернативному, возможность не быть ничему.

Два утвердительных момента — возможность быть только этому и возможность быть чему-то, подобному этому.

А три отрицающих момента — возможность не быть только этому, возможность не быть ничему, подобному этому, возможность

не быть ничему — тоже составные части Бытия. То есть Бытием мы называем сферу конечного.

Они являются идеями, которые как идеи по сути своей противоположны мысли.

Идея противоположна мысли, потому что суть идеи — в тождестве, а суть мысли — в нетождестве.

Чистая мысль несет в себе, в своем центре, невозможное.

Она является Всем, которое концентрирует внутри себя то, что сверх плеромы.

Но это невозможно.

Поэтому оно не имеет ничего, кроме динамики сокрытости, — это динамика чистой сокрытости.

Мысль является трансфинальным состоянием трансцендентного Субъекта, внутри которого есть идея величия.

Идея величия всегда здесь и теперь. Она всегда имманентна. Вот идея абсолютного величия — это плерома.

Превосходство этого величия заключается только в лишенности, в «привационности».

Как выразить то, что мысль утверждает превосходство над величием? Она утверждает антивеличие, то есть она утверждает нищету, лишенность.

А лишенность, в которой выражается нечто большее, чем само величие во всей его полноте, есть абсолютное Зло.

Оно есть абсолютное Зло, потому что это именно лишенность. Потому что сверхвеличие, превосходство над величием, иначе никак нельзя выразить, кроме как через идею абсолютного Зла, то есть отсутствия реального утверждения, то есть это неутверждение.

Вот это абсолютное Зло до какого-то момента внутри самой мысли есть то, что выступает в роли трансцендентного, то есть это лишенность.

Но невозможное — пассивная имманентность. Потому что эта лишенность какая? Это лишенность чаши, которая пуста. Почему она пуста? Потому что эта чаша вмещает в себя абсолютно всё.

А вот есть нечто, которое превосходит возможности этой чаши. Поэтому эта чаша обозначает собой то, что в ней не может заключаться по своему принципу превосходства. И сама эта чаша, которая пуста, — это лишенность, пассивная лишенность, пассивная имманентность.

Но ведь есть то, что является предметом лишенности.

Что оно, что не вошло в эту чашу?

Что это оно, что превосходит саму идею величия, саму идею позитива, саму идею утверждения?

В том-то и дело, что то, что превосходит саму идею утверждения, утверждения как Всего, снимает идею утверждения. Потому что всегда по отношению к любому величию, к любой плероме, к любой полноте, мы говорим «иное» как невозможное.

Иное как невозможное, которое концентрируется в том, что вся последняя финальная реальность обваливается в обрыв отсутствия, в обрыв тотального отсутствия, в обрыв отсутствия утверждения, — всё обваливается в отсутствие утверждения.

И это есть чистое Зло.

Сущность и тайна мысли в том, что она стремится преодолеть абсолютное Зло. Потому что лишенность и предмет лишенности — две стороны одной монеты, которая называется имманенция, — лишенность и то, что является предметом лишенности, то, почему всё является чистой лишенностью.

Всё является чистой лишенностью, потому что есть предмет лишенности, который не входит ни во что, превосходит всё, — его просто нет.

Это абсолютное Зло.

Трансцендентное не видит себя в предмете лишенности. Оно не тождественно ему. И в этом его победа.

И в этот момент трансцендентное является нам как полностью освобожденное от отсутствия. Оно является нам как утверждение, которое может быть взято только с конца трансцендентного.

Утверждение может быть только трансцендентным. Плерома здесь не может быть утверждением, потому что по отношению к ней всегда есть идея превосходства, которая упирается в Зло. Но она просто не схватываема, и поэтому реальность не закрыта, не исчерпана. Реальность обваливается в некую безосновность.

Но сущность трансцендентного в том, что оно не тождественно этому, потому что принцип нетождественности несетя самой мыслью, и цель этой мысли — получить посвящение в собственный принцип.

Жизнь этой мысли в динамике — это посвятить трансцендентный Субъект в Его истинное предназначение, в Его истинную природу. То есть освободить Его от того, что превосходство над величию может явиться только в форме негатива. Освободить Его от негатива — то есть явить утверждение через абсолютное нетождество.

Идея — это тождество.

Можно не вникать, что «идея — это уникальное» или «идея — это альтернативное». Каждая идея знает только самое себя. Например, для идеи о том, что возможно только альтернативное, не существует идеи, что возможно только уникальное. Не существует идеи, что возможно, чтобы не было ничего. Каждая из этих идей существует сама по себе как в собственной клетке.

Но проблема в том, что, когда пустой негативный Абсолют отрицает «верховную» точку, родившуюся из него, он заставляет пять модальностей, как зеркала, светить друг в друга, отражаться друг в друге. И они создают анфиладу зеркальностей, которая повторяет и расходится кругами.

Это и есть Бытие.

Каждая «зеркальность», вновь возникающая, — это миры: наш пространственно-временной континуум и аналоги — их безгранично много. А сумма всего этого, сумма всех этих состояний — это Великое Существо.

Но дело в том, что Бытие есть «сортир» этой мысли, есть ее «фекалии», есть абсолютный сброс изнутри. Это мысль, которая порождает свою тень, свою антитезу, свою «тьму внизу», которая всему внутри нее, в Бытии представляется, конечно, как сияние, полнота, утверждение.

Бытие представляется как утверждение — но это ложь.

Естественно, Бытие является царством тождества. И естественно, что это царство позитива.

Но это всё — ложь, потому что это склеенная из осколков, из безграничного количества повторяющихся зеркал, которые светят друг в друга, ерунда.

В центре всего этого²²⁰ стоит человек, который является, с одной стороны, удаленным от Великого Существа настолько, что внутри него появляется допуск некой перспективной свободы, а с другой стороны, он еще достаточно близок, чтобы сохранять форму и аналог Великому Существо.

Реализация этого шанса на свободу имеет значение, потому что ниже этого идет хаотизация, расплывание форм, и уже не имеет значение — свобода, не свобода. Хаос не может быть преобразован в качестве свободы. А свобода — это только разрыв с паттерном, который достаточно четкий.

Человек является тем самым золотым ключиком, которым открывается запирающаяся дверь «сортира», то есть запирающаяся дверь Бытия, в результате чего начинается открытие мысли из нисхождения от невозможного к отрицаемому, потом к отрицающему. И возникает обратное движение вверх, когда все эти слои, один за другим, открываются.

Они открываются до того момента, когда невозможное становится абсолютно всем.

И тут мы приходим к предмету лишенности. Самое страшное — это то, что предмет лишенности делает абсолютно тождественными и одинаковыми взаимоисключающие тотально несовместимые вещи: отрицаемое и отрицающее.

Две вазы — в одной вазе отрицаемое, в другой — отрицающее. А предмета лишенности нет в обеих вазах. Обе вазы негативно тождественны. И это — смерть мысли.

В тот момент, когда мысль умирает, когда божественная провиденциальная мысль погружается в смерть, — в этот момент просыпается нетождество как чистая освободительная эссенция мысли. Нетождество тотальному Всё как принципу «превосходства над превосходством», когда черная ткань неутверждения преодолена.

Неутверждение снято, потому что есть только утверждение. Есть только утверждение трансцендентного.

Но это утверждение не позитива здесь, которое можно пощупать, не онтологическое утверждение, это — высшая математика.

Речь идет о чисто математическом решении. Имеется в виду соответствующая математика — математика трансцендентного Субъекта, в которой достигается окончательное преодоление самой идеи «здесь и теперь», пребывания здесь, тождества, идеи как закрытости, так и негативной открытости. То есть негативная открытость как превосходство, которое может быть выражено только в Черной Бездне.

Истинное трансцендентное не тождественно ничему из того, что закрыто, и той Черной Бездне, которая превосходит всё закрытое.

Надо иметь в виду, что здесь нет онтологии вообще. Вся онтология остается даже не в Бытии — она в зеркалах, порождаемых этой точкой Бытия, в феноменологии. Потому что о Бытии мы уже не можем сказать, что оно есть. Бытие само не может иметь предиката «есть».

Черная бездна преодолевается только тогда, когда исчерпана сама мысль в ее восхождении вверх, потому что от плеромы — переход к черной бездне, и черная бездна тут же является как невозможное.

Невозможное является как отрицаемое, потому что невозможное допустимо для логики божественной мысли.

Вот черная бездна недопустима — это скандал. Невозможное допустимо, но всё равно это скандал. Отрицаемое — это еще более

допустимое, это еще большее сокрытие подразумеваемой трансценденции.

А дальше идет плерома, которая превратилась из плеромы в негативный Абсолют, отрицающий всё, кроме себя.

Она выступает в роли отрицающего. Она окончательно скрывает концепцию превосходства через негатив, когда сама идея позитивного величия просто снята — абсолютно, изначально снята.

Не бесконечность, которая содержится в «пустом» Абсолюте, и не тотальное Всё, которое содержится в плероме. Тут надо понять, что это не вообще бесконечность, а чудовищное отсутствие утверждения. А утверждение — это императив. Утверждение — это долженствование трансцендентного Субъекта. Трансцендентный Субъект не может быть вне утверждения. Потому что если утверждение не состоится и не реализуется, то трансцендентный Субъект как бы что есть, что нет: если нет утверждения, то трансцендентный Субъект окажется чистой виртуальностью, виртуальным нулем.

Утверждение — императив для Того, кого мы называем Аллах, — не как «бог», а как имя собственное трансцендентного Субъекта.

Трансцендентный Субъект как невозможное, то есть всё сущее — не Он. Всё сущее, всё, что есть, — плерома, всё это есть не Он. Но тот, который есть только через то, что всё есть не Он, то есть описывается негативно, Он требует абсолютного утверждения как принципа. Потому что если это абсолютное утверждение не состоялось, то эта ссылка — «Он есть Тот, Кто не есть всё остальное», — будет бессмысленна, будет просто какой-то дурной шуткой.

Либо это утверждение — либо ничего нет.

Должно быть утверждение. Но утверждение может возникнуть — и в этом великая тайна, — утверждение может возникнуть и оформиться только как абсолютизация нетождества.

Когда к зеркалу непроглядной тьмы, условно говоря, подходит трансцендентное и не видит там себя, — в этом зеркале уже есть нетождество, которое абсолютно негативно, черно, — трансцендентное абсолютно рвет с этим негативом, и нетождество

становится чистым утверждением, которое является, так сказать, «золотым обеспечением» трансцендентного Субъекта.

Я считаю философию состоявшейся тогда, когда ее можно изложить в статье для энциклопедии или словаря.

Вот, например, берешь Гегеля и кратко излагаешь его взгляды.

Я уже написал первый набросок, начало ключа. Близко к тому, о чем мы сейчас говорили. У людей есть огромное количество моих статей, лекций, но всё это пиксельно. Оно не собирается в единый дом, со ступеньками, лестницами, этажами, колоннами. Чтобы по крайней мере дать возможность представить, что есть такой дом, я попытался написать ключ к пониманию.

Очень быстро оказалось, что этот ключ должен сильно разрастись. Потому что даже то, что я сейчас изложил, выльется в пару десятков страниц, если это еще обработать, чтобы это было понятно, чтобы это было не безумным вскриком.

Есть несколько попыток подхода, и они все существуют в моем компьютере так или иначе. Лекции выплывают ниоткуда. Там иногда какие-то намеки содержатся. Я всё еще надеюсь, что у меня хватит сил этот ключ написать.

То, что я сейчас изложил, — еще один очередной набросок ключа. Но эту лекцию поймет Мелентьева и Руслан²²¹. Но, скажем, как рабочая методология, как пролегомены ко всякой будущей философии, наверное, будет довольно бесполезно то, что сейчас я изложил. Это только для нескольких человек будет работать — мне так кажется. А может и нет.

Гегель был потрясающей гностической загадкой, тайной, интеллектуальным молохом для своих современников, хотя на самом деле он предельно прост. Это настолько простая, в общем-то, банальная вещь: всё гегельянство строится на том, что идея чистого Бытия тождественна идее чистого Небытия, то есть абсолютная идея заключается в тождестве чистого Бытия и чистого Небытия. Вот и всё. Больше там ничего нет: всё остальное — это просто рассуждения вокруг этого.

По сравнению с Шеллингом Гегель — очень простой философ. А ведь как мучились люди, когда пытались его читать: никуда не могли проникнуть. Шеллинг намного крупнее, намного интереснее — по сравнению с Гегелем это более сложный автор. Что касается других немецких мыслителей... Кант интересен, конечно, своей догадкой, что всё в голове. Но он ноумен поместил снаружи, но ноумен-то у нас в голове сидит: ноуменальная часть — это сознание.

Я провожу абсолютную стратегическую дихотомию Бытия и сознания, которые взаимоисключающи. Тут возникает уже тема финализма, то есть финал как прорыв в бесконечной гомогенности, дурной бесконечности, в которой появляется прорыв — точка ограничения, центрирующая точка, финал, которая является дверью в иное, — в то самое, что описывается только тем, что «всё, что есть — не есть оно». Это финал.

Внутренняя динамика моей мысли, ее драйв заключается в том, что идея трансцендентного Субъекта нуждается в «золотом эквиваленте», то есть она должна быть оплачена, оплачена только утверждением. А это утверждение не может быть имманентным, оно может быть только с той стороны, по ту сторону того, что ничего нет.

Когда мы переходим по ту сторону того, что ничего нет, там мы обретаем документ, «справку Бога».

Это последняя «справка», которую мы можем увидеть. Потому что мы сами-то где? Почему вообще эта мысль возможна, почему мы думаем эту мысль, почему мы каким-то образом к ней подключены? Потому что мы являемся носителями сознания, которое представляет собой блик, упавший в этот «сортир» Бытия из невозможного. Это то, куда мы уходим в смерть.

Невозможное — это то, куда мы уходим в смерть.

Мы умираем, и мы уходим в реально невозможное, которое не подлежит описанию не потому, что оно апофатично, а потому что оно за пределами расшифровки. Как свет — свет же нельзя определить, когда он просто есть. Но когда ты ловишь «зайчик» и пускаешь его на стену, то «зайчик» появляется в своей конкретности. Вот блик — он здесь. Так вот, если поймать «зайчик» от этого

невозможного и пустить на стену, то это будет сознание человека как оппозиция всему, как нетождественное всему.

Первое нетождественное начинается с конфликта между сознанием как точки, вброшенной сюда из невозможного, и Бытием, которое является антимыслью. И здесь, на человеческой площадке, они сходятся.

Человек должен полностью пройти весь путь и реализовать эту борьбу, победить, довести сознание до победы над Бытием. То, что я описал, одновременно является сюжетом колоссальной пьесы, которая является содержанием мысли.

Последняя «справка» будет дана приходом Исы аль Масих (мир ему) и Махди, которые явятся против Даджала, против антихриста и возглавят верных. Это непосредственное вмешательство четвертого сверхъестественного контура.

Напомню. Первый сверхъестественный контур — это жизнь. Есть естественный контур — жизнь минералов, камень выветривается, яблоко падает. Жизнь есть нарушение второго начала термодинамики.

Второй контур — это социум, в котором еще большее нарушение второго начала термодинамики.

Третий контур — это когда человек осознает драму своей вброшенности во враждебный ему социум, когда он осознаёт сюжетность, когда он осознает смыслы, обратную связь со смыслами.

Если он действительно набирает «критическую массу», этот «урановый» человек, то тогда Всевышний, в качестве знамений, посылает ему помощь в виде Махди, который является непосредственно ведомым от Него, и Мессии Исы, да благословит его Аллах и приветствует — это четвертый контур.

При этом личность Махди подтверждается личностью Иисуса.

А личность Иисуса неоспорима, не может быть поставлена под вопрос, потому что он является последним Адамом, он является повторением Адама. «И был Иса как Адам» — сказано в Коране²²².

Иисус и Махди являются с двух разных сторон, совершают вместе намаз, они — тандем, который возглавит правоверных.

Тогда гарантирована победа над Даджалом.

Но может быть так, что они не являются.

И в этом смысле победа над Даджалом не то, что не гарантирована, ее просто не будет, — как с бесконечным количеством предыдущих человечеств.

Речь идет о мощи человечества — в нем должно быть пассионарное ядро, которое готово принести себя в жертву на этом пути.

И таких людей должно быть не пять и не десять — как праведников, которых у Лота требовал Господь.

«Критическая урановая масса» — это чистая пассионарность.

И тогда Всевышний ставит печать. Он посылает Мессию, он посылает Махди. Они вдвоем проводят победивших сначала в хилиастическое царство.

Хилиастическое царство — это еще Ветхое Бытие, это исполнение законов справедливости до появления Новой Земли и Нового Неба. Когда всё было полно гнета, унижения и несправедливости — и наполнилось справедливостью и свободой. Внутри Ветхого Бытия происходит такое преображение. Розы цветут на камнях, птицы говорят человеческими голосами, яблоки летят вверх.

А потом все умирают, воскресают, и происходит Страшный Суд.

Но до нас были мириады человечеств, которые прошли без Суда и превратились в пыль. Потому что если бы был у кого-то из них Страшный Суд, то не было бы нас, не было бы всей проблемы, и вместо нас было бы Новое Бытие.

Идея хилиазма, тысячелетнего рая выброшена для того, чтобы продемонстрировать, что Ветхое Бытие так же содержит в себе потенциал преображения. Что Бытие возможно со знаком плюс. Внутри Бытия можно посрамить те принципы, на которых оно по своей ветхости основано. Это закрытие цикличности.

Цикличность надо закрыть. Как закрыть цикличность?

Например, обрубок руки, чтобы из него не текла кровь, заливается жгучей жидкостью, чтобы раз — и заблокировать.

Хилиазм закрывает цикличность. Потому что цель монотеизма — остановить цикличность мироздания, вечный повтор и вернуть его к единственному акту Страшного суда и появлению Новой Земли и Нового Неба.

В одно из бесконечных повторений это должно состояться, потому что сама идея дурной бесконечности предполагает неизбежность этого свершения, хотя абсолютно неизвестно, когда это произойдет.

Но есть тонкость.

В чем фатальность этой победы?

Числовой ряд от, условно говоря, первой манифестации до той манифестации, в которой будет остановка циклов, смерть, воскресение и Страшный суд — вот эта бесконечная последовательность числового ряда движется из бесконечной дали сверхбольших чисел к нулю.

В нуле мы приехали.

Вопрос в том, ноль — это мы или это кто-то после нас, следующие?

В тысячелетнем царстве справедливости все праведники, потому что входят в него только те, кто победили вместе с Мессией. Они победили Даджала, но это победа над человечеством.

Я думаю, сама битва будет связана с движением гор и прочими катаклизмами. Эти катаклизмы не являются частью окончательного закрытия Ветхого Бытия. Содом и Гоморра — это же тоже катаклизмы.

Хилиазму тоже будут предшествовать катаклизмы, потому что когда речь идет о конце, то там говорится, что небо будет разодрано как свиток, земля будет вздыбаться... Всё будет рваться, тут уже будет не до падения ниц.

Когда возникает Новое Бытие, то оно возникает только как Рай. Это Рай и всё.

Что значит Рай?

В Ветхом Бытии мы являемся оппозиционной точкой, придавленной пластами инерционной глины внешнего Бытия. Мы как мухи в янтаре упакованы, заморожены в Бытии, куда мы вброшены.

А в Новом Бытии то, что нас окружает, будет производным нашего обновленного сознания праведников. Это будет, условно говоря, тень нашего сознания. Причем эта тень будет световая.

Если сейчас свет светит, а тень темная, то там будет наоборот: тень будет светлая.

Я строго математически следую за Писанием, потому что в Сунне говорится, что лица праведников в Раю будут обращены к Аллаху, и хотя Он будет так же невидим, как сейчас, но свет Его будет на их лицах. Это значит, что Невозможное, которое является непроглядной тьмой, будет сиять, будучи таким же непроглядным, но оно будет сиять как позитив, и будет освещать лица праведников. Причем оно будет освещать лица праведников черным светом, а тень от них будет светлая.

Черный свет — это свет Аллаха. Это тот свет, который «Аллах — Свет небес и земли» ²²³, ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает.

Черный свет вы можете тоже увидеть. Возьмите черную бумагу и бросьте на нее что-то еще более черное. Например, пролейте на нее черную тушь. Тогда вы увидите черный свет по контрасту.

Известный аят ²²⁴ про светильник в нише, где свет горит над оливковым маслом, но не сжигает его: он горит поверх, и он не является горением в смысле физического процесса. Его энергия явлена в чистом виде, она не берется из трансформации вещества в энергию.

Это связано с тем, что любой свет — иррадиация.

Солнце горит, и оно погаснет.

А вот тот черный свет, который стал восходить, потому что мы на черное наложили еще более черное, — это свет, который никогда не погаснет, потому что его энергия берется не из процесса

горения, а из внутренней тайны тьмы. Это сияющая тайна тьмы, которая предшествует самому свету как иррадиации. Свет как иррадиация — бытийный свет, ложный свет, это фальшь.

В Тегеране меня повел в ресторан один профессор. Типичный иранский профессор, немного заезженный жизнью, в обтерханном пиджаке, но с горящими глазами.

Он заказал рис с курицей на свои последние деньги и стал мне объяснять свое видение духовной реальности, как он понимает истинный свет.

— Представьте себе: мы сидим под большой прекрасной люстрой. А теперь представьте, что мы входим в пространство, где миллиард люстр, иерархия люстр, иерархия света...

У иранцев в башке это сидит. Они отделывают серебром и хрусталем внутренние стены мазаров, и там такая подсветка, что серебро с хрусталем пылает волшебным сиянием. Но образы эти хороши для несчастных простых людей, которые оторвались от кетменя. Или привязывают красные ниточки, ведущие от больного места сквозь решетку мазара к решетке гробницы, чтобы «ток бараката» вылечил.

Мы как-то вошли в один мазар в 1992 году, где валялось больше сотни таких стенающих страдальцев. Теперь я их хорошо понимаю. И мне предлагают лечиться у них.

Излечиться просто. Сибирский шаман тоже может излечить. Сибирский шаман должен подвергаться смерти. Мазар — это тоже самое.

Ислам — это война с человечеством.

Аллах говорит: «Мы сотворили человека из капли, а вот враждебен определенно»²²⁵. Человечество враждебно Всевышнему.

Истинным человеком является Адам и изшедшие от него пророки, а человечество, которое здесь тусуется, не имеет отношения к потомству Адама. Это всякие питекантропы, которые научились языку Адама.

До явления языка они общались телепатически.

Но приходит Адам и учит их языку.

Он заставил их нести потенциально виртуальный отблеск сознания.

Можно сказать, что Адам, который пришел к людям, — это свечка, которая горит. А люди, которые встретили его и восприняли его послание, — это набор разных зеркал, которые стоят и отражают эту свечку.

Путать свечку, которая горит реальным пламенем, и зеркала, которые отражают этот язычок, никак нельзя.

Они могут только, следуя за Адамом, рассчитывать, что если они сверхусилием, как урановая критическая масса, совместно добьются, что Всевышний пошлет им Мессию, тогда соотношение отражения адамического пламени в зеркальце их глиняного существования будет расценено на Страшном суде в их пользу. И тогда будет признано, что они носители сознания и могут войти в Рай.

Но до тех пор это просто зеркала, которые можно закрыть тряпкой или отвернуть — и ничего не будет.

Более того, они используют это отражение во вред, потому что человеческая цивилизация и язык используются с целями, противоположными Откровению Адама.

Язык используется для описания целей Бытия, целей Великого Существа.

Если брать гимны всяких Ригвед, всякие Праны, метафизику высокого язычества, то там языком Адама изложено мировоззрение Сатаны.

Что это такое? Как минимум — страшный черный компромисс.

Социум — тень Иблиса, Аполлона. А Иблис это же Аполлон. *Ἀπόλλων* — имя Иблиса. Это искажение греческого в арабском, *Ἀπόλλων*, который становится Иблис. Иблис как Великое Существо, он же Люцифер, «утренняя звезда».

Апостол Павел называет Иисуса в своем послании «утренней звездой», стремится его подверстать под Аполлона, сделать из него Аполлона или Диониса.

Иисус же является новым Адамом, Омегой, Мессией, который приходит с тем, чтобы прекратить циклы. Это не пролонгационная, а финальная фигура.

Вот я более-менее изложил схему. Внутри этой схемы каждый тезис можно раскрывать.

**1984. Удушье. Уроки французского. Статья Берджесса.
Мертвая точка совка. Пародийный Андропов. Гэбня
и космизм. Мы — не маргиналы. Удам Хальянд.
Амальрик. Пыльные открытия 80-х**

60-е — годы пульсирующей, упругой таинственной жизни, какого-то обещания встречи за углом, грядущей новизны.

А начало 80-х — бессмысленное пустое время. Тогда заработать 500 рублей считалось высшей доблестью.

Наступила полная деинтеллектуализация, полная смерть заживо. В некотором роде начало 80-х и вообще 80-е годы предвосхитили постперестроечное время бессмысленных бритых затылков, широкоспинных ЧОПов в кожаных куртках.

Общая ситуация ощущалась как удушье, полная утрата живого нерва. Богема, диссидентура, какая-то активность — всё схлопнулось с 1976–1978 года. Мощно всё пошло на нет. 1984 стал пиковым годом, когда ресурс шестидесятников, диссидентов, богемы полностью исчерпался.

Касательно эсхатологических чаяний и ожиданий от 1984 года публика была достаточно банальной. 1984 год стал пиком унылости, мертвой точкой.

В 1984 году я преподавал французский язык частным образом, у меня было две группы. В одной группе Жигалкин с Наташей, Митя, еще человек пять. Гюля была в одной из них.

Начались занятия у Серафы — это был единственный раз, когда я появился у него дома. Серафа был в подряснике и сапогах. И туда зашла девушка с философского факультета — Наташа Мелентьева.

Там была и другая девушка то ли из банка, то ли из музея русской литературы, которая относилась с дикой подозрительностью к моим словам.

Потом занятия переместились ко мне. А уезжая на Памир, я наивно предоставил Серафе возможность жить в моей квартире

на Болотниковской. Он туда затащил Гороховну-Даоса, и они там родили ребеночка.

Когда я об этом узнал, я пришел в ярость. Надо мной смеялись, потому что я не понял, что она беременна. Это был такой мешок с капустой, грибное чавкающее образование, что понять было непросто. Этой девушке, дочери Серафы, родившейся на Болотниковской в 1984-ом году, сейчас 32 года²²⁶.

Степанов в этот период был рабочим сцены ансамбля «Арсенал» у своего ученика Козлова, который его возил по заграницам, а работали за него его ученики Костя и Гурам. Сейчас они пишут романы, какой-то провокационный треш.

Для одного из уроков я подобрал большую статью Энтони Берджесса, которая называлась «1984». Берджесс — автор «Заводного апельсина». Хороший автор, видный, и книга замечательная. «Бар “Корова”» — прекрасно.

Статью Берджесса напечатал «L'Express», такой эксклюзив для «L'Express». Текст в переводе с английского во французском журнале.

Он защищал тезис, что 1984 год уже наступил, что Большой брат уже здесь. В 1984 появляется текст, что Оруэлл состоялся.

Почему-то у него основным примером была Швеция, и он объяснял, что Швеция — страна Большого брата, там Большой брат следит за тобой и царит тотальный контроль. Идея была такая: Большой брат уже есть, — в частности, шведский социализм — это образцово-показательный Большой брат.

Я эту статью заставил своих учеников разбирать.

«L'Express» вышел в январе 1984 и был посвящен этому году. Бёрджес задавался вопросом, что же происходит в плане Оруэлла. Ну и отвечал, что Оруэлл отдыхает, что всё уже схвачено. 1984 год вообще был тогда любимой темой. Шведская реальность у Берджесса ненамного уступала тому, что сейчас описывают сноудены — в плане обратной связи с экраном и всего такого.

Я помню то чувство пустоты, тяжести, бессмысленности, которая просто грузилась извне в выдвигающиеся и задвигающиеся ящички. И всё было свинцовое.

Возникало ощущение, что Большой брат Берджесса не работает в совке. Совок лежал настолько мертвым, что здесь уже даже и Оруэлла нет. В принципе, Оруэлл здесь всегда был обыденностью.

Оруэлл как угроза, как перспектива, как антиутопия — это для западной демократии, а для совка какой Оруэлл?

Что это за угроза? Постоянно следят, постоянный контроль, постоянно какие-то месткомы тебя в шаржевой форме прорабатывают, разбирают, постоянно какое-то самопокаяние.

Но в 1984 году и это умерло. Мертвая точка. Есть такая позиция в движении поршня, когда он поднимается вверх, выпрямляется шатун, и вывести из этой позиции его можно только с помощью движения маховика, который связан с этим шатуном. Сам поршень уже не может выйти из этой позиции, он застывает.

Мертвой точкой была вся советская жизнь.

Андропов явился уже пародийным. Когда он пришел, и начались рейды по кинотеатрам и баням, всё стало ясно: власть спятила окончательно.

Народ стебался над рейдами по баням. Это раздражало, но вызывало и пожатие плечами.

Всё тянулось недолго. Пошли разговоры, что Андропов ест детей, питается детской кровью, что КГБ возит детишек на пересадку органов, всякие зловещие легенды, которые еще больше усиливали ощущение, что мы живем в сказке Шварца про Дракона. Но это не воспринималось как серьезная фундаментальная вещь.

Именно тогда были заложены основы для будущей горбачевской трансформации.

Горбачёв и Ельцин оба были его людьми.

Гэбня всегда была настроена космистски. Гэбня, правонационалистические круги типа «Памяти» с Васильевым,

разделяли все гэбэшные приколы и примочки.

«Человек создан для полета в буквальном смысле. Мы не летаем, потому что не хотим. Вот посмотри на руку — это же несостоявшееся крыло. Но мы должны стремиться к тому, чтобы пройти преобразование и полететь. Мозг работает на пять копеек своей мощности, хотя он по сравнению с этими пятью копейками — небоскреб Нью-Йорка, Empire state building. Если активизировать все клетки, то человек усилием мозга может менять законы природы» — таков чисто гэбэшный полив, толстожопый гэбэшный оккультизм, который работает, начиная с майора и вверх.

Можно взять практически любого из тех, кто с портфелями из Лубянки выходит — и у него в башке будет именно это: космизм, осколки Вернадского, Чижевского, ноосфера.

Всё это вертелось в окологэбэшных кругах. Но никто не выпускал таких построений на прессу, на большую публичную дискуссию, потому что еще существовала Академия наук. Никаких РАЕН, только АН СССР.

Когда появляются отмороженные Фоменко и Носовский²²⁷, то поневоле вспомнишь об АН СССР с ее определенными стандартами. Чижевский и Вернадский — всё-таки некое качество. Это не то, что прошло через чудовищную девальвацию, маразм и банал.

Некоторые мои знакомые очень любят слово «маргинал» и считают, что это что-то типа героя Советского Союза, «золотая звезда».

Маргинал — он и есть маргинал.

Маргинал неадекватен, смешон, это клоун поневоле в силу своего ментального устройства.

Мы не были маргиналами. Мы думали по-французски и принадлежали к школе, насчитывавшей десятки имен. Школа эта была одним из мощнейших трендов XX века в западной мысли. Я имею в виду традиционалистов в данном случае.

Забавно, когда Женя узнал, что есть Удам Хальянд²²⁸, он отказался в это верить. Удам Хальянд — человек, независимо от нас в Таллине занявшийся шиизмом, шиитской традицией, Убиенным шейхом²²⁹, тем, что называется философией «ишрака»²³⁰.

Он перевел с фарси «Шорох крыльев Азраила», еще какие-то тексты. Он защищал диссертацию, сидел в Ленинке чуть ли не в конце 50-х или начале 60-х, сидел в спецхране. Там он познакомился с Геноном, с реальной западной традиционалистской мыслью. И вот году в 1975–76 на меня вышли люди из Прибалтики, довели информацию, что есть такой Удам Хальянд, который является нашим человеком.

И я Жене говорю:

— Представляешь, есть эстонец, который совершенно независимо от нас прошел в лаптях обутый весь спецхран, знает Генона, читает по-французски, по-немецки, и это полноценный человек нашего круга.

И Женя говорит:

— Этого быть не может.

— Но почему? Мне это сказали люди из третьего канала, которые под меня не подстраивались. Независимо мне о нем сказали. Не я их учил, что есть Генон, есть спецхран.

— В этой стране только два человека знают Генона — ты и я. Никаких удамов хальяндов быть не может.

Потом он, конечно, изменил свою точку зрения, но его первая реакция была не шутливая. Идея некоего абсолютного эксклюзива работала на уровне тика.

Конечно, коробило, когда ты сталкивался с идиотизмом вне твоей закрытой сферы вроде Фоменко и Носовского, — с проявлением, подходившим к описанию в шукшинских характерах, типа «Срезал»: «А как там жизнь на Луне, товарищ ученый? А на Марсе че там происходит? Что, не можете сказать?»

Тогда это было единичным, но после 1991 года стало тотальным. После 1991 года «третий глаз», «битва экстрасенсов», весь мусор

мощно выплеснулся наружу.

Маргинальное стало мейнстримом, точнее мейнстрим перестал существовать.

Это конкретно выразилось в том, что начали плодиться политические организации, в том числе различного рода академии.

Наряду с академией наук АН СССР, превратившейся в РАН, появилась РАЕН, потом появилась Петровская академия, членом которой я являюсь. Мне дали титул почетного петровского академика. Когда я с ними встретился и пообщался, это оказалась мохнатая и совершенно отстойная околосбывуха, организовавшаяся во всякие академии, куда сама же себя записала.

В башке у них продолжали вертеться ноосферы, воскрешения мертвых, «полеты во сне и наяву», «фантазии Фарятьева»²³¹ и прочая чушь.

В 1984 году всё было пристойно, но бессмысленно, без всякой живой мысли. Человек задыхался. Я задыхался. В 1984 году дошло до предела. Такая интересная дата.

В 1989 году у Коротича в «Огоньке» стали назойливо доказывать, что Амальрик был пророком, был прав, что всё случилось по его прогнозу, хотя какие-то детали отличались — с Китаем не воевали. Но всё будто бы получилось, как он говорит в «Доживет ли СССР до 84 года?»

На мой взгляд, СССР пережил 1984 год. Нет, говорят они, он не пережил 1984 год, — на самом деле 1984 год был реальной датой, а кончился он раньше. Стали назойливо играть с этой датой и что Амальрик сбывся.

Амальрик — человек любопытный, его было интересно читать в 70-х. Но всё же это была банальная реакция на Даманский: там же как раз произошло столкновение с китайцами, вот он и написал, что дальше будет большая война. Особой свежести, выдумки у него не нашлось.

К концу 80-х стали старых и оккультно проигравших диссидентов вытаскивать и сажать на щит.

Я понимал, что это развитие событий мы, люди, с которыми у меня было общее политическое поле и понимание, не планировали, не участвовали там, мы не будем бенефициарами этого развития событий. Что игра идет мимо нас, что играют враждебные нам люди.

Не вырисовывалось такой четкой картины, потому что закулисье не было на тот момент известно. Не прояснилось еще, что КГБ специально создает демократическую платформу КПСС, создает ЛДПР из полублатных, полупроходимцев, полумошенников.

Точных деталей тогда не было известно, но уже стало понятно, что играют люди, с которыми нет диалога или пересечения. Нельзя было подойти и по-свойски похлопать по плечу, и спросить: «Ребята, что это вы за тему тут запускаете? Может быть, у нас тоже будет некий интерес в этой теме». Вот это полностью исключалось.

Это были люди, говорившие на другом языке. Все их разоблачения оказались пыльными в том смысле, что ничего Коротич и «Огонек» не печатали кроме того, что уже знала богемная и диссидентская публика из самиздата, из ИМКА-Пресс и подобных изданий.

Это было популярно и на слуху, но представляло собой введение обывателя-полуинтеллигента, который жил газетой «Правда» и газетой «Известия» и в лучшем случае «Литературной газетой», в круг чтения от Солженицына до Абрама Терца. Ему предлагалась информация из воспоминаний Деникина, о которых рядовой обыватель даже не слышал.

Всё это уже сто раз прокрутили и пережевали на кухнях в узких кругах, а оно стало достоянием большой печати. Возникло ощущение, что, став достоянием большой печати, оно сделалось неинтересным и чужим.

Летом 1985 году, едва Горбачев появился, Женя Головин назвал его воплощением русского черта, каким он явлен в Хлестакове и Чичикове. Он обозначил это время выходом коллективного бессознательного русского народа. Глубокое прозрение.

Маньяки. Убийство в Казани. Основатель «Памяти» Ким Андреев. Емельянов и «Десионизация»

В 1988 году в Казани прогремела ситуация.

Красавица татарка с четырьмя детьми — то ли вдова, то ли разведенная — жила в большой квартире на широкую ногу. И у нее был любовник — русский. Этот любовник приходил к ней, оставался ночевать, пользовался разными благами, но в какой-то момент он взял и после ночи, проведенной в сексе, убил ее. Причем убил зверски — разможил утюгом голову. Потом он убил всех ее детей. С этим утюгом заходил в каждую из спален и разбивал детям головы.

Потом он попытался эту квартиру поджечь, но она плохо горела. Соседи почувствовали запах дыма, собрались, стали туда ломиться, вызвали ментов. Чудак попытался перелезть с одного балкона на другой, но в итоге его повязали.

Это было крупное, скандальное, маниакальное дело. Сейчас таких дел много, случаются на каждом шагу, люди убивают друг друга. А тогда это сильно прогремело.

Но самая вишенка на торте — что маньяк был писатель. И как оказалось, его литературным куратором, человеком, который вел его по жизни, с ним общался, был не кто иной, как Ким Андреев, основатель общества «Память». Он был Штрассер²³² при Димдимыче Васильеве, рабочий-основоположник, культурный пролетарий, «прол в очках».

Их переписка опубликована. По крайней мере всё, что писал Ким Андреев маньяку, было найдено и опубликовано, какие-то черновики. И оказалось, что он не просто маньяк, а еще и духовный сын основоположника общества «Память». Для либеральной интеллигенции того времени большой подарок и серьезный пинок по «Памяти», по Васильеву, по всему этому движению.

Мы с Дугиным это обсуждали. Нас уже выгнали из «Памяти» к тому моменту, когда разразилась эта история.

Знаменитый антисемит Емельянов убил и расчленил свою жену, а потом сел в дурдом. Я читал прогремевшую книжку Емельянова «Десионизация».

С Емельяновым был знаком покойный Степанов, он мне эту книжку и подкинул. «Десионизация» написана в тандеме с учебником иврита. Этот автор еще написал учебник иврита для борцов с сионизмом. Он и арабский знал, был арабистом.

«Десионизация» — это просто улет: 12 тысяч лет русской нации, Вавилон — это «бабье лоно», Иордан — это «Ярый Дон», венеды, основатели Венеции, — осколок русского племени. Это утверждение базировалось на том, что по-эстонски «вене» означает русский. Получалось у него, что русские заложили Венецию.

Беспроегрышная железная логика.

В этой стране что-то интересное происходит — расчлениают, убивают. Ничего похожего нет в Англии или Франции.

А в Америке — похожая ситуация. В Америке есть борцы с системой, которые бросают вызов ФБР, потом что-то с ними случается. То ли они маньяками становятся, то ли их маньяк убивает. Малькольм Икс²³³, например.

1990. Радио Свобода

Я поехал в Германию при Горбачеве, в 1990 году, побывал на «Радио Свобода», где меня водил итальянский полковник НАТО, разведчик.

Я там много выступал, заработал в марках кучу денег. Выступал на таджикской редакции, башкирской, русской — на всех, но в азербайджанскую меня не пустили.

Ею верховодил некто Хазри (Мирза Хазар²³⁴), либерал, который сказал:

— Ноги Джемала в моей редакции не будет.

В остальные студии меня звали очень охотно — вещать на всю Среднюю Азию. В сопровождающие мне отрядили казаха, которому поручили показать «Радио Свобода». Сам он был перебежчиком из коммунистической делегации, посетившей Мюнхен. Стал невозвращенцем. Он пил и ненавидел ситуацию, в которой оказался. Оказался он в ней крайним.

Почему они вообще его взяли. Потому что там работали казахи, родившиеся в Турции, эмигранты второй волны. Большинство этих казахов уже не говорили по-русски, только по-казахски, по-турецки и по-английски.

А на «Радио Свобода» для работы на Советский Союз как раз требовались функционеры, говорящие на родном национальном языке и на русском, потому что русский язык являлся рабочим во всех республиках. Им нужен был хотя бы один казах с русским языком, а этот еще и был какой-то видной шишкой в аппарате партии, раз он был членом делегации. Они его взяли на работу. А у него уже лицо запьянцовское, нос красный.

Начал он меня водить по коридорам, показывал студии, демонстрировал, как там всё работает. И тут в одной из студий к нам подошел полноватый человечек в синем обтрепанном костюмчике. Я даже не понял, что это итальянец, — человек, который, стоя в московской очереди за картошкой, спокойно мог бы разговаривать

с бабушкой, а та будет думать, что перед ней инженер из ЖЭКа. С видом обычного управдома из хрущевского времени, он говорит мне совершенно свободно по-русски:

— Не хотите посмотреть кое-что интересное? У нас есть тут архив.

Это оказалось гигантское помещение, заполненное шкафами с делами, папками формата, наверное, А3.

Я ему говорю:

— Ух ты, а я у вас есть?

— Конечно, вы у нас есть. Пойдемте посмотрим, это интересно.

Мы с ним пошли по буквам, нашли меня, он достал мою папку, открыл ее, и я там вижу всё, что я делал за всю свою короткую жизнь в СССР, включая газету «Ümid», которая выглядела вдвое новее, чем те экземпляры, что мы возили в Баку из типографии. Там была и книжка, выпущенная на основе моих статей. Ее позже перевели на итальянский язык, у меня она где-то есть. Клаудио Мутти²³⁵ издал ее в своем издательстве «У гончей собаки». Там были «Кровавый азан» и другие наиболее жесткие статьи.

Я говорю этому итальянцу:

— Надо же, я даже забыл, что я это когда-то писал!

На 1990-й год наборчик довольно тощий, но всё равно много там чего лежало.

Я его спросил:

— И это у вас на всех?

— Да, на каждого.

Рассмотрел я интересную студию. Большая комната, завешанная сверху донизу мониторами, телеэкранами — 30 или 40, и на каждом шла местная программа. Например, программа орловского телевидения, краснодарского, красноярского, и они вещали в настоящем времени. Все региональные передачи автоматически писались на пленку. Потом они прорабатывались экспертами, которые

просто оттуда снимали информацию. Эту информацию анализировали люди, делавшие военно-стратегические выводы. Например, информация о посевной: если посевная передвинута, то, возможно, в это время в том районе будут проходить военные учения. Или анализ загрузки предприятий новыми технологиями.

Низовые экспертные наработки — а потом этот сырой материал шел аналитикам более высокого уровня в ЦРУ или АНБ. Гигантская машина по сбору информации со всей территории советского лагеря. В других комнатах такая же работа велась по чехам, по венграм.

Не просто передачи с Севой Новгородцевым, который про рок рассказывает на Би-Би-Си, а огромный пылесос, высасывавший данные со всей территории советского лагеря. Но всё шло в никуда, потому что кому в итоге это всё нужно? Кто будет это изучать? Ну ладно, каким-нибудь генералам, может, попадутся какие-то камушки из этих экскрементов. Но практического применения это всё не имело. Поэтому лавочку и прикрыли. Бюджет ее был 150 млн \$.

Всё серьезно: в белых халатах люди сидят при вращающихся бобиных, снимают данные, сразу идет автоматическая распечатка. Хорошая техника — не то, на чем наши энтузиасты занимаются. Уже тогда существовали машины для этих целей — у советских дикторов голос был поставлен, всё слышно четко.

Сильное впечатление получил.

Я всю жизнь считал, что совок населению врет. Но всё оказалось «Правдой».

Я в детстве читал «Правду» и хохотал, что вот-де ребята завирают. В «Правде» публиковались всякие поехавшие туда и в итоге разочаровавшиеся и вернувшиеся. Они рассказывали, что на Западе люди живут, как пауки в банке, — в атмосфере человеческой подлости и кусания друг друга за задницу. Человек должен был всё время папкой прикрывать ягодицы, чтобы его не куснули и не дали под зад.

Я обалдел, когда при мне, не стесняясь, на «Свободе» троллили друг друга.

Причем всё очень нагло — не коллеги, а пауки в банке.

Но уровень профессионализма впечатлил, система работала как часы. За каждый доллар пахали. А ушло всё в отвал — потому что кремлевские не хотели никакого противостояния и искали пути, как всё сдать.

Германия. Орден. Тайная история противостояния. Буршеншафт. Микхель Тамм

Зима 1991 года. «Буря в пустыне» началась, когда я уже уезжал.

Германию я всю пешком прошел, попутками проехал.

Проехал по турецким центрам и по правонационалистическим, по неонацизму.

Правые меня принимали очень хорошо, на ура. Слух обо мне пошел по всей земле германской. Они заранее приготовились, что к ним приедет «ревизор» из Russland'a, собирали на меня людей. Не много, конечно, но собирали.

Я не нацист. Я член Ордена.

Почему они воспринимали меня как своего? Потому что они же знали, что в СССР сидят в лагерях за реальное наследие Райха, его структуры. Они посвятили людей, которые вышли и создали ячейку. Эта орденская ячейка имела отношение не к Райху, а к Балтийскому Ордену Серебряного креста и Розы.

СС — это ведь политический фасад, идущий от тевтонов после разгрома в Грюнвальдском лесу. Они пережили распад и восстановились как балтийский Орден, связанный с историей Таллина. Тевтоны как бы ушли в подложку. Балтийский Орден стал антитезой иллюминатов.

Иллюминаты, у которых крыша поехала на левой идее, превратились в левых радикалов.

Но уже тогда появившиеся «балтийцы», Черный орден, правые радикалы с платформы рыцарской традиции, рыцарских орденских гешталтов противостояли иллюминатам.

В чем идея иллюминатов? Объясняю коротко. Раньше я это знал очень хорошо.

Третье сословие захотело через структуру посвячительной масонской организации взять под контроль аристократию.

Эти ребята, так называемые «ингольштадские отцы», выпустили Адама Вейсгаупта²³⁶. Адам Вейсгаупт затянул в свои сети целые династии знати германских земель через подключение к мистериям. Но они находились на самой низшей ступени подключения.

Чем ты дальше от аристократии и ближе к третьему сословию — к проклятым аптекарям, бухгалтерам и всякой разночинной шпане, тем выше ты мог подняться по ступеням илюминатского ордена. Человек из рода великих курфюрстов саксонских не мог подняться выше третьей степени.

И тогда рыцарская знать, связанная с корнями тевтонского Ордена, который поднялся, как считается, как филиал иоанитов, — иоанитов, не захотевших заниматься проводкой паломников в Святую землю, а занявшихся язычниками в Жмуди, — и вот осколок этого рыцарского госпитальерского пути превратился в балтийский Орден, бросивший вызов Ингольштадту и иллюминатам.

Орден СС — политическая крыша, которую они получили уже в XX веке. Причем она многократно зашифрована. По легенде, это были охранные войска на митингах партии. Но в основе лежала такая идея: есть левая масонерия, — мы же, дворянство меча, открываем по ним огонь, наносим по ним удар с позиции правой масонерии.

Это очень далеко от профанного представления о нацизме и фашизме.

Когда Муссолини предложил Юлиусу Эволе возглавить редакцию одного из фашистских журналов, Юлиус Эвола исчерпывающе ему ответил:

— Я же не фашист, дуче.

И, возможно, почесал его за ухом. Для Юлиуса Эволы фашизм был просто социалистическим популизмом, возней с рабочими, мусорной ямой. А сам Эвола ездил читать закрытые лекции в узкие круги СС. «Языческий империализм», например.

Первое, что сделал в своей творческой жизни Дугин — перевел на русский «Языческий империализм». По-моему, даже с немецкого языка.

В Германии меня принимали на достаточно высоком уровне. Я был гостем буршеншафта «Danubia».

Буршеншафт — студенческий союз, как правило, крайне правого толка, восходящий к концу XVIII века, они расцвели на волне патриотического подъема во время завоевания Наполеоном немецких земель. Штапс²³⁷ с кинжалом кидался на Наполеона, Фихте с его «Речами к немецкой нации»...

В студенческих союзах юноши обязательно получали шрамы, сражаясь на дуэлях. Такой шрам был знаком принадлежности к мужскому союзу. С мужских союзов начиналось рыцарство после падения Римской Империи.

Буршеншафт «Danubia» — один из старейших. «Danubius» — это Дунай по латыни. Членом этого союза был Гофман наш Амадей.

В 1945 году американцы запретили буршеншафты как рассадник нацизма. Но в 1964 запрещение сняли. Видимо, у них щелкнуло, что движение к нацизму никакого отношения не имеет.

Этот буршеншафт находился в замке на берегу реки Изар в Мюнхене.

Меня там приняли, выделили место. Всё очень аскетично. Единственный телефон на весь замок стоял в холле возле зеркала. Там я впервые увидел трехъярусные кровати. В армии в карантинной роте я спал на двухъярусной, здесь же я увидел трехъярусные. Подниматься на третью полку в трех метрах от пола надо было по лестнице.

Каждый вечер приглашали на собрание. Молодые немцы смотрели на меня восторженно блестящими глазами, потому что я принадлежал к линии, которая для них священна: я «эзотерик» из линии «знающих». Они понимали, что я состою в некой структуре, оставленной людьми, находившимися в лагерях по 15, 20, 25 лет после войны.

Информация у них имелась, и по многим каналам.

Я никакой легализации не имел в виду, никогда ничего не хотел, не рвался, потому что мне было глубоко наплевать на то, что обо мне думают. Я поддерживал близкие отношения с Головиным, который

выступал как мэтр. Я находил огромный энергетический приток от нашего общения. Это было общение ученика и... и неучителя. Потому что Женя тоже плевал на учительский статус.

Я был легализован, потому что общался с Головиным, который был легализован вплоть до ухода к тем людям, для кого брэнная жизнь в оболочке здесь является просто расхожей методичкой, — участвовали в проекте, отсидели за это 20 лет и ушли, оставив иероглиф на покрытой цементной шубой стене.

В частности, я знал Михкеля Тамма, человека, который получил посвящение в индуизм от эзотерических индусов, живших колонией в Берлине. Там жили тибетцы и индусы.

Михкель Тамм — эстонец. В 1928 году он свалил из буржуазной Эстонии в широкий мир, стал юнгой на корабле, получил германское гражданство, жил там, делал деньги. А потом он встретился с этой колонией индусов и тибетцев. Они ввели его на английском языке в некие темы. Он у них изучил санскрит. Стал человеком, известным Джавахарлалу Неру²³⁸.

У меня стоит переведенный труд Радхакришнана, вице-президента и президента Индии после ее освобождения в 1947 году. Он написал двухтомник индийской философии. Радхакришнан направил Тамму личное приглашение.

Проблема была только в том, что перед тем, как всё завертелось, наш Микхель Тамм вступил в орден СС. Он не воевал на фронте, он принадлежал к вспомогательным войскам, которые занимались медициной, типа *Opus Dei*²³⁹, некие медицинско-восстановительные работы. Но тем не менее форму он носил.

Союзники его не тронули, он никакого отношения ни к чему не имел.

И тут приходит приглашение, лично подписанное вице-президентом Индии Радхакришнаном. Этот дурак вместо того чтобы, задрав штаны, ехать в Индию, где он был бы членом высокой брахманской номенклатуры, идет в советское посольство и говорит:

— Вот, вы знаете, я уехал из буржуазной Эстонии в 1928 году, оставил там папу и маму. Они уже давно умерли, но я хотел бы побывать на их могиле. Дело в том, что я еду в Индию, но по пути хотел бы заехать в Эстонию.

Ему говорят:

— О чем речь-то, Господи, такая малость. Да мы вообще на всё для вас готовы.

Он приезжает в Эстонию, его там закрывают, объявляют интернированной персоной. Селят его на мызе с указанием не отлучаться оттуда более чем на 30 км ни для каких целей. А в пределах 30 км только магазин, где хлеб продают — можешь туда ходить.

Там он просидел с 1947 по 1980 или 1982 год, когда он уже уехал в Штаты. Так просто он взял на себя 35 лет сидения на мызе. Но к нему ехали со всего союза. Он непрерывно писал, это всё распечатывалось. Я держал в руках эти толстые, как диссертации, распечатки на ломаном английском языке. Всё хранилось у него, потому что издать это в самиздате было невозможно: он же писал на нечитабельном английском языке, которому индусы его научили.

Я что-то читал, потому что я понимал, о чем идет речь.

Потом нашлась еврейская семья, им занявшаяся, всё перевела и оформила на настоящий английский. Они его вытащили в Бостон и издали на хорошем английском языке.

Но там он довольно быстро умер. Жил-жил в мызе, оказался в Бостоне и сразу умер.

Интересный старикан, внешне походивший на Раджниша²⁴⁰, с большой бородой, в шапочке с помпоном (все они однотипные ребята), но с большим прошлым.

Мы дружили. Я у него гостил по несколько дней. Мы говорили о Канте, обсасывали его со всех сторон, искали масонскую подоплеку. И я его зондировал, насколько хорошо он представляет себе, что такое мистерии тяжелого воздуха, эзотерическая сторона Ордена. Он понтил, говорил, что очень хорошо себе всё представляет. Но было понятно,

что реально у него знаний нет. Он сидел в адвайтаведантизме, очень деформированном, который он пропустил через себя. Адвайтаведантизм не предполагает творческой индивидуализации, отсебятины — достаточно математически жесткая метафизика.

Но читать на индо-английском языке гигантские сброшюрованные талмуды — задача потусторонняя.

У него имелась интересная подборка статей, посвященная тому, что современная наука является некой филиацией магии, неким отростком, ведущим от Агриппы Неттесгеймского²⁴¹, Джордано Бруно²⁴², Тихо Браге²⁴³. Он доказывал, что концепты Да Винчи переходят в современные разработки через посредство либеральной наукообразной масонерии, к которой принадлежал Жюль Верн²⁴⁴.

Любопытно, но не тот уровень профессионализма, какой встречаешь у французских исследователей вопроса типа Бержье²⁴⁵.

Кузнечики. Тщета как ужас. ИПВ. Давлат Усмон. Ахмад-Кади Ахтаев и Абдулло Нури. Как проиграла таджикская ИПВ. Писарев и программа «Ныне». Исламский комитет

Всё было свинцовое. Но у меня была параллельная реальность. Я уже четыре года как был интегрирован в таджикскую жизнь. Я был знаком с Абдулло Нури, с Химматзода. Я тогда еще не был в ближнем круге, но уже принимал участие во всякого рода контактах. Оставалось уже очень недолго до того, как я вошел и в ближний круг.

Там уже Тураджонзода начал проявляться с 1987 года.

Тураджонзода был Кази-калон, то есть «Великий Судья».

Кази-калон и казият выписали мне справочку с печатью о «реабилитации», что мне обязаны помогать имам-хатыбы всех мечетей. А подписал эту справочку Давлат Усмон, тогда молодой юрист, работавший в этом казияте, проходивший практику после диплома. Потом он стал одной из ключевых фигур ИПВ и возглавил штаб объединенной оппозиции.

Но это уже много позднее. Мы сейчас говорим о 80-х. Там была масса приключений...

Еще кое-кто жив с тех времен.

Некий эпизод, «психожест» судьбы, который я испытал однажды в горах.

Я шел по дороге к Арзынгу, к Пашимгару. Лес поднимался по склону под острым углом — ложишься на землю и сползаешь. Если уперся ногами в ствол, то тормозишь. И я увидел, что там скачут кузнечики, но не простые кузнечики, а огромные, величиной с мои очки. Я никогда ничего подобного не видел.

Я поймал двух этих кузнечиков. У меня была большая коробка из-под тысячи спичек, я их туда поместил, закрыл ее, сделал дырочки для воздуха.

Когда я приехал в Москву несколько месяцев спустя, открыл эту коробку и обнаружил следующее: один кузнец сожрал большую часть

другого, при этом у него самого задница и часть туловища была как бы в гангрене, почернела. А тот, кого он жрал, был еще жив, он немного шевелился, но у него оставалась только верхняя секция — голова и грудь.

Это было чудовищно жутко.

Я вообще большой ценитель жути.

В свое время Степанов сказал:

— Ты удивительный человек в плане того, как ты чувствуешь деструктивные флюиды Луны, деструктивные флюиды ужаса.

Я действительно всё это ценю, чувствую, но бывает иногда и для меня многовато.

Этот эпизод стал для меня встречей с тайной своего пути на этом жизненном отрезке — пребывание в Таджикистане, встречи со многими людьми...

Я там находился в глубокой эйфории, которую можно сравнить только с хорошей укуркой, но без всякой анаши. Глубокая эйфория и глубокое счастье.

Я там всё высматривал себе место под могилу. Несколько раз в горах встречался с трупами, объединенными стервятниками.

И вот когда я этих кузнецов посадил в коробку, а потом увидел, как один из них сожрал другого и сам почернел от гангрены, у меня сердце сжалось, потому что я как бы вышел на некий иероглиф тщеты.

Тщета как ужас.

Вы представьте себе: я же посадил их в зиндан, черный беспросветный зиндан, и один из них жрал другого. В принципе они были для меня как люди, которых я кинул в зиндан, и один из них убил другого и ел уже полусгнившего.

Для меня это стало большим сигналом. Многие вещи связались.

Я, например, очень любил ходить по мазорам. Я же был связан с Эшони Халифа, с тарикатом. Тарикаты стояли тогда за ИПВ, за оппозицию, в отличие от Северного Кавказа.

Я любил ходить по мазорам, потому что я искал реальной встречи со смертью. Мазор был для меня черной дырой, — человек, который там лежал, сконцентрировал свою смерть до такого сгущения, до такого ядра, что это стало некой точкой притяжения, неким смыслом. «Он» как отсутствие. И я пытался всё время войти с этим в контакт.

И вдруг — можно сказать, пока я плясал и прыгал с этими деревянными шашечками и сабельками, — как будто дядька подошел ко мне сзади, пока я скакал по песочнице, и страшным ударом биты выбил у меня сабельку, а потом дал мне такой подзатыльник, что у меня вылетела половина зубов.

Эти кузнецы меня встряхнули, и очень многие вещи соединились.

Много там было всего, прежде чем начался реальный процесс и меня «взяли на рыбалку».

Сначала же создалась Исламская партия возрождения, и еще никто не пикал на счет отдельной таджикской партии. Мы были всесоюзной партией. В ней было 130 тыс. человек. Самое смешное то, что из этих 130 тыс. 100 тыс. в Таджикистане, а 30 тыс. — на весь остальной Союз. Мы провели учредительный съезд в 1991 году в Астрахани. Я вошел в центральный совет.

А тут распад Союза.

Я, кстати, был приглашен Горбачёвым на третье сентября в Верховный Совет СССР после его освобождения из Фороса, я был гостевым депутатом, сидел в первом ряду, а передо мной сидели все двенадцать президентов.

Давлат тоже туда приехал.

Мы с ним столкнулись в кулуарах.

Он мне говорит:

— Ну всё. Наше дело в шляпе, в чалме. Мы уже обо всём договорились. В Таджикистане мы берем власть, нам ее отдают. И на всех парах несемся в светлое будущее. Только мы должны взять с собой «на рыбалку» Демократическую партию Таджикистана.

Я же был очень искренний человек, и я думал, что вот, это — братья.

Я им говорю:

— Вы что, охренели? Какую еще Демократическую партию Таджикистана? Кто это такие? Это же исмаилиты!

— Ну а какие тебе еще тут могут быть демократы? Только такие, только исмаилиты.

— Вы что! Их пятьсот человек в лучшем случае, а нас 100 тыс. членов партии. Как это их брать «на рыбалку», когда они вообще никто, звать никак, но при этом являются агентурой и пятой колонной Запада.

А таджики из ИПВ, между прочим, воспринимали всё под углом проигравшего ГКЧП и победившего «нового мышления». Они же «белым домом» называли желтый дом правительства в Душанбе.

И они говорили:

— Пойдем делать ГКЧП.

Они имели в виду под «делать ГКЧП» свержение коммунистов.

Где-то они в этом смысле попадали в десятку.

Мне сказали, что вопрос уже решен. Условием получения власти и суверенитета был альянс с демократами. Ну а что я мог сделать? Убить Давлата?

Он встречался с Ельциным. И мне он донес уже постфактум.

Прошло 3 сентября, и я поскакал с дикой скоростью к Ахмад-Кади Ахтаеву. Он приехал, остановился у меня на Болотниковской. Приехал и Абдулло Нури.

Мы приходим к Абдулло Нури, он сидит на кровати, поджав ноги.

Нехорошо вспоминать о мертвых непочтительно, но терпеть не могу стиль мусульманских мужиков, которые встречают тебя дома в кальсонах, белых рубашках, с огромными черными бородами. А кальсоны с пуговками, это вообще какой-то ужас.

И они начинают тереть, Ахмад-Кади Ахтаев и Абдулло Нури.

А там была такая идея, что Тураджонзода будет президентом.

Они говорили между собой по-арабски, потому что Абдулло Нури, как все образованные мусульмане, всю жизнь прожил в совке, но по-русски говорил очень плохо. Он говорил по-таджикски и по-арабски, а по-английски и по-русски примерно одинаково плохо.

Ахмад-Кади Ахтаев говорит:

— Ну как же так, это же гэбэшник, у него же вся семья — гэбэшники.

А Абдулло Нури отвечает, что вопрос уже решенный.

Три часа они терли с огромной интенсивностью.

Я помалкивал, потому что по-арабски я так тереть тогда не мог, но всё было ясно. Я понял, что за кулисами нашего ИПВ стоят масонские либеральные силы, новый Кремль, «рашка», которая рулит в полный рост.

Когда мы вышли от него, Ахмад-Кади мне говорит:

— Там будет сепаратистский съезд таджикского крыла ИПВ, и я посылаю тебя туда как моего личного представителя, своего зама и специального уполномоченного. Пригляди за процессом.

Ахмад-Кади был амиром партии.

Я поехал. Сидел в президиуме.

Давлат Усмон вел дело к тому, что Давлатназар Худоназаров должен стать президентом.

А дело в том, что Тураджонзода уже кончился к тому моменту. Тураджонзода выступил по телевидению и сказал, что он не собирается идти в политику, потому что он человек, глубоко верующий в светское демократическое государство. И если он как религиозный деятель пойдет в политику и станет кем-то, то это будет уже не светское и не демократическое государство.

Тогда-то они и выдвинули Давлатназара Худоназарова, кинорежиссера и первого секретаря союза кинематографистов Таджикской ССР, очень довольные, что нашелся вот такой вариант.

Я обратился к Давлату и сказал, что хочу выступить.

Давлат меня спрашивает:

— О чём вы будете говорить?

— В принципе, это мое дело, о чём я буду говорить. Я представитель всесоюзной партии, я лично уполномочен амиром. За моей спиной 150 тысяч человек. И мне есть, что сказать.

— Хорошо. У вас есть семь минут.

Я выхожу и говорю:

— Это что же делается. В нашей исламской республике, где 99 % мусульман-суннитов, берут Давлатназара Худоназарова, представителя исмаилитской шпаны, которая живет с подачек Ага-хана. Ага-хан играет с Бушем-старшим и Бушем-младшим в гольф. Это масонерия высшего типа, связанная с Даджалом напрямую. Наш Таджикистан, связанный с Памиром, с выходом на такие духовные поля, о которых никто из здесь присутствующих даже и понятия не имеет, — вы хотите это сакральное пространство, эту мечеть под открытым небом превратить в площадку проявления Даджала? И авангардом этого проявления, комитетом по его встрече является банда исмаилитов.

Начался ропот. Возвратился я на место.

Давлат сидит красный и говорит мне зловещим рыком:

— Вы нарушили регламент.

Я ему отвечаю:

— Ничего подобного. Точно семь минут.

Он тут же взял слово и объявил о выдвижении Худоназарова.

Он, видимо, так испугался, что я сейчас этого Худоназарова уничтожу, что пошел его рекламировать: «великий кинематографист, признанный мировой общественностью, будет выдвигаться в президенты Таджикистана».

Тупые бородачи в тюбетейках заорали «Аллаху Акбар». Очень хотелось их всех пострелять. Они же тарикатчики — подчинялись

абсолютной дисциплине. А за Абдулло Нури, за Химматзода стояли устазы, стояли шейхи. Перед ними обычная публика — мелочь, никто.

Уже в закрытом офисе, в штабе партии пошли рыдания.

К Химматзода ползли и вопили:

— Тахкир²⁴⁶, это позор! Нельзя Худоназарова избирать в президенты. Одумайтесь!

Тот отвечал:

— Да, надо подумать... Всё-таки надо избрать.

Короче говоря, решили избрать Худоназарова.

Я думаю:

— Ну ладно, я до вас, гады, еще доберусь! Всех постреляю!

Когда я вышел обедать в чайхану через улицу, на обратном пути на меня напала группа исмаилитской молодежи с железными палками. Это было неожиданно, и я бы, наверное, далеко не ушел. Но поблизости оказалась группа суннитских охранников съезда, которые обслуживали именно съезд. И меня отбили. Драка произошла сильная, но ран на мне не было. Я слинял в гостиницу ЦК, где я останавливался. Думаю, что да, надо быть поосмотрительнее.

И тут ко мне утром заваливаются три араба — египетские ихваны, гости съезда, египетские журналисты. И они говорят:

— Ахи Хайдер, мы знаем о твоей репутации. Мы наблюдаем очень внимательно, на тебя одна надежда. Сразу видно, что тут всё схвачено. Муртады и враги Ислама держат в руках все нити. Мы знаем, что ты член Хартумского совета. У нас есть интервью с этой собакой-исмаилитом Худоназаровым. Наша партия купила газету «Аш-Шааб», это социалистическая газета. Мы сделали такой хитрый финт. От имени этой газеты «Аш-Шааб» мы приходим к Давлату Худоназарову...

А на дворе у нас 1991 год. Уже разбомбили Саддама, идет повсюду «Буря в пустыне». Я только вернулся из Германии. Ездил по ней туда-сюда автостопом и встречался с фашистами и с крайне правыми турками.

Они продолжают:

— ... Когда мы пришли к нему, он нас спросил, какого мы духа, из какой мы газеты. Мы ответили, что газета называется «Аш-Шааб», что это газета в духе Миттерана. Он ответил, что Миттерана знает, сразу раскрепостился, развязал узел на галстук и стал излагать свое видение. Что америкосы — это такие замечательные мальчики с Луны. Что-то вообще запредельное. Что США — это полицейский и что так и должно быть, что США — это охранители цивилизации, общей универсальной цивилизации. Правильно, что рвут Саддама на части. В общем, у нас это интервью есть.

Я прихожу к Химматзода в штаб. Химматзода сидит в камуфляже. Это же настоящий деревенский устаз, за ним ходил какой-то деревенский тракторист с автоматом в качестве охранника. И говорю:

— Давлат Худоназаров должен снять свою кандидатуру.

Он онемел от удивления. Я говорю:

— Он должен снять свою кандидатуру, потому что он разоблачился.

— Как разоблачился?

— Он дал интервью.

— Ах он сволочь! Кто ему позволил! Почему не согласовано! Где это интервью?

— Оно есть, в надежном месте. Я распечатаю вам самые злачные места и по всей улице вокруг штаба расклею прокламации.

— Мы, конечно, его снимем, раз такие дела. Ты подожди, он сейчас в Москве.

Через три дня он вернется, и мы поставим вопрос, он будет снят.

На следующий день Давлат уже был в Душанбе и объяснял по телевидению, что «да, я там высказался немного резко, что США — жандарм, который защищает цивилизацию».

Он заболтал тему, а все они были заодно.

Позже инициатива из их лапок целиком ушла, поднялся так называемый «народный фронт», «юрчики». Началась гражданская война. Я стал советником Давлата Усмона, советником по политическим вопросам, ездил на фронт пару раз.

И тут является кагэбшник, полковник Саидов. Полковник КГБ с Лубянки.

— Совесть чекиста и таджика и мусульманина не позволила мне спать спокойно. Письмо позвало в дорогу. Я приехал помогать в налаживании здесь, у братьев мусульман, службы безопасности, разведки и т. д.

Его грохнули в двух шагах от места этого разговора из РПГ-7. А день спустя я узнал, что это был родной племянник Тураджонзода.

Так с максимальной иллюстративностью проявилось, что таджикской ИПВ руководила советская гэбня. Племянника убили свои — те, кто не хотел Тураджонзоду. Какие-то внутренние разборки.

В газете «Завтра», или тогда еще «День», на две полосы вышла гигантская статья Шамиля Султанова «Кто убил Заурбека Саидова».

Дальше что бы я там ни делал, меня блокировали.

Мне говорили:

— Ты не таджик, тебе нашей крови не жалко. Мы должны принимать предложения к миру.

А я тем временем вышел на одного российского полковника, который командовал механизированным мотострелковым полком. Он говорит:

— За 100 тыс. долларов я раздавлю этот Народный фронт как бог черепаху.

Я говорю:

— Вот ты-то мне и нужен.

Прихожу в ставку и говорю:

— Есть еще честные русские офицеры. За 100 тыс. долларов он замочит кого хочешь. Предлагает замочить наших противников.

100 тыс. долларов было для нас просто ничто — там 40 миллионов в сейфе лежало. Они говорят — нет. Почему? Он обманет, возьмет деньги и ничего не сделает — что тогда?

Я скандалил так долго и убедительно, что меня вызвал Абдулладжанов, и. о. премьер-министра, и говорит:

— Республиканское правительство назначает тебя специальным уполномоченным в Баку, чтобы ты там для нас добыл нефтепродукты от 100 тысяч тонн и более.

Я говорю:

— Так нужны же деньги.

— Деньги есть.

— Но банковская система в масштабах СНГ же не работает.

— Есть нал. Зачем тебе банковская система?

— Но я же чемодан не повезу.

— Тебе и не надо чемодан везти. Ты езжай и договорись, а деньги тебе привезут.

Я же честный, а ведь мог взять миллион на раскрутку. Дали бы спокойно.

Я согласился и поехал в Баку. Мне дали бумагу, что я полномочный представитель.

Приезжаю. Прихожу в Совмин. Там гражданской войны нет, всё цивилизованно, всё жирное, толстозадое. Прихожу к Аббасу Аббасову, который занимался нефтянкой, и говорю:

— Я приехал из Таджикистана как представитель Исламского коалиционного демократического правительства.

— Подожди, так ты же азербайджанец.

— Ну да.

— А какое отношение ты имеешь к Таджикистану?

— Я имею отношение, потому что я являюсь одним из руководителей всесоюзной партии ИПВ. Я занят работой.

Я советник вице-премьера.

— Ну, и что ты хотел?

— Нужно 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Деньги есть.

— Да это вообще не вопрос. Только мы не знаем, что там есть какое-то исламское демократическое правительство. Мы думали, что там есть «Народный фронт» с Сангаком Сафаровым, и что это и есть правильное правительство.

— Да вы что, — возмутился я, — это же бандиты. Это Московия подняла и науськала, гэрэушники всякие. Мы — правильные.

— Ух ты. Вот ничего даже близко не слышал. Но мы и так должны в Бишкек лететь с делегацией. Обязательно сядем там у вас, осмотримся. А вопрос про 100 тыс. тонн нефтепродуктов считайте решенным.

Вечером я звоню в Москву Гюле. И она говорит:

— Слушай, там вроде всех ваших свергли уже.

— Как это свергли?

— Ну так. По «Вестям» сказали, что вас свергли. Больше нет никакого исламо-демократического правительства.

— Да ладно. Я только оттуда уехал, и там всё нормально было.

— Ну, не знаю. «Вести» так сказали.

У меня кошки заскребли на сердце. Утром прихожу как на работу в Совмин, к Аббасу Аббасову. И он мне говорит:

— С кем дело-то теперь иметь? Свергли вас.

— Это какая-то ерунда, чушь. Не может этого быть.

— Вот «вертушка»²⁴⁷, звони своему Давлату, выясняй, в чем дело.

По этой «вертушке» я набираю номер, и там какой-то голос очень ернически, как какой-нибудь балтийский матрос, меня спрашивает:

— Че надо? Это кто?

Я понял, что происходит что-то страшное. Ничего не было понятно, но чувствовалось, что всё неправильно. Я положил трубку.

Аббас Аббасов мне говорит:

— Вот когда решишь вопрос о том, кто там власть, тогда и приходи. Будет тебе 100 тыс. тонн, и больше будет. А пока нам ничего не понятно.

Оказалось, что спикер парламента, сидевший всеми забытый в горах со своей группировкой, внезапно спустился с гор, атаковал и захватил Душанбе на три дня. Потом его выбили, и режим продолжался около месяца, пока не наступил полный крах.

Но пока еще ясности нет. Что же делать?

Я провалил задание, никаких 100 тыс. тонн не добыл. И я уехал из Баку в Хартум. Прилетел в Хартум к доктору Тураби²⁴⁸ и изложил ему ситуацию. Он, как обычно, сидел, оскалившись, и смотрел на небо.

Вернулся в Москву. И тут приезжает Давлат Усмон, в кожаном красивом пальто.

Говорит мне:

— Не возражаешь, если я пересажу у тебя на даче?

Я говорю:

— Не возражаю.

— Потом я улечу в Тегеран, просто хочу где-то пересидеть, чтобы по городу не светиться.

Он несколько дней у меня сидел.

Я говорю:

— Дай денег. Я собираюсь здесь заниматься делом, бабки нужны.

У него брат-бизнесмен занимался хлопком.

Они дали мне 20 млн. рублей. Это были небольшие деньги — тогда около 10 тыс. долларов. И я их отдал Эльшаду с наказом заняться бизнесом. Эльшад занялся: он на всё накупил детских велосипедов

с идеей, что детский велосипед нужен всегда. А потом начал их продавать по цене дешевле, чем купил. Я в тонкости не входил, чем он занят, иногда к нему приходил и брал, сколько мне нужно денег.

В какой-то момент он мне говорит:

— А денег больше нет.

— Как нет?

— Все велосипеды уже проданы.

— Проданы, и что? Где прибыль?

— Какая прибыль? Прибыли нет — главное бизнес, движуха.

Получился смешной вариант. При этом Эльшад обиделся на меня и ушел, хлопнув дверью и топнув ногой. Обвинил меня, что я сломал ему жизнь.

Я как-то Гюлю к Давлату Усмону послал за какими-то документами, и она приезжает домой в шоке и говорит:

— Он встретил меня в кальсонах!

Я говорю:

— Ну это обычное дело.

Давлат отказался от всех видов политической активности, ликвидировал свой аналитический центр, свернул всё, что у него было. По-моему, у него был какой-то амбар или склад.

Никаких сомнений, что он был связан с гэбней, принимая во внимание его послужной список. Он же здесь учился в Дипломатической академии, которая возле Парка Культуры, приезжал сюда защищаться, постоянно ездил, что-то мне рассказывал такое.

Смешно я с ним встретился на очередной конференции в Хартуме. Конференция проходила в Хилтоне, и там же мы жили. Выхожу вниз в холл, а там сидит Давлат Усмон в своем любимом кожаном пальто и смотрит через просторное окошко на пыльную немощеную улицу. Я его спрашиваю:

— Ты что тут делаешь?

Он говорит:

— Краудфандингом занимаюсь.

— Это в каком смысле?

— Ну как же. Я же начальник штаба вооруженной оппозиции. Бабки-то нам нужны.

— Когда я уезжал, в сейфе было 40 млн. долларов. Ты же сам меня успокаивал, что деньги есть, если что. Где мой «стечкин»? (Когда я уезжал в Баку, я ему своей «стечкин» сдал, и он его на моих глазах положил в тот сейф).

— «Стечкин»... Ты думаешь, что деньги сохранились? Мы с такой скоростью бежали, что всё-всё бросили.

Эти люди провалили и сдали всё.

И тут у меня в Москве появляется Андрей Писарев и говорит:

— Я еще два года назад хотел на вас выйти и начать с вами делать религиозную программу. Но меня перехватил Дугин и заставил делать религиозную программу с ним. А про вас он сказал, что вы русофоб и едите с квасом русских детей.

— Да? Есть вещи повкуснее.

— Я тоже так думаю. Давайте сочиним хорошую программу.

И мы сочинили программу «Ныне». После нескольких передач я стал всенародно известен. После нее проблема денег на мою деятельность не стояла.

Каждому богатею, кто приходил, я говорил:

— Мы создали телевизионное окно для Ислама на Первом канале. Сейчас есть возможность получать эфирное время за деньги — завтра, скорее всего, такой возможности уже не будет. Бабки на стол.

Мы всюду ездили, что-то удавалось, что-то нет. Много чего сделали.

Были в Иране, Судане, были в Италии.

1993 год. Во Флоренции мы сняли замечательный фильм. Назывался он «Съезд мусульманских организаций Италии во Флоренции». Я в президиуме с Клаудио Мутти. Для этих людей я лидер такого уровня, который им не снился — друг Тураби, участник гражданской войны, советник Давлата Усмона, близок с Ахмадом Хомейни.

Я им сказал:

— Теперь я приехал сюда, чтобы помочь вам провести съезд мусульманских организаций Италии. Но чтобы это было не просто «ля-ля», во-первых, я выдвигаю повестку дня, а во-вторых, я привез с собой команду с Первого канала России, бывшего всесоюзного канала, который смотрят от Владивостока до Кёнигсберга. Я их привез и буду делать передачу. Деньги на стол.

Они собрали, кряхтя и охая, но собрали.

Потрясающие были там встречи — начиналась война в Югославии, муфтий Боснии Церич, хороший парень, боснийские ребята как на подбор.

Потом пошла рутина.

Писарев — фигура своего века, своего поколения. Он мне сказал, что «наше поколение будет поколением победителей, мы можем всё». Сколько ему было тогда? Он 1967 года. Разговор наш был зимой 1994 у меня на даче в Валентиновке, и ему было тогда 27 лет. Через год он отказался от всех идей, посчитав, что его собственная машина передавила ему ноги в назидание — за его фильм о природе золота. Больше он идеями не интересовался.

Он, конечно, проиграл, потому что он задач никаких не ставил. Его задачей были бабки. Какие-то бабки, наверное, у него есть, но не те, каких он хотел.

История Исламского комитета началась с участием Тураби.

В 1995 году я через Баку поехал в Хартум на встречу с Тураби, и Тураби мне сказал:

— Лоббистской структуры нет вообще. Раньше хоть худо-бедно совок играл на противостоянии. Нужна хоть какая-то структура,

которая могла бы хоть что-то вякать.

А я же всё-таки был на телевидении — что-то такое он себе представлял. И велел создать Исламский комитет в России.

Я создал Исламский комитет, куда вошли учредителями Абдурашид Дудаев, Бибарсов, еще кто-то.

Исламский комитет бесперебойно функционировал до 2001 года, когда я выступил с заявлением, что американцы сами взорвали свои башни-близнецы.

Тьерри Мейсан и прочие европейские и американские левые выступили позже.

Спустя неделю или две ко мне пришла налоговая инспекция.

Я говорю:

— Да шли бы вы отсюда! Вы знаете, кто у меня учредители? Вот, читайте!

А Дудаев Абдурашид был членом российского Совбеза и главой Совбеза Чечни. Да и вообще он был как бы «выпускающий редактор» старшего Ахмада-хаджи.

Говорю им:

— Тут такие люди у меня, вам ловить нечего. Так что до свиданья.

Весь разговор проходил на Мансуровском. После него налоговая инспекция провалилась бесследно в тартарары. И с тех пор никто не вякает и не появляется, а сколько лет прошло.

Август 1991. Настоящие и ненастоящие революции. Лубянка и ее метаморфозы

В августе 1991 года я не только был в Москве, но я конкретно участвовал в событиях следующим образом.

19 августа я приехал с дачи в Валентиновке. На Мансуровский я вошел около 12 часов. Я не знал про ГКЧП, ничего не слушал, на даче у меня не было телевизора, я не слушал радио, просто приехал и всё.

И вдруг звонок. Звонит наша подруга и говорит:

— Ну что, поздравляю, теперь вам крышка!

— Не понял, — говорю я, — вы о чем?

— Как о чем? Все ваши друзья теперь под колпаком, да и вам — конец.

— Да вы мне можете объяснить, о чем речь-то идет или нет?

— А вы что, не знаете?

— Не знаю, — говорю я.

— Сейчас ГКЧП, комитет по чрезвычайному положению, спасая советскую власть, взял на себя полноту полномочий, чтобы вас, гадов, к ногтю! Разваливали они Советский Союз! Всё, теперь не поиграешь!

— Подождите, а откуда такая злоба? Мы же друзья, мы же любим друг друга. Сколько лет мы вместе...

— Друзья-друзья, а кто вот частным промыслом занялся, кто «Таухид» зарегистрировал?

— Ну подождите, вы же тоже издательство зарегистрировали.

— Ну издательство. Короче говоря, всё, хана. Желаю жить и здравствовать.

Я обалдел. С ее слов я понял, что произошел переворот.

Звоню своей тогдашней помощнице Тане Титовой — была такая очень хорошая девушка — и говорю:

— Таня, вы в курсе?

— Да, вот что-то такое происходит.

— Давайте, встречаемся там-то и идем смотреть, что происходит.

Мы встретились, и я с ней пошел в азербайджанское представительство на улице Станиславского, теперь Леонтьевский переулок, за Телеграфом. Я туда довольно часто заходил. В этот период оно уже было практически реальным посольством.

Горбачев пустил танки на Баку в «черном январе» 1990: вошли войска, стреляли на поражение по балконам, по троллейбусам, устроили даве́ж сепаратизма. 130 человек убили, потом началась оккупация. Везиров²⁴⁹ бежал.

Я вошел в комитет «Карабах», тайный штаб которого располагался в представительстве Азербайджана, и для него издавал газету «Ümid» («Надежда»), ее печатали в Москве и тайно перевозили в Баку и там распространяли. Писал туда статьи.

Прихожу, а люди уже собираются жечь бумаги и документы и ожидают штурма. Все на ушах. Здание огромное, люди в охренении, что всё — лафа скоро кончится.

В центре зал, как бы гостиная, и там все собрались — вроде того, что надо срочно уничтожать документы, диппочту.

Я говорю:

— Подождите-подождите, давайте я сделаю так: давайте я выйду в город, посмотрю, что происходит, потом вернусь и вам скажу. Надо понять.

— Ну иди, — мне говорят.

Мы с Таней вышли, пошли по Тверской и увидели людей, которые с мегафонами собирали толпу для протеста против ГКЧП. Уже было около часа дня. Собирался марш.

Смотрю, а менты не вмешиваются.

Я говорю Тане:

— Таня, это какая-то хрень. Чтобы совковые менты не вмешивались, когда против ГКЧП, который позиционировал себя как официальная власть, собиралась демонстрация? Это очень подозрительно.

Мы решили встать в строй и пойти вместе с демонстрацией. Встали и пошли.

Набирающая силу громадная колонна дошла до Белого дома, и мы вместе с ней. Было два часа. Начали собирать материал для баррикад — остовы железных кроватей, мусор. Я ничего не собирал, просто следил за всем.

Где-то Зюганов появлялся, где-то Глеб Якунин, Бабурин. Люди общались, делились впечатлениями.

Смотрю, на мосту показался бронетранспортер. Толпа сразу заволновалась, что вот-де, танки. Но бронетранспортер как появился, так и назад уехал. Я посмотрел на баррикады, на бронетранспортер, который показал носик, и говорю Тане:

— Тань, ну вы поняли, да? Это полная хрень, провокация, ГКЧП — это чистая разводка: всех, кто поддержит ГКЧП, заметут, это переворот. После ГКЧП — всё, совку хана.

К семи часам, когда уже слегка стемнело, я пошел к автомату и позвонил Мелентьевой и говорю:

— Наташа, вы знаете, я как раз нахожусь там, где всё происходит, я всё видел своими глазами и советую вам Сашу не пускать ни в какие авантюры, потому что кто высунется — тому по башке.

— Саша, между прочим, с утра на улице агитирует войска, раздает листовки солдатам.

— Ну срочно отзовите его каким-то образом, потому что это может для него очень хреново кончиться. Всё лажа, никакого ГКЧП нет. Те, кто вылезут, — получают по мозгам.

В ответ что-то нечленораздельное.

Я всё сказал, что хотел, и положил трубку.

— Ну, Таня, — говорю, — давайте по домам, уже всё ясно. Суду всё ясно, это чистая провокация, за ней последует расправа над осколками недобитого совка.

20 августа, на следующий день, я позвонил Саше, и он взял трубку.

— Ну, Саша, ты что-то понял? Какое твое мнение?

Он начал проклинать матерно русский народ: это быдло, просто твари и так далее.

Ну, понятно, эмоции ясны, ладно.

Насколько я знаю, были какие-то обыски: у Проханова что-то искали, но ничего серьезного — по крайней мере, на известном мне уровне.

21 августа уже было понятно, что всё кончилось, началось прославление Комаря и двух других, кого раздавил бронетранспортер. И всё закончилось.

ГКЧП поехали в какой-то момент в Форос к Горбачеву, который якобы там был пленен. Горбачев сказал что-то вроде: «Ах вы, гады такие, пленять меня!» Ну, они, перемигиваясь и переминаясь, сняли шляпы. Потом их всех арестовали, когда приехал Горбачев. Было понятно, что он просто поставил их на хозяйство, чтобы они совершили без него переворот, а потом он планировал их всех посадить как антидемократов. А он хотел что: чтобы они в ходе своего ГКЧП замочили Ельцина и всех демократов, потом бы он вернулся, всех посадил и начал быть уже хорошим президентом СССР без всяких Ельциных. Но, видимо, он был совсем тяжелый дурачок, не понимающий. Гэкачеписты понимали, что им просто навязали идиотскую ситуацию, в которой они не получали ничего, потому что в конце их по-любому сажали. Если бы они взялись за дело круто, Горбачев бы их всё равно посадил, чтобы остаться в глазах мирового сообщества белым и пушистым. Они это осознавали, поэтому у них тряслись руки, дрожали голоса, падали очки на пол, и всё это выглядело жалко.

Но Саша был такой простой, наивный, раздавал какие-то прокламации.

Ничто настоящим не было. Люди, пришедшие к Белому дому, были там всю ночь и верили свято, что своими грудями могут закрыть подход к Белому дому... Это смешно — не то что реальный танк, а просто легкая разведывательная бронемашина прошла бы через них, не заметив.

На Тяньаньмэнь²⁵⁰ в 1989 расстреляли всех. Но на Тяньаньмэнь вышли другие люди. Они не баррикады строили из железных кроватей, они жгли танки, уничтожали солдат. Там солдат со снятой шкурой распяли на мосту. Правда, на каждого убитого солдата погибло 10, а может 20 студентов, но солдат они тоже замочили под тысячу.

Демократы, которые в Москве жгли костры, испытывали чувства. Они испытывали их по поводу фиктивной, постановочной ситуации. Был ли в этом толк? Это всё равно что спросить: зритель напрасно испытывает в театре свои чувства по поводу короля Лира?

В феврале и в октябре 1917 разные люди делали революцию, но всё было настоящее. А тут задействовали массовку.

В 1993 году была настоящая улица. А вот что касается Верховного совета... Наверное, там были идиоты, игравшие всерьез, но вся верхушка Верховного совета — предатели.

Они же принимали законы и приговаривали к смерти людей. Сами по себе решения, которые Верховный совет принимал — убрать Пашу Грачева, назначить вместо него Варенникова, убрать того, назначить этого.

Паша Грачев был готов перейти на сторону Верховного Совета, но, когда он узнал, что его сняли и приговорили заочно к расстрелу, у него не оказалось другого выхода, кроме как лечь под Ельцина. Если бы не идиотизм, то Паша Грачев арестовал бы Ельцина.

У Верховного совета были козыри на руках: по конституции Верховный совет стоял над президентом. Вся система советов поддержала Верховный совет — от него по областям, по городам шла вниз елка власти. А это депутаты, общественность, гражданское общество, последний совет, последняя связь с народной традицией.

Севастьянов, который возглавил спецслужбы, являлся явным представителем Лубянки в Верховном Совете. Он ходил на Лубянку из осажденного Верховного Совета, на час скрывался внутри здания, потом выходил оттуда и грозил, отступая, кулаком со словами «Ну гады, мы сюда еще вернемся». И уходил в Верховный Совет.

А Руцкой? Руцкой, что ли, не был предателем?

Ленин в 1917 был настоящим, а Хасбулатов с Руцким в 1993 — не были.

Как мы знаем сегодня, в 1991 году на Лубянке на уровне верхних этажей сидели снайперы и пулеметчики, готовые расстреливать тех, кто валили Дзержинского, и готовые физически держать оборону этого здания, страхового общества «Россия». И они могли вмешаться, готовились к тому, что их будут штурмовать. Готовились стрелять.

Никто не вошел в это здание, никто даже близко не подошел. Там стальные ворота, автоматчики. Памятник был недалеко от здания, в центре площади. А из окон и с крыши на них смотрели стволы.

Ликвидация памятника Дзержинскому стала символическим ходом.

Ельцин пришел к власти — партия победила органы. Вот она и сняла эту статую как символ своей победы. Но пьяная массовка ничего не могла понять, ведь схлестка шла на совершенно другом уровне.

К власти пришли партийные референты. А органы окопались на Лубянке и ждали, когда по их душу придут. Они готовы были дорого продать свою шкуру.

В последующие несколько лет было уничтожено Первое главное управление, которое работало на границу. Куча людей сбежала. Генералы, полковники открывали сейфы, брали личные дела агентов (самое же ценное — это агенты, агентурная сеть), что-то продавали, что-то пытались использовать. Забирали дела агентов и внешних, и внутренних. Каждый агент — на вес золота. Всё было продано или реализовано иным образом.

Ко времени Бакатина большую часть уже уничтожили, органы замели целиком. Все старые убежали. Кто-то спрятался в Австралии, кто-то в Восточном Тиморе. У них же были серьезные заначки для иностранных коммунистов — то самое «золото партии». И по их следу шли разные силы. Например, северокорейская разведка сильно проредила оперативную структуру. Они тоже охотились за этими заначками.

Взять несколько тонн золота и бриллиантов — плохо, что ли? Заначки же делались в золоте, бриллиантах, в крайнем случае в долларах. В основном они старались оставлять неидентифицируемые заначки. Не картину же Рафаэля, а золото.

Как греческая или тунисская компартия получали финансирование? В подвале полуразрушенной мечети, в каком-нибудь городе Фес делался тайник. Доверенные люди туда делали закладки, оттуда потом их брали и тратили на подготовку людей, на то, чтобы поставлять оружие палестинцам и всё такое.

А когда всё стало разваливаться, те, у кого были данные по этим закладкам, побежали их присваивать. Ими и ЦРУ занималось, и северные корейцы, и мафии — они же знали про это.

Человек мог взять закладки, поменять имя, потом еще сменить несколько личностей и сидеть в Новой Зеландии. До него добивались, допустим, в 1997 году, приходили по его душу. А у него какая-нибудь скромненькая виллочка на берегу моря в зелени и виноградных лозах. Но вдруг раз, и северокорейские товарищи через забор сигают.

Кэгэбэшники-то разбежались просто как тараканы, потому что страна сказала: «Товарищи, благодарим за службу. Временно родина в вас не нуждается». Раз не нуждается, то — ребята, набивай карманы. Карлос Ильич Рамирес Санчес — другое дело. Он служил не мифической родине, а вечной идее, и его сдали проклятые суданцы.

К 1994 году всё уже было кончено. Там же никто из старого КГБ не остался, они все вычищены. Берешь какого-нибудь генерала — до 1991 года он дотянул, и так с каждым. Максимум — до 1993, если не очень высокое звание. Но всё — дальше уже другие люди.

Сейчас возникла новая формация. Они себя отстраивали заново.

Вот Путин. Считается, что он представитель органов. А он похитрому очень, у него же цезура по времени в карьере, он же вышел из органов до 1991 года. А если бы он там задержался, то ничего бы ему не светило. Более того, его бы еще и прихватили на измене родине.

Новых 90-х, таких волшебных, уже не будет. Будет похристиански — инфернально. Будет в рубищах, с язвами, в которых копошатся черви.

Наш круг — лаборатория кризиса. Кризис человека. Кто «вата»?

Есть замечательный рассказ Сорокина про ватник²⁵¹. После 90-х к тому же и общекультурный уровень населения очень упал.

Пространство наше было очень интересным в том смысле, что это была максимальная антивата, которую только можно представить.

Когда становишься «анти»,ходишь в это пространство, возникает предельное напряжение оппозиционных полюсов.

Это очень большой иероглиф, очень серьезный. В принципе, если исследовать схемы и культурные паттерны, которые жили в нашей среде, я бы сказал, что это энциклопедия пост-постмодерна.

Смысл всего, о чём мы говорим, в том, что в определенное время в определенном месте существовала предельная концентрация человеческой драмы, диалектики человеческой драмы, человеческой экзистенции.

Я для себя в свое время это сформулировал так.

Кризис человека идет очень давно. Есть три аспекта этого кризиса: антропологический кризис человека, кризис разума как кризис описания, и кризис общества.

Кризис человека — наиболее важный и наиболее интересный, потому что человек выстроен на системе безусловного внутреннего противоречия. Он является носителем языка, который необходимо содержит в себе финалистские прозрения, финалистские смыслы.

Вместе с тем юдоль человеческого состояния...

Человек обладает некой частицей в себе, которая делает его виртуальным оппозиционером всему сущему. При этом он является куском этого сущего. Не в том смысле, как Достоевский говорит «здесь дьявол с Богом борется»²⁵², потому что у человека нет никакого Бога, его Бог — Бытие, а Бытие на деле и есть дьявол.

Страшная ложь человека заключается в том, что это внутренние, оппозиционные конфликты одного и того же.

Представьте себе воду, которая имеет три агрегатных состояния: лед, вода и пар. Это же одно и то же, но условно будем считать, что лед — вещество, материя, пар — дух, а жидкое состояние — диалектическая связь такой феноменологии, в которой прокручиваются разные состояния. Но всё это одно и то же.

Человек не может вырваться за пределы этого треугольника, потому что если он обращается к духу, то он по необходимости обращается к третьему агрегатному состоянию — условно говоря, к пару. Значит, ситуация тупиковая — либо лед, либо пар.

Есть такая оккультная вещь — тернер и кватернер. Тернер — это треугольник, фигура с тремя углами. Как из нее получается кватернер, фигура из четырех углов? Вы берете этот треугольник и подносите его перпендикулярно к поверхности зеркала, и он отбрасывает отражение, и мы получаем квадрат.

Мы берем три состояния воды — пар, лед и воду — и подносим к зеркалу. У нас получается новое состояние. Это состояние не активное, но виртуальное, иллюзорное. Это иллюзорная оппозиция всему целому, но человек понимает, что что-то есть.

Она иллюзорна, но человек понимает, что что-то есть. Даже не так. Человек чувствует, что он погружен в чистый фальсификат. Он кружится в трех состояниях, но не может схватить четвертое, потому что четвертое состояние выводит его на другую плоскость, на другой уровень.

Кризис человека заключается в том, что он становится заложником абсолютной лжи. Он думает, что это дух, или что это вещество, или что это разум, но всё — субстанция. Что такое субстанция? Это некая протяженность, объемлющая субстанция. Материя — это субстанция, множество — это субстанция.

Не субстанция, эссенция — точка, которая противостоит гомогенной бесконечности. Человек не может ее схватить, не может ее контролировать. Он может подозревать о ней. При этом его борьба с подозрениями или зависимость от этих подозрений составляет

борьбу на ровном месте. Это миф о Сизифе, который постоянно толкает вверх камень. Он возгоняет воду из состояния льда до состояния пара. Потом всё опять скатывается до состояния льда. Это идет и идет, и не имеет шансов на прорыв. Это кризис, кризис человека.

Дальше еще интереснее. Нам удалось ввести максимальную концентрацию метафизического кризиса в реальном пространстве вокруг себя, в нас самих. Мы создали это пространство как лабораторию исследования кризиса человека.

Это пространство — это суперконцентрация кризиса как главной проблемы человеческой реальности.

В чем состоит сам кризис? Фундаментальная взрывная неадекватность — дважды два — пять, или дважды два — три. Человек не равен самому себе... Но это была бы пошлая и банальная мысль, если бы она произносилась с позитивным акцентом в том смысле, что человек — это то, что перешагивает через себя, человек — это то, что преодолевает себя, человек — это то, что звучит гордо.

Суть кризиса в том, что это палец, повернутый к земле, то есть это смерть человека. Я вижу эту диалектику как трехходовку.

Федор Михалыч Достоевский создает пространство, в котором Кириллов говорит «умрем и будем как боги». Ницше говорит: «Бог умер», и это ответ Достоевскому. А мы говорим: «Человек умер. Там, где умирает человек, там начинается Бог». Смерть человека, реальная смерть человека — это очевидное полагание божественного как божественного, вне контекста встречи.

Любой мистик исходит из того, что божественное — результат встречи совершенного с несовершенным. Но в данном случае нам не нужна эта ситуация, не нужна встреча, не нужна главная программа искупления.

Сущность религиозной мистики заключается в следующем: совершенное, которое ни в чем не нуждается, которое безусловно включает в себя всё, завершает всё, является равновесием всех смыслов, всех направлений, казалось бы, и есть божественное, — но это не так. Божественным является то, что несовершенство принято

совершенством как равноправная пара. Иными словами, Бог невозможен без «брачного союза» совершенства и несовершенства. Несовершенство принято в этот союз.

Религиозный мистицизм, основанный на этих обьятиях, на создании «брачного союза» — ложь, абсолютная ложь. То, что религиозные мистики называют богом, возникновением божественного — это мельтешение в отхожей яме Бытия, это антидух, антимысль, антипроридение. Вот именно поэтому все эти аятоллы говорят: «Если Друг сделает так, как я хочу, то мы пожелаем жаркое пламя и соломенную циновку».

Идея замыкания до полного цикла, замыкания до полноты, последняя тайна заключается в том, что совершенство становится истинным совершенством только тогда, когда оно дополняется несовершенством как отдельной реальностью, без которой несовершенство бессмысленно. Это краеугольный камень, отброшенный строителями за ненадобность, но именно он ложится в основание купола — ключом, замыкающим купол. Эта неправильная форма, на которой купол стоит.

Вся суть религиозного мистицизма состоит в том, что несовершенство является необходимым дополнением для совершенного. Совершенное без несовершенного — ничто. Бог — это неразмыкаемый союз совершенного и несовершенного. В этом суть христианства, суть обожения, суть всего.

А мы говорим, что всё это ложь. Потому что вся идея совершенного и несовершенного, их диалектика, их глорификация через возгонку того и другого — полная фальшь.

Человек должен умереть. Но не в смысле Ницше — не для того, чтобы родился сверхчеловек. Он должен умереть для того, чтобы освободить свое сознание как точку оппозиции всему.

Реально, когда человек умирает, с этого начинается Бог. Но не в смысле религиозных мистиков, которые мыслят в категориях совершенной полноты, несовершенства и т. д. Бог, понятый как то, что творит для того, чтобы показать, что всё, что есть, что всё, что сотворено, является выражением его сокрытости. То есть это

противоположная идея тому, что всё вокруг нас свидетельствует о Боге. Что птички чирикают и возносят ему хвалу, змеи шелестят раздвоенным язычком и возносят ему хвалу.

Есть триптих — смерть, сознание, невозможность, — вот антитеза Бытию. Этот триптих — одно и то же, просто разные аспекты.

Смерть — та бездна невозможного, которая находится за пределами возможности постановки вопроса о ней.

Искра этой смерти, которую человек носит, пока жив, есть сознание как точка оппозиции всему, точка несовпадения ни с чем. Благодаря сознанию человек может свидетельствовать. Свидетельствование и есть несовпадение оппозиций, чистое несовпадение. *Martiris* — это «мученик», шахид — это «свидетель», и в то же время это «мученик», свидетель и мученик одновременно.

Почему так происходит? Потому что сознание — это рана, источник боли для Бытия, травма. И бытие непрерывно стремится травму залечить, залить бальзамом.

Это происходит на всех уровнях, начиная от простого ханыги в среднерусском городке и кончая золотой молодежью потерянных поколений.

Всё построено на эскапизме, люди хотят бежать от травмы сознания.

А мы создали абсолютную концентрацию противоположного. Идти в травму сознания, раскрыть тайну сознания как предельное состояние. Сознание как травма, как невероятный источник боли.

«Там, где мы, там всегда центр Ада» — говорил Женя.

Именно этот акцент делал всё таким значимым и важным, и Нимфетку, и Попова, кого угодно. Все становились участниками мистерии. Все принадлежали к очень специальному кругу. Например, ты смотришь на Нимфетку и видишь, что девушка пошла по плохой дорожке. Красивая, нежная, но гопница. А ведь она — невестка крупного советского писателя, писавшего о сопротивлении японцам на Дальнем Востоке, «Сердце Бонивура». Довольно мистическая вещь,

кстати говоря. Кого ни возьми — все участники были кто-то, на очень высоком-высоком уровне.

Конечно, несколько человек составляли ядро, эксклюзив — Мамлеев, Головин, я, возможно в какой-то мере, и Степанов. Но дальше шли уже десятки людей. Они появлялись и исчезали как тени, но у каждого из них была своя миссия и своя роль. Арлекин, Панталоне, Коломбина.

Главное, что следует понять: мы превратили концепцию кризиса в непосредственный источник энергии. Мы топили этим кризисом наши энергетические механизмы.

Открытие Жени: «внешний мир воспринимается как удар».

Он пошел по квартирам и звонил в каждую дверь. Когда ему открывал какой-нибудь подсвинок в трениках, он сразу бил его в рожу, говоря: «Внешний мир должен восприниматься как удар».

Мамлеев, который создал максимально деструктивное, inferнальное пространство, побывав в Штатах, превратился в китчевого, карикатурного своего персонажа. Он стал Куротрупом и на себе замкнул взаимоисключающие вещи. Мамлеев не справился с этой задачей в Штатах, потому что рационализм и прагматизм Штатов оказался сильнее, чем борьба за кризис. Борьба за кризис во имя кризиса.

Находиться в потоке, в потоке некоего делания, и взорвать это можно, только если ты реально знаешь всё про кризис и стремишься к тому, чтобы это взорвать. А Мамлеев был пассивным инструментом кризиса. Кризис его использовал. Он не мог им владеть, не мог интернировать ситуацию. И поэтому он почувствовал, что весь его набор ценностей, вообще набор ценностей — глубоко фальшивая идея и ничего не стоит перед Америкой. Там он оказался никому не нужен.

Если ему сказать: «Юрий Витальевич, так вы же никому не нужны», он разведет руками, споткнется: «Как никому не нужен?» Он думал, что на нём свет клином сошелся, а ему говорят, что он никому не нужен, что всё это полная ерунда. Тупик.

Юра инстинктивно создавал как медиумичный творец, и он хотел за это получить. С определенного момента он хотел быть

бенефициаром собственного таланта. Но он же мне сам говорил: «Мне уже 40, а где же перспективы? Я пишу, пишу, и всё в стол. Перспектив нет, здесь реализоваться я не могу». Он хотел получать социальную отдачу.

Если всё свести к вульгарному эквиваленту, то — да, он хотел, чтобы ему платили, и даже не столько бабки, потому что он воспитан в советской аскезе. Он хотел славы и влияния. Он хотел быть мэтром. Его «я» должно было стать краеугольным камнем действительности не для одного него, а вообще на этом камне должна была воздвигаться церковь. А когда он приехал в Америку, все эти идеи обнаружили свою неадекватную сторону.

Он не справился с ситуацией. Он даже не мог ее описать, не мог дать адекватный расклад. Не мог объяснить, с какими картами он сел играть. Он садится за карточный стол — идет раздача карт, и ему что-то раздают, но он не знает, в какую игру сейчас будут играть. Может, подкидной, может, покер...

Рассказывали, что он преподавал русскую литературу в университете. Когда я это ему изложил, он пронзительно геенисто захохотал и воскликнул:

— Дарюша! Да кто же мне позволит преподавать русскую литературу! Ведь они ее смертельно боятся и прячут.

Я говорю:

— Юрий Витальевич, а вот мне рассказывали, что вас вынудили преподавать ненавидимого вами Есенина.

И тут я услышал такое, от чего у меня глаза на лоб полезли.

— Есенина? Да я преклоняюсь перед Есениным! Есенин — это концентрация вечной России! Россия — Вечная!

И дальше пошли заезженные образы типа березок и ромашек.

И я ему говорю:

— Юрочка, ну я же помню, как вы издевались над всем этим.

Но он даже не хотел меня слушать. У него произошла катастрофическая аберрация. Произошла перезагрузка.

Мамлеев — в Южинском центровая фигура — мне кажется, после Америки просто перестал соображать. Он не стал «ватой» в том смысле, который мы сейчас в это вкладываем, он не стал человеком, сознательно вставшим на позиции гадости, зная при этом, что он стоит на позиции гадости. Мамлеев просто спятил. Он написал «Россия вечная» с березками — а он же ненавидел это, он был не просто антисоветчик, он был русофоб. Когда он начинает писать или излагать какие-то ватные бредни с ссылками на Есенина, это просто невозможно слушать.

Версию, что Есенина убили чекисты, я, к слову, не ставлю под сомнение. Для меня было достаточно увидеть его гипсовую маску. Я всегда на этой платформе стоял.

Но я не считаю Мамлеева примером обращения в «вату», потому что у него просто произошел сдвиг, он сломался.

Есть сознательные ватники. И думают про себя: да, я — ватник.

Вряд ли они считают себя подонками, но они понимают, что да, вот мы — гады, мы будем сейчас всех ставить «на понятки».

Фуад Аббасов в какой-то передаче сказал по поводу сбитого турками Су-24:

— Ну вы же пролетели над территорией Турции.

На что ему то ли Багдасаров, то ли сам Толстой ответил:

— Ну и что? Это же всего-навсего региональная страна! Подумаешь, пролетели.

В этом смысле они, конечно, сознательно стоят на платформе подоношности. Только они не считают, что это подоношность.

Мамлеев абсолютно другой, потому что он просто нес бред. Какая «вечная Россия»?

После своего приезда из Америки он мне как-то сказал:

— Я бы очень хотел перенести Россию на Луну. Чтобы была только одна Россия, и больше никаких других стран.

Он сказал это очень задумчиво, очень честно. Мы сидели около какого-то пруда.

— Очень жаль, что мы существуем в пространстве, где есть еще кто-то. Я хочу, чтобы Россия была на Луне.

Мамлеев не тот человек, который искал навар. С ним произошло некое перерождение. Он приехал в 1989, когда еще формально не наступил конец советской власти. И заявил, что Красная армия защищает штыками мир от американского империализма.

Я ему говорю:

— Да что вы, Юрочка. Вы опоздали. Уже нет никакой Красной армии, нет штыков.

— Нет, нет, вы ошибаетесь!

Но иногда из него вырывались такие вещи:

— Вы знаете, почему либерализм никогда не победит в России? Потому что наш народ слишком глуп, чтобы усвоить западный паттерн. Они будут нам втолковывать-втолковывать, а русские же — идиоты, они никогда не поймут, о чем им толкуют.

После возвращения стало понятно, что он уже ничего стоящего не сможет написать. Невозможно читать, что он в Америке писал, а то, что после — и подавно. Какая-то самопародия, самоповтор. Мертвый материал.

Это один вариант.

Женя бравировал неким аполитизмом. Он умер, прожив много лет при нынешней власти после 1991 года²⁵³.

Степанов тоже не стал «ватой», он не так давно умер.

Дугину в 1974 году, когда Мамлеев уехал, было 12 лет. Я с ним познакомился в 1980-м, когда ему было 18. Конечно, он был антисоветчик, антигуманист, писал песни и стихи с проклятиями в адрес совка.

А вот Дуда... Дудинский всегда был циником. Циник и игрок. Он играл. Сейчас у него замечательная роль. Он пресс-секретарь

Васильевой, любовницы Сердюкова, распродавшей вместе с Сердюковым министерство обороны. Ему нравится: считает ее забавной теткой. Написал ей очередное выступление на суде.

Он образованный человек. Дуда еще и очень талантливый парень. Может быть, для стеба написал ей стихи «Пусть богатые будут богаче», это он мог.

Я его как-то встретил в переулках. Довольный, веселый, поделился, что идет на презентацию новой книги по сатанизму в квартире Булгакова. Посетовал, что денег стали меньше платить.

Этот человек может что угодно писать, вести свою линию. То, что он «вата» — это несерьезно.

Всё. Больше никого нельзя привести из тех, кто жив. А умершие — никто не «вата».

Такой эпизод. В Новом университете сидят Дугин, Мамлеев, Головин, и Мамлеев начинает что-то шелестеть про Россию вечную, что-то бормочет. Женя его обрывает и говорит, что ему вообще-то на эту Россию наплевать. Это есть на видео.

Головин — наиболее яркая фигура, но он же не единственный. Были еще Провоторов, Алексей Смирнов²⁵⁴.

Смирнов — уникальный тип, яркий, инфернальный барин, художник, реставрировавший церкви, писал замечательнейшие картины. Например, «Завтрак железнодорожника». Сидит классическая рабочая семья: дети, хозяин перед уходом на работу. Всё четко и классно написано, только у хозяина растет цветок из-за уха, а перед ним на блюде лежит нарезанный, как селедка, Христос.

Алеша Смирнов всегда одевался с иголки, в костюме с запонками. И папаша его тоже был художник, причем академик. И когда Алёша окончил Суриковский, они встретились в мастерской, и, кажется, свидетелем этого был Женя.

Отец сказал ему:

— Ну что же, Алексей. Наконец-то ты окончил институт. В знак моей отцовской признательности я приготовил тебе маленький

подарок.

И после этого отец надел ему на руку золотые часы, потом обнял его, приблизил к себе и укусил за ухо. После этого Алексей вцепился в отца, и они, рыча и царапаясь, как два кота, покатались по полу.

Кто-то конформистски понял, что стать наследником Южинского — беспроектный вариант, золотая монета, что надо сесть на это наследие, объявить его своим, и быть просто его директором-распорядителем.

Артур Медведев. «Волшебная гора». О красоте, розе, Мамыко и христианстве

Эзотерический журнал «Волшебная гора»²⁵⁵ вел Артур Медведев. Я его давно знал. Он появлялся в фильме о «русских мальчиках» (1997 года), правда, он там молчал. Еще сидел Болдырев²⁵⁶, в то время постоянный гость в Валентиновке, философ, аспирант философского факультета. Все должны были выступать в качестве «русских мальчиков», но выступал в основном он. Сидел Максим, мама моя, Гюля. Посреди стола невероятный чайник с позолотой, самовар. Нелли Шевченко²⁵⁷ со специальной командой заправляла всем процессом, фильм снимался для «Москвы-24».

Артур был очень больной человек с мешками под глазами. У него было слабое здоровье. Как-то мы обсуждали какой-то вопрос перед центральным входом в Парк культуры на Кольцевой, он принес мне номеров десять своего журнала. Когда мы с ним говорили, я заметил, что у него очень трясутся руки.

Но он являлся фанатом чистого оккультного знания, причем бескорыстно служащий ему. И он издавал этот журнал. Сам при этом туда он ничего не писал, да и говорить связно по смыслу он практически не мог. Но он служил.

У Артура был спонсор. Этот спонсор варил асфальт и заливал этим асфальтом Москву, от лишних денег отстегивал что-то на «Волшебную гору».

Папаша Медведева, капитан 1-го ранга, гэрэушник в военно-морской форме, член Союза писателей, писал стихи, — стихи соответствующие. Как всегда такие полковники и капитаны первого ранга пишут о родине.

И вот Мария Мамыко, окончившая Симферопольский университет и искавшая, как жить дальше. Ее мать была пресс-секретарь Грача²⁵⁸.

Она пишет Медведеву-старшему письмо, что ничего прекраснее и круче, чем его стихи, она не встречала.

Она со мной от радости парит,
Грустит порой и плачет между делом,
Но знаю, никуда не улетит
Моя душа, обмотанная телом.

Да, такой псевдопушкинский треш, «душа, обмотанная телом», — это хорошо, сразу нам напоминает о том, что он был сапог, что-то с портянками связанное.

Мамыко пишет письмо Михаилу Медведеву, что она просто сметена, ничего лучше никогда не читала. Что она прошла лучший в мире, входящий в пятерку, Симферопольский университет, но там даже близко ее не познакомили с такими невероятными образцами. Я даже знаю Самойлова и Межирова, пишет Мария, но это круче.

И он приглашает ее приехать. Наверное, думает: «Дай-ка женюсь на молоденькой».

Она приезжает и, естественно, кладет глаз на Артурчика, который женат на очень красивой девушке-художнице, но домашней девочке. Считалось, что она не поддерживала своего господина в его идеях общественных занятий, бормочет о дурацком очаге и о какой-то приватной жизни. А ему нужно было, чтобы его жена помогала ему с «Волшебной горой».

И когда появилась Мамыко, художнице дали пинка под зад, она со свистом улетела, а Мамыко взяли на роль жены. Потому что, как объяснял мне трясущийся Медведев, Мамыко — идеалистка, она служит духу, она не интересуется кастрюлями. А предыдущая интересовалась кастрюлями, поэтому пришлось усовершенствовать реальность, «тикун олам»²⁵⁹.

Появилась Мамыко. Южнорусская дивчина, ходила дома при гостях в халатике на голое тело и в белых трусах, которые всегда были видны, когда она садилась.

Южнорусские самки быстро плодятся. Она кого-то Артуру родила.

Мамыко меня пригласила и сказала, что хочет сделать со мной интервью. Я приехал туда с Гюлей. Сидел Медведев, и это был как раз день потопления «Курска»²⁶⁰.

Мамыко говорит:

— Гейдар, вот вы же фундаменталист. Скажите, как в вашей жизни обстоит дело с любовью и сексом?

Ее абсолютно не смущало присутствие Гюли, и сидела она, широко расставив ноги. Я думаю: «ну ничего себе, какие заходы». Посмотрел на Медведева, а тот был весь поглощен просмотром новостей, что там несли по поводу «Курска».

Мамыко стала как-то ужесточать. Сначала стелила мягко, а потом всё жестче и жестче.

Значит, Мамыко...

У нас семейная черта с Орханом: как он всё время выправляет на гиксосов²⁶¹, так и я на Мамыко.

Проходит какое-то время, и она меня приглашает на круглый стол по теме «Красота спасет мир» и просит выступить с ключевым докладом.

Я набросал 12 тезисов о том, что красота есть чистое проявление сатанизма.

Что христианство всегда очень мощно мочило красоту. «Повапленные гробы» и т. д.

Почему красота не может спасти мир? Потому что красота — это атрибут Аполлона-мусажета, а Аполлон-мусажет — это Люцифер. Была у меня такая хорошая записная книжечка, толстенький ежегодник 85-го года, который я у Марины Наримановой в свое время подрезал. И там у меня было много интересных записей, — не знаю, где сейчас это всё. Может быть, где-то в архиве.

Короче говоря, всё подробно написал.

Приехал, выступил, и наступила пауза.

Там сидел Егор Холмогоров, вертел палочкой и лупал глазками.

Я выступал.

— Послушайте, вы здесь христиане? Как вы вообще могли сформулировать подобный вопрос? Понятно, что для христиан красота является демоническим проявлением, искушением, потому что гармония Космоса противоположна гармонии Духа. Дух и Космос — в противолежащих плоскостях. Они не продолжают один другой. Так бывает только у язычников. Поэтому ранее христианство чуралось всего красивого, очень жестко чуралось.

Меня выслушали, наступило молчание, и вдруг жена Артура завопила:

— Мужчины, это что же делается?! Что же вы молчите?! Это же атака на наше святое — на красоту! Я к вам взываю как женщина, как мать.

Почему-то вспомнили розу, не помню какую — может быть Розу Коэли, может быть просто розу, которая в саду растет. Что вот этот человек выступает против тонких бархатистых лепестков пышной розы, символизирующей...

Егор включился с места в карьер, как будто ему вставили пропеллер. Он начал обвинять меня в сатанизме, понес какую-то околесицу с аргументацией, что красота — это красиво, а красиво — это прекрасно.

Ну, я сказал, что, ребята, я потратил свое время, объяснил вам азы вашего собственного христианства, а вы тупо упираетесь и воспеваете какое-то язычество.

Эстетика — это языческое понятие.

Я говорю:

— Я же исхожу из ваших же христианских тезисов. Я же ничего не добавляю. Никакой эстетики даосов — червячок, который выпал из раны, должен быть возвращен на место.

Пошел вой, скандал, крики.

Потом выступил то ли Щеглов, то ли Щипкин, — бегун²⁶², изложивший о сатанизме государства, и очень сильные были тезисы,

по 282-й статье спокойно можно было бы брать. Мне его выступление понравилось. Он сказал, что государство — это тень сатаны.

Потом мы встали и ушли, оставив Мамыко заряжать мужчин своим духмяным бабским излучением. На Холмогорова это особенно действовало.

Это была моя последняя встреча с Мамыко.

Через некоторое время я узнал, что Артур умер. Отцу и матери я послал соболезнования, а ей даже нет.

Марк Фейгин. Российский политический комитет. Артуро Мариано. Обыск

С Марком мы встретились в офисе «Солидарности»²⁶³ в конце 2011 года.

Со мной была дагестанская девушка, главный редактор «Черновика» при убитом основателе газеты Хаджимураде Камалове. Муж ее сидел на зоне. Позже она уехала в США на учебу. Я ее тогда двигал, хотел, чтобы она вошла во все структуры, как «хиджабная» мусульманка, присутствовала в информационном поле как фактор Кавказа.

В президиумной части, спиной к входной двери за столом в форме буквы «С», сидел Каспаров. Где-то рядом Баранов.

Марк зашел и сел на диване. У Марка было усталое и недоуменное выражения лица: «что же, черт возьми, здесь происходит». Марк поглядывал на дагестанскую девушку с некоторым недоумением и некоторой подозрительностью. О Марке тогда распускали слух, что он активный исламофоб.

Я подумал:

— Ну вот, как раз появился Марк, активный исламофоб. И вот он смотрит на мою протее и думает про себя, что со всех сторон надвигаются такие фигурки, занимают пустые клеточки.

С Марком мы обсуждали, что протест сворачивался, не успев начаться. Мы обдумывали альтернативу — и стали вместе делать Российский политический комитет. Нам удалось собрать удивительным получудесным образом порядка 14–15 человек в этот Российский политический комитет. На наше учредительное собрание даже явились Пономарёв с Удальцовым. Но они бухтели и были недовольны.

Мы же хотели выстроить внесистемную структуру параллельно с протестным оргкомитетом, в котором бенефициарами были всякого рода эпатажные персонажи из светской тусовки.

Важным компонентом в Российском политическом комитете являлось сетевое общественное телевидение СОТВ. В студии этого СОТВ происходило много всего — встречи, разговоры под камеру, собрания Российского политического комитета за круглым столом. Много сохранилось в YouTube. Марк вел свою программу.

Организовал СОТВ Яковенко, очень умный парень.

Были люди, которые сильно мешали, — типа Холмогорова. Он получил свою микростудию, приглашал каких-то гостей. У Холмогорова, когда он меня видел, возникала кисло-кривая физиономия, и он всё время против меня катил унылую бочку. Вариант Романа Силантьева, только хромой. И вдруг он появляется на этом СОТВ.

До сих пор не могу понять, почему некоторые персонажи вошли в наш Российский Политический комитет — Крылов, Тор, кто-то еще. Они были совершенно психологически, политически чужды всему этому. Они являлись, конечно, людьми ангажированными, под чутким руководством каких-то кураторов.

Там болтался и Николай Николаев, беспримесный и очень глупый агент.

Видимо, настоящие беспримесные агенты только такие и бывают.

В конференц-зале на СОТВ бывали Немцов, Пономарев... Там собиралась куча народа. И имелась возможность сказать острые вещи. Уникальный и обреченный проект.

Я подтянул туда художника Артуро Мариано, моего друга в Испании.

Русский и испанский были его родными языками. Отец его молдаванин, а мать — испанка, родившаяся от родителей-иммигрантов 1939 года. И сам он прошел большую школу. Уехал в 1990-м году в Испанию, стал фашистом, дугинистом. Потом он столкнулся с моими текстами, они его потрясли. Он начал думать, переводить. Вышел на меня в 2011 году, когда я был в Турции. Он мне написал на почту, и мы вступили в переписку.

У нас образовалась огромная переписка, целый том.

Он создал испаноязычную версию сайта InterUnion, рассылал мои переводные тексты по разным испаноязычным сайтам. И в конце концов я его попросил нарисовать герб Интерсоюза. Он нарисовал букет цветов, на фоне которого перекрещивались кавказский кинжал и ключ апостола Петра.

Получилось несколько вариантов, и я одобрил один из них.

В марте 2012 мы вышли на финишную прямую.

К нам в «Солидарность» пришло около 50 человек, которые все пожелали войти в Российский политический комитет. Там был Сивков, был Бабурин. Они все что-то восторженно бубнили.

На следующий день в семь утра в мою дверь раздался звонок. Я проснулся, посмотрел на часы и сразу всё понял.

Я посмотрел в глазок, а там однозначные хари, человек десять — явились проводить обыск. Я набрал Максима (Шевченко), потом Марка, а потом еще Сычёва.

Телефон адвоката Сычёва мне дал в свое время Орхан. Он его хвалил, но я в нём быстро разочаровался, потому что он политические дела брал платно, и его задача была не уйти из-под сачка, который на тебя набрасывала гэбня, а именно зарубиться с ними: «стреляйте, сволочи».

Максим очень быстро пришел, заблокировал их возле двери. Начал вешать им лапшу, рассказывать какие-то истории, байки. Стал спрашивать у следователя-ингуша, откуда у него такой дорогой Ниссан Теана, выжидая, пока приедут адвокаты.

Приехал Марк, потом Сычев.

И в итоге у нас возникла проблема, как Сычева вывести из игры, потому что он проявил себя как человек, заинтересованный исключительно в крови.

У следователей план менялся по ходу.

Приехали они с намерением предъявить обвинение по оправданию терроризма по статье на сайте Исламского комитета.

Информация об обыске пошла в СМИ, они решили жестких мер сразу не принимать.

Текст они выбрали странный, написанный неким арабом еще в 2003 году.

Я спросил, почему они мне шьют дело по дурацкой чужой статье про женщин в джихаде, вместо того чтобы заняться моей прекрасной, очень сочной статьей про Саида Бурятского в качестве новой ступени джихада на Кавказе.

Они мне сказали, что нет приказа:

— Мы изучаем только вот эту статью.

Они искали подтверждений, что я должен был одобрить эту статью.

Я им говорю:

— Вы понимаете, что я не читаю, не захожу в интернет и не умею работать с этой штукой. Мне распечатывают, приносят, и тогда я читаю.

Они начали искать распечатку, но распечаток не было. Хард-диски тогда забрали и ничего не вернули.

По моему делу свидетелями прошло около 500 человек. Я, когда шел на очередной вызов, встречал вереницу знакомых лиц, которых я уже давно забыл.

Дело оказалось в том, что, когда в 2006 году я был арестован в Дагестане вместе с Аббасом Кебедовым, они украли мой телефон. Остальным телефоны вернули, а мне нет. И в этом телефоне было около 1000 номеров, включая Зюганова, с которым я активно общался в какой-то период.

Дальше просто по телефону косяками выдергивали народ. Я никак не мог сообразить, откуда у них персонажи, которых я уже и не помнил.

Многие звонили, предупреждали, что их вызывают по моему делу.

А потом я понял, что это люди, найденные по моей телефонной книге.

Я в свое время требовал, чтобы мне его вернули, мне тогда привозят полный мешок — выбирай любой. В мешке моего телефона не оказалось, тогда притащили еще мешок.

Как-то к нам с Марком на улице подошел начальник следственного управления и сказал:

— Ну что, будем признаваться? Выходим на условный срок и с чистой совестью расходимся.

После этого была еще пара допросов. Дело сошло на нет.

Но активность РПК на этом они погасили.

Должны быть люди, готовые взять в руки что-то потяжелее пластикового совка. К этим людям и должен прийти РПК. Новый настоящий Политический комитет, без всяких крыловых и торов.

Россия и вставание с колен

Есть уровень «Европы» Ларса фон Триера²⁶⁴: 1946 год, распятая побежденная растоптанная Германия. Она в таком виде нужна сколько-то времени — скажем, 15 лет. Но дальше-то она в таком виде не нужна, дальше нужна богатая, сытая Германия, которую можно доить. И поэтому прямая оккупация убирается.

Но неужели можно поверить, что положение Германии в 1945 году и положение Германии сегодня — разное? Если страна проиграла, то кто же ее выпустит из лап?

У них есть уже один пример — фюрер. Он поднял с колен Германию.

Первоначальные установки Антанты были очень жесткие: не только контрибуция и оккупация Рейнской области — там большой набор. У них просто не имелось ресурсов, чтобы это всё сохранить.

Современная Россия не только не угрожает, но ползет на коленках, просит Запад принять ее в число своих партнеров назад. Россия не мыслит себя вне мирового порядка. И во внутренней пропаганде она не говорит, что она кому-то угрожает. Наоборот, у нас говорят, что НАТО нам угрожает, а мы хорошие.

В 90-е годы Путин был как раз тем человеком, который на коленках прибегал, и он был не носителем чемоданчиков Собчака, а исполнителем приказов Собчака и Чубайса. Он был зам Собчака по международным связям, заммэра. Человек, всей душой преданный мировому порядку и Западу.

В 1997 Собчак проиграл, и Путина взяли «на рыбалку» в Москву.

Дело не в том, на что он влиял и что он определял. Дело в том, какая матрица у него была в башке. Вот, говорят, носил чемоданчики, портфельчики, что-то о себе думал, а теперь что-то еще думает.

Что думал Путин о себе и ценностях в те годы? У нас есть кадры. Он говорит, что надо деньги зарабатывать.

Он стал и. о. Бориса Николаевича, а при Борисе Николаевиче всё было схвачено и под контролем. Он занял это место при живом Борисе Николаевиче — премьером, потом и. о., потом президентом.

Вся система никуда не девалась. Ну как ты ее смоешь? Пошлешь всех американских решальщиков здесь? Тогда очень быстро случится скандал, и Путин сойдет со сцены.

Считается, что американцы были против третьего срока Путина. Но это белоленточники были против. Бессмысленно всерьез считать, что все они реально выражали позицию госдепа, что госдеп создал оппозицию и направил ее против Путина.

В телевизоре считают, что теперь контроля госдепа над Россией нет. Всё, встала с колен. Если в телевизоре так считают, значит, это неправильно.

Страна проиграла в холодной войне — горе побежденным.

Если она проиграла, то, исключая форс-мажорные обстоятельства, она не может выйти из сени проигрыша, не может выйти из-под оков.

У немцев, проигравших Первую мировую войну, было особое сочетание обстоятельств. У Англии и Франции не имелось реальных сил и реальных возможностей осуществлять физический контроль над Германией с необходимой интенсивностью, которую задействовали в 1945 году.

Америка не оккупировала Европу после Первой мировой войны. Главной державой была Великобритания. По своим причинам, рассчитывая устроить заваруху в континентальной Европе, Британия ослабила этот контроль, и пришел фюрер — магический гений, поднявший Германию с колен. Национал-социализм — это идея.

СССР проиграл, и Россия не могла перестать представлять жалкое зрелище.

Существует ватническая идея, что интерес представляют нефть, медь, никель, заводы, советские технологии, советская наука, мозги. Кого это интересует?

Единственное что есть ценного — территория, простершаяся от Тихого океана до Балтийского моря. Чем она интересна? Тем, что

она есть. Эту территорию надо контролировать и использовать.

Сейчас Россию используют в Сирии против Турции. Точно так же ее используют всюду. В 2008 году ее использовали против Грузии. Грузинская война и нейтрализация Грузии — американское дело.

Война с Грузией была необходима ради результата. Результат — блокировка Южного Кавказа для Турции, блокировка Южного Кавказа для Ислама, слабая Грузия, существующая как полугосударство, вечно привязанная к отнятым у нее Абхазии и Южной Осетии. Точно так же, как Азербайджан существует без четверти своей территории, без Карабаха.

За всем этим стоит Россия, которая навязала расчленение и инвалидность.

Нужно это победившей стороне для того, чтобы всё здесь было хромым, неадекватным и завязанным на Москву.

Россия будет использоваться и против Средней Азии, пока не сломается. Она близка к тому, чтобы сломаться.

Американцы считали, что Турция потерпит поражение в столкновении с Россией. Я предполагаю, что поражение потерпит Россия. Но американцы думали иначе.

Американцы входят в детали и нюансы Панамы, Гренады, Шри-ланки. Они занимаются Цейлоном, занимаются Кашмиром, они занимаются всем. Это и есть функция штаб-квартиры мирового либерализма, мирового жандарма.

Они занимаются и Грузией.

Грузия — очень важное место. Грузия является старейшей православной страной, которая относится к Византийскому наследию. Страна, где правила династия Багратионов, эта династия существует. А Багратионы — наследники царя Давида, прямая линия Давида. Это тема высокой масонерии.

Грузия — не просто страна, это сакральная страна, одна из сакральных точек. Причем сакральных точек, важных для Запада, для Рима, для Римской Империи.

Сверхважная.

Снесут Путина — придет такой же человек. Единственный вариант, который может нас освободить, — через хаос, через революцию. Через пожары, через Сирию в России.

Дело в том, что Соединенные Штаты сохраняют свой контроль над миром, примерно как конькобежец, лавируя и делая пируэты, строя всё на двойном и тройном обмане. Они же не могут грубо на силовом контроле держать ситуацию. Даже «кум» на зоне ведет политику и играет очень сложную игру с авторитетами, шнырями, активом. Даже ему недостаточно грубой силы.

Помимо США есть могущественные силы, которые рассматривают США как инструмент. Поэтому ситуация США сложная.

Если в России произойдет разморозка, естественно, начнется хаос. Если начнется хаос, то самолетами ничего не добьешься. Кого им бомбить? Москву?

Предыдущая революция проходила на Дону и в Украине. За одну неделю самолеты не прилетят.

Израиль так активно суетится, потому что его сливают.

Обама назвал русскую армию второй в мире. Это маккиавелизм. Она же, конечно, не является второй. Вторая армия — китайская.

Если мы не говорим о ядерном оружии, то Россия далеко отстает от начала. Есть китайцы, есть Северная и Южная Кореи, есть Вьетнам...

Подойдем со стороны русских интересов «вставания с колен».

Если посмотреть на эти интересы, то мы видим, что Россия сделала всё, что в ее силах, чтобы создать проблемы на Южном Кавказе. Вот как не нужно делать, она сделала. Она отобрала совершенно ей не нужную Абхазию и Южную Осетию, превратив Грузию на веки во врага, повесив себе на шею две совершенно ненужных территории. Абхазия не является ни военным, ни стратегическим дополнением, ни базой, ничем. Но это кровавая рана, питающая грузинскую ненависть к России.

Если Россия всё время бьет себя по лбу утюгом, сечет себя как унтер-офицерская вдова с Украиной, Грузией, Азербайджаном, то зачем она это делает?

Очевидно, что она выполняет чей-то приказ. В России это не очень видно...

У либералов свое объяснение, что звероподобный Путин хотел отнять, потом слился, не смог отнять.

Если бы Россия реально грезилась о силовой перемене участи, о вставании с колен, то было бы сделано всё наоборот. Им надо было брать всё — Киев, Тбилиси. Возможность-то у них была реальная. Если бы они хотели нового союза, они бы сделали из Грузии близкого друга. Саакашвили был теленок, который лизал с руки Путина.

Если представить, что Россия хотела восстанавливать Советский Союз, создавать какой-то союз, действовали бы по-другому.

Роскошь и золото. Мытари сатаны. Дань комитету по встрече антихриста. Красота

Последнее время участились разоблачения высокопоставленных деятелей бюрократии, свихнувшихся на сверхпотреблении. Квартиры за миллионы долларов, недвижимость, яхты.

Когда дело доходит до каких-то невероятных самолетов с золотыми унитазами, которые возят не только своих хозяев, но и их собак, люди начинают задаваться вопросом: в чем суть этого безумия? Ведь такие вещи не встречаются больше нигде.

Раньше что-то подобное можно было встретить у индийских раджей, которые сорили алмазами, проигрывали огромные суммы в казино, и колониальные британские власти поощряли подобные эксцессы в роскоши, в сверхпотреблении, в пустом проматывании колоссальных средств. Но даже и для раджей это всё в прошлом, а в России это продолжается.

Люди задаются вопросом: они что, психически больные, у них диагноз? Зачем человеку, допустим, пятьдесят, а то и сто самолетов с золотыми унитазами? Зачем возить по всему миру собак в этих самолетах? Зачем коллекционировать гигантское количество недвижимости, в большей части которой человек не может даже побывать в гостях, не то что там жить?

Ответ не так уж прост, потому что есть здесь некая метафизическая тонкость.

Власть играет роль мытарей, работающих в пользу сатаны, в пользу Иблиса. Иблис облагает данью человечество, взимает арендную плату за проживание на этой планете, за жизнь на этой земле, как лендлорд собирает деньги со своих арендаторов. Арендная плата всё время повышается — так, что производительные возможности всех людей коллективно, совокупно заработать на то, чтобы рассчитаться с Князем мира сего, не успевают за повышением этой арендной платы.

Это один момент.

Мытари, которые собирают налоги с человечества, действуют сегментировано, каждый собирает дань со своей части управляемого человечества, потом всё идет в «общак» на подготовку комитета по встрече Антихриста.

Но к рукам прилипает очень много, мытари кладут значительную долю собираемого ресурса себе в карман.

Это второй момент.

С точки зрения мытарей всё законно. Даже собирание средств в некоторые гуманитарные или благотворительные фонды предусматривает, что до 80 % собранных денег идут в карман собирающих. Сама система таких фондов и таких сборов предполагает воровство и жульничество.

Людям понятно, почему дорвавшиеся до ресурсов чиновники и мытари, слуги Антихриста, слуги Даджала, крадут. Людям гораздо меньше понятно, почему они превращают украденное в бессмысленное потребление.

К чему, к примеру, яхта длиной не 150 метров, а 180, шириной не 20 метров, а 25. Это на десятки и сотни миллионов долларов дороже, но что выигрывает человек, заказывающий себе яхту, на 30 метров превышающую по длине самую большую? Почему он ставит золотые унитазы, использует особый мрамор в ваннах и туалетах, и так далее? Чем мотивирована роскошь саудовцев, роскошь султана?

А дело в том, что мытари находятся под контролем определенных сил, — невидимых, которые держат и плотно контролируют их психику. И эти силы потребляют в свою очередь эту роскошь. Потребляет не сам человек, являющийся оператором, телом, а та психическая монада, которая его контролирует.

Следует напомнить, что роскошь связана с элементом света. Если вы подумаете о том, как вы себе представляете роскошь, то вы скорее всего сразу представите пространство, полное света, сияния, где много хрусталя, много золота.

Золото — это металл, который концентрирует в себе солнечный свет в его минеральном проявлении. Это минерализация света, это

инверсия света.

В Исламе мужчинам запрещено носить золото. Считается, что у настоящего мачо, истинного мужчины золото должно быть в крови.

Версия не носить дополнительное золото помимо того, что у тебя есть в крови, касается всех реальных мужчин — это касается воинов и рыцарей. Серебро носить можно.

В Исламе мужчина не имеет права носить шелковую одежду. Если ты в шелковой рубашке, то твоя молитва недействительна.

Золото — это аналог солнца. Свет является главным элементом роскоши, и, естественно, именно через роскошь, через свет реализуется само понятие о красоте. Красота в абберациях определенного рода людей, таких как некие министры, султаны или эмиры, очень важная тема.

Дело в том, что красота — это атрибут сатаны. И в этом нет ничего удивительного, потому что сатану следует воспринимать и представлять не как монстра с крыльями летучей мыши и красно-коричневой кожей, поросшей шерстью. Так выглядят джинны из низших миров, которых часто принимают за воплощение зла, но они не имеют никакого отношения к Иблису.

Иблис — это Аполлон-мусагет, световой человек иранского суфизма, Утренняя звезда, человек Земли и Неба, который представляет собой совершенное соединение всех состояний бытия. Это световое соединение.

Сатана неотъемлем от гармонии, от эстетики, от красоты, от сияния и других подобных вещей, которые сопрягаются с идеей силы, власти, изобилия и роскоши. Идея величия у людей, погруженных в Бытие, и идея красоты и сияния тесно связаны.

Бытие должно сиять. Поэтому люди, находящиеся у власти и остро чувствующие предназначение своего поста, своей функции мытаря, должны обязательно транслировать в таких вот зримых образах и категориях красоты свое положение. Поэтому их собаки могут ходить в золотых ошейниках и летать в самых дорогих бизнес-джетах. Потому что это аспекты метафизики Сатаны, проявление того,

что бытие сосредоточено в Великом Существо, которое есть Утренняя звезда, которое есть Люцифер, носитель света.

Тогда понятно и золото, и прочие эксцессы. Роскошь — атрибут Бытия, а Бытие — это анти-дух. И вот почему всегда монотеистические традиции, монотеистические религии, основанные на откровении единого и единственного Бога, находились в оппозиции к роскоши, световой метафизике, эстетике сияния и света, или по крайней мере относились к этому крайне подозрительно.

Почему у первых праведных халифов халаты были в дырках и в заплатках? Тоже поэтому. Ведь идея величия Аллаха настолько превышает принципы величия Бытия, принципы величия сущего, в которое мы вброшены, что выглядит как нищета.

Аллах презентует себя как нищету, потому что Он не может вместиться в свет и величие, которое мы находим здесь. А если мы находим свет и величие, то это явно признаки сатаны.

Вот поэтому коррупция, связанная с правящими кругами, есть не просто желание вкусно поесть или отдохнуть в Куршевеле. Коррупция связана со служением Мамоне. Для большинства это просто слова, просто метафора, под которой прячется казнокрадство и взятки.

Нет, служение Мамоне — это служение одному из аспектов сатаны. Это служение эстетике, именно той красоте, тому принципу прекрасного и сияющего, который является неотъемлемой чертой ненависти к Всевышнему и ненависти к Духу.

Образы служения Мамоне, поклонения Золотому тельцу являются частями одной идеи, идеи преодоления грязи, из которой был создан человек. Ведь Иблис говорит Всевышнему, когда ему было приказано поклониться Адаму: «Ты создал меня из огня, а его из глины»²⁶⁵.

Та часть людей, которая поставлена сатаной служить ему, поставлена наверх, — она, естественно, хочет приблизиться к огню. Она хочет выйти из грязи в князи. Но к огню тварные существа из глины приблизиться не могут, это связано с сильнейшей болью. В свою очередь золото — это максимальное приближение к огню, которое можно достичь на уровне глины. Из свинца — в золото.

Поэтому всё, что мы находим в плане эксцессов потребления, есть форма литургии.

Вы скажете, что они с жиру бесятся, делать им нечего. Мол, просто в этих людях сияет какая-то душевная пустота, и они заполняют параноидальным бредом богатства свою бессмысленную жизнь. Так, да не так.

На самом деле они чувствуют себя жрецами того, кого мы называем Великим Существом, — Князя мира сего. Жрецами, осуществляющими литургию, и поэтому они чувствуют свою жизнь насыщенной, наполненной, как чувствует ее всякий поп, который «при делах», который посвящен.

Я видел кадры у Толстого в программе, как приезжает Кирилл, как он идет в бревенчатую церковь, заходит туда. Там, судя по всему, жарко натоплено. И он стоит и говорит, что есть такие места на земле, которые отмечены особой духовной энергетикой. Но в следующий момент он свою мысль испортил, сказав, что это, видимо, от того, что люди здесь тяжело работают и живут в трудных условиях. По такой логике ГУЛАГ — наиболее энергетическое место, отмеченное наибольшим восходящим током.

Но самое интересное он дальше сказал: что мы сейчас находимся надо всем человечеством, под нами земной шар.

Это меня изумило, потому что я наивно полагал, что земной шар находится под северным полюсом. Но оказывается, я узко смотрел на дело, настоящая широта-то вот где.

Собственно говоря, Кирилл может утверждать, что там, где Кирилл, там под ним земной шар. Раздулся страшно. За тысячу лет якобы случилась первая встреча церквей, хотя она не первая, и константинопольский патриарх-то уже встречался с Папой.

Мы, единобожники, должны четко понимать, что мы имеем дело не просто с обожравшейся сволочью, а с четко установленным корпоративным заговором во имя пришествия Даджала-Антихриста, который опирается именно на роскошь, сверхпотребление, золото, культ красоты, эстетики, — на всё то, что противостоит духу.

Красота — это враг духа. Красота, может быть, спасет мир,
но погубит человечество.

Гуманизм и антигуманизм

С 12 лет я искал концентрации, платформы чистого антигуманизма. Для меня принципиально была важна идея оппозиции «человеческому, слишком человеческому». Антигуманизм в отношении истории, социологии, антропологии.

Гуманизм — это повестка, некая agenda, некий ценностный критерий.

Например, есть концепция финансов, представление о том, что такое финансы. Когда мы пытаемся понять, почему рубль зависит от доллара, а доллар поднимается повсюду, мы приходим к тому, что он был завязан на золото, потом был отвязан от золота, золото вообще улетело за облака, как заходящее солнце. Есть некий эквивалент ценности.

Мы ищем, ищем, ищем, что же у нас твердое, что у нас неразменное. В сфере современного мира, макроматрицы, гуманизм является тем золотом, которое обеспечивает все остальные виды валют.

Это и есть «Солнце гуманизма». Не вера в человека, не культ человека, не то, что «человек — это звучит гордо». Это определенное сведение взглядов к концепции, что человек есть мера всех вещей. Вещи могут быть посчитаны, потому что они измеряются человеком.

Мы с Русланом зашли в книжный «Ходасевич», и нам на глаза попался журнал «Логос», номер, посвященный опровержению Гуссерля²⁶⁶. Я его открываю и читаю рассуждения автора одной из статей о современном направлении, которое выражено профессором Менским в книжке «Сознание и квантовая механика»²⁶⁷ — относительно множественности миров.

Согласно этой концепции, человек проживает свою жизнь во множестве миров, но сознание мешает ему осознать свою множественность и сводит опыт проживания всех миров к одной точке, что он в одном мире сидит.

Мальчик ест мороженое в этом мире. Но оказывается, что он ест мороженое во всех мирах. Просто его сознание мешает ему это увидеть, он переживает только здесь и теперь. Там дальше выход в квантовую механику, и мальчик, который ест мороженое, и является этой мерой, мерой всех вещей. И его гештальт, его опыт, коррелируемость его опыта с опытом его родителей, которые ему купили это мороженое, с опытом мороженщицы, которая ему его продала, — всё в сумме является физико-математическим обоснованием макровселенной во всех ее измерениях.

Это и есть чистый гуманизм.

Я с 12 лет искал платформы и ключи к антигуманизму — к дешифровке ценностной системы, чтобы ее сломать. Потому что я понимал, что это темница для духа. Дальше идут более сложные навороты.

Когда ты покидаешь камеру, ты выбегаешь в коридор, и там тебя встречают вертухаи с резиновыми палками, дальше идут какие-то переходы, внешняя охрана, вышки с пулеметами.

Это уже религия, это уже метафизика, это уже интерпретации твоего непосредственного здесь-присутствия, «я ем мороженое» на дальних подступах, где ты заключен в представление о духе, которое является гибелью духа, антидухом.

Освобождение духа начинается с точки антигуманизма. На этом пути ты сталкиваешься с человеческими ожиданиями, чаяниями, установками. Люди же запрограммированы. Тема эйфории каждой клетки существа имеет отношение к тому самому золоту.

Допустим, приезжает ко мне врач. Он использует абсолютно технические средства: облучает, дает антибиотики, невероятные вещества через капельницу. Это одна половина.

Закройщик режет ткань для костюма. Он зачем режет ткань? Чтобы был красивый костюм! Все эти вещи представляют эстетический выход, эстетический костюм.

В случае врача эстетический выход служит позитивному тренду на уровне клеточной биологии.

Чем отличается человек от камня?

Камень со временем разрушается, а биос с течением времени воспроизводится, потому что в нем нарушено второе начало термодинамики. Он выдает больше, чем потребляет. Он съел бутерброд и выдал столько, как будто съел целый вагон еды.

Законы перевернуты.

В итоге он понимает, что жизнь — это восходящий магический вектор. Человек ему служит. Это золото, которым люди расплачиваются. Бытие должно иметь в себе некий золотой эквивалент, оно его и имеет...

Запад, европейская цивилизация, гомосексуализм и эллинизм

Вся европейская цивилизация родилась из спора двух гомосексуалистов.

У Филиппа, отца Александра Великого, был любовник, его собственный телохранитель Павсаний. Красивый, стройный, ловкий малый. И царь всё время гладил его по курчавой головке. Этот молодчик был для него как пудель, — даром, что телохранитель.

И вдруг наш Филипп положил глаз на другого Павсания, не менее, а может, и более красивого.

Первый Павсаний начал возбуждать, но Филипп ему сказал: «Остынь, так надо. Ты кто такой вообще?»

И вот второй Павсаний в бою закрыл своим телом Филиппа и принял на себя удары, которые были направлены царю, и пал героем.

Ну а тот Павсаний, конечно, шипел от злости, потому что вся его ревность, объект негодования, пал в бою и посмертно получил звезду героя Македонии первой степени.

И тогда Аттал, отец новой жены Филиппа, которую звали Клеопатра, самодеятельно, без каких бы то ни было посылок со стороны Филиппа, взял этого Павсания, напоил неразбавленным вином до беспамятства и кинул его гуртовщикам, которые зверски изнасиловали его в извращенной форме.

Тот очнулся и, рыдая от причиненного ему оскорбления, пришел к Филиппу и стал жаловаться, требовать справедливости.

А Филипп собирался использовать Аттала на очень деликатном поручении. Он дал ему целый армейский корпус, крупное соединение, которое должно было отправиться куда-то. Да и вообще — Филипп готовил поход на Персию, и Аттал был ему нужен. Не с руки было из-за какого-то телохранителя, красивой play thing, ссориться с человеком, игравшим геополитическую роль.

И Филипп сказал Павсанию:

— Да ты успокойся, малыш, я тебе всё это возьмешу.

И дал ему богатые дары. Но Павсаний затаил злобу, богатые дары его не утешили. Он решил расправиться с Атталом и с тем, кто отказался мстить за него — с самим Филиппом.

Был день женитьбы, и толпы народа стояли с обеих сторон. По широкой аллее между ними несли двенадцать статуй Олимпийских божеств, а тринадцатой была статуя самого Филиппа.

Филипп приказал своей охране стоять поодаль, на расстоянии от него, делая тем самым жест большому количеству греков вокруг него, что вот, ребята, я чувствую себя уверенно в вашей среде, я не беспокоюсь.

В этот момент на лошади приезжает Павсаний. Он оставляет лошадь за кустами и идет, закутавшись в плащ, к царю, спрятав кельтский кинжал. Он приближается к царю, царь видит, что идет его бывший любимец. Может быть, даже какие-то сантименты еще оставались в его сердце. Он как бы полуоборачивается, а Павсаний опускается на колени, как бы припадая к его величеству, и потом внезапно резким движением с подъема вверх бьет его кельтским кинжалом в ребра. И тут же бросается бежать с бешеной скоростью.

Часть охраны кинулась к царю, а часть — за Павсанием. Павсаний конечно же ушел бы — он подготовил коня, он бы ускакал, но он зацепился за выступавший петлей корень виноградной лозы и со всего размаху растянулся на земле.

До сих пор является предметом спора и рассуждения причина, по которой подбежавшая царская охрана тут же убила Павсания копьями. Было ли это в пылу погони или же эта была ликвидация человека, который бы мог много чего рассказать.

Теперь поговорим о том, почему спор и конфликт двух гомосексуалистов определил судьбу европейской цивилизации. По одной очень простой причине. Именно это убийство открыло дорогу Александру Великому.

Было подозрение и на другого Александра, родственника Олимпиады. Но я думаю, что как оно есть, так оно есть: гомосексуалист мстил за себя, за свою опущенность. А началось всё

с того, что Филипп с одного гомосексуалиста переключился на другого.

Дугин знает всё о происхождении демократии из педерозиса.

Запад возник как проект Александра Великого, который не пришел бы к власти, не прирежь один из Павсаниев Филиппа. Гомосексуалисты открыли дорогу эллинизму, который стал ключом к универсальному глобальному Западу, и в итоге к глобальной цивилизации сегодняшнего дня.

Через круги гомофобии эта цивилизация возвращается к своим истокам.

Запад прошел круг, родившись из Павсаниев, потом эллинизм, и вернулся к тому, с чего начал, — в убогость, сирость, тщету, рубище, эстетическую аскезу.

Природа власти в России и на Западе. Космизм. Мужские и женские ценности. Коммунизм как колбаса. Как советская власть стала соломенным псом. Черные рыцари. Непересечение с совком

Недавно попаласть статейка американца, явно сочувствующего русским и русскому народу, который пишет, что здешний ватный патриотизм основан на русофобии. Якобы власти не верят, что русский народ может спокойно выйти на широкую дорогу и грудью проложить себе путь к счастью, правам человека, к демократии, ко всем этим ценностям. Власти людям не доверяют и поэтому всячески внедряют мысль, что стране нужна твердая рука.

Это, говорит американец, явная русофобия.

Я прочитал эти рассуждения и подумал, что это разговор слепого с глухим. Американец явно не понимает, что то, что для него является очевидными ценностями, на самом деле никакими ценностями не являются. Но говорит, что, может быть, даже на Западе и нет демократии, но можно ведь людям дать хотя бы такую демократию, которой нет. И всё-таки это лучше, чем совсем не давать ничего, в том числе и демократии, которой нет.

И вот у него идут такие рассуждения, что русский народ достоин лучшей доли, что его делают тупым быдлом в первую очередь ура-патриоты.

Товарищ не понимает, что то, что для него является очевидной цивилизационной нормой, вообще никакая не ценность — по той или иной причине.

Русский человек вообще не воспринимает, что у человека есть какие-то права.

Но тут дело не в том, что русский человек ориентирован на какую-то традицию, на какие-то духовные ценности. Он просто ориентирован на то, что хозяин находится вовне.

Вот почему в западном мире может происходить непрерывная смена руководства, президентов, правящих партий — они не имеют

никакого отношения к реальной власти.

Реальная власть там сидит внутри.

Есть правящий класс, есть солидные масонские круги. Эти люди не показываются на поверхности, они вращаются в своих салонах, клубах, формируют позицию, стратегию. По щелчку появляются обамы и что-то выполняют, потом приходят следующие.

Но за всем этим стоит одна и та же элита.

Да, в этой элите есть раскол, но он имманентен стране.

Проблема в том, что в таких странах, как Россия (в первую очередь таких, как Россия, но и в Нигерии, и Замбии) правящий слой находится вовне.

Явно это вышло наружу после того, как рухнул партократический строй.

Партия некоторое время пыталась имитировать, строила из себя масонский правящий слой, но плохо получалось. На последних этапах она сливалась со своей собственной презентацией в качестве менеджеров.

На смену партии пришли люди, хапнувшие что было. И они уже не могли себе позволить стоять на заднем плане и заниматься играми в демократию. Они не самодостаточны, они не субъекты, они — «смотрящие». Поэтому они могут только вцепиться во власть и держать, и держать ее обеими руками.

Хозяин у них находится вне России.

Как можно нормальные выборы проводить и кому-то уступить власть, как можно отказаться от тандема и не менять Путина на Медведева, а Медведева на Путина, когда то, что ты взял, оно тут и есть?

Обама не при делах — его позвали, и он уйдет. Он знает, что власть не его. Обама ничего не брал, он просто служащий.

А Путин, который пришел, знает, что это всё — его, но он отвечает за Россию перед мировой системой. Он не может поставить вместо себя кого-то, потому что тогда его целиком удалят.

Целиком придет другой, а он, Путин, будет совсем никто. Но сейчас-то вся власть в его руках.

Так же и Мубарак мог сорок лет сидеть.

Почему? Он всё имеет, и он должен всё это исполнять. Он не элита, которая кого-то призывает, как граф призывает управляющего. Он просто управляющий, захвативший поместье графа. Графа нет, граф где-то. Вот он хапнул это поместье, и он должен играть роль графа. А граф — это мировая система. Поэтому здесь всё может быть слито.

Так что о какой демократии может идти речь?

На Западе граф сидит, играет в карты, пьет вино, слушает цыганок, а управляющий пашет, за всё отдувается. Графа мы не видим, а видим только управляющего.

В Иране хозяин, естественно, есть. Хозяин в Иране — это высшие клерикалы. Они реальны, у них несколько столетий традиции, они могут всегда сослаться на Муллу Садра²⁶⁸, на XVII век, даже чуть пораньше.

Это серьезные люди, и они меняют Ахмадинежада на Рухани, Рухани на Хатами, — тем более что Рухани и Хатами всё равно из них самих.

Буш тоже в этом плане не далеко ушел.

Но, в принципе, они могут позволить себе менять, потому что у них есть эта раздвоенность, у них есть графья.

А в России этого быть не может. Либо ты всё держишь в своих руках, либо тебя нет вообще. Если человек взял всё, то как он может добровольно от всего отказаться? Тогда его убьют, тогда он никто.

При Брежневе отношение к советской власти уже было несерьезное, но до Брежнева, я бы даже сказал, еще при раннем Брежневе отношение было очень серьезное.

Ранний Брежнев — не инвалид и не клоун, он вполне нормально говорил, у него были какие-то мысли, поползновения.

Граница проходила между 1964 и 1970. В семидесятом году у него уже приключился удар. И после 1970 года люди стали как бы отключаться от «инвольтуры».

Но первый удар был нанесен XX съездом, когда разоблачили Сталина.

Второй удар был нанесен программой партии — построение коммунизма к 1980 году и определением коммунизма через бесплатную жратву. Это была смерть советского мифа, смерть идеи.

Находились люди, кто возражал.

Мы читали вместе с Юрасовским статью одного молодого кандидата наук — может даже это был Казанцев.

Статью опубликовал журнал «Новый мир», посвящена она тому, что исчезла сверхидея: мы забыли о том, что речь идет о голубых городах на Марсе, мы забыли об «Аэлите»²⁶⁹, об эсхатологическом изменении законов пространства и времени, о ноосфере, — ведь ради этого совершалась революция, — мы слишком погрязли в экономизме, в циничном прагматизме. Контроль над солнечной энергией должен быть доведен до 5 % от энергии, падающей на землю, выход на 5 % уже даст нам свободу маневра в ноосфере, свобода маневров в ноосфере даст нам возможность менять физические законы, но главная цель — это изменение второго начала термодинамики, это обратимость энтропии волевым решением, и пора поставить вопрос о том, что истинная цель коммунизма — это изменение законов термодинамики сначала в масштабах Земли, потом Солнечной системы, потом космоса (через миллиарды лет, конечно), но в ближайшем будущем надо с Землей работать...

И всё это написано серьезно.

Русский космизм же никуда не девался — все эти вернадские, зелинские.

Я кое-кого знал из них — например, Зелинского, сына того великого академика, который в 1914 году изобрел противогаз.

Это одна плеяда: Вернадский, Зелинский, Циолковский, Сухово-Кобылин. Сухово-Кобылин был интерфейсом между русским

космизмом и Гегелем: главный знаток Гегеля в России, переводил его на русский.

Когда этот «Казанцев» написал такую статью, то поднялась дикая буча. Дело происходило примерно в 1962 году.

Казанцев — такой кандидат наук, не знаю каких, философ, фантаст, автор художественных произведений. Он писал, что коммунизм — это преобразование человека в чистый титанизм. Он был не один. Был еще Зайцев, тоже интересный автор, который пытался соединить космизм с Рерихом.

Всё это немного дрожало и вибрировало — такой левый красный космизм, национал-большевизм фашистско-языческой закваски.

Поднялась дикая буча.

То, как его начали стирать с лица земли, надо было видеть. Разве что идиотом его не называли. Какой-то Минц, какие-то академики говорили, что же это за убожество, попытка нам подсунуть неизвестно что. Понятно же, что коммунизм — просто жрачка и ничего более, народ веками мечтал о жрачке и больше ни о чем он не мечтал, и все эти интеллигентские домыслы вот этих убогих, которые фантазируют, — ну кому они нужны?

Проворачивалось страшное насилие над этими романтиками.

Стилистика примерно такая: в газете публикуется вопрос читателя «А что такое звезда? Какой у нее символизм? Ведь, говорят, это вещь масонская?»

И на это отвечал кто-то типа Минца: «Звезда никакого символизма не имеет, звезда это есть просто звезда, которая нарисована, чтобы означать, что это советский знак. Народ, веками мечтая о жрачке, смотрел на небо и думал, что эти звезды означают лучшую долю. Вот поэтому нашим символом и стала звезда. А так, в принципе, никого значения это не имеет».

Читал вот такие тексты и поражался, насколько власть боялась — если, конечно, это была не сознательная диверсия, что вполне возможно.

Но если исключить диверсию, власть боялась любой попытки того, что Ленин называл «фидеизм и поповщина»²⁷⁰, — любой попытки придать интеллектуальную глубину собственному проекту.

В каком-то смысле это был «салафизм» советского уклада — запрет на интерпретацию, запрет на раскрытие темы вглубь. Запрет на анализ.

Но убило всё то, как в 1961 году появляется программа партии про колбасу.

Потом происходит короткая стычка между романтиками и «реалистами». И после этого я физически ощутил, как из народа выпустили пар, народ сдулся.

В коммунизме имелась какая-то неопределенность. Пусть народ грубый, прагматичный, лукавый, подмигивающий и циничный. Но слово «коммунизм» оставалось сакральным. Нельзя было об этом просто так говорить, могли и по морде дать.

Метафизика революции еще жила по инерции до начала 70-х годов. В слове «коммунизм» еще содержалась сакральность.

Для меня советский строй и коммунизм был матриархатом. Он был для меня господством женских ценностей над мужскими.

Мужские ценности — это борьба, насилие, смерть, героизм, воля к смерти.

Женские ценности — это воля к воспроизводству, к улучшению качества жизни, к безопасности, снятию конфликтов под контролем эгоистичных самок, которые стремятся к тому, чтобы стать максимальным бенефициаром матриархального контроля.

Это для меня и было коммунизмом.

Я просто поддерживал всё, что было враждебно конкретно советскому строю (это я говорю о своих 12–14 годах). НАТО — хорошо, «Радио Свобода» — хорошо. Мне было наплевать, лишь бы это было против советского строя.

Маркса я читал. Первый том «Капитала» я осилил в десятом классе. Приходил со школы, бросал портфель и садился читать. Я знал,

что читаю «Капитал» как произведение врага, чтобы понять мысль врага. И я отмечал про себя, что это очень классный текст. Меня просто поражали некоторые его интеллектуальные и логические красоты. Но, конечно, всерьез я его не принимал.

Суть-то «Капитала» не в том, что рабочий работает 10 часов, получая только за два часа своей работы, чтобы не сдохнуть, а восемь часов берет себе собственник средств производства.

Допустим, это так. Ну и что?

Я же не был фанатом справедливости, понятой социально-экономически.

Допустим, грязные пролетарии действительно пашут целыми днями, работают не 10, а все 16 часов.

В чем проблема? Они и в совке работают так же. Так же им не дают того, что они заработали. Ну, разводят их на какие-то копеечные подачки, посылают их детишек в «Артек» — и то не всех. Школа, конечно, бесплатная — это да.

Но суть-то не в этом. Меня же никогда не интересовало счастье народа или какой-то части народа или людей.

И что такое счастье? Колбаса, социальные лифты?

Капитализм для меня был серой пеленой, но про коммунизм я точно знал, что здесь правят ненавистные мне животные другой породы, с другой организацией мозга. Это враги, это метафизические самки, это матриархат. Это как вживую смотреть фильм про первобытных людей и про то, какой у них в пещерах матриархат. Раз повсюду матриархат и бабы, то мужчинам здесь несладко, мужчины кастрируются. Ситуация для меня была биологически враждебной.

Всё, что я видел вокруг себя, это подтверждало. В какое учреждение ни придешь, там сидит баба, заряженная кастрационным комплексом. Мужчины — спившиеся ублюдки.

Ну, собственно говоря, надо просто воевать с этим — и всё.

Я стоял всегда на противоположной позиции, на противоположной платформе, что не мешало мне объективно видеть нюансы.

Иногда, заходя в дом простых людей, я обращал внимание, что для них есть святое, что на каком-то слове, к примеру, на слове «коммунизм», они прекращают шуточки, и лица у них каменеют и вытягиваются. То же самое можно было увидеть, допустим, когда говорили о погибших на войне. Про коммунизм говорили с иным слегка оттенком: не играя желваками, а затуманиваясь взглядом. А после 1970 года это ушло, люди сдулись. И в этом виноват режим, который вырвал из-под них половичок.

В 1970 году начата конвергенция²⁷¹. В 1970 году до народа дошло, что коммунизм — колбаса и ничего больше. И сразу исчез религиозный подтекст, исчезла неизвестность. Прежде подразумевался шанс, что будет выход в четвертое измерение. В слове «коммунизм» для народа сохранялось магическое. Люди верили, что будет всё не так, когда наступит коммунизм, что люди будут другие. 10 км можно будет за пять минут проходить пешком.

Я верил в аристократию, в героев. Мой гештальт был образован так.

Слово «рыцарь» являлось ключевым. Рыцарь стоит вне и над, наделен миссией, миссией, связанной со смертью.

Это определило всю мою жизнь.

Женя написал знаменитые строки, в которых намеренно наивно, инфантильно выражено некое кредо:

Жмите волчью лапу,
Веруйте в гестапо,
Веруйте в мечту.
(Е. Головин «Черные колонны»)

Булгаков с его свитой Воланда — это несерьезно. Как они могут превратиться в рыцарей, если всё завязано на Понтия Пилата, Христа, а с другой стороны — какой-то Марк Крысобой, legionеры

с перебитыми носами? Мы же говорим не о системе имперского насилия, мы говорим не о мужиках с оружием.

Мы говорим о рыцарях.

Рыцарь — это ангел смерти.

В школе советская власть серьезно не ощущалась. Всё было на уровне камерного, защищенного валяния дурака.

Я знал, что все красные, Мао Цзэдун и все остальные — враги, потому что они представляли собой фаланстер, организацию социального порядка, которая не имеет смысла, потому что это идеальная организация человеческого муравейника.

Человеческий муравейник есть бытие здесь, которое смысла не имеет.

Бытие вообще смысла не имеет. Ему смысл придает только смерть как его сверхзадача.

Это составляло философское метафизическое знание.

На практике я не ощущал давления. Даже попадая к ментам, даже когда они пытались меня запугивать, это воспринималось лишь эпизодом легкой встряски, не более того.

Стало пожестче, когда начали арестовывать, и я оказывался пленником репрессивной психиатрии. Там меня пытали. Я был пленником репрессивной психиатрии шесть раз. Но при этом я всё время оставался над собой. У меня не было отчаянной слитости с собственной юдолью, как у собаки, которую убивают, и она не может дистанцироваться от ситуации.

Я же сохранял способность относиться к этому с юмором, пусть и испытывая дикую боль, когда нас распинали, растягивали на связках и всаживали в четыре кости серу с персиковым маслом по рецепту Рейха.

Хорошая пытка. Почему-то о ней мало кто говорит.

Говорят о том, что электродами пытаются, бьют резиновой дубинкой по гениталиям, но почему-то про сульфазин забывают. А сульфазин — гениальная вещь. По четыре кубика в четыре кости — и человек

скажет всё что угодно, чтобы получить укол морфия. Я достаточно много этого пережил.

В военной тюрьме надо мной летали вороны, и я испытал ощущение колоссальной свободы. Это ощущение осталось со мной навсегда. Поэтому, когда меня пытали, когда я оказывался в ситуации полного скуляжа и повизгивания, я относился к этому с иронией и абсолютно отстраненно.

Кроме того, у меня всегда сохранялось ощущение, что совестно выразить недовольство своей судьбой. Мне стыдно позвать на помощь.

Если бы меня расстреливали, мне было бы стыдно проявить, что я внутри этой ситуации, а не снаружи.

Настоящий денди должен пройти мимо любой ситуации с сигареточкой в зубах, не поведя и бровью. А заверещать — тема позорная.

Поэтому совок прошел для меня тенью.

Ну какой совок после Сталина? Ну, физик Орлов, ну Богораз, Делоне. Всё реально, но прошло как тень.

В 20 лет я принадлежал к кругу пронацистскому, прогитлеровскому. Я считал, что после 1945 года Европы не существует.

Почему мой конфликт с внешним миром был таким острым? Власть не моя. Не я являюсь обладателем власти. Я мог бы какую-то власть принимать, только если я сам являюсь правящим.

Некий социум, общественные идеалы, поднятие к свету и солнцу интеллигентских масс в очках с портфелями в шляпах — для меня постановка вопроса абсурдна.

Я верю в касту воинов. И я верю, что всегда было только две касты — попы и воины. Либерализм, не либерализм, секуляризм, не секуляризм, буржуазия, не буржуазия — есть только две касты.

Да, они разгромили касту воинов. С приходом абсолютизма, с приходом лицензированного офицерства, созданием придворной аристократии вместо аристократии меча каста воинов уничтожена.

Она распалась на разрозненных одиноких героев.

Одинокие герои рождаются в народной толще — Бакунин, Нечаев, Че Гевара, Карлос.

Те, кто были воинами, *Fedeli d'amore*, кто шли в крестовые походы или наоборот их отражали, превратились в революционеров.

Я никогда не поверю, что истинные революционеры ведомы заботой об интересах народа. У человека колоссальный разрыв между матрицей и собственными убеждениями. Конечно, если он прочел Коммунистический манифест, живет в конце XIX века, то у него в голове белиберда про народ, он говорит, что нужно вывести к свету ужасное зачморенное огромное стадо.

Но подлинный пафос в его душе — черный индивидуальный ницшеанский романтизм.

Это хорошо показал автор романа «На краю», изданного в 1926 году.

Гениальная книга — жалею, что она куда-то запропастилась.

Роман об офицере-аристократе, сыне гвардейского генерала. Учился в пажемском корпусе. У него нет состояния, нет поместья, он зарабатывает на жизнь, преподавая в элитных дворянских домах, будучи сам человеком с именем. При этом он эсер, но вхож всюду, вплоть до тезоименитства принца Ольденбургского. Эсер «товарищ Сергей» встречается с другими товарищами в рабочей ячейке и читает «Искру».

По сюжету книги ему дают задание — убить некоего губернатора. И он его убивает, вызвав на дуэль после игры на золото в карты с товарищами по пажемскому корпусу. Они играют всю ночь, и он подводит губернатора, с которым он учился в юные годы, к дуэли.

Утром они едут в парк, выбирают шпаги, — дуэль, он его убивает.

После чего товарищи эсеры ему закатывают дикий скандал. Как он смел обойтись с приказом партии таким средневековым феодальным образом? Ему приказали провести ликвидацию, а он ее провел в форме дуэли, то есть идеологически дал противоположный вариант, обесмыслил акцию.

Тонко схвачена идея черного романтизма байронического революционера, героя, в противопоставлении тупому унылому марксистскому замесу в стиле «товарища Сергея», который в очочках приходит на собрание, разворачивает «Искру», читает сухие строки и говорит: «Вот, товарищи, сейчас перед нами очередная организационная задача...»

Я понимаю все возражения, которые можно сделать на этот счет. Есть одна тонкость.

Черный революционный романтизм — субстанция, горючее, и оно сверхценно. Но его надо трансцендировать, превратив в системное радикальное движение через Ислам, через религию.

Религия является тем солнечным лучом, который, будучи сконцентрированным в фокусе наводимой линзы, зажигает горючее, бензин дымится и вспыхивает бешеным пламенем. А горючее — черный романтизм индивидуального героизма.

Если его разбодяживать эсэровщиной или эрэсдеэрепевщиной, «Искрами», «Очередными задачами советской власти», программными установками, — ничего хорошего не получится.

Взрывчатка будет флегматизирована.

А чтобы она вспыхнула и загорелась, нужен лазерный луч через линзу религии, Ислама, политического Ислама, подсоединение Ислама как трансцендентного индивидуального романтизма.

Именно это зажигает, и сгорает там черный романтизм, индивидуальная жертвенность.

Истинный пафос всех, кто едет сражаться на джихад, связан с черным романтизмом, с персональным героическим комплексом.

Всё остальное — отстой.

Среди «лесных братьев» Шухевич был черным романтиком или, скажем осторожнее, элемент черного романтизма в нем наличествовал. Но не будем забывать, что преизобиловали куркули-мужики, которые дрались за свою собственность. Так же и кулаки сопротивлялись коллективизации.

Мы же не будем говорить, что они герои, сопротивлявшиеся из черного романтизма — просто своеобразная Вандея²⁷². Но и Вандею Гюго приукрасил. Крестьяне — это грибы, они грибы и есть.

Всё кончилось одновременно со Сталиным. Ушел Сталин, и ушли «лесные братья».

А дальше — лысый Хрущев, Никитушка Кукурузный, бьющий ботинком по стойке ООН, едва ворочающий челюстью Брежнев...

Такие фигуры не случайны.

Сталин — гламурная фигура.

Мы не знаем, каким он был бы в двух шагах от нас. Говорят, рябой, маленький — 168 см.

Откуда мы это знаем? Мы видим на пленке, что сняла камера. На камерах это круто, на камерах это вполне внушает.

«Широкая грудь осетина». Ничего «тонкошеего»²⁷³ я не вижу. Пусть он один такой, но он заряжает остальных. Есть еще буденные, но всё не то. Благодаря тому, что Сталин среди них, на них тоже падает отблеск. Он не случаен.

Потом раз — и у нас Никитушка Кукурузный с мордой-картофелиной, с похожей на свинью Ниной Петровной. Просто Хавронья Хавроньевна.

После еще более стремные вожди с комическими психожестами типа почмокивания. Пошел постмодернистский балаган.

Мы берем видеокадры Сталина на трибуне Мавзолея, или Сталина между Черчиллем и Рузвельтом и, допустим, Брежнева на встрече с Луисом Корваланом, и ставим их рядом.

Между ними пропасть. Абсолютно разные матрицы, разные пространства, разное качество.

Понятно, что сталинское — враг, серьезный, реальный. А Брежнев — уже не серьезно.

Советская власть стала соломенным псом.

Когда я вышел из дурдома, Москва показалась мне изменившейся. Лена меня встречала, мы шли с ней по Москве. Я смотрю, и понимаю, что что-то изменилось — менты переоделись.

В моем детстве у ментов были синие шинели. Они были армейского покроя, но синего сукна. Они одевались в то же, что и армия, но другого цвета.

Я получал паспорт, когда мне было 16 лет, и визави сидели тогдашние, еще воевавшие менты в синих шинелях, синих кителях и требовали, чтобы я взял не такой паспорт, а этакий паспорт, и я их посылал.

И вдруг они сняли свои синие шинели и появились в штиблетиках вместо сапог, в сизых штанишках. Старые, топающие сапожищами менты исчезли. В них было что-то от Жеглова, что-то отеческое. Как бы вот — я старый, я воевал, я тебе в отцы гожусь, ты встал на скользкую дорожку, на этот раз отпускаю.

А переодевшиеся новые менты, уже абсолютно подлые, ушли в отрыв, в свое ментовское. Стали похожими на шпиков в своих сизых гражданских пальто с погонами.

И это бросило странный отсвет на всё остальное. Москва изменилась.

День советского перевалил за определенную черту, и сила солнечного света сократилась. Еще светло, но брезжат сумерки.

И происходит главное решение: кремлевские старцы, еще не состарившись окончательно, принимают решение взять курс на конвергенцию, которая является концом всего.

Я не жил в пространстве, пересекавшимся с совком.

Было несколько моментов пересечения: пару месяцев сторожем поработал, университет, армия, аресты, репрессивная психиатрия. Такие ожоги.

Но в основном я жил в пространстве, где совок отсутствовал — на территории, где шла интеллектуальная жизнь. Предмет нашего дискурса никак не соприкасался с совком.

Мы обсуждали с Женей Головиным Парацельса, Женя раскрывал его тайны на старонемецком языке. Мы обсуждали Генона. Мы читали книжки, изъятые из спецхрана, мы находились в состоянии глубокой эйфории брутального типа, как Элевсинские мистерии.

Мы были носителями такого энергетического качества, что совок не мог на нас ни наехать, ни накатить. Мы были открытыми нацистами, и будь это с кем-то другим, тех людей бы сгноили. А мы имели несколько столкновений — и всё. Не потому, что нас принимали за сумасшедших. К нам относились очень серьезно. Моей матери в середине 70-х звонили из КГБ и говорили:

— Мы вашего сына убьем.

Мать передала трубку Теймуразу, и Теймураз сказал:

— Вы — твари, я вашу породу знаю. Я могу вас раскатать, как Бог черепаху.

И всё, больше никто не звонил.

Мы были носителями черного пламени, когда еще ничего такого даже близко не было. В 80-х годах пошли демонстрации в честь дня рождения Гитлера — и это было уже чистым фейком.

Когда я сидел в дурдоме, пытаюсь получить группу, записал одну вещь, которая стала для меня инструментальной: «Смысл человеческой жизни — это смерть. Смерть является абсолютной целью, абсолютной самодостаточной сверхценностью, к которой надо стремиться». Я записал это в двухкопеечную тетрадочку...

В другой раз, когда я сидел в дурдоме, мне из Парижа привезли Коран.

Малый отряд избранных. Пророки и люди. Тема гоев. Евреи левые и правые

Элит много. Есть один тип избранных, другой.

А есть малый отряд избранных, который противостоит мировому злу.

Человеческий социум — тень сатаны на земле, непосредственная проекция сатаны. Поэтому во всех наших авраамических текстах сказано, что Всевышний попустил сатане до Судного дня, до последней битвы действовать и соблазнять человека²⁷⁴.

Второй момент — это заговор системы против обычных человеческих существ, и протекает он на сверхчеловеческом уровне.

Не три обычных человека, которые пытаются договориться, но тут же начинают наступать на шнурки, кидаться подушками, пирожными, а гораздо более высокий уровень, чем человеческий. Подразумеваются люди, организованные выше, чем средний обыватель, который ходит по улицам.

Ислам антигуманистичен. По Исламу человек является противником Бога. «Мы сотворили его из капли, а он враждебен определенно»²⁷⁵. Человек называется явным оппонентом Всевышнего. Там, где кончается человек, начинается Бог, и наоборот: там, где начинается человек, кончается Бог.

Если ты верующий человек, то прежде всего ты должен вести борьбу с человеком как с неким гештальтом, как с данностью. С человеком в целом. С общечеловеческими ценностями. Ты должен вести борьбу со всем этим.

С чем я всегда соглашался в еврейском взгляде на мир, так это с точкой зрения по поводу гоев. Да, я считаю, что люди, не связанные духовными узами с Авраамом, представляют собой мусор.

При этом связь по крови — эксклюзивная связь.

Я не считаю, что есть народы, которые непосредственно происходят от Авраама. Только пророки и их родственники.

Все остальные люди — обезьяны, примыкающие к посланию Авраама на виртуальном уровне. Они следуют за пророками, они усваивают дискурс, и благодаря этому в них оживает потенция получения божьей искры. Эту потенцию они могут развить, а могут и не развить.

Но если духовной линии, связанной с авраамической реальностью, нет, то эти люди являются просто страшными обезьянами, джиннами, шайтанами, которые никакой самостоятельной ценности не представляют. Более того, они враждебны Духу.

Евреи приписывают себе некую эксклюзивность, на которую они не имеют оснований, потому что большинство современных евреев не имеет отношения к авраамической традиции.

Самое интересное в евреях даже не то, что они ненавидят гоев.

«Тикун олам», «исправлять мир» — один из главных тезисов каббалы. Как раз это имел в виду Маркс, когда говорил, что «многие философы пытались понять мир, а дело состоит в том, чтобы его исправить»²⁷⁶.

Но гораздо более интересным, чем еврейское отношение к жизни, является ощущение глубокого inferнального падения при рождении *сюда*.

У Багрицкого есть потрясающее стихотворение под названием «Происхождение». Я считаю, что это его главное стихотворение.

Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

В этом стихотворении рисуется чудовищный мир, полный негатива, полный inferнальности.

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

Страшные строки, выражающие одну из наиболее острых черт еврейского менталитета — брезгливый негатив к миру. Отсюда проявляется интересная воля исправить его, преобразить из дерьма в золото: был сортир, выгребная яма, а мы сделаем из нее дворец.

Отсюда такая кропотливая работа. К сожалению, в 99 % случаев она выражается в сосредоточении на материальном преображении — собрании ресурсов, накоплении ресурсов, чтобы вырваться из ситуации, подняться над общей ситуацией, быть независимым от нее.

Но поскольку еврей не является оппозиционером внутри этого мира, он не может его контролировать и не может быть его хозяином. Поэтому еврей всегда является посредником. Он является посредником между политиками, между королями, между государствами, партиями, церквями. Всюду, куда ты ни помотришь, ты находишь еврея, который является посредником и решает вопросы.

Как говорил Аркадий Шварцер, «в какую бы лабораторию ты ни взглянул, во главе нее стоит Остап Бендер». И добавлял: «Почему же меня не берут в мировое правительство? Ведь я же чистый еврей!» А в какой-то момент сказал: «Я понял! Меня уже взяли, просто я об этом не знал».

Это серьезная проблема, потому что она не дает возможности еврею продуктивно осуществлять его задачу «тикун олам».

К примеру, он революционер, он входит в клинч с установленным порядком, но через некоторое время оказывается, что он революционер какой-то не такой.

Изя Шамир пересказал мне интересное наблюдение профессора из Еврейского университета в Иерусалиме.

Евреи не левые по своей сути, евреи — правые, более того, евреи близки к фашизму. Но в те времена, когда они вышли из гетто после Наполеона и когда началась эпоха Хаскала²⁷⁷, когда они начали секуляризоваться и цивилизоваться, стоять на стороне правых означало быть за церковь, короля, феодалов, то есть за то омерзительное и страшное, что враждебно и неприемлемо для евреев.

У них не было другого выбора, кроме как пойти налево — к Марксу, Гейне, Мозесу²⁷⁸. А когда правая сторона секуляризовалась и перестала ассоциироваться с церковью и королем, евреи пошли направо. И они стали очень крутыми фашистами. Их было полно в среде крайне правых во Франции и в Германии.

Вообще, для евреев более естественно быть крайне правым, чем крайне левым, если не считать специфический тип вроде Бори Кагарлицкого, книжного начетчика-марксиста.

Есть разные типы.

Но между марксистом Борей Кагарлицким и каким-нибудь правым фашистом Авигдором Эскиным всегда будет общее взаимопонимание, потому что и тот, и другой главным своим предметом будут считать их общее выживание и защиту.

Евреи сделали огромную ошибку.

В конфликте Ислама и Запада они встали на сторону Запада, хотя Ислам защищал евреев от Запада в течение 1000 лет.

Принято считать, что выбор сделан из-за государства Израиль.

Однако государство Израиль является разменной монетой в руках Запада.

Поэтому евреи не руководят своей судьбой, а являются инструментом римского, англо-саксонского мира.

Сегодняшний Израиль — карикатурная копия Иерусалимского королевства, основанного герцогом Бульонским, Плантагенетами — фланг Запада на Ближнем Востоке под видом еврейства.

Всё хитро оформлено, сопряжено с холокостом, со второй мировой войной, и очень ловко подано. Следует приплюсовать к этому коллективный идиотизм западного человечка, являющегося барашком на лугу.

Почему Восток проиграл Западу. Кшатрии за мировой порядок и герои против него. Политический Ислам

На 1800 год Китай был сверхдержавой. Китай просто не подозревал, что его могут сделать. Одна из причин, почему его сделали, — почивание на лаврах. Они были просто уверены, что у них мощное производство, высокий уровень жизни.

Высокий уровень жизни был и в остальных странах Востока.

Есть замечательная книга, посвященная изменению точки зрения Запада на Восток с ходом времени: что думал Запад в 1400, 1500, 1600 и далее²⁷⁹.

До 1700 года Восток был для Запада примерно тем же, что для нищего совка Соединенные Штаты.

Мы берем шире. В 1762 началась промышленная революция в Англии. За два года до этого — битва за Калькутту. Первая великая битва, в которой Индия потерпела поражение. С этого момента начинается ее ограбление, вывод ценностей, легших в основу промышленной революции.

Вена (осада 1683 года) — еще далеко не поражение османов, только остановка. Да, начало конца, но это как в 1941 году невзятие Москвы. После еще три года били морды, возились, ходили туда-сюда, Сталинград, Курск.

Да, под Веной остановили, но если посмотреть на карту 1750 года, то есть много лет спустя после Вены, то увидишь, что Румыния, все Балканы, значительная часть Украины, Азов — турецкая территория. Черное море — внутреннее турецкое озеро. Мы не говорим о ерунде типа материальной базы, ресурсов, золота.

В какой-то момент Европа как каток прошла и раздавила высокоорганизованный Восток. Уже потом появились танки и самолеты, которые Восток не делал.

Но в 1750 году турецкая артиллерия была лучшая в мире. Турецкие ружья были качественнее английских. Всё было лучше.

В 1800 тоже принципиальных изменений не было.

А в 1877 под Шипкой турки вооружены то ли Ли-метфордами²⁸⁰, то ли немецкими штуцерами. Но очень хорошими, которыми они набили огромную кучу российских солдатиков. Но уже не своим оружием. А всего лишь за 90 лет до этого у них было свое.

Пойдем вглубь.

Почему Рим, тоже дикий, создал великую империю и прошел всё Средиземноморье и не только, как иголка пронзает холстину?

Почему римляне, вооруженные бронзовыми мечами, ломали о колено народы, вооруженные сталью? Верцингеторикса и его кельтов с отличными стальными мечами. Бронза римского оружия, их короткие мечи — известный принципиальный факт. Бронзой они были вооружены. Это специальный момент, на котором сосредотачивались, а не то что какой-то домысел. Об этом с удивлением говорят.

Да, англичан били в Афганистане. Но в целом Запад одолел Восток. И одолел он его не вчера, не при Виктории, а одолел еще при Македонском. Почему?

Метафизика этого иррациональна.

Я пришел к выводу, что мировые элиты в какой-то момент договорились лечь под Запад. Клеопатры, древние египтяне, раджи с брахманами в какой-то момент поняли, что человечество вступает в финальную полосу кризиса и нужно мировое правительство.

Мировое правительство могли обеспечить только западники, у которых воинская каста была переразвита.

Известно, что Европа всегда была крепка воинской кастой, а клерикальная надстройка оставалась достаточно слабой. Нигде же не происходило такой борьбы между клерикалами и воинами, как в Европе. В Индии было, но давно.

В Европе организующее пассионарное воинское начало, имперское начало было очень мощным. Все остальные традиции возглавлялись клерикалами. Они решили лечь под Запад, который эволюционировал, шел от Рима к нынешнему состоянию и далее,

но с тем, чтобы мировое правительство защищало интересы элит по всему миру.

Мы видим сговор.

Избыток пассионариев-кшатриев — мотив, но важна метафизическая основа.

Эти пассионарии-кшатрии — не кшатрии, которые бросают вызов мировому порядку. Настоящие герои получают себе Откровение — такое, как Коран, — и это откровение для них становится их мистерией.

Коран, Ислам — мистерия кшатриев, мистерия героев. Они должны быть главными, первыми, им должна принадлежать власть, клерикалов — к ногтю.

Запад же против Иерусалима, против Мекки. Рим против Иерусалима. Эти кшатрии на службе мирового порядка.

Начинал всё это Македонский.

Македонский — ученик Аристотеля.

Он впервые пришел в столкновение с большим внешним миром и с метафизиками вне себя, в «открытом космосе». Он толкался, топал ногами, треножник Пифии перевернул. Вел себя круто. В итоге он создал империю, которая вся стояла на эллинизме. А эллинизм — просто универсальный язык поповской супертрадиции. В итоге Македонский со своим Аристотелем всё равно обслуживал мировую систему. И мировая система сегодня должна молиться на Македонского. Потому что он является ее Менделеевым и Ломоносовым одновременно, он ее сделал 2300 лет назад.

Но я думаю, что дело упирается в еще более раннее время.

Авраам был 4300 лет назад. Авраам сразу бросил вызов Нимроду. Авраам бросил вызов Вавилону, который в то время являлся мировой столицей.

Вавилон — образ мировой системы, родина Вавилонской башни. На Вавилоне сходились все — Китай, Ассирия-Вавилония, Хаммурапи.

Какая Европа 4300 лет назад? Речки, болота, никаких греков. Но есть Вавилон и есть Авраам. Авраам — это всё, что необходимо.

Коран и Ислам — возврат к Аврааму, просто восстановление ханифизма²⁸¹.

Если можно говорить о салафизме как о попытке восстановления Ислама «как при пророке», то сам пророк — это восстановление «как при Аврааме». Это чистый ханифизм. А что такое ханифизм? Принципиальная отмена утвердительного контента жреческой метафизики.

Вот есть Логос, жреческая метафизика, Платон, Аристотель.

А есть Откровение, которое отменяет этот контент и говорит:

— Ребята! Всё, что у вас есть, — все эти рассуждения о недвойственности, о великом Едином, о базе разворачивания бытийной манифестации, — всё чушь, потому что у нас идет прямой сигнал от Того, что не пересекается с вашей плоскостью. Чтобы вы ни предложили, тот Бог, которому мы поклоняемся, является принципом, противоположным вашему. Он противоположен принципу универсального Всё, который вы выкатываете, как туры на колесах. То, чему мы поклоняемся, не присутствует в вашем универсальном Всё, — причем не присутствует радикально. И в нашем опыте не присутствует, и в вашей метафизике не присутствует. Но мы ставим это в центр нашей утвердительной практики.

Тогда элиты, всякие брахманы, говорят:

— Ну что же это такое! Ничего круче против нас никогда не было. Ведь это мгновенно обесценивает и перечеркивает всё. Всё, что мы до сих пор визировали, визионировали, испытывали, реализовывали в экстатическом снятии субъекта и объекта, всё это оказывается просто мусором. Они говорят нам, что стрелка их духовного компаса на то, что в принципе отсутствует в опыте. Они утверждают, что чего у жрецов нет, чего нет ни у кого и нигде, является Истиной и Центром.

Значит давить! Но как давить? Давить так: мировое правительство.

Есть много матриц, много цивилизаций, и у них у всех один ключик.

Но этот ключ не проявлен до Македонского. Пока не было эллинизма, никто не мог объяснить, что, например, мудрость адвайта-ведантизма и мудрость досократиков, и мудрость ацтеков, и мудрость даосов — одна и та же мудрость, изложенная разными парадигмами.

Появился эллинизм — и на языке «модернизированного» Платона всё расставили по своим местам в огромной «таблице Менделеева».

Много матриц, и все они беззащитны: где-то сидят памирцы, тут Дарий сидит, дальше Индия с какими-то тамильскими мистериями, тут тебе Кали-юга. Есть всё, что душе угодно. Всё очень пестро, сочно. Но если это кипение онтологии ничего не стоит, то ответом может быть только мировое правительство.

И всю дальнейшую авраамическую историю мы видим, как происходит реализация гиперимперского проекта. На наших глазах.

Споры идут между людьми, которые абсолютно ничего не понимают в Исламе даже близко. Ибн Таймия ничего не говорил об Исламе.

Есть круг. Есть пророк, и есть ближний круг, есть салафы, есть табииты. Есть Али, который это очень хорошо выражает. Почему его пророк в сунне называет «врата в град знания»? Потому что вот эта тема, так резко выраженная в фразе: «Что бы вы себе ни представили, Аллах противоположен этому»²⁸². Это как раз изложено в «Нахдж-уль-балага» («Путь красноречия») у Али очень остро²⁸³. И этого ни на грамм нет у нынешних шиитов, которые просто являются пантеистами-суфиями.

У Сирхинди²⁸⁴ это есть, он бросил вызов Мухиддину Ибн Араби. Он сказал, что вахдат аль вуджуд (единство бытия) — страшное заблуждение, и реальность противоположна этому, категорически нет никакого вахдата.

Сначала он пытался паллиатив²⁸⁵ сделать с «зиллият», с тенью: «Учение о тени».

Ахмад Сирхинди является вдохновителем деобанди²⁸⁶, из которого вышли талибы²⁸⁷. Вот он сидел при великих моголах. Первую часть своей жизни он следовал за Ибн Араби. Тут без вариантов — все суфии были последователями Мухиддина Ибн Араби. Они все пантеисты. Пантеизм — их общий знаменатель, с обожением твари, тождеством, инсан аль-камиль. Натуральный платонизм. Все суфии были платониками.

И Сирхинди был единственным человеком, который, оставаясь суфием, сказал: «Да это же полная чушь! Этого же быть не может. Тогда чего ради мы этому поклоняемся? Если тварь тождественна творцу, если всё на самом деле слито в универсальном Всём, тогда чего стоит откровение? Чем же мы тогда отличаемся от мушриков? Мушрики-то тоже пантеисты».

И он сначала перешел к доктрине зиллията, то есть что всё сущее есть тень Аллаха.

Но потом он решил, что зиллият — это слабо. Либо есть Аллах и нет ничего остального, либо есть всё, но при этом нет Аллаха. Но если есть всё остальное и нет Аллаха, то тогда его «нет» круче, чем всё остальное «есть». Это как весы. Реальное отсутствие Аллаха и есть сверхценность, а всё остальное только обозначает вот эту сверхценность. Своим наличием оно указывает на эту сверхценность.

Но, конечно, его очень сильно не поняли. Только тоненький ручеек пробился.

Я очень не уверен, что сейчас хорошо понимают учение деобанди. Там есть крутые интеллектуалы, сидящие в Англии. У меня стоит книжка, очень хорошее детальное исследование на английском языке. Она показывает, что кто-то есть, способный изложить, но я думаю, что лишь чуть-чуть.

Во всяком случае ни деобанди, ни талибы не являются сегодня решающей скрепкой в мировом суфизме. Ибн Араби как был, так и остается абсолютным мейнстримом. И это такой мейнстрим, который и в Куме мейнстрим — шиитский *ирфан* есть не что иное, как пантеизм. Пресловутый Мулла Садра, основоположник великой иранской философии — ученик учеников Ибн Араби.

Турция тоже вся лежит под этим.

Динамика конфликта бекташи-накхшбанди, вокруг которого происходит крах янычар, — всё крутится вокруг этого. Я это всё излагал турецкому тезке моего сына. Мы с ним очень хорошо поговорили.

Салафизм, вообще говоря, близок к слабоумию. Но в чем его гениальность?

Он держит поле под паром до прихода чего-то действительно стоящего.

Он говорит «стоп, машина!» Аристотелю и Платону.

— Не сметь!

— Но как же, философия, мудрость!

— Нет, не сметь! Лечь, отжаться.

— Но это же на века!?

— Не сметь!

Пока мы не пришли с нашей новой мыслью, поле оставалось целинным.

У нас в Исламе сплошной Казахстан до 1956 года, который мы теперь должны запахать альтернативной мыслью. Радикальной, альтернативной мыслью, на которую Сирхинди только намекнул.

А это же основа политического Ислама.

Основа политического Ислама — это абсолютный конфликт сознания, которое выражено в концепции противоположности всему сущему, и всего сущего, которое является мудростью в себе и самоценностью в себе, для которого сознание есть травма, язва, позорная болезнь, которую нужно ликвидировать. Инициатический путь по обожению есть путь ликвидации сознания как позорной болезни. Нафс, то, что называется нафс.

Политический Ислам есть борьба с Бытием, которое выражается в форме организованного глобального общества.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали.

Речь идет о зерне монотеизма, которое ашариты, мутазилиты вообще не понимают. Но зато понимают брахманы, они понимают, что им грозит. Они понимают вызов, чувствуют его шкурой.

Приходит Муса, и на него выкатывается каббала. Приходит Иса, и на него выкатываются Ормузд с Ариманом. Как только происходит вброс чистого монотеизма, на него тут же накидывают мокрые медвежьи шкуры старой метафизики, старой интерпретации.

То же самое попытались сделать и с Исламом, и в общем-то сделали, но здесь есть одно *но*.

Коран перед нами. У иудеев или христиан нет неизменного Корана. У них нет Корана, который является прямым присутствием Аллаха.

Ветхий Завет десять раз переписывался, уничтожался, воспроизводился, добавлялся.

С редакцией Османа даже Али согласился. Это провиденциальная редакция.

И сказана очень интересная вещь: Всевышний берет на себя сохранять Коран до последней точки, до последней буквы до дня Страшного Суда.

Что это значит? Некоторые интерпретируют это так, что в День Суда будет явлена копия, которая была составлена Али и которую отвергли. Провиденциально есть всем известная версия, принятая Али, и есть копия самого Али...

Мы стоим на той позиции, что настоящая правда нам не известна, нет никаких пиров²⁸⁸, нет никакого посвящения, а есть только работа чистой мысли над интерпретацией коранического текста, правильное буквальное понимание, которое ведет нас очень далеко.

Но в буквализме имеется ложное тупиковое ответвление — «рука Аллаха», в какой форме она существует, есть ли рука и прочее.

На самом деле вопрос интереснее.

Ты не можешь подойти к интерпретации Корана, не имея заранее некой философии. Если у тебя в голове Платон, то ты подходишь

определенным образом. Если у тебя запрос на философию, то ты подходишь так, что рука — это рука. А если у тебя философия анти-Платон, то ты подходишь к Корану не по-тупому, что рука — это рука, и не так, как суфии, которые говорят, что белое — на самом деле черное. Ты подходишь исходя из того, что правдой является не тождество всего всему, а абсолютно противоположное — нетождество Аллаха ничему.

И Муса об этом говорил, и Иса об этом говорил, и у Авраама это есть.

Если читать правильно текст, когда Авраам ищет, чему бы поклониться. «Ветру ли поклонимся? Но ветер умолкнет. Звезде ли поклонимся? Но звезда исчезает за зарей. Солнцу ли поклонимся, но его закрыла туча. Так не будем поклоняться ничему из всего этого. А будем поклоняться тому, что никоим образом не может быть проявлено или указано»²⁸⁹. Объект поклонения не может быть ассоциирован, проявлен и, самое главное, выражен в символах.

Перебираются разные сакральные символы, а не реальные физические или космические объекты. Некие сакральные символы, прорывные точки сборки. И оказывается, что все они имманентны. «Так будем же поклоняться тому, что абсолютно противоположно».

Авраам это знал, Муса это знал, все пророки это знали.

Но простой человек-то глиняный. Искра Святого Духа была вложена в Адама, и все пророки — его потомки. А люди — глина, в них никто ничего не вкладывал, и только по виртуальному приобщению они могут быть причастны искре, могут быть носителями отсвета Святого Духа. Вообще-то их к глине тянет, они же, как сказано в Коране, оппоненты явные²⁹⁰. Они же враги Аллаха, и только в некоем сверхусилии некоторая часть из них составляет общину, которая идет за пророком. А так-то они враги.

Поэтому деобанди — это просто такой «мяук», некоторое точечное проявление, но оно тоже провиденциальное: нельзя же совсем оставить без намека.

Дан некий намек, который как-то выживает. Может, кто-нибудь из крутых за чаем в чайхане что-нибудь такое интуитивно уловит. Но это не работает, не выливается в большую метафизику, в мейнстрим.

А вот если это сформулировать всем аппаратом развитой сегодня философской мысли как некий независимый труд — такой как, скажем, «Наука логики» Гегеля. Только это, конечно, будет анти-Гегель, потому что Гегель — это максимальная платонизация дискурса. Идея, которая абсолютно тождественна Бытию — она же есть и благо, и она в своей динамике приходит к тому, что последний финальный уровень развития после Христа — он и есть сам Гегель, который ее понял. Идея, которая в Гегеле осознает саму себя, и как Уроборос²⁹¹ кусает себя за хвост. Всё, тут уже совершенство.

Но это всё колоссально «протюкано».

Евклид сказал, что параллельные линии никогда не пересекаются, а Лобачевский это опроверг и построил свою альтернативную геометрию, где параллельные прямые пересекаются в бесконечности.

Что такое исламская метафизика? Это как раз Лобачевский. Есть две параллельные, и я говорю, что они пересекаются. И тогда всё получается наоборот, и ты, уже обладая аппаратом, подходишь к Корану и получаешь такое богатство, как если бы ударил киркой по скале, и оттуда бы посыпались драгоценные камни и золото. Это же уже совсем другой коленкор.

И все те, кто сидит наверху, мотивируются ужасом перед такой перспективой.

Почему проиграло восстание сипаев в Индии²⁹²? Потому что, когда побили англичан один раз и второй, ханы и раджи смотрят и думают: «Нет, лучше уже англичане».

А кто возглавлял восстание сипаев? Школьный учитель-ваххабит²⁹³. В толстой советской книжке так и было написано — школьный учитель-ваххабит.

В чем проблема уммы

Есть такая установка либерального мира, что мусульмане не являются субъектом, не являются участником политической борьбы, не являются участником истории — это внутренняя, фундаментальная вшитая им в подкорку установка.

Причем это касается не только ребят, которые ушли в лес, не только тех, которые уехали в Сирию. Про Эрдогана, например, я тоже читал недавно у одного крупного известного аналитика, что «может показаться по последним резким действиям Эрдогана, как будто он действительно неуправляем, но, конечно же, мы понимаем, что он управляем — иначе быть не может; хотя может показаться наоборот, но это миф».

То есть доходит до президента крупной страны, который уже доказал, что Турция действует исходя из собственной повестки дня. При этом аналитика ломает признать, что это так. Для него Эрдоган, несмотря на всю видимость, что он независим, несмотря на всю видимость, что он идет против течения, он, конечно же, управляем, а уж касательно просто мусульман-джихадистов, радикалов — вообще говорить не о чем.

Это синдром большого внутреннего страха, который испытывает куфр перед феноменом Ислама, бьющегося за восстановление своей политической субъектности.

Метафизическую и теологическую субъектность Ислам никогда не терял. Но ведь пафос Ислама в том, что его субъектность высшего плана обязательно должна быть проведена на самые конкретные низшие слои. А здесь разрыв — проявленность на низшем уровне была утрачена несколько поколений назад. И сегодня мусульмане бьются за то, чтобы снова стать субъектом и игроком большой истории. Я имею в виду настоящей истории, которая имеет легендарно-символический смысл, эсхатологической истории, истории, которая имеет движение, сюжет и конец. Мусульмане — единственные, кто воплощают в себе принцип этого сознания.

Дело в том, что либералы не могут втянуть в себя, интегрировать в себя понимание, которое одушевляет мусульман, потому что либералам непредставимо, что можно быть идеологически эсхатологом, то есть можно сражаться за реальное исполнение всех исторических обетований, за то, чтобы история остановилась, реализовалась, всё в ней было подведено к итогу для того, чтобы был конец этого ветхого мира, ветхого бытия, Воскресение, Суд и Новая земля и Новое небо — то, что для верующих христиан было актуально 300 лет назад.

Сегодняшняя эпоха точно воспроизводит позднюю античность, потому что ее порнография, ее либерализм, ее «нью-эйдж», ее синкретизм, ее околесность и ахинейность, невразумительность — это всё характеристики позднего Рима перед концом.

С другой стороны, есть традиционалисты, которые внутри этого Рима сидели (тогда сидели и сегодня сидят). Мы знаем, что эти традиционалисты — это клерикалы и знать, которые никуда не делись. Но они были и в позднем Риме — неоплатоники, неоплатонические школы, гностики — вся столбовая линия большой философии.

Были и радикалы. Кто были тогда радикалы в позднем Риме, в поздней античности? Христиане, которых преследовали, уничтожали, то есть подпольные общины.

Сегодня радикалы — это политический Ислам.

Три силы — либералы, радикалы и традиционалисты — все были в поздней античности. Методологически они воспроизводят ту же самую картину, которая была две тысячи лет назад. Более того, даже такие технологические прорывы и гаджеты (конечно, не электроника, но, например, паровая машина в Риме изобретена²⁹⁴, потом после коллапса ее забыли).

Речь идет о том, чтобы восстановить субъектность. Как восстановить субъектность? Воевать за конец света нельзя, потому что о конце света знает только Всевышний — единственный автор исторического сюжета, по которому построено течение времени в событийной жизни нашего человечества.

О том, как сюжет кончится, как он будет развиваться, мы ничего знать не можем. Но мы знаем о том, что есть глобальное мировое общество, которое исключает Ислам как фактор объективного духа.

Для глобального общества религия — это институт, это институт внутри социума. Это папа римский, который является классным наставником для контроля, чтобы ключи от понятия «добро» находились в определенных руках.

И вдруг является сила, которая говорит, что для нас Дух абсолютно объективен. Он вне человеческого пространства, вне человеческого опыта и восприятия. Он идет вразрез со всеми ожиданиями, воображениями, всеми интеллектуальными парадигмами. Это абсолютно неизвестное и запредельное, и оно является здесь и теперь главным фактором, ради которого мы будем бороться и умирать.

Вот фундаментальная парадигма идеологии.

Как она практически реализуется?

Вот территория, и на этой территории должен быть Шариат. Когда на этой территории Шариат и это легитимная территория, она поднимает знамя, объединяется с другими территориями, на которых Шариат, то это образование субъекта. Территориально это пространство, куда сходятся люди (они совершенно независимы от этнического происхождения, от того, местные они или не местные) — их объединяет Шариат.

Что такое Шариат? Шариат — это кодифицированная справедливость, которая не зависит от человеческого произвола.

Поднимается знамя на этой территории — и это субъект игры.

Дальше ему бросают вызов либералы, для которых это ужас, потому что это конец их аргументации от тела, это конец их аргументации от сенсуализма, от чувственного мировосприятия, от концепции комфорта, конец всему. И, самое главное, это конец их атомарной неукорененности в смысле.

Но против этого выступают и традиционалисты, потому что для традиционалистов самое главное — «что вверху, то и внизу»,

пронизывающий мир символизм с отсылкой к идеям Платона.

Вдруг навстречу выступают радикалы, которые говорят:

— Наше понятие о справедливости строится на том, что Аллах противоположен всему, что вы можете вообразить. Вы не можете Его понять, вы не можете Его воспринять, Он противоположен абсолютно всему созданному. Всё сотворено для того, чтобы обозначать неведение о Нём, но Он здесь и теперь и Он является гарантом абсолютной справедливости. Мы парадоксальным образом посвящаем всё сущее Тому, что противолежит этому сущему.

Традиционалисты откидываются назад, разводят руками и говорят:

— Ребята, тогда война.

— Хорошо, мы здесь застолбили территорию, мы здесь объявили Шариат, мы подняли черное знамя непостижимой тайны, и мы будем отстаивать, что смысл истории — вот здесь, где мы его подняли.

Так что вот это — идеология.

Определенные согласования идут, определенные тайные сделки и сговоры в сфере *real politic* происходят. Но, честно говоря, есть ли какая-нибудь революция или есть ли какой-нибудь радикальный процесс, о котором мы безусловно знаем, что это живая история, что это совершилось, потому что не могло не совершиться (типа Великой Французской революции, типа Октября 17-го) — есть ли они без этого?

Всегда для меня была большая проблема с пониманием того, почему Красная армия не взяла Варшаву в 1920 году. Потому что падение Варшавы открывало ворота на Берлин, а взятие Берлина — это мировая революция, это Европа, которая становится красной и т. д. А невзятие Варшавы привело к тому, что пошло дальше: Сталин, замыкание Советского Союза в своем контуре, переход ко Второй мировой войне со всем последующим и с Горбачевым и Ельциным на выходе. Горбачев и Ельцин были запрограммированы в 1920 году.

Значит, это что? Это сговор, манипуляция, предательство Сталина на этом этапе или «так получилось»? Почему отказались от мировой

революции после 1920-го года? Почему слили Коминтерн?²⁹⁵

Сейчас быстро время идет. Я считаю, что на самом деле лидеры ИГ полагали, что свалить Асада — это рукой подать, он как бы у них в кармане. А вот Асад уходит — и тогда что? Тогда Дамаск свободен. И кто туда приходит и кто там садится? Джабхат ан-нусра или Свободная сирийская армия или мы? Поскольку с Асадом казалось, что всё решено, то прежде, чем мы добьем Асада, давайте решим, кто будет в освобожденном от него Дамаске.

Мне кажется, что логика была достаточно очевидно именно такая.

Поднялись антиисламские силы, пошла широкая полоса противостояний, потому что либералы внутри Туниса, Ливии, Египта начали давать бой при поддержке западной мировой системы, как мы видим это в Египте: Сиси тут же мощно оперся на Саудовскую Аравию, на поддержку Запада (Запад стоит за Саудию, которая всю дорогу ненавидела ихванов и которая приветствовала переворот хунты).

Во-первых, нужно понять следующее: что значит арабская весна и полоса исламских революций? Она же не полоса таких переворотов, которые должны создать удобное, комфортное общество, где тут же заработает наука, образование, станет дешевле жить, заполнятся прилавки. Это не исламская мечта, это мечта совка образца 1991-го года. Это один момент.

А второй момент — это то, что мы находимся в полосе войны, мы находимся в незаконченном процессе. Это примерно как если говорить, допустим, «смотрите, октябрьский переворот 1917-го года совершен, а в 1919 году у нас «буржуйки», у нас дико холодно, люди-энтузиасты ходят слушать Блока, одетые в валенки, отмораживая себе ноги, и пьют чай из морковки. А зачем же тогда делался Октябрь 17 года? Значит, получается, что мы пролетели со свистом в октябре 17 года?»

Нет реальной исламской философии. В том числе нет политической философии. Нет определенных методик, нет определенной привычки к серьезной политической мысли на базе Ислама, Корана и Сунны. Этого нет.

Есть определенные влияния разных алимов («факихские», законоведческие), которые смешиваются с осколками просветительно-рационалистической западной идеологизированности.

У людей где-то сидит установка, полученная от начитанных шейхов арабов, которые фетвы дают. Но при этом большие куски знания разбиты в осколки западной матрицы, которые серьезными пластами тоже в мозгах.

И это касается не просто обычных людей, а это касается серьезных основоположников таких движений как ихваны, например. Читаем внимательно Сейида Кутба²⁹⁶ — и там достаточно на виду находится деизм. У человека в голове западные рационалистические деисты. Он не мусульманский теолог, а рационалистический деист образца французских рационалистов, которые еще неокончательно порвали с религией, но уже превратили Бога в гаранта, тикающего как заводные часы космоса.

Например, человек пишет, что неизменность законов космоса доказывает бытие Божие. Это мы узнаем от мусульманина, который стоит у истоков ихван аль-муслимин. Это свидетельствует о том, что у мусульман в голове философская загрузка, целиком заимствованная у западников, причем у западников третьего сорта (это не Шеллинг, не Гегель), потому что неоплатонизм порубили во времена монголов. К XVI веку он уцелевает только в Кумской семинарии, у шиитов. А у суннитов серьезной, большой философии нет, осталась ерунда какая-то от французов, от поздних англичан. И с этим сочетаются осколки шариатского отношения к вопросам. Конечно, при этих условиях люди будут спорить. Они как после взрыва корабля — на плаву с разными спасательными жилетами, кругами качаются на волнах и они, конечно же, будут друг с другом спорить. Общий корабль взорван.

Но есть разные точки зрения. Общий корабль — это метод, это концепция.

Нет понимания мира.

Но есть Коран — и это база. Но ее надо расшифровать. Это ключ. Этот ключ должен войти в замок. Замок — это понимание мира.

Ключом является коранический текст и его прочтение.

Ключ есть, а замка никто не видит.

Допустим, что думает мусульманин об устройстве материи? Что он думает о том, что такое биологическая жизнь? Какое отношение бытие как бытие (вуджут) имеет к концепции социума, общества?

Если задать эти вопросы мусульманину, он скажет: «Всё во власти Всевышнего, всё сотворил Аллах, Аллах мощен над всякой вещью». А тебя конкретно спрашивают: «Что такое материя, она есть или ее нет, с твоей точки зрения?» И он будет, если он образованный, повторять какие-то обрывки западной наработки. То есть он будет на какой-то западной философской платформе.

А ведь на самом деле есть замок, в который входит коранический ключ, который его открывает. Этот замок должен быть перед нами, и тогда споры прекратятся.

Должна быть идеология и философия сверху-донизу, объясняющая всё с точки зрения Корана, как был марксизм, который объяснял всё, с точки зрения переделанного, перекроенного гегельянства.

Это работа ближайших двух поколений.

Сегодня мы стоим накануне начала сорокалетнего периода — 1440 год по лунной хиджре, камари начнется где-то в 2019-м году — и это будет продолжаться до 1440 года по солнечному календарю, который будет в 2060 году. Вот эти сорок лет, когда Муса (мир ему) водил свой народ в пустыне. Это будет сорок лет одной и той же датой по лунному и солнечному календарю, за которые нужно выстроить новую умму с новым авангардом и новым ядром, которая будет обладать политической философией и глобальным мировоззрением, объясняющим всё, начиная от того, есть материя или нет материи, кончая тем, что такое социум.

Более того, не прописана роль абсолютного зла, ну или относительного зла как этического принципа в политической философии Ислама.

Мы знаем, что зло признается в Исламе как фактор, который является частью творения. Мы просим Всевышнего уберечь нас от зла, которое Он сотворил. То есть мусульманин признает, что Всевышний сотворил зло, от которого мы Его же просим нас уберечь. Что это за зло?

Мы знаем, что есть халал, есть харам и что Всевышний в шариате объявил харам — это зло, а то, что Он объявил халал — к этому надо стремиться.

Но мы знаем также, что у предыдущих пророков эти рамки были сдвинуты, то есть это не безусловное определение, это не фундаментально выжженные на небесах иероглифы — вот добро, вот зло, как у метафизиков язычников. У них объективное добро, которое само по себе существует, а недостаток добра — это зло. Но у нас же это не так.

Халал и харам — это приказы Аллаха.

Сам Аллах непостижим. Но что такое зло? Мы не можем сказать, что зло — это убийство как таковое само по себе, потому что при определенных обстоятельствах убийство долженствует. Мы не можем сказать, что это, допустим, что-то само по себе, потому что, например, если мы перейдем к Откровению Мусы (мир ему) или Откровению Исы (мир ему), то мы найдем там то, что разрешено, а потом при шариате пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует) запрещено.

Но мы должны знать, что такое зло в чистом виде само по себе. Почему? Потому что зло — это Иблис. А Иблис соблазняет человечество. А человечество позиционирует себя как противника Аллаха.

Где этот корень, который мы должны видеть и метафизически разглядывать? Недостаточно сказать, что это, допустим, ночные клубы, как некоторые теологи типа Лариджани («Запад глазами мусульманина»). То есть поехал, увидел неоновые огни, ночные клубы, ночных бабочек и в ужасе как крестьянин, который впервые попал в город, убежал и написал целую книжку. Это восприятие сельского

человека, который попал в город. Нельзя раскрывать зло через такие импресии, впечатления провинциала.

Сущность зла безмерно глубже, чем так называемые социальные язвы.

Ислам борется с реальным злом. А реальное зло неотделимо (и это может быть парадоксально для тех, кто меня слушает, и кто сейчас будет ахать и охать) от акта творения. Потому что акт творения предполагает включение в себя этого элемента зла, который выдан нам для преодоления, и он глубоко сопряжен с актом понимания. Акт понимания, то есть работа нашего сознания, работает на границах зла и, скажем, света (не будем говорить добра).

У нас нет добра. У нас концептуально в Исламе нет добра. У нас есть нур ас-самават валь-ард (свет небес и земли), у нас есть хакх (справедливость, высший ориентир). Но нет добра, нет блага, потому что «хайр» — это очень банальное слово, то есть блага в плане «виноградная лоза», «шашлык», то есть из даров Всевышнего — это в самом низу, банально. А если мы говорим о сверхценности, то нет такого добра, которое есть у язычников, бытия, которое кипит, поднимается пеной.

Хакх — это не добро. Справедливость — это не добро.

Справедливость на самом деле очень страшна, она бездонно страшна, она некомфортна, потому что она сопряжена со смыслом, и она сопряжена с режущим как бритва краем, который рассекает бытие, и там пенится кровь.

Хакх — это очень страшная вещь, но хакх противостоит злу.

А что такое зло? Зло — это неотъемлемая часть Ветхого бытия, она будет преодолена только в Новой земле и Новом небе, когда свет Аллаха будет озарять лица праведников.

Отсутствие этого света, который не озаряет сегодня наши лица — это и есть фундаментальное зло. Скрытость Аллаха и есть фундаментальное зло.

И когда мы поднимаем шариатское знамя и утверждаем на этой земле действие шариата, мы предвосхищаем Новую землю и Новое

небо уже здесь, в этом Ветхом бытии. Это идеология, это ориентир.

Конечно, либерал просто этого не может понять.

Смерть и минимальное человеческое понимание. Смерть в русской литературе. Думать смерть. Скелеты и барокко. Детское видение живых трупов. Выставка народного мексиканского искусства. Почему мусульманам легче расставаться со «Станиславом с мечами». Шахада

В свое время на меня произвел огромное впечатление рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Я этого автора не люблю, но у него есть сильная и достаточно редкая черта. Немногие писатели могут отметить в себе эту черту, которую я бы назвал минимальным человеческим пониманием. Это очень ясное отрефлексированное понимание того, что смерть упраздняет все ценности жизни.

Иван Ильич рассуждает, что может быть барьером против смерти, которая подобно страшной лавине сметает всё, черная дыра, которая всё засасывает. Орденовая лента? «Станислав с мечами»²⁹⁷? Повышение по службе? Личная благосклонность государя императора? Целый набор каких-то няшек, и в итоге Иван Ильич понимает, что всё — чушь, что смерть — единственная реальность. И это понимание его заполняет. Он думает о семье, о прожитых годах, супружестве, любви.

Думает о детях, внуках, своем имени, и понимает, что всё — чушь.

В этом рассказе рефлексия смерти выражена гениально. Потрясающая вещь, и понятно, что Лев Николаевич весь жил в этой теме. И он стоит особняком среди всех русских писателей.

Его всегда сравнивают с Достоевским, но у Достоевского нет минимального человеческого понимания. Он избегает темы, что смерть отменяет всё. У него Иван с клейкими листочками²⁹⁸, и никто не хочет умирать, смерть приходит всегда внешним образом. Смердяков убил Федора Павловича, Раскольников убил старушку. Потом проблема Раскольникова решается через чтение Евангелия вместе с Соней по вечерам.

Федор Михайлович делает всё что угодно, чтобы не превратиться в Ивана Ильича и не разобрать эту тему. До тех пор, пока простуда на открытии памятника Пушкину его самого не прикадрила.

Мне интересно, когда он ясно начал понимать, что это всё, что второго момента славы уже не будет, как вот он переживал свою ситуацию, насколько он был в сознании? Смерть Достоевского — очень интересный момент.

Со смертью Льва Николаевича всё понятно. Лев Николаевич весь в теме смерти, он посвятил всю свою жизнь смерти, борьбе с ней, бегству от нее, заклинанию смерти. Действовал он неправильно. Написал какую-то альтернативу Евангелию. Потом бежал.

Это же классический пример, когда человек из Басры бежал от смерти в Багдад и встретил смерть на базаре, которая сказала: «Я как раз за тобой собиралась в Басру, а ты на встречу ко мне пришел». Лев Николаевич полностью повторяет эту модель.

А вот как же с Достоевским?

Достоевский четко не проявлял этого минимального человеческого понимания. Напротив, он, подобно Ивану Ильичу, всю жизнь выставлял заглушки, как, по-моему, Галковский это называет, цензурные громоотводы, стеночки между собой и правдой.

Интересно, кто реально имеет минимальное человеческое понимание из русских писателей? Лермонтов? Не очевидно. Платонов?

Может быть, в поэзии это немного ярче проявляется. Люди подступают и не перешагивают через какой-то барьер.

Я думаю, что мучительно минимальное человеческое понимание имел Брюсов, потому что он постоянно возвращается к теме «я жил, прошел как тень, и умер». Просто он вздорный человек, и он не может так выразить, чтобы проняло до корней, до дрожи. Постоянно «улица мела как море, толпы проходили...», всё пафосно, но ощущение финала у Брюсова живо.

Гумилёв — конечно. Он особая фигура. Гумилев сказал, что «лучше слепое ничто, чем золотое вчера». Эта декларация делает его абсолютно великим человеком, который как романтик является просто

несравненным поэтом. «Лучше слепое ничто, чем золотое вчера» — это контрромантизм, потому что романтизм построен на том, что лучше золотое вчера, чем слепое ничто. Или золотое завтра, или послезавтра, или золотое нигде.

А этот человек говорит, что лучше слепое ничто.

Но он же говорит: «Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть». И он тем самым свидетельствует, что он не взял барьер минимального человеческого понимания, потому что тут же вопрос такой: если ты думаешь, что твоя великая мысль является защитой от смерти, что ты ее носитель, что твоя мысль — противотанковый ров против смерти, то ты дурак.

Человек страстно думал о смерти. Да, великая мысль должна быть о смерти, но не так что вот «я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть», а так, что эта великая мысль и вбирает в себя смерть.

Ты должен думать смерть! Думать смерть. Смерть должна открыться как истинное существо твоего сознания. Это уже следующий момент за минимальным человеческим пониманием.

Когда человек, как Иван Ильич, уже дошел до конца и испытал полное совлечение с себя всех цацек, которые оказались бессмысленными, он уперся в черную дыру.

И возникает вопрос: остаться с этой черной дырой как негативом, который тебя разрушил, перечеркнул, и ты капитулировал и сдох прежде смерти? Либо же искать следующий шаг. Что после минимального человеческого понимания? Минимальное человеческое понимание — цацки все сожжены и выброшены в мусорное ведро.

И что же дальше? Какой будет следующая ступенька, чуть-чуть побольше, чем минимальное человеческое понимание?

Оказывается тогда, что это ход к великой мысли, которая должна быть именно мыслью не о смерти, а мышлением самой смерти.

Надо мыслить саму смерть, рисовать смерть.

Ради чего, допустим, художники барокко рисовали скелеты? Они пытались мыслить смерть. Они всё время рисовали красивых дам

с пышной грудью, которых сзади обнимает скелет и заглядывает ей через плечо. Рыцарь, а рядом с ним смерть с косой. Короли и епископы, а среди них скелеты.

Хочу рассказать об одном своем опыте, который меня до сих пор преследует.

Когда мне было лет десять, а может девять, я читал «Дэвида Копперфилда»²⁹⁹. Очень долго читал, книжка толстая. Был дождливый день, и она как-то у меня связывается с этим днем и с последующими. Мама потянула меня в большую прогулку, где она встречалась с какой-то своей подругой. Прогулка заключалась в том, что в этот дождливый пасмурный осенний день мы почему-то пошли в ГУМ, и по этому ГУМу она меня таскала.

У меня бывали такие видения, и в частности, в этот раз тоже... Когда я встретился с этой маминой подругой, — она была в черном плаще типа пыльника или макинтоша-дождевика, из ткани не прорезиненной, но воду не пропускающей. Ну, плащ, плащевка. И вдруг я увидел у нее на груди, в том месте, где должно быть сердце, такое красноватое пятно, как если бы на материи лежал кусок сырого мяса. Неприятное красновато-коричневатое пятно. Вот у нее на груди проступало такое пятно, и я понял, что это пятно проступает от сердца, которое тут лежало, — ее сердца, которое лежало на этом макинтоше.

Когда я посмотрел вокруг, я увидел, что половина людей — в серых макинтошах, и у всех у них проступает это пятно на месте сердца.

Я испытывал дикую жуть и тоску между двумя этими женщинами — мамой и ее подругой. Я смотрел на прохожих, и все, кто шли нам на встречу, имели это сырое пятно на месте сердца.

Думаю, что это было очень близко к опыту, зафиксированному художниками барокко: скелеты, проступающие сквозь тела. Видение тленности и могилы, но не в отстраненном, рефлектирующем, дискурсивном виде, а непосредственное переживание того, что вокруг меня живые трупы с кляксами на плащах.

Бабушка любила меня водить в музеи. Пару лет каждое воскресенье мы намыливались куда-нибудь в музей. Таким образом она хотела меня развить.

Мы обходили по телефонной книге все мыслимые музеи, существовавшие в Москве, включая Музей пограничных войск, Музей КГБ, Музей Дарвина, Зоологический музей, Музей палеонтологии. И конечно же Пушкинский.

И вот однажды в Пушкинском проходила выставка привезенного туда народного мексиканского искусства. Мы пошли, и там вообще ничего не было, кроме черепов и скелетов. Черепа величиной с собачью конуру, с хороший обеденный стол, крошечные черепа, которые можно было вставить в оправу кольца. Танцующие скелетики величиной в половину спички, громадные скелеты выше двух метров, скелеты, украшенные разноцветными камнями, покрытые эмалью, самые разнообразные скелеты. Черепа с россыпью узоров, блестящих и сверкающих.

Бабушка была в шоке, она же шла на народное искусство. Может, она ждала каких-то вышитых ацтекских рубах. Не знаю, что она могла себе представлять. Но когда она увидела повсюду черепа и скелеты, она опешила. Только ходила из зала в зал и приговаривала: «И это народное искусство? Ничего себе».

А я был в полном кайфе, мне эти черепа ужасно нравились. Черепа, скелеты...

Я понял, что самое близкое, что может быть, это народное мексиканское искусство, эта заикленность на смерти — она встретилаcь с чем-то очень глубинным во мне.

Я же очень рано был направлен на созерцание смерти через освоение и усвоение ее себе. Я читал писателей, которые, как я знал, уже умерли, — при условии, что они остро писали о смерти. Человек пишет о смерти, осваивает эту территорию, думает о том, что чувствует в момент смерти какой-то его герой. Но не такими пустыми словами типа «пиф-паф, и он умер», а именно изнутри.

Например, как Тургенев писал о смерти Базарова: полутона, полумеры, но всё же некая попытка. А потом ведь он сам умер. И вот

интересно, а как повлияло на него то, что он вступил со смертью в интеллектуальный контакт, описывая ее. Сначала пытался ее пережить, а потом по-настоящему умер. Ведь всё равно же умер.

У Майринка есть замечательный рассказ «Vivo». Герой обнаруживает могилы с надписью «Vivo» — «я живу» по латыни, такими неувядающими буквами. У людей, решивших вопрос со своей смертью, написано «Vivo».

Не буду рассказывать, что там этому предшествует, как он вышел на это и как стал замечать эти могилы, разбросанные по разным кладбищам. Но меня преследовал после Майринка тезис, который, мне казалось, я сам сформулировал, но Майринк такого не говорил, наверное. И я доставал всех этим мрачно произносимым слоганом «кто умер, тот никогда не жил». Это было где-то на стыке Майринка и меня.

На некоторых это произвело сильное впечатление. Я ведь говорил не в оптимистическом ключе. Кто-то понимал в оптимистическом: мол, мы не умрем, поэтому мы живем³⁰⁰.

А я понимал в другом ключе: мы уже не живем, потому что мы умрем, уже умерли. Но и то, и другое — достаточно скромная преамбула к более серьезной постановке вопроса.

Серьезная постановка вопроса заключается в том, что человек должен пройти опыт Ивана Ильича, пока не поздно, и потом оставить всё, что его мучит, — разрыв с любимым, отношения с друзьями, с детьми, какие-то проблемы с социальной адаптацией. Всё это надо поверять могилой.

Потому что люди, горевшие страстями, изменами, любовями, эгоизмом, борьбой с эгоизмом близких, скандалами, — всеми этими людьми полны кладбища, и они там лежат и очень тихо бормочут после всех этих страстей.

Нужно сконцентрироваться и подумать о том, что отменяется? Отменяется всё. Тогда, собственно, что не отменяется? Не отменяется лишь усвоение себе негативной эссенции, негативной страшной эссенции невозможного.

Ведь смерть — это не небытие.

Небытие — это просто отмена вещи, которая сама всегда в себе несет возможность не быть.

Есть чашка. У нее есть возможность быть конкретно самой собой, и тут же параллельно для нее есть возможность не быть, и эта возможность рано или поздно реализуется.

Эта возможность реализуется с чашкой, с кошкой, с воробьем, с планетой Земля. Возможность не быть применима к объекту, к феномену, а смерть — гораздо более страшный момент.

Смерть — это соединение твоего воспринимающего центра с его принципиальным источником, который называется Невозможное. Невозможное находится по ту сторону ассоциаций, описаний. Это то, что называется «страшно впасть в руки Бога живого», потому что Живой Бог — в реальной мысли Всевышнего о самом себе, где это размышление занимает центральную позицию. Это размышление и есть Невозможное.

Отблеск оттуда составляет существо нашего здесь присутствия.

Наше воспринимающее «я» — центр, который в момент смерти возвращается в невозможное. Тут даже общей меры нет по сравнению с небытием. Потому что в могиле нас не то что нет, как нет камня, который просто отсутствует внутри себя как клякса, — в могиле нас ждет именно Невозможное.

Именно в этом активный ужас, который люди пытаются выразить и не могут.

Они говорят про ангелов, могильные мучения и пытаются каким-то образом коснуться Невозможного. Но проблема в том, что это Невозможное находится в нас при жизни, но мы его не видим, как глаз себя не видит. Чтобы глаз сам себя увидел, нужно посмотреть в зеркало.

Каждый человек испытал в своей жизни шок от неожиданности. Например, когда его кто-то в темной комнате напугал, или он дверь открывает, и там кто-то стоит. Выброс адреналина на долю секунды повергает человека в острый шок.

С чем он сталкивается?

Он сталкивается с Другим. Тут вопрос неожиданности.

Он сталкивается с Другим, а Другой это именно истинный Бог, который есть Невозможное, внезапно объявившееся перед тобой. Если продлить этот шок хотя бы в два раза, человек умрет. Он и так-то после такой встряски некоторое время будет приходить в себя.

Я пришел к выводу, что эссенция ощущения шока, ужаса — та же самая, которую испытывает человек в Раю, когда он будет воскрешен и войдет в Рай.

Шок адреналинового удара, после которого трясутся руки, будет в абсолютно чистом концентрированном виде питься как напиток, будет являться полнотой тотального переживания воскресшего «я».

Только он будет не этим ударом ужаса, а абсолютным наркотическим переживанием эйфории, он будет преобразован из минуса в плюс.

То, что называется буддистами «сатори», есть продленное ощущение от шока испуга, но в разбавленном виде, которое человек может выносить более чем долю секунды.

Скажем, если испуг от неожиданного столкновения с кем-то взять за 100 %, то сатори будет состоянием, разбавленным до 5 % раствора.

Будущие наши воскресшие души, вернее, наши тела с нашими душами, то есть мы лично после Суда, если мы войдем в Рай — то, что мы будем испытывать, будет несравненно более концентрированным, чем чистый шок от испуга. Вот эта эссенция Невозможного, которая станет родной, которая станет нам сиять, как черное солнце.

Уже сейчас мы можем, думая о смерти, заставить ее светиться черным сиянием, чтобы она уже сейчас была для нас солнцем.

И она будет нам сиять и в могиле, по ту сторону восприятия.

Это не значит, что мы будем это воспринимать. Но мы уйдем в могилу, зная, что мы сделали это. Что мы в последний момент трансформировали ночь в черное пламя.

Любая субкультура есть хождение вокруг да около подлинного, с чем субкультура не может справиться, вступить в реальный контакт, поэтому она и превращает это в культуру.

Культура есть уже форма отчуждения, культура есть упразднение реального, уникального и превращение всего в книжку с картинками.

Из репетиции Страшного Суда — из хаджа — люди опять возвращаются к своим заботам.

На мусульманах лежит печать правильного подхода, потому что черная энергия шахады действует независимо от того, понимает ли это человек или не понимает.

Вот он искренне сказал: «Ля иляха илля Ллах, Ашхаду алля иляха илля-ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллахи».

Вот он это сказал и вступил с этим во взаимодействие. Конечно, он не думает еще смерть. Он не думает смерть, но он высказал мысль, которая думает смерть и думает ее словами. Словами не его, словами шахады, божественными словами.

Он к ней примкнул, и она теперь управляет в известной степени его экзистенцией, она снимет его проблемы, но у него минимальное человеческое понимание уже авансом появилось.

Дальше ему скажут — есть ближняя жизнь и есть дальняя жизнь, что мы здесь странники. Ну, это обычное дело.

Иван Ильич тоже это всё понимал — и про странников, и про то, что всё это ничего не стоит. Он же, наверное, и какие-то проповеди слушал, считался религиозным человеком. Но оказалось, что пока его не прихватило, он был твердо уверен, что «Станислав с мечами» — это ценность.

Мусульманам проще.

Через шахаду для них проблема «Станислава с мечами» или его эквивалента в мусульманском поле уже снята.

Дальше уже всё зависит от человека — для кого-то больше снята, для кого-то меньше. Главное, что мысль, которая думает саму себя как смерть, идеальным образом воплощена именно в шахаде.

Нет божества, но есть Аллах. Не так, как это обычно переводится — нет бога с маленькой буквы, кроме Бога с большой. А именно нет божества, но есть Аллах. «Есть» в данном случае — это тоже введенная в русский перевод часть. Если совсем уже буквально переводить, то получится — нет божества, но Аллах. Так будет правильнее.

Это противопоставление, что божества нет, но за пределами абсолютно всего, что может быть помыслено, спроецировано или чаяно, за пределами всего этого — Аллах, который и есть Невозможное. Но это то Невозможное, рабом и посланником которого является Мухаммад.

У нас есть Сира и у нас есть принесенный им Коран, который и есть та часть здесь-присутствия этого Невозможного, которое сделало себя возможным, явило себя.

В Коране Всевышний присутствует как слово Божие, как Логос, физически воплощенный среди нас.

Это и есть «кусочек Бога» здесь.

Нам открыто его «Я».

А то, что осталось там, в ночи, — это сама ночь, это Он, отсутствующее третье лицо.

Поэтому мусульманам в этом отношении проще.

Все люди находятся под давлением финализма, и они ходят вокруг этой проблемы, палочкой трогают, иголкой. Получают какие-то электрически разряды.

Много лет назад, размышляя о себе, я думал, что культура — это когда на полке стоит Альберт Швейцер, «Майн Кампф», «Так говорил Заратустра», «Бесы», какая-нибудь «Наука логики». Они все стоят на одной полке. Там стоят как книжки о любви к человечеству, так и книжки, которые были запрещены как пощечина человечеству. Лотреамон и сказки братьев Гримм — всё это культура.

И это, конечно, ужас, потому что одно перечеркивает другое.

Ницше в «Заратустре» сказал: «Заратустра — не учитель более», а его берут и ставят на полку рядом с Альбертом Швейцером, с которым тот бы и на одном гектаре не сел.

И я думал, в чем же для меня планка, которую я должен взять, и я думал наивно, что нужно написать такую книгу, которую никогда не поставят на полку по крайней мере рядом с Альбертом Швейцером, а лучше, вообще никогда.

Я понимаю, что это невозможно, потому что культуру только пистолетом можно победить. Известный деятель III Рейха постоянно хватался за пистолет, когда слышал слово «культура». Когда мы думаем о культуре как о гробе, в котором похоронены, как в общей могиле, души всех страждущих, мы понимаем, почему он хватался за пистолет. И мы разделяем его возмущение.

Пошлость в своей сути — исключение идеи смерти из экзистенциального присутствия. Что культура, что субкультура каких-нибудь «готов» не решает проблему Ивана Ильича.

Чертков³⁰¹ был абсолютным противовесом всему, что был Лев Николаевич. Сущность Льва Николаевича была посвящена исключительно бегству от смерти, борьбе со смертью, попытке осмыслить смерть, а Чертков был пошляк.

Как только человек добивается эстетически или каким-то ходом, что смерть исключена, упоминание о ней исключено каким-то жестом, хохотком, анекдотцем, куском селедочки с рюмкой водки, — и тут же он пошляк, и пошлость торжествует.

Чистая пошлость — это «смерти нет».

Добрые дела и пахота на ниве гуманитарного возделывания ничего не меняют. Это всё форма эскапизма, форма самообмана.

Человек, к которому подступает смерть, должен это встречать и бороться с этим наедине — вот как Кася³⁰², например. А когда он это выносит в коллектив, в субкультуру, — это форма эскапизма. Большинство двенадцатилетних отличается от такого образа. И в мое время двенадцатилетние не ходили в черном и не думали о смерти.

В некоем мыслимом черном ходил я. С небольшими серебряными молниями. А больше я никого не знал.

Готы³⁰³, череп на письменном столе — форма эскапизма, форма самообмана, попытка приручить смерть, но не внутренним образом мыслить смерть, а экстравертным образом, внешним образом, сделав ее предметом эстетики, любования.

Уверяю вас, когда реальная смерть начнет последовательно охватывать своим холодом члены этого человека и он как бы внезапно ощутит разверстую притягательную бездну могилы, то он поймет, что зря он терял время, играясь в черепа, это ему не помогает.

Как «Станислав с мечами». Что «Станислав», что череп на письменном столе — не помогают. Всё отменяется. И все эти игры говорят о том, что рубеж минимального человеческого понимания не перейден.

Когда над Достоевским ломали шпагу, он сам сломался.

Он зверски полюбил жизнь. Он же написал про клейкие листочки, и высказал свою позицию словами Ивана. Иван — его альтер-эго. Не Митя же, и не Алеша тем более. Он — Иван, и он рассказывает свой опыт из-под расстрела с завязанными глазами, когда он от имени Ивана пишет, что хотелось бы целую вечность стоять в ночи на одном квадратном метре, прикованным к скале как Прометей. Лишь бы жить. Пусть вокруг будет крошечная ночь, но только бы жить и никогда не умирать.

Мною такое желание снято и трансформировано в другое — в мысль о смерти, которая вбирает в себя абсолютную жажду жизни. Абсолютная жажда жизни без этой соли, без мысли о смерти, более того без мысли смертью, не получится, как суп без соли.

Жизнелюбы-бытийщики, лехаим — абсолютно противоположный мне полюс.

Я прошел через ненависть к смерти как некое внешнее отрицание меня, которое потом преобразовалось в понимание смерти как истинную сущность меня.

Жажда бессмертия и ненависть к смерти — два маленьких писка, которые сняты и трансформированы в суть молчания, в тайну молчания.

Я очень мрачный человек по сути. В 20–25 лет это, наверное, не так очевидно было, потому что в юные годы мы гуляли очень круто. Но что-то было ощутимо для тонких людей. Как мне передавали, покойный Генрих Сапгир, который меня ненавидел, жаловался, что когда я вхожу в пространство, где он находится, то гаснет Солнце, сумерки наступают, и температура падает. Жизнь, лехаим тут же тихо надевает кипу и уходит, пятясь, через черный ход.

Я даже удивился, когда мне это передали. Типа того, что «неужели, когда я вхожу, мир сразу темнее становится?» Но человек так переживал.

Я думаю, что это объективное ощущение, потому что я вообще человек мрачный, такой мрачный парень. Моя жена, например, тоже считает, что я мрачный. Что я нагнетаю концентрированный мрак, холод, пессимизм. Что моя дочка испытывает серьезные психологические проблемы оттого, что рано вступила в духовный контакт со своим отцом, который нагнал на нее мрака. Мрака нагнал на всех.

Возможно, с иными людьми я не специально другой, но бессознательно меняю свои формы контакта, формы презентации. Я же спонтанно действую, я специально не играю никаких ролей, но, конечно, я разный с разными, но это проблема коммуникации. Я меняю коммуникативное поле, потому что я ориентирован на общение, если уж общаться.

Есть такое понятие — светский человек. Светский человек не грузит, светский человек учитывает психологические особенности собеседника, светский человек никого не гнобит, умеет быть интересным каждому и подыгрывать каждому, даже если знает, что этого человека потом расстреляет всё равно.

Светский человек не может перестать быть светским. Мы общаемся искренне, но при этом в своем общении я включаю инструменты, которые вам делают это общение комфортным.

Что такое Зло

Проблема Зла ускользает всё время от схватывания, от понимания и от анализа, потому что зло, о котором мы говорим, не имеет никакого отношения к Бытию, к умалению Бытия, к тому, что Бытие само по себе есть Зло.

Бытие возникает, потому что есть Зло, Бытие это следствие Зла.

А в чем Зло, в чем суть-то Зла?

Мы берем чувствилище, центр человека понимающего. Так и назовем его вместо Rectus Nabilis³⁰⁴: человек понимающий.

Что это за понимающий человек? Это человек, который имеет нетождество в себе со Всем.

Есть тотальное Всё, а он имеет нетождество. Он видит вокруг себя предметы, феномены, но также он понимает нечто про Небо, нечто про Абсолют. Потому что он тоже не тождественен ни Небу, ни Абсолюту.

Ну и он как бы говорит: «Ты извини, брат, но какой же ты Абсолют, если я могу о тебе говорить? Мое сознание в данный момент не является единым с тобой, оно не поглощено тобой. Вообще всё сущее не может быть, если ты Абсолют, — если ты Абсолют, то ты не можешь ничего допускать помимо себя. А ты попустил, чтобы всё было. Ты попустил, чтобы я тебя воспринимал. Ты, конечно, можешь меня перечеркнуть, уничтожить, реализовать во мне *потенциал не быть*. Но сейчас, в данную секунду, я о тебе знаю, и это делает бессмысленным мое дальнейшее растворение в тебе, потому что есть преемственность. Растворенное в тебе *Я* было в какой-то момент не тобою, ты был не-я».

Об этом всё время забывают те, которые говорят: «ты есть то».

То есть можно совершить акт посвящения и исчезнуть. Да, но этот акт посвящения отправляется от некой позиции, в которой я отделен.

Раз я отделен, значит я существую помимо.

Значит, есть нечто, какая-то условность, которая вне Абсолюта, которая не покрывается Абсолютом, и мое сознание есть блик, частица, месседж от этого нечто, что находится вне Абсолюта.

Такой «Абсолют + X».

Теперь, если я являюсь таким чувствилищем, которое глобально «локаторствует» за счет нетождества Абсолюту, знает всё за счет этого нетождества... А теперь мы как бы подвели итог... Ну вот я, частный человек, листок с ветки. Но мы можем представить на моем месте пророка, Адама, который воплощает в себе всех людей, и, соответственно, вот этот его зазор — он для всех людей является зазором.

Это не просто нетождество — это метафизическое нетождество, которое позволяет быть нетождественным ничему.

Значит то, чему он не тождественен, он будет воспринимать.

Теперь есть нечто, что он не воспринимает.

То есть он всё воспринимает, а нечто — скрыто. Это как называется? Это то, что тождественно ему, и поэтому он это не воспринимает?

Ну да, можно сказать, что это Невозможное, что находится за пределами Абсолюта. Абсолют он воспринимает, а вот это он не воспринимает.

Значит, здесь у нас как бы имеется тождество, потому что сознание, которое всё воспринимает, является бликом Невозможного.

Теперь Невозможное мы превращаем в новое глобальное Всё вместо того абсолютного «всё», которое потеряло трон, того «Абсолют+X», которое существует.

Но проблема в том, что «+X» никуда не делся.

Как только Невозможное заняло место этого абсолютного «всё», «+X» стал прикладываться к самому Невозможному.

Он будет проявлен, потому что такова идея Духа.

Суть Духа заключается в том, что он всегда нетождествен, это всегда апория, которая стремится к тому, чтобы превзойти любую абсолютизацию.

Есть величие, плерома, полнота. Величие как Джалла, Джалла джалалу³⁰⁵. А есть превосходство над этим величием, которое можно выразить только в отсутствии, в лишенности.

Тут возникает два аспекта.

Лишенность как свойство того, что здесь (всё лишено того, что не вмещается, того, что превосходит). Это нищета и скорбь реальности утверждения.

А есть активная сторона. То, что не вмещается, есть само по себе.

Когда цветок невозможного полностью раскрывается и затмевает собой всё, вдруг оказывается, что есть нечто, что не входит туда, что превосходит его.

Этот цветок невозможного, то, что было «+X» по отношению к Абсолюту — оно как бокал является пустым, потому что есть нечто, настолько превосходящее принцип этого объема, что и наливать-то нет смысла.

Получается тогда вот такая штука: в невозможном нет этого так же, как и в Абсолюте. Абсолют + X. Этого нет в Абсолюте, и этого нет в «+X», которое является невозможным, которое стало на место Абсолюта, заняло его трон.

Получается, этого нет в двух полюсах — ни в отрицаемом, ни в отрицающем.

Это означает, что отрицаемое и отрицающее тождественны негативным образом. Они тождественны не через позитив, а через негатив — ни в этом, ни в том нет единственного, подлинного.

Ни в этом, ни в том.

Значит, они тождественны в своей пустоте, в своей лишенности, своей «приватизированности». Они лишены, и предмет этой лишенности есть Зло.

Потому что он принципиально не схватываем.

Он выражается только в негативе, он не может быть последней инстанцией, он не может быть утверждением, он может быть только смертью мысли.

Мысль базируется на двух полюсах: вот это невозможное, к которому оно стремилось, и вот это «всё», которое стало Абсолютом и которое выступает к Невозможному как отрицающее.

Оказывается, оба полюса одинаково перечеркнуты, они негативно тождественны в своей нищете.

Мысль оказалась пустым сосудом, мысль в этот момент умирает.

Единственная сущность, с которой мысль совпадает, — это превосходящее оба полюса, то, что делает их одинаковыми. Не входящее в эту активную имманентность. Есть пассивная имманентность — это лишенность. А есть активная имманентность — то, чего лишена мысль, то чего лишена полнота.

Что же выведет нас за пределы силы превосходства, которая выражается только негативом, только отрицанием?

Нетожество ей самой.

У нас есть абсолютно отрицательная активная сторона лишенности — то, чего лишена мысль.

А мы должны всегда помнить, что мысль больше, чем «Всё».

Мысль — всё, но мысль больше, чем всё, потому что она всегда стремится к нетожеству с самой собой.

Мысль не тождественна сама себе.

Она умирает, потому что есть нечто, что превосходит мысль, содержащую в себе идею превосходства.

Вот где Зло.

Зло в том, что есть принцип превосходства над мыслью, которая уже содержит принцип превосходства, превосходства над тотальным глобальным «Всё».

В этот момент мы обнаруживаем истинную природу Зла.

Это глубокая ночь без побуждения, смерть мысли.

Там, где черное становится настолько черным, что у него уже нет сияния.

Черное давало сияние, потому что оно было чернее предыдущего этапа черного, — наконец, эта ночь, черная дыра, дошла до такой степени концентрации черноты, что уже не выпускает никакого сияния.

Этим обозначилось превосходство над тем, что уже содержит превосходство над всем.

Вот здесь концентрация Зла.

В этот момент мы обнаруживаем спасительное нетождество с этим. Дух, который живет в нетождестве, прилагает нетождество и к страшному отрицательному финалу и освобождает из этой ночи — из гуши черного — трансцендентное как таковое, которое не имеет никаких ни конкурентов, ни добавлений, — ничего, что бросило бы вызов этому утверждению (утверждение ведь есть то, кроме чего ничего нет).

Как только мы говорим, что есть Всё, мы говорим, что есть «+X». А вот это утверждение таково, что оно не имеет в себе «+X».

Почему? Потому что оно само по себе есть чистое нетождество последнему Злу, которое есть превосходство над принципом превосходства.

Тем самым это есть убийство принципа превосходства, принципа плеромы.

Зло убило всё именно потому, что оно безмерно, потому что оно огромно, потому что оно трансцендентно.

Но эта трансцендентность негативная.

Трансцендентность, которая выражается в том, что взаимоисключающие полюса отрицательно тождественны друг другу. Они взаимоисключают. Мы берем такие взаимоисключающие полюса реальности, которые превосходят саму идею двойственности, двойственности отрицаемого и отрицания.

Отрицаемое надо понимать как предмет отрицания, без которого отрицания бы не было.

И они абсолютно негативно тождественны по отношению к другому, что, в принципе, перечеркивает любую полноту, любую идею утвердительности.

И только нетождество этому выводит нас в чистый трансцензус, который трансцендирует не над чем либо, а он трансцензус в себе.

Он — нетождество в себе.

Он нетождество, которое свободно от предмета нетождества. Здесь трансцендентное находится у себя дома, само в себе.

Схватка клубов. Либералы уйдут. Симулякры и подлинное. Зачем Россия?

Сегодня, 29 сентября³⁰⁶, прошла передача «Время покажет». Она была посвящена статье известного лоббиста российского в Германии Александра Рара по теме, что будет в мире в 2050 году. Я в этом участвовал. И, честно говоря, было довольно странно и муторно слушать поток измышлений, которые порождены постановкой вопроса и, самое главное, решением вопроса.

По Рару, в середине XXI века будут три основных силы. Соединенные Штаты, к которым на коленках приползут европейцы, битая Европа, нуждающаяся в утешении и поддержке. Она будет поскуливать, и Штаты ее заберут под себя. Отдельно будет стоять великая и могучая Россия, уже вставшая полностью с колен. Причем колена, в результате долгого стояния мощные и мозолистые, и не дай Бог попасть под эту коленку, если она этой коленкой двинет. Китай, естественно, тоже один из центров силы. Видимо потому, что он выпускает большое количество плюшевых мишек для детей всего мира. И где-то там будут бегать ребята-революционеры с требованием справедливости, почему-то с отдельным указанием на роль Северной Африки, даже конкретно Ливии, которая превратится в некий отдельный центр.

Тема очень быстро соскользнула на то, что великая Россия всегда и даже, как сказал Александр Гелиевич Дугин, столетиями противостояла Западу, бросала вызов его проклятым либеральным ценностям, хотя либерализм на Западе торжествует отнюдь не в течение столетий.

Если серьезно, то либерализм как мощная политическая сила стал показывать зубы со второй половины XIX века.

Энциклопедисты XVIII века — это кабинетные люди. А политическая сила — это парламенты, партии, прямое структурированное решение наверху. Энгельс говорил о том, что Бисмарк³⁰⁷ решил вопрос о социализме, создал социалистическую монархию. После этого желать в общем-то и нечего. То есть так

проявилась нормальная нордическая сущность Бисмарка, такого крутого немецкого катехона³⁰⁸. Энгельс освободился от покровительства своего еврейского друга, который вносил резко развратно-разгульный элемент, вернулся к идеалу казармы, и Бисмарк у него стал представителем правильного решения о социуме.

Возвращаясь к Дугину, который думает, что Россия столетиями противостояла Западу, а Запад противостоял России. Мне показалось, что всё это звучит дико и неадекватно. В процессе разговора был вплетен и несчастный Наполеон, который, оказывается, хотел построить универсальную западную всеохватывающую империю, хотя он стремился ее развалить и поставить под очень жесткий контроль совершенно нового класса имевшиеся на тот момент монархические режимы, а самое главное — освободить Европу от британского влияния. Из-за этого произошел его поход в Россию. Я попытался это сказать, что вызвало легкий визг и попытку замотать тему. Неважно.

Там что ни слово, то вранье, потому что, во-первых, Россия никогда не противостояла Западу. С какой стати она должна противостоять Западу? Она организована Западом. Грозный мечтал быть мужем английской королевы.

Короткий период был условно с 1917 по условно 1956 год. XX съезд положил конец всякому противостоянию, сразу обнулил весь посыл по поводу, что Россия чему-то противостоит. Можно выделить небольшой период с 1917 по 1928 — десять лет, когда реально чистое противостояние Западу. Троцкизм-ленинизм, который потом был тщательно перечеркнут, посажен на карандаш, на штык. Но в 1956 году тема закрыта, всё восстановлено. Не люблю останавливаться на частностях.

Самое главное, что домыслы по поводу трех будущих центров в 2050 году — Америки, Китая, России — на мой взгляд, совершенно бредовые, потому что дело ведь идет к ликвидации империй и зависящих от них национальных государств. Уже сегодня главными являются не государства и не союзы государств, не НАТО, ЕСы, ШОСы, а клубы, которые представляют собой идеологические модальности, типы глобального политического сознания — либералы, традиционалисты и радикалы.

Клубы фундаментально различаются в своем отношении к последним вопросам жизни и смерти.

Либералы не верят ни во что хорошее, кроме жизни здесь и теперь.

Традиционалисты верят в символизм и аналогию здешней жизни и высокого плана будущей жизни или уровня платоновских идей, которые являются архетипами.

А радикалы верят в то, что мир построен на ошибке. Эта ошибка заключается в том, что мир исполнен гнета, а он должен быть исполнен справедливости. За это надо бороться. В этот мир надо принести справедливость — не распределение материальных благ, а смысл, противостоящий абсурду существования, то есть преодоление абсурда существования. Вот во что верят радикалы.

Три клуба находятся в схватке не на жизнь, а на смерть. В 2050 году эти клубы выйдут на поверхность в самом окончательном виде, на мой взгляд. Сейчас мы находимся в 2016. 2050 через 34 года после сегодняшнего дня. За эти 34 года либералы проиграют войну, которая против них уже началась. Они ведут арьергардные бои сегодня. Выиграют традиционалисты. И друг против друга останутся традиционалисты с радикалами — две главных силы.

Либералы уйдут. Если они не будут полностью зачищены, то уйдут в маргиналитет. Они будут отброшены на обочину политической и исторической жизни. На мой взгляд, всё будет сопровождаться большими войнами. Либералы так просто не сдадутся. Но и последующий процесс конфронтации радикалов и традиционалистов будет в форме всемирной гражданской войны, потому что после маргинализации либералов как политического клуба никуда не денется тип либерального человека, ориентированного на то, чтобы вкусно пожрать, сорвать цветы удовольствия и ни о чем в дальнейшем не заморачиваться.

Такой тип человека был и 500 лет назад, будет и завтра, но он не будет политически весомым, он не будет ничего решать. Он останется просто неким балластом. Потому что будет сломан хребет либеральной элите. Под либеральной элитой следует понимать

не грефов и шуваловых. Под либеральной элитой следует иметь в виду тот истеблишмент, который задает тон всему дискурсу, как мейнстрим.

Например, никому в здравом уме не придет в голову считать, что Генон представляет собой часть мейнстрима. Генон только-только вылез с обочины, из глубокого маргиналитета в то пространство, в котором о нем могут упоминать люди с докторской степенью в кармане или могут написать о нем в энциклопедии. Пока что это не мейнстрим. Но всё будет переиграно в течение 34 лет.

А самое главное, что будет переиграно — радикалы превратятся в реального субъекта. Сейчас радикалы только-только начинают приобретать контур исторической субъектности.

Политический Ислам, который является стержнем радикализма, сегодня обретает статус игрока, с которым считаются, о котором говорят, который является более чем 50 % всего топика в медийном потоке. О чем говорят? О терроре, о Сирии, Ираке, ИГ, Джабхат-ан-Нусра. Говорят об исламском факторе, об экстремизме. Взять хотя бы такую тему как переход евреев-сефардов в Ислам во Франции. Существует уже служба психологической поддержки евреев, которые задумываются о том, а не перейти ли им в Ислам, служба предупреждения перехода в Ислам.

Мы имеем субъектность, по крайней мере с виртуальной точки зрения. Она уже рисуется.

Я излагал тему, что 360 лет нам остается до Армагеддона, до Великой битвы с Даджалом. Если мы эти 360 лет считаем по шамси (солнечному календарю) и по камари (лунному), то возникают 40 пустых лет. 1440 год по шамси — это 2060. А 1440 по камари — это примерно 2019. И то справедливо, и другое справедливо. Вот эти сорок лет между 2019 и 2060 у нас где? Они у нас нигде. Это скитание. Скитание Моисея в пустыне, когда он водил евреев, чтобы воспитать совершенно новый тип людей, новую общность, новый джамаат, чтобы люди забыли египетский плен.

Хорошо. Вот эти 40 лет, примененные к умме с 2019 по 2060, и есть формирование нового типа мусульманина, нового дискурса, новой позиции радикального клуба, когда в человеческое сознание

будут выброшены такие проблемы, которые не имели место, не формулировались, не осмыслялись ни на Востоке, ни на Западе в последние 1400 лет. Вообще не осмыслялись. Потому что Ислам, базирующийся на Откровении, несет совершенно новый тип понимания проблематики.

Чтобы не быть голословным, скажу следующее. Все люди, которые нам попадаются по дороге, когда мы идем, смотрим налево, направо, люди идут мимо — все они построены внутри себя, весь их дискурс, вся их мыслительная аппаратура, вся их философия стоит на Платоне. Они, может, не читали его и не слышали, что такое Платон, не читали «Диалогов», не знают о Сократе, но всё, что у них есть, полностью покрывается Платоном и триумфально завершается в Гегеле. Потому что человеческая психология, психология мышления строится на принципе тождества, на вере в тождество — что всё имеет финальную идентичность, когда всё равно всему. Это Абсолют. Всё сходится в Абсолюте и всё является блаженной полнотой, которая есть и бытие, и благо, и сознание одновременно. Но это Платон, это Гегель.

А что такое Ислам? Это прямо противоположная идея — это нетождество, потому что она говорит о том, что Дух нетождественен существу. Есть сущее, всё мыслимое сущее. А есть Дух, который не имеет аналогий. Вообще не имеет аналогий.

Он не просто апофатичен (не то и не это, отказ от определений).

Опять-таки у нас есть определения, а есть отказ от них.

Попробуйте помыслить себе не просто отказ от определений, а отказ от отказа определений. Определения тут у вас никуда не годятся. Потому что природа Духа за пределами отношения к нему. Она вне отношения к нему. И главную роль начинает играть иман, вера.

Вы берете то, что к вам не имеет отношения — поле черной дыры, бездна, которая не квалифицируема. Не апофатически не квалифицируема, а ее нет — то, чего для вас нет. И вы объявляете, что это есть центр вашего существования, это главное в вашей жизни, это единственная подлинная реальность. Это совершенно

переворачивает всю эллинскую традицию, всё узкое мышление. Это мы, мусульмане.

99 % мусульман, конечно, так не думают. 99 % мусульман не способны так думать, потому что они просто люди, воспитывались на эллинских книжках или книжках, зараженных эллинизмом. Они под омофором³⁰⁹, если пользоваться этим не мусульманским термином, суфистских орденов, тарикатов, а тарикаты основаны на эллинском тождестве.

Ну какая нам разница, 99 % так думают или не думают, на что они годятся? Самое главное, что Ислам таков и у нас есть хотя бы тысячные доли процента мусульман, которые способны к абсолютно противоположному подходу.

Мы их берем и мы их превращаем в золотую пулю, которая выпущена в адрес судьбы человечества, которая убивает ветхого человека, начинает новую главу мышления во всем.

За 40 лет мы должны выйти на пограничный рубеж нового типа мышления.

А нам говорят — Китай, какая-то Россия, Америка. Да вы что, ребята? Да вы возитесь в детском саду, в песочнице, с какими-то погремушками. Вы даже не можете понять и осознать масштаб проблем, которые стоят перед мусульманами. А это означает, что вы безнадежно проиграли мусульманам, безнадежно отстали от них.

Я думаю, мы должны обсудить, как мы видим 2050 год — за 10 лет до конца сорокалетия, которое является для нас учительским блужданием по виртуальной пустыне Моисея, когда мы должны использовать эти сорок лет, чтобы вырастить новую умму.

Какие есть сомнения, какие у нас есть установки и твердые убеждения, как оно должно быть. Встретим острием, штыком или даже, может быть, вилами посыл, озвученный на главном канале, с лоббистской претензией на всю территорию СНГ.

В мажоритарии, причем в мажоритарии первого уровня, снова выдвинется традиционалистский клуб, за которым стоит клерикализм,

не поверхностный, а глубокий фундаментальный клерикализм и обслуживающая его старая аристократия, старые дома.

Что станет базой, территорией для штаб-квартиры, которая будет курировать этот клуб? Не Штаты же, конечно. Потому что Штаты в течение более 300 лет были убежищем для либералов, которые в конце концов сожрали свою собственную буржуазию.

Либералы же антибуржуазны. И в Америке до сих пор сохранилась реальная буржуазия, в отличие от Европы. Параллельно там либеральный истеблишмент держит эту буржуазию под контролем.

Взять хотя бы Трампа. Явный симулякр, не буржуа. Это либерал, чандала, имитатор человека, занимающегося бизнесом. По психологии, по психодрайву он отвязный человек богемы. И Хиллари тоже не буржуа, и тоже человек богемы. Такой тип в Америке, наверное, останется. Он имеет социальную базу.

Но Америка перестанет быть ключевым центром. Она перестанет быть одновременно штаб-квартирой мирового либерализма и мирового порядка.

А что же будет штаб-квартирой традиционалистского клуба, который станет штаб-квартирой мирового порядка? Всё-таки Европа.

В 1945 году ей навязали либеральное ярмо, под которым она — побитая дворняжка, но в условиях большой войны, в условиях гражданской войны в Штатах в Европе есть силы, которые поднимут такую волну, что они вернут Европе статус штаба традиционализма.

Россия хочет быть кулаком.

Либо она станет кулаком традиционалистов — кастетом в руках черного интернационала, с ее «Арматами» и «Калибрами». И за ней будут стоять Виндзоры, ватиканы, далай-ламы, гуру, старцы и прочая, и прочая.

Либо это будет наш кулак.

Ведь либерализм у нас организован симулякрами. Основной тип человеческий, основной психологический гештальт либерализма — это актер. Конечно, на первом месте стоят адвокаты, но и адвокат —

это актер. У нас на переднем плане актеры. Свободные профессии, богема никуда не исчезнут, по крайней мере, в кратчайший срок.

Но этот симулякр не однороден. Кого симулируем?

Есть кшатрии, воины — и можно симулировать их. Есть брахманы, жрецы — можно симулировать их.

Это разные симулятивные парадигмы.

Например, если ты симулируешь кшатриев, то ты попадаешь к левым либералам и к крайне левым. Оказываешься среди рахметовых и блюмкиных.

Если ты симулируешь жрецов, то ты попадаешь к правым либералам, ты оказываешься фашистом. Бержье и Павел в «Утре магов» писали, что фашизм — это геноцизм плюс танковые дивизии. Оказываешься в охалке с традиционализмом, правда, традиционализм отпихнул протянутую лапку из туманности национал-социализма. Побрезговал, потому что не поверил, не захотел с симулякром иметь дело.

Но есть и те, кто симулируют буржуазию, имитаторы вайшьев. Они, несомненно, будут разгромлены и оттеснены. Их завода, запаса свернутой пружины хватило на два-три поколения. Хорошо им было существовать, когда они не были допущены ни к кормушке, ни к рулю.

Они в полный рост действуют в сегодняшней России. Это бюрократия, силовики, бюрократия в погонах, корпоративные прохвосты, наиболее яркие выразители паразитической структуры.

Какова сегодня стратегически главная битва? Можно перейти и к более высокому метафизическому уровню и сказать, что, как всегда, как и тысячу лет назад и три тысячи — основная битва истории есть битва между бытием и сознанием. Но конкретная формулировка противостояния в наши дни — между подлинным и не подлинным.

Есть воля людей к подлинному. Это не значит, что они находятся в подлинном. Это не значит, что они могут достигнуть подлинного, но они хотят подлинного. Это определяет модель их действия, их образ жизни, принятия решений.

И есть люди, которые сознательно удовлетворяются не подлинным, которые кайфуют от симулякра, которые считают, что симулякр — это постоянно обновляющийся источник богатства, то есть позитивного блага. Потому что симулякр — это фонтан изобилия.

У Рара в голове всё смешано. Он берет три национально-имперских образования и пристегивает к нему в виде теневого сопровождения идеологическое четвертое начало. Радикалы — это идеологическое начало, а Китай — не идеологическое.

В России они специально, когда говорят о противостоянии с Западом, говорят о ценностях. Они же не говорят об идеологии, о подлинном и не подлинном. Они говорят о ценностях. Российские ценности от западных ничем не отличаются. Они пытаются зачистить острые элементы исторической правды. Они не хотят смотреть в лицо правде, бросающейся всем в глаза, о Наполеоне Бонапарте, который протягивал руку Александру Первому, а тот в эту руку плевал. Они не хотят воспринимать правду. Они даже поход 1812 года будут извращать и рассказывать нам истории, что Бонапарт хотел всё объединить под универсальной либеральной эгидой, а Александр Первый был борец с этим.

Европа будет в значительной степени увлечена прибоем радикализма, хотя я по-прежнему настаиваю, что в истеблишментской официозной части она будет штаб-квартирой традиционалистов.

А вот главным вопросом будет вопрос о России, о судьбе этого кастета.

Либо Россия будет кастетом в руках традиционалистов — этот пафос черного интернационала, черного мундира, но с другим контентом, с чужого плеча. Есть же люмпены, которые очень любят надевать на себя эсесовскую форму.

Либо же Россия будет мощной цитаделью радикалов, как это почти получилось в 1920-е годы, только с сильнейшей коррекцией сакрально-идеологического плана. И весь потенциал 1/7 мира будет отдан на то, чтобы быть рекреационным и производительно-научным полем, помогающим радикалам выстоять в колоссальной Всемирной

гражданской войне, которая будет идти много поколений, возможно, около десяти.

Я не думаю, что мы выстоим в этой войне без России хотя бы по одной причине. На стороне традиционалистов законы глины, законы субстанции, законы бытия, потому что мы вброшены в темницу бытия. Бытие, Великое существо играет само за себя, а мы-то играем за Дух, который здесь присутствует в ничтожно малой степени. Если у нас нет куска глины, который мы себе вырезали как опорную базу против остальной немеряной глины, то у нас и шансов нет.

Я считаю, что Россия — это та глина, тот плавучий остров посреди болота, без опоры на который мы будем просто задушены в колыбели. Я говорю о территории — 1/7 от Балтики до Сахалина.

Отношение к советскому. О попутчиках. Ислам и джамааты. Не играть в чужие игры

Меня с детства, с двенадцати лет примерно, когда я начал мыслить самостоятельно, преследовала идея зеркальной анфиладности реальности. Что универсум построен по принципу зеркал, в которых отражается, повторяясь, всё целое, что есть во всех зеркалах, и это повторяется и собирается в каждом. Динамически идет рост содержания в каждом из зеркал. А зеркала в плане восприятия безграничны, они резиновые.

И я играл с этой идеей.

Например, что зеркала, находящиеся на разном расстоянии, посылают свой контент друг на друга с разной скоростью. Одно зеркало находится близко и сразу отражается в соседнем, а другое зеркало находится в двух световых годах или в световом месяце, и отражение приходит через месяц. И хотя отражается одно и то же, но за счет задержки создается впечатление, что имеет место какое-то рассогласование, впечатление пестрой толпы. Кто-то завязывает шнурок, а кто-то уже после этого встал, а кто-то и рукой помахал. Это всё этапы одного и того же, но пришедшие с разной скоростью. У меня это было параллельно с условным панлогизмом. Идея зеркальности подтачивала и размывала веру в полную закрытость, в концепцию абсолютной идеи...

Я считал себя гегельянцем. Для меня это означало веру в панлогизм, что всё было отражено в чистом интеллекте. Не было ничего, что не имело бы своего присутствия. Всё было покрыто — никаких закоулков, никаких темных углов, ничего.

При этом 90 % гегелевского контента мне было чуждо. Там же диалектически эта идея проходит через тезис, антитезис и синтез и приходит к конкретному современному человеку.

Тогда это всё мне было неинтересно, потому что мое гегельянство останавливалось на концепции чистой идеи, идеи как синонима Бытия.

Вот чистое и абсолютное Бытие — это и есть Идея.

Есть еще идея Ничто. При этом идея Бытия и идея Ничто абсолютно тождественны друг другу. Бытие и Ничто — две половинки одного глобального гештальта, который и представляет собой абсолютную идею. В своей чистоте они ничем не наполнены, они предшествуют любому наполнению. Чистое Бытие настолько пусто и стерильно, что равно идее Ничто.

Именно это меня интересовало, на этом останавливался. Остальное — выход на гегелевский анализ права, истории — было уже неинтересно.

Идея Бытия как идеи и моя идея зеркальной анфиладности жили параллельно.

Потом с Мамлеевым были очень серьезные споры. Каждый раз, когда мы встречались, мы спорили, покрывает ли панлогизм всю реальность или есть «внелогичные» закутки, по поводу которых абсолютной Идее вообще нечего сказать.

Пока я защищал позицию панлогизма, у меня было видение Великого Существа, распятого на бесконечной расходящейся паутине миров. И что где-то между распятым существом и дальней периферией, где всё становится настолько мутным, что не имеет значения, потому что форма исчезает. В середине же форма сохранялась, но при этом Великое Существо было достаточно далеко, что давало шанс на зазор, на свободу, на то, чтобы сорваться с того крючка, на котором распято Великое Существо. Великое Существо — это концентрация абсолютной несвободы.

Оно само по себе абсолютная несвобода и разносит эту несвободу повсюду.

После этого Гегель отпал как сухая корка с болячки. Здесь не было ничего, касающегося абсолютной Идеи, но она перестала быть актуальной. Это был еще предгеноновский период.

Актуальной темой моей биографии, темой моей философии для меня является мое реальное отношение к Советскому Союзу, к советскому феномену.

Советский Союз, советский дух, всё советское было для меня абсолютно неприемлемой реальностью.

Я пришел к ощущению, что я всё это ненавижу, на очень раннем уровне. Это было связано с тем, что я пережил советское как женское.

Хрущевское время, мне девять лет, 1956 год. Вдруг я понял, что именно здесь концентрируется моя ненависть. Для меня, для маленького мальчика, по моему глубочайшему интуитивному выбору, насилие — духовно, а жажда мира — подлая специфика раба.

Рабское состояние эксплицитно отражено в женщине, женщина — враг мужчины. Наиболее проявленное в мужчине состояние женственности — это состояние раба. Мужчина как раб — это мужчина, который повержен, принужден, кастрирован.

Дискурс, который вела советская пропаганда, я воспринимал именно как кастрационный дискурс, женский дискурс. Для меня это сразу четко оформилось.

Я выбрал в качестве своего поводыря Гераклита за то, что он сказал, что вражда — отец вещей. Эта фраза стала моим фундаментальным слоганом, которым я руководствовался. Она привела меня, как неопытного мальчика, к социал-дарвинизму, к поверхностному ницшеанству.

Между девятью и 12 годами я исповедовал культ насилия, жестокости, войны, господства, ненависти к человеческим поискам комфорта и культу безопасности. Все качества, которые мною философски отторгались, воплотились для меня в феномене советской реальности, реальности рабской, женственной.

Экзистенциально я же понимал дискурс о мирном сосуществовании как аутентичный.

Сегодня принято считать, что это была пропаганда, разводка агрессивной советской империей западного человечества.

В одной Жениной песне есть строчка — «обожал он сражаться за мир».

Я и по сей день полагаю, что мирное существование — реальная подоплека и психологии, и гештальта кремлевских старцев.

Хрущев, Маленков и другие реально были заточены на конвергенцию, мирное существование, на всяческий позитив,

на хозяйственность. Стоит вспомнить лысого Никиту Сергеевича в вышиванке с кукурузой в руках, как всё об этом человеке становится понятно.

Больше всего на свете эти люди боялись реальной конфронтации, реального взятия на излом их с их ситуацией, и хотели бы продолжать вот такое свое существование.

Как говорит Гегель, господин и раб отличаются тем, что господин идет навстречу смерти, а раб хочет от нее убежать³¹⁰.

Поэтому Советский Союз страшно не любил тему финала и злился, когда Мао говорил, что ядерная война, ядерная бомба — бумажный тигр, а половина человечества — плата за коммунистическое будущее.

Позднее Никсон или Рейган полагали, что есть вещи поважнее, чем жизнь, и это здесь вызывало истерику.

Советские были рабами и кончили коллапсом, как рабы, вставанием на те колени, с которых они непрерывно до сих пор встают. Скользят и падают на лед, как гуси.

Советский Союз был для меня предметом абсолютного отрицания. Но когда он кончился, настал период с 1989 по 1993 год для осмысления и оценки.

Раньше я не хотел разбираться в том, что в Советском Союзе есть какие-то этапы, аспекты, история, подистория. Что есть троцкизм, который ставил перед собой совершенно другие задачи. Что между Хрущевым с кукурузой и пламенным Львом Давыдовичем лежит пропасть.

Я не хотел в это вникать, я это отрицал полностью, хотя я изучал марксизм, марксистскую диалектику с седьмого класса.

Первый том «Капитала» я прочел в 15 лет с карандашом в руках. Не только прочел, но и понял. У меня есть этот вкус, это ощущение.

Когда я его читал, я видел, что этот текст — гениальный, что там колоссальным образом сконцентрирована логика, метод описания действительности, очень качественный и обладающий генеративной

способностью. Он порождает политику, политическую реальность. Она, конечно, может быть сниженной, может быть совершенно другой, проэволюционировавшей в иную сторону, но в ядре «Капитала» мысль восхищала своей плодотворной напряженностью и ясностью. «Гегеля» («К критике гегелевской философии права» Маркса) и «Немецкую идеологию» я тоже читал. Некоторые фразы стали моими личными мемами.

«Мы решили предоставить эту рукопись грызущей критике мышей», пишут Маркс и Энгельс по поводу черновика «Немецкой идеологии».

Но это теоретический уровень.

На практическом уровне вокруг меня был совок, и этот совок мной отрицался.

В 1993 году произошел финал — расстрел Белого дома.

И я увидел, что в совке наличествовал диалектический процесс, который и привел к капитуляции, к тому, что я ненавидел, к женской жажде выживания, к женской ненависти к насилию, женскому неприятию огня, который жжет и разрушает плоть, к женскому бегству от смерти. Это приводит к капитуляции, к рабству, к вставанию на колени, что и закончилось поражением в Холодной войне.

Может быть, мне даже совестно признаться, но мне не понравилось быть гражданином страны, которая является страной третьего сорта.

Ненавидя советскую власть, я тем не менее чувствовал себя нормально, будучи, условно говоря, гражданином сверхдержавы. Ненавидел ее, отрицал ее, я был антицезарист в Римской Империи. Наверное, такое состояние и Владимир Ильич испытывал, потому что по некоторым моментам можно понять, что Ленин болезненно относился к каким-то ущемлениям страны.

Когда оказалось, что Россия стоит на коленях, я стал думать, что за динамика такая, которая от понтов по поводу мировой революции привела к жалкой позе на четвереньках. И я вынужден был углубиться в тему.

Я стал различать ленинизм и сталинизм, я увидел сталинизм, как его описывал Троцкий, — как термидор, как контрреволюцию.

Тут сложный момент, потому что, с одной стороны, я ощущал себя как радикал и революционер, противостоящий status quo, а с другой стороны, внутри Совка, пока он еще не рухнул, я находился на крайне правой позиции. Но крайне правые экстремистские позиции в своем пределе лучше всего выражены Юлиусом Эволой, Геноном, той моделью, которая в конечном этапе является абсолютизацией status quo, абсолютизацией общественной пирамиды, — в основе нее принцип иерархии, принцип господства, но диалектически это связано с тем, что подлежит отрицанию, потому что в нем абсолютно подавлен, заглушен и уничтожен момент трансцендирования.

Традиционалистский идеал — платонический абсолютизм, изощенный сложный пантеизм, абсолютная западная философия тождества.

Пантеизм ведь сложен.

Есть пантеизм Платона, но диалектика природы Энгельса — тоже пантеизм. Самое главное, что пантеизм не предполагает нечего, выходящее за пределы бесконечности, которая дана здесь и теперь. Эту бесконечность можно рассматривать как чисто спиритуальный Абсолют, а можно рассматривать как материю, субстанцию. И там, и там в основе лежит субстанциональность, которая, как море разливанное, нигде и никогда не кончается.

Спиноза был пантеист, но с установкой, что Бог есть природа.

А на другом конце мы находим крайне изощенные разреженные формы. Какая разница? Когда я для себя открыл, что диалектический материализм является скрытой формой мистицизма, многое поменялось в моей оптике.

Генон-то забивал мне башку тем, что мир идет по инволютивному пути, что мир дегенерирует от золотого века к железному, что от великолепной иерархии он движется к власти шудр.

А внимательное изучение, наведение зума показало, что нет, что, хотя какие-то внешние движения идут, но ничего не меняется. Бытие реализует те возможности, которые в нем заложены изначально в его

Золотом Полюсе. Именно в Золотом Полюсе есть тот омерзительный негатив, который распускается пышным цветом в его конце.

Советский режим диалектически содержит в себе полюс бунта, отрицания и вопля о неприятии, и это очень глубокая традиция.

Еще на раннем этапе я познакомился с работой Каутского по истории социализма от Платона до анабаптистов и от анабаптистов до наших дней — несколько томов, переведенных на русский язык до революции.

Оказалось, что тема революционного вызова красной нитью проходит через всю историю на серьезном религиозном уровне.

С другой стороны, в совке заложен глубочайший конформизм и воля к тому, чтобы кушать, к тому, чтобы жить, — жить здесь, жить хорошо. И всё это прикрыто диктатурой пролетариата.

Какой уж там пролетариат, какая диктатура.

Я видел из своего окошка во дворе пролетариат. У нас во дворе был гараж, там копошились в комбинезонах работяги, шоферыги, и бабушка запугивала меня, что я буду одним из них, если я не совершу над собой сверхусилия.

Какая там диктатура пролетариата. Где мой дед и где эти шоферыги. Его шофер Пискулин носил к нам ящики с икрой и виноградом. Этого Пискулина я никогда не воспринимал как представителя пролетариата, осуществляющего диктатуру, — даже когда я узнал, что его дети или внуки на кого-то выучились, что кто-то из них, может быть, даже стал дипломатом. Для меня это было неприятным парадоксом, что вот кухаркины дети³¹¹ кем-то стали. Я всё это всерьез не воспринимал.

Я не мог принять вызов в адрес существующего, в адрес Бытия, как связанный с социально левым, как связанный с низами, как связанный с социальной несправедливостью.

Потому что положение несправедливости, положение раба, которого лишают свободы, не дают есть, для меня не было негативным аспектом сущего, серьезным или центральным аспектом сущего.

Протест против сущего не связан с тем, что человеческая жизнь плохо устроена, а с чем-то гораздо более глубоким, с фундаментальной болью.

С чем он связан, предстояло еще найти.

Уже в начале 90-х, когда я стал различать два тренда, два потока в советском феномене, я пришел к выводу, что можно рассматривать как попутчиков Савинкова, Каляева, Сазонова, Нечаева, Троцкого, IV интернационал. Они оставили определенное политическое и идеологическое наследство.

Но дальше, когда Россия стала играть с советской темой, отказавшись от советского социального пакта с населением в пользу олигархической шкурности, когда она стала лицемерно муссировать свое советское прошлое до поражения в Холодной войне, пришлось пересмотреть очень много и в этом направлении.

Пришлось пересмотреть что-то и в отношении революционной традиции, в красной нити вызова, которая проходила через древность, Средние века, Возрождение, пришла к Робеспьеру, к якобинцам, потом перешла к Марксу.

В какой мере это вообще не часть игры того Бытия, которое здесь генерирует, образует систему, являющуюся воплощением Бытия на уровне человечества?

Ведь мы же не имеем прямого выхода на Бытие.

У нас нет контакта с Бытием. Вместо прямого Бытия нам предъявлен социум, нечто, выступающее в качестве Рока, но в человеческом облики, — механизмы неизбежности, осуществляемые людским аппаратом.

У социума много измерений — семья, социальное положение, экономика. Всё это в сумме образует ткань неизбежности, ту органику, из которой берется коллективная судьба и индивидуальные судьбы.

Но это не Бытие, это тень Бытия.

Когда человеческий фактор встречается с реальным Бытием, то оно действует крайне деструктивно.

Встреча с Бытием — как встреча бензина с огнем или сухого дерева с огнем.

Бытие действует на свои отражения, на вторичные свои проекции в виде человечества, в виде общества как удар огня.

Поэтому контакт с Бытием сложный и опосредованный — через иерархию, аппарат власти, мистику и поповскую традицию, которая всегда является понтификатом, наведением мостов между отражением и оригиналом.

В конечном счете я понял, что Советский Союз был просто инструментом системы — не самым большим и серьезным, а вторичным. Вся революция в ее пафосе, романтизме, в ее молодой страсти является таким инструментом. Почему? Потому что она завязана на Бытие.

Горизонт любой революции онтологичен, он связан с Бытием, это коррекция Бытия, надежда на Бытие, взывание к Бытию, вера в потенции, которые содержатся в Бытии.

Это вера в то, что Бытие есть Благо, пусть это Благо сейчас скрыто, но это Благо нужно из Бытия как-то вытащить.

Это очень важно. Я на самом раннем этапе пришел к ощущению, которое сформулировал намного позже, а именно что Бытие есть зло, и Бытие есть ложь.

Оно проявляется маской, не самодостаточной, но вторичной маской подлинной правды, которая совершенно негативна.

В основе псевдоутверждения, которое за пределами всякого опыта, лежит дефицитность, привационность, глубокая богооставленность.

Изначально в самом фундаменте сущего есть богооставленность как безусловная данность. Эта богооставленность прикрыта позитивной маской Бытия. Бытие существует исключительно для того, чтобы заменить, компенсировать, скрыть богооставленность как бы богоприсутствием, при этом абсолютно фальсифицируя идею истинного Бога.

Бытие подает себя как бог. Для всех тварей Бытие и есть бог, и тем самым Бытие есть не что иное, как абсолютный враг Бога, Бога, который выступает отсутствующим субъектом в богооставленности.

Мы здесь, в этом мире, как отражения Бытия, находимся в тени, или в проекции, которую отбрасывает лже-Бог.

Мы находимся в тени сатаны.

Вот это ощущение было для меня врожденным, но оно раскрывалось постепенно. Сначала как ненависть к женскому, потом как ненависть к советскому как к воплощению женского. Потом мои горизонты расширялись, включая в себя и Запад, и Восток. Потом это уже включало в себя человечество, глобальную систему, потом включало в себя всю историю.

И наконец пришло полное понимание того, что Бытие в целом есть золотая маска на черном тлене, тлене, который описывает подлинное, не могущее состояться в силу того, что оно слишком огромно, слишком ускользающе, чтобы состояться. Оно не может быть предъявлено, вместо него предъявлено его отсутствие, предъявлена оставленность сущего им.

Сущее есть пустой сосуд.

Этот сосуд сделан из золота, он расписан и украшен, может быть даже эта пустота компенсирована тем, что туда налито что-то, что не имеет никакого отношения к тому, что там должно было бы быть.

Поэтому налитое туда — это всё равно, что пустота, более того — это хуже, чем пустота.

Это то, что называется покрывание истины ложью.

И Советский Союз был просто небольшим инструментом в играх системы, которая в свою очередь являлась стратегическим аппаратом сатаны, работающим, в частности, с этим миром как с одним из миров.

Но этот мир очень важен, потому что в этом мире живет человек, а человек — единственное во всех мирах создание, причастное Святому Духу. Святой Дух — это то, что должно было бы быть в этом сосуде.

В богооставленности есть два полюса: один полюс — тлен, чистая богооставленность, ужас богооставленности. А другой полюс — то, на что богооставленность указывает.

Богооставленность указывает на то, кто оставил, чем это оставлено.

Вот этот сакральный полюс — это Святой Дух, та самая точка смысла, которая является антитезой изначальному фундаментальному злу.

И вот я пришел к выводу, что только метафизическое трансцендентное откровение, которое есть Ислам, есть откровение Святого Духа, есть единственное, к чему можно обратиться и на что можно опереться в отрицании лжи Бытия.

Многие христиане в Серебряном веке были озабочены темой Третьего завета. В последующем такие деятели, как Эшлиман, Якунин тоже об этом говорили. Что, мол, первый завет — это завет иудеев с Богом, второй — завет христиан, а третьего мы ждем.

Мережковский об этом писал, Розанов, да мало ли кто еще.

Какими же они были слепцами, если не видели, что третий завет уже состоялся и состоялся именно в Исламе. Именно это и был завет со Святым Духом, о котором они мечтали. Более того, это прямым текстом сказано в Евангелии, что «я уйду от вас и придет к вам утешитель, который пребудет с вами до конца времен»³¹².

Для меня стало очевидным, что Ислам и есть реальный завет со Святым Духом, который конкретно в истории Ислама выступает в образе Джабраила, принесшего Логос, и в этом Логосе содержится непостижимая точка, превращающая пепел и тлен богооставленности в абсолютное утверждение, в бальзам и вино трансцендентной правды, ускользающей от опыта, ускользающей от восприятия. Именно это является тем канатом, за который надо держаться.

Мне стало очень многое понятно. И я поставил перед собой вопрос: а можно ли использовать попутчиков? Где стратегия Духа?

Для меня стало ясно, что исторический Ислам — это стратегия Святого Духа. Но стратегия — это же методология борьбы. А какие

можно использовать методы, если мы живем в конкретной ситуации?

Мы же вброшены в мир.

Например, можно ли бороться, будучи мусульманином, радикалом, выступающим против Бытия, с конкретным проявлением системы в данном месте и в данное время, оставаясь национал-социалистом? Радикалы же представлены очень многообразно. Они были среди красноармейцев, махновцев, национал-социалистов, национал-сепаратистов.

У нас же есть площадка для маневра. Мы же не можем тупо дудеть в одну дуду.

Это останется не понято, приведет к сектантской изоляции.

И тут я понял одну вещь. Именно это очень опасный путь, потому что «кушать», потому что жить, жить хорошо — это же либеральная идея...

Был интересный грек в Ливане. Мы с Орханом его посещали. Он родился в Бейруте — он не «греческий» грек. Его дед приехал в Бейрут. Он говорил по-гречески абсолютно свободно, это родной семейный язык. Говорил по-английски и по-французски. Даже по-русски что-то говорил. В юности вступил к фалангистам³¹³.

Потом от них ушел.

Дома у него вокруг стола собиралось такое jet society. Миллионеры швейцарские, иранские журналистки из Америки, настоящий хороший богемный свет. И там было очень комфортно.

В какой-то момент появляется Тьерри Мейсан³¹⁴ и говорит: «Предал, сволочь! Предал... Был на нашей стороне и вдруг оказалось, что перешел. Ну, слаб человек, а кто его знает. Короче, разоблачили его: с ЦРУ теперь работает...»

Первоначально он был греком, который работал с Насруллой, с которым Тьерри Мейсан тоже имел дело.

А тут проходит несколько месяцев, и Тьерри Мейсан несет его: «Оказался перевертыш, перешел на сторону врага, оказался связан с ЦРУ, предал».

В то время я сам к Тьерри Мейсану хорошо относился.

Но когда дальше наши отношения стали всё больше напрягаться, и когда я уже полностью понял масштаб того, какой Тьерри Мейсан гаденыш многомерный, многопластовый, сложный, стало ясно, что Тьерри Мейсан просто завербован рашкой в самом конкретном смысле, потому что он гонит то, что говорит Russia Today, и даже корректирует Russia Today, дает ей материал, чтобы она просто не наступала на шнурки, поправляет ее. Когда я сопоставил это с оценкой Тьерри Мейсаном того грека, я понял, что грека надо просто обнять.

Ведь какая интересная метаморфоза произошла и с самим Ливаном: нынешний Ливан ничего не имеет общего с тем Ливаном, в котором мы были с Орханом и в котором бывал я. Там всё поменялось, и нам даже туда и ходу особо нет.

Тогдашний Насрулла — это не нынешний Насрулла, это не тогдашняя Хезболла. Прежнего Ливана уже не будет, проехали.

Путин, Россия — всё это не имеет отношения к их метаморфозе. При чем тут Путин? На этого Путина положить с прибором. У них своя agenda, которая формируется не Путиным, она формируется в Тегеране.

Если бы они порвали с Ираном, то другое дело. Но при Насрулле они не порвут. Они продолжают воевать в Сирии.

Как только ты становишься игроком, который соглашается на предложенные игры, как только ты делаешь попутчиками своего проекта национал-социалистов или национал-сепаратистов, левых интернационалистов и прочих, — ведь всё это проекты Бытия, — ты начинаешь союзничать с теми или иными диалектически оппозитивными проявлениями Бытия для борьбы с Бытием.

Но частный случай не может победить целое.

Ты сразу занимаешь площадку, потенциально обреченную на поражение в силу своей частности.

Допустим, чтобы бороться с государством, ты идешь в криминал и становишься бандитом. Это вызов государству. Но есть ли шанс

у вора или бандита победить государство? Кончено нет. И в конечном счете мы видим, что преступность сходит с благородного пути «отрицалова», становится организованной преступностью, которая является одним из отделений правоохранительных органов, выполняющим грязные поручения, по закону не подходящие для носителей погон.

Так же дело обстоит и со всем остальным.

Тогда я понял, почему салафиты так негативно относятся к ихванам, почему в Исламе существует такое предубеждение к политическим играм, которые подразумевают адаптации политических методологий Запада — партии, выборы и всё подобное.

За такими инициативами стоит оправдательная риторика самого позитивного свойства: давайте, где есть условия, воспользуемся возможностью и создадим партию, которая включится в политическую борьбу, ведь дальше на этой площадке мы сможем что-то такое исламское развить.

Салафиты совершенно правильно отрицают подобный подход, потому что ты просто идешь к сатане, но вторичному, мелкому, иллюзорному, идешь к тени тени. Ты начинаешь с ним сотрудничать, приобретать черты этой тени тени, чтобы бороться с оригиналом, с могущественным сидящем на троне Люцифером. И становишься просто мелким чертенком, который показывает кукиш, причем показывает его тому, чьего когтя он не стоит, шерстинки с хвоста.

Это заведомо проигрышная позиция.

Понятно, что от отчаяния люди второго или третьего сорта, или, к примеру, лишённые статуса белые офицеры могут пойти в жиганы, но их путь — путь в расстрельный ров, путь в никуда.

Если мы думаем о победе, то быть попутчиком Райха, быть попутчиком ичкерийцев, басмачей, суфийского сопротивления, европейского сопротивления, консервативной революции — тупиковые пути.

Что же тогда остается? Здесь существует веер совсем других тактик, которые не переходят на платформу приспособления к чуждым

матрицам, чуждым гештальтам, на которых лежит откровенная печать онтологизма, откровенная печать Бытия.

Самым трудным уроком и самым очевидным в педагогическом плане является рассмотрение советского опыта, советской феноменологии в этом контексте: как быть мусульманину, который верит в Аллаха и действительно переживает Ислам в его внутренней правде не как призыв ко всему хорошему против всего плохого, а именно как радикальное неприятие всего?

Что такое отрицание идолократии, идола? Если быть последовательным, то отрицание идола есть отрицание всего. Это отрицание Бытия, потому что Бытие — это Тагут, его последняя метафизическая тайна. Тагут — не каменный идол, который ссылается на олимпийского бога. Тагут — это и есть Бытие, одной из ипостасей которого является совершенно реальный олимпийский бог.

Если ты идешь против Тагута, то можешь ли ты быть попутчиком ну хотя бы Коминтерна? Можешь, к примеру, поехать в 1936 или 1937 году в Испанию воевать с Франко? Или поддержать национально-освободительное движение? Ведь это же как бы параллельный путь, это облегчает борьбу. Совок же вкладывается, дает деньги и оружие людям, которые противостоят Британской империи.

Если я теоретически понимаю, что это фальшивый путь, и потом навожу зум на фактическую историю, на то, как это было, — я, к примеру, вижу историю партии Туде в Иране. Я вижу, как ту партию, которую создал троцкист Блюмкин, сдали и уничтожили, а потом создали партию Туде, которую тоже сдали и уничтожили.

И я вижу, как всё, что было создано Советским Союзом, создавалось для того, чтобы это сдать и уничтожить.

Я вижу, как закончили ихваны, которые долго-долго играли в партии, но в итоге их сдал и уничтожил сначала Насер, а потом его духовные последователи, включая Сиси.

В Алжире тоже ведь ихваны выиграли выборы в 1991 году.

Они постоянно выигрывают выборы, и их постоянно выводят из классной комнаты и зверски подвергают политическому геноциду.

Хорошее выражение — политический геноцид. Не этногеноцид, а именно политический — замочить всех ихванов, замочить всех мусульман и других «фашистов».

Любые попытки встать на площадку, используя попутчиков в борьбе с системой, обречены, потому что они метафизически фальшивы.

Всё, что есть в этом мире помимо чистого Ислама, — это проекции Бытия, но частные, и выглядят они как критика частного против целого. А если ты солидаризируешься с частным, то ты заранее обрекаешь себя на потерю своей позиции антитезы и на проигрыш целому.

Это, пожалуй, главное, что я вынес из анализа своего отношения к советскому феномену на протяжении почти 60 лет его изучения. Советского и постсоветского — это единый процесс.

В 1991 году никакой серьезной ломки или превращения одного в другое не произошло. Таков парадокс поражения в холодной войне. Парадокс в том, что когда страна проигрывает в горячей войне, как Германия или Япония, то наступает слом, а когда в холодной, как СССР, то история продолжается, но уже в зеркальной, извращенной форме.

Бороться — необходимо.

Но Ислам должен создать свои специфические политические формы, которые не тождественны ни нацизму, ни коммунизму, ни западной демократии.

Это совершенно специфические формы, в которые пусть приходят и играют другие.

Не мы должны прийти и играть на западных или восточных площадках, а другие должны прийти и играть на нашей площадке.

Моя идея состоит в том, что внутри Уммы власть должны взять новые политические джамааты как ячейки партии, состоящие из пассионариев. Где принцип выдвижения руководства основан на коллективном признании большего уровня пассионарности в тех, кто выдвигается.

Чем больше человек жаждет смерти, тем более он достоин власти, и тем больше на нем должна быть ответственность, чтобы вести джамаат к победе.

Джамааты должны быть сетью, подобно масонским ложам, они должны управлять человеческим морем мусульманской общины.

За пределами мусульманского мира тоже будет формироваться сеть джамаатов — «трансграничный халифат», о котором говорил Сиддики.

И тогда униженные и оскорбленные всего мира придут к джамаатам, придут к мусульманам, потому что за мусульманами будут стоять эти структуры, пассионариев управляющие процессом.

Следующий этап — это диверсификация методов борьбы.

Где-то может быть конфронтация, как в Сирии, где-то прямой нажим на лидеров куфра.

«Избивайте руководителей неверия, ибо может быть те, кто следуют за ними, одумаются и изменят свой путь»³¹⁵. Хороший тезис.

Не надо играть в чужие игры. Другие пусть приходят, ищут заступничества, ищут союза и принимают те формы, которые мы им предложим.

Это единственный путь.

Амин.



[Не играть в чужие игры \(YouTube видео\)](#)

Послесловие

Как-то Гейдар сказал:

— Дугин считал, что надо ставить камеру и просто записывать все наши разговоры — и это войдет в историю мысли. И вообще войдет в историю.

В разные времена я пыталась включать камеру в домашнем кругу, но на присутствующих нападала скованность, и Гейдар просил камеру выключить.

В 2012 я оказалась с Гейдаром и Дугиным в одной поездке. Вечерами в лобби отеля они сходились и разговаривали друг с другом, два человека, которые политически, идейно разошлись и составляли острую противоположность друг другу.

Вокруг, да, пожалуй, на земле не было никого, кто мог хотя бы примерно понять, о чем они говорят, не то чтобы вклиниться. Было видно, какое наслаждение получает Гейдар, когда его мысль не требует адаптации.

Весной 2015 года Гейдар внезапно сказал:

— Вы должны написать обо мне книгу.

Сказать, что я онемела — ничего не сказать. Предложение ошарашило. И что говорить в ответ? Не могу? Не хочу? Не сумею? Любой рассказчик о Гейдаре упрощает и портит его мысль.

Возможно, кто-то в будущем. У кого будет дистанция. Пока — нет. Пока пишут что-то беспомощное или те, кому Гейдар застит свет. Как браться за книгу о том, с кем 20 лет ежедневно сверяешь всё?

Что-то такое я плела.

Мы жили через улицу, навещались друг к другу.

Гейдар отдыхал за такими разговорами. Это развлекало его, а в последний год отвлекало от болезни, о которой он не говорил.

К книге Гейдар несколько раз возвращался, но я не видела перспективы у этого задания.

Но была одна тема, которая вывела. Герцен помог.

Много лет я докучала Гейдару цитатами из «Былого и дум». Из какого-нибудь далека могла спросить про Мадзини, Гарибальди или Бенкендорфа. Гейдара Гарибальди раздражал своим масонством, а куда острее его интересовали Бланки и Достоевский, Герцена же он числил пыльным автором третьего плана, устаревшим либералом ушедшей эпохи, не достаточно радикальным, чтобы быть актуальным, карикатурным гражданином кантона Ури, персонажем Достоевского.

И вдруг Гейдар взял с полки томик Герцена, открыл его и пришел в восторг от этого текста. И меня осенило.

— Вы должны надиктовать новые «Былое и думы» для новых людей, которые вот сейчас задыхаются в новом безвоздушном пространстве.

Примерно такое я сказала.

Книжка Герцена вроде бы о частной жизни, о дружбе, о горечи любви и потерях, о детской клятве под виселицей декабристов, о смешной родне, о ярких и обаятельных современниках, которые ушли как тени, о том, как этот человек стал в одиночку против необоримой мощи полного сил, налитого соками левиафана — вроде бы уютная хроника, а поколения вдумчивых детей были вырваны благодаря ей из лап времени.

Что говорить, я любила эту книжку и могла часами о ней заливаться соловьем.

— Со времени тех «Дум» 200 лет прошло. Всё изменилось. Всё изменится еще сильнее. Это и будет та самая книга.

Гейдар согласился. Неожиданно быстро.

Кто знал Гейдара, тот всегда поражался яркости его речи. А когда он диктовал, текст не нуждался в редактуре.

Рассказы Гейдара превращались в представление. Он описывал людей и ситуации так, что всё оживало перед глазами — лица, мимика, жесты, обстановка, дух времени.

Он часто вспоминал те или иные ситуации, людей, Южинский, Таджикистан, но не видел смысла более или менее системно всё это записать. Разве что, когда умирали друзья его юности, кто-то решал собрать книжку, и Гейдар с некоторым внутренним сопротивлением отдавал несколько страниц своих заметок, надиктованных к сборнику.

10 декабря 2015 года мы с Гейдаром и Русланом записали ролик на полчаса, который называли «В чем проблема уммы». Вот этот ролик и задал тон книге.

Мы набросали план, обсуждали его, переделывали. Я не очень-то представляла, как всё пойдет.

Гейдар сказал:

— Начнем. Я готов. Приходите.

И вот 28 декабря 2015 года я явилась к Гейдару с треногой и камерой.

— А камера зачем? Мы же просто пишем на диктофон.

Как-то я сумела обосновать, зачем писать именно на видео. Во мне крепко сидело, что записывать следует именно так.

Иногда мы записывали по полчаса, иногда по часу или по два, не зная, что и как получится и получится ли. И называли это всё поначалу «наши былые и думы». Гейдар считал, что у Герцена неудачное название книги, которая глубже «дум» и интереснее «былого».

Гейдар был уверен, что работы не так много, уложимся за месяц. Но нам не хватило отпущенных ему последних 11 месяцев. Мне не хватило.

Если бы вернуться в тот декабрь, если бы знать, что это наше последнее время здесь, что это его последний год.

Думаю, он знал.

Гейдар ездил на эфиры, раз в неделю ходил на радио Медиаметрикс, считай, специально для него организованное, где, по сути, он читал 25 часовых лекций. Уезжал ненадолго проветриться — да, весной 2016 года он еще чувствовал себя

достаточно в силах, чтобы поехать к морю, где ему становилось гораздо лучше, чем во всё более чужой Москве...

Ну, и я уезжала, приезжала, Кавказ, Азия.

Если б знать.

Мы продвигались по нашему плану. И казалось, много времени впереди, а эта работа помогает Гейдару отвлечься от боли.

Боль Гейдар продумал и прочитал о ней лекцию — законченный шедевр, по странной прихоти издателя не включенный в книгу «Разговоры с Джемалем».

Всё у Гейдара шло в топку на разогрев его мысли — боль, болезнь, переписка, посиделки, чаепития.

Кто видел, не забудет.

«Каждое засыпание так мучительно, иногда кажется, что сойду с ума. Лучше всего заснуть перед монитором: в постели — это пытка. Благодарю Аллаха (С&Т), что послал мне это испытание», — написал мне Гейдар.

В нем развита была деликатность, не позволявшая ему выражаться прямее. А следовало понимать, как сигнальную ракету.

Многих я просила записывать без меня.

Мой сын подошел к делу со всем тщанием, выставлял студийный свет, вешал хороший микрофон, строго шел по плану и пунктуально заносил номера файлов и их содержание в красивую черную тетрадь.

Да, есть у нас и такие, качественные записи, по-взрослому организованные. Не могу их смотреть до сих пор. От записи к записи Гейдар всё слабее. И надо было это замечать тогда. Надо было, да.

Если что и ценил Гейдар в материальном мире, так это словари и блокноты с шероховатой желтой или серой бумагой, на которой хорошо писать чернилами.

Для записей мы завели самую красивую тетрадь, что у меня нашлась.

Она не заполнилась и на четверть.

Несколько раз на запись приходил Орхан. Разговор уходил далеко от нашего плана — в Китай, поэзию, к Филиппу Македонскому, «к гиксосам» — своего рода мем бесед отца с сыном. Они спорили и рушили всякую последовательность.

Больше ни Гейдар, ни Орхан не разговаривают с нами. Их споры наполнены теперь особым смыслом. Хорошо, что я не нажала «стоп». Теперь ценно всё, включая гиксосов.

Иногда на записи забредали люди из прошлой жизни Гейдара. Это было странной многочасовой иллюстрацией, что Гейдар не из них, не из того и не из этого времени.

Поразительно, но мы успели почти всё. Выполнили почти весь план.

Гейдар всегда знал, что именно он хочет сказать, касалось ли это эфира, интервью или этой книги.

Удивительная способность отливать слова в законченную форму.

Гейдар назвал эту книгу сам. Название появилось к весне 2016. Гейдар позвал меня и сообщил о названии. Мы ничего не снимали и просто разговаривали. И потом Гейдар написал: «Я вспоминаю наш вечер. Мне кажется, хоть он и не проходил на фоне горных пейзажей, в нем было райское качество духовной семьи».

«Вы не возвращаетесь. Мы не делаем нашу книгу. Вы забросили наш проект?» — написал мне Гейдар на Кавказ, куда в общем-то сам меня и заслал. Так я узнала, что он относится к ней серьезно, несмотря на множество препон, которые возникали из-за его занятости, недомогания и прочих сложностей.

В конце августа 2016 я уехала в Дагестан, рассчитывая на осенних каникулах доделать оставшееся. Всё у нас было расписано.

13 октября 2016 года Гейдар написал мне, что улетает в Алматы лечиться на две недели.

Я прочитала эту СМС-ку на высоте 2000 м посреди немыслимой ледяной красоты и, задыхаясь от накрывшей ясности, позвонила ему:

— Мы не увидимся? Мы больше не увидимся?

Эти паузы Гейдара, его ирония.

— Ну почему не увидимся? Говорю же — на две-три недели, максимум месяц. Мы должны закончить нашу книгу.

Я приехала в конце октября в Москву, прошла мимо дома Гейдара — и в моей голове возникло отчетливое и бесполезное знание, что больше не увидимся.

Мы созванивались, подолгу разговаривали и переписывались.

Гейдар шутил. Рассказал, как ободрил Орхана: «Без папки не останешься».

А мне написал: «Скоро некому будет рассказывать про снег в горах».

Орхан тогда сказал:

— Раньше времени не начинай. И вообще, слезы — бесполезная вода.

21 ноября Гейдар написал мне: «Боль и смерть взаимоисключают друг друга».

1 декабря мы разговаривали в последний раз.

5 декабря 2016 года в 3.45 утра мне позвонил мой сын и сказал, что Гейдар умер в Алматы.

Собираясь с силами, мы несколько раз устраивали мозговой штурм, чтобы понять, что и как нам теперь предстоит делать. Архив, фильм, книги, какие книги...

Орхан сказал:

— Никитой Высоцким я не буду.

И фильм мы из плана вычеркнули. Потому что никто не мог рассказать о Гейдаре, кроме него. А ему это было невыносимо, и боль никуда не девалась.

Я спросила его, что он думает о «Садах и пустошах» и прочитает ли он ее целиком как цензор.

— Если там будет цензура, я читать не буду вообще. Никогда. Следует издать то, что Гейдар считал нужным сказать. Что он сказал. Только так, и никак иначе.

Орхан считал, что эта книга — самая важная, что мы должны издать. Потому что она создает удивительный эффект присутствия Гейдара и станет отмычкой для всего, что он оставил. Особенно для тех, кто не был знаком с Гейдаром лично. И что эта книга — совсем не *belle lettre* и не *memoire*.

Полгода я не могла приступить к ней, не могла заставить себя и не могла никому доверить расшифровку десятков часов видео.

Многие предлагали помощь. Но всё было не то, пока не написал Иван Никитин, и почему-то этому человеку я поверила, да и вообще поверила, что всё получится.

На расшифровку ушел год.

30 июля 2018 года в Африке был убит Орхан.

Эту книгу он прочитать не успел.

Что сказать? У меня этих слов нет.

Джемали покинули нас. Две невосполнимые потери для гигантского числа людей.

Две благородные фигуры, две необычайные личности. Без которых очень трудно тем, кто сверял с ними часы ежедневно.

Однажды Гейдар написал мне:

«Мы свое возьмем! Союз — Вы даже не подозреваете, какой вокруг меня союз!»

Есть парадокс: мой дискурс крайне сложен и не линеен. Почему-то, однако, он нужен “людям” как пресловутая соломинка. За него хватаются, потому что он превращает... Причастность к этому дискурсу превращает бомжа в героя и господина, в участника мистерии.

Я сам не до конца понимаю масштаб.

И то, что я открыл новую главу в истории Духа — это точно.

*Поэтому у нас с Вами — праздник. Римский триумф! А удушены
будут пленные вожди покоренных болотных племен. Всё прекрасно...
Просто жаль нашего с Вами драгоценного общего времени».*

Я повторяю эти слова разным людям. И себе я их повторяю тоже.

В книге много о друзьях и врагах, о пустых и дорогих людях, о насыщенном времени и времени потерь. В ней много о чисто философских решениях, о преодолении философии, детском неприятии советского, о противостоянии системе и Бытию. Всё, что Гейдар считал нужным сказать.

Мысль Гейдара тотально сносит шаблон.

Когда Гейдар придумал название, я не поняла, почему оно именно такое.

Теперь мне ясно.

Сады и пустоши этой жизни здесь, на бумаге. Вам, кому больно, и вам, кто переплавил свою боль в металл.

Надежда Кеворкова

Примечания

1 Орхан Джемаль (1966–2018) — старший сын Гейдара Джемалья, военный корреспондент. Был очень близок с отцом.

Работал в «Новой газете», «Русском Newsweek», «Известиях», «Forbes», на телеканале Дождь, был частым гостем на «Эхе Москвы», «Радио Свобода», освещал события на Кавказе с начала XXI века, в Грузии, Ливии, Украине, Афганистане, Сомали, Непале, Ливане, Палестине, Сирии, Мьянме. Обладал обширными познаниями в области подпольных, оппозиционных, криминальных структур и спецслужбистских организаций.

Был дружен с поэтом и издателем Ильей Кормильцевым.

Написал книгу о пятидневных событиях в Грузии 2008 года «Война».

28 июля 2018 года прилетел в Центральнаяфриканскую республику вместе с режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко для съемок фильма о российских наемниках частных военных компаний. 30 июля 2018 года все они были убиты.

Доклад о раскрытии убийства выпустила независимая расследовательская группа «Досье». Официальное следствие РФ и ЦАР бездействует.

Именем Орхана Джемалья названа Академия журналистской безопасности, основанная в 2020 году.

У Орхана остался сын Мансур

2 Дагват или да'ават — арабск. призыв, проповедь

3 Далиль — арабск. доказательство

4 Акыда — арабск. убеждение, вера

5 Ата — отец (азерб.). Орхан так всегда обращался к Гейдару при жизни

6 Сура 35, аят 18

7 Астагфируллах на арабск. — «да простит меня Аллах»

8 Сура 19, аят 98

9 Отсылка к пьесе Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» 1869 года

10 Академики по линии советской философии Павел Юдин и Марк Митин активно громили философию как дисциплину, Гегеля и тех, кто просто пересказывал азы немецкой философии

11 Академик Исаак Минц (1889–1991) — одиозный советский конформист, придал истории СССР предельно выхолощенный вид, вычеркнув из нее события и людей. Подписал коллективное письмо Сталину с просьбой депортировать евреев

12 Государственный институт театрального искусства

13 В Военной галерее 1812 года в Эрмитажа

14 Термин «совок» образован от английского «*the Sove*», обозначавшего всё советское, к 1960–70 годам вытеснил в обиходе эмигрантский термин «совдепия»

15 Юрий Елагин (1910–1987) — скрипач и писатель, во время войны находился в немецком лагере, позже в лагере для интернированных, в 1948 эмигрировал в США

16 Генрих Ягода (1891–1938) — комиссар внутренних дел. Снят с должности в сентябре 1936 года, когда его сменил Ежов и началась зачистка кадров НКВД, проводивших ликвидацию «правой» и «левой» оппозиции. На Третьем московском процессе обвинен в связях с Троцким и Бухариным и расстрелян

17 Пролы — темные работяги, пролетарии в романе Джека Лондона «Железная пята» 1908 года, его использовал Джордж Оруэлл в романе «1984» 1948 года

18 Сын Гейдара Орхан, обсуждая эти главы, удивлялся, что к нему, маленькому, Леонид Шаповалов спустя 20 лет относился с любовью и баловал его

19 Автор картины 1952 года «Опять двойка» — Федор Решетников (1906–1988)

20 Константин Юон (1875–1958) — академик, живописец

21 Рундук — ящик или большой ларь с поднимающейся крышкой, используемый как скамью

22 Нина, дочь Малхаза, дала своим детям фамилию Амилахвари, ее сын Лаша носит эту фамилию

23 Николай Амилахвари расстрелян в 26 лет

24 Вера Донская (1929–1984) — актриса Малого театра, ГАБТа и кино

25 Изабелла Юрьева (1899–2000) — советская исполнительница романсов

26 «Живой труп» — пьеса 1900 года Льва Толстого, опубликована посмертно

27 Соня Димитриевич — выдающаяся цыганская певица и танцовщица, племянница знаменитого цыганского певца Алеши Димитриевича

28 Внучатая племянница художника Михаила Врубеля (1856–1910)

29 Отсылка к роману Достоевского «Преступление и наказание» (1866)

30 Маленков после смерти Сталина в 1953 фактически стал главой СССР на посту председателя Совета министров, а в 1955 «подвергнут критике» и смещен с поста.

31 Особое лечебное заведение для высшей советской номенклатуры, с 1993 года относится к Управделами президента РФ.

32 Сахар и Хлеб — персонажи пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» (1905).

33 Термин «русские мальчики» в широкое употребление ввел Достоевский в романе «Братья Карамазовы», подразумевая молодых людей, занятых размышлениями и разговорами о «вечных вопросах»

34 Комсомол — коммунистический союз молодежи, идеологическая организация в СССР для лиц от 14 до 28 лет.

Без членства в ней было, по сути, закрыто высшее образование, наука и профессиональный рост

35 Основная политическая статья в сталинское время с 1926 года, присуждалась за широко понимаемую контрреволюционную деятельность. За нее давали расстрел или 10 лет лагерей. Отменена в 1961 году

36 Военно-промышленный комплекс — всё, что относится к «оборонке»

37 Короткометражный фильм «В одной знакомой улице» режиссера А. Козьменко, 1988 год, экранизация рассказа писателя Леонида Андреева «Иван Иванович»

38 Роман Гуль (1896–1986) — писатель, эмигрант. Участник Белого движения и Ледяного похода

39 Кубанская народная республика (1918–1920) — кубанские казаки начали движение за независимость с лета 1917 года. С 1918 года колебались между большевиками и белыми. Склонялись к союзу с Украиной. В 1919 подписали договор с Горской республикой, после чего Деникин приказал расстрелять всех, кто его подписал

40 Сексуальный скандал 1963 года в Британии, в результате которого военный министр Джон Профьюмо ушел в отставку из-за связи с Кристиной Киллер, предполагалось, что она продавала военные секреты сотруднику советского посольства Евгению Иванову

41 «Дело гладиаторов» — первый сексуальный скандал в СССР с участием высших чиновников, произошел в подпольном притоне на даче писателя Кирилла Кривошеина в Валентиновке

42 Соцреализм — особое понимание задач искусства, введенное в СССР в 1932 году. Искусство должно было быть идейным, понятным, простым, отражающим «роль партии» и «преобразования социализма»

43 Роман Якобсон (1896–1982) — лингвист, преподаватель, друг Маяковского. С 1920-х годов жил на Западе. Беспрепятственно посещал различные конгрессы в СССР

44 ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). Так в 1925–1952 называлась единственная и правящая партия в СССР. До 1925 она называлась РСДРП, РСДРП(б), РКП(б). После 1952 — КПСС

45 Цитаты из песни Александра Галича

46 Смерш — «Смерть шпионам». Так в 1943–1946 годах назывались отряды советской контрразведки с карательными функциями

47 Программа партии была напечатана в советских газетах 30 июля 1961 года, когда Гейдар переходил из восьмого класса в девятый, а принята на съезде КПСС 31 октября 1961 года

48 Сейчас — Лингвистический университет

49 В СССР институтское и школьное образование в старших классах было платным с 1940 по 1956 год

50 Отсылка к фильму «Джентльмены удачи» 1971 года

51 Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Польше, Литве и России. Возник в 1897 году. В России самоликвидировался в 1921

52 «Ящиками» называли в СССР секретные учреждения, институты, бюро, лаборатории, связанные с «оборонкой»

53 Женя — Евгений Головин

54 Собачья площадка — небольшая площадь, полностью снесенная в 1963 году при прокладке Нового Арбата

55 Пречистенка, 36. Особняк с 1926 года отдан под библиотеку, дом сгорел летом 2019

56 Пречистенка, 32. Сейчас школа носит имя Серова

57 Смоленская, 13/21

58 Роман Максима Горького, первая часть вышла в 1925 г., писал его до своей смерти в 1936

59 Роман Гюстава Флобера

- 60 Роман Лоренса Стерна
- 61 137 сочинений Бальзака, объединенных им самим под этим названием
- 62 «Ругон-Маккары» — цикл романов Эмиля Золя
- 63 Евгений Головин
- 64 Людвиг Тик (1773–1853) — немецкий поэт-романтик
- 65 soft — англ. мягкий
- 66 На жаргоне «куском» в советской армии именовался прапорщика
- 67 Иван Ефремов (1908–1972) — советский палеонтолог и писатель-космист, автор фантастического романа-утопии 1957 года о коммунистическом будущем «Туманность Андромеды». После смерти в 1972 был обвинен в шпионаже против Великобритании
- 68 Еремей Парнов (1935–2009) — писатель, разрабатывал тему «советской эзотерики»
- 69 experiences — англ. опыт
- 70 «Проводник душ» в греческой мифологии
- 71 Так в СССР назывались школы с расширенным изучением иностранных языков, математики или физики
- 72 Константин Иванович Поляков после института, как сказано в справке к его книге 2014 года «Арабский Восток и Россия», «долгое время находился на практической работе в странах Арабского Востока» и диссертацию защитил только в 1997 год
- 73 «Свободный диплом» означал освобождение от обязательного в СССР распределения на работу после института.
- В биографических справках о Козловском говорится, что он учился в аспирантуре при ИВЯ и оказывал услуги переводчика КГБ и аффилированным с ним структурам. В передаче на радио «Свобода» 21 ноября 1976 года он говорит, что диссертацию в СССР не закончил, а переводил для Международного отдела ЦК КПСС, в США уехал в 1974

74 Намек на мексиканскую художницу Фриду Кало (1907–1954)

75 Первые послабления режима начались сразу после смерти Сталина в 1953 году и связаны с именем Берия. Однако дело закончилось его арестом и расстрелом. В 1954 году был напечатан роман Ильи Эренбурга «Оттепель», который Хрущеву не понравился. Но название так и закрепилось за хрущевским временем, начиная с XX съезда в 1956 году, на котором Хрущев прочитал свой закрытый доклад «о культе личности» Сталина

76 Большая Никитская

77 Знаменитые запрещенные в СССР произведения английского писателя Джорджа Оруэлла

78 Тот, кто наверху, давит того, кто внизу

79 irresistible — с англ. неотразимый

80 От латинского «разложение», «распад»

81 С 1969 цыганский театр «Ромэн» переехал в гостиницу «Советская», которая представляла собой изуродованный и многократно перестраиваемый знаменитый дореволюционный ресторан «Яр», где с 1836 года выступали цыгане

82 Есть небольшая статья Игоря Золотусского 2002 года

83 «Бунтующий человек» — эссе Альбера Камю 1951 года

84 «Былое и думы», 1856 года

85 Фантастический роман Алексея Толстого 1927 года

86 Роман польского графа Яна Потоцкого 1805 года

87 Институт судебной психиатрии имени Сербского в Москве в Кропоткинском переулке, 23. Прославился методами репрессивной психиатрии

88 Матрос Наливайко — персонаж повести «Братишка» 1965 года Сергея Алексеева, автора детских книг про разные войны в духе советского патриотизма

89 Надиршах Хачилаев (1959–2003) — председатель Союза мусульман России, депутат Госдумы 1996–2000 гг. Убит в Махачкале. Дело не раскрыта

90 До 1995 года годность призывника к службе определялась документом «Расписание болезней». Статья «7б» — «умеренная психопатия»

91 Отсылка к рассказу «Друзья-товарищи» Николая Сладкова, одного из плодovitых авторов в приторном советском жанре детской литературы о природы

92 С хрущевского времени в столицу приглашали на заводы сельскую молодежь, давали им временное жилье. У заводов имелся так называемый «лимит прописки». Таких рабочих называли «лимитчиками» или «лимитой»

93 *animal farm* — англ. ферма животных. Аллюзия на роман Джорджа Оруэлла

94 Сейчас Мясная улица называется именем Талалихина

95 Эсер, участник боевой группы Иван Каляев, казнен за убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея, дяди императора. В историю вошла его яркая речь на суде в 1905 году, приговорен к повешению, от помилования отказался

96 Оппозиционный политик, выдвигал себя на выборах президента в Армении в 2003 году, знал участников московского армянского заговора с детства

97 Теперь Тверская

98 СМОГ — «Самое молодое общество гениев» — первая независимая в СССР литературная группа поэтов, отказавшаяся от госконтроля и партийной опеки, организована Леонидом Губановым в январе 1965 года. Печатались в самиздате. На них обрушились все виды гонений — от психушек до тюрем и ссылок

99 «Городской сумасшедший» на идише

100 Публичная историческая библиотека — Старосадский, 9

101 Майстер Экхарт — немецкий один из крупнейших XIII–XIV века

102 Ввод советских войск в Чехословакию в августе 1968 и демонстрация семерых на Красной площади в Москве против этой оккупации

103 Студенческая революция во Франции

104 Петр Григоренко (1907–1987) — генерал, занимался судьбой украинских оппозиционеров и крымских татар, за что был лишен военных наград, звания, а затем и гражданства СССР

105 Отсылка к картине Сурикова «Меньшиков в Берёзове» (1883), на которой изображено бывшее второе лицо империи при Петре I — Меньшиков, сосланный в глухой угол при Петре II

106 Евгений Кропивницкий (1893–1979) — поэт, художник, глава андеграундной Лианозовской школы в 1950–1970-х годах

107 Достоевский

108 Роман «Кошки-мышки» Игорь Холин писал с конца 1960-х, в 1970-х он был издан в самиздате и за границей, широко известен в богемной среде. В России напечатан в 2015 году, уже после смерти автора

109 См. примечание на стр. 106

110 Анатолий Якобсон в 1969–1972 годах был редактором подпольного бюллетеня «Хроника текущих событий», в 1973 эмигрировал, в 1978 покончил с собой в Иерусалим

111 Эссе 1968 года «О романтической идеологии». Сначала ходило в самиздате, в 1973 году было напечатано в Нью-Йорке

112 Есенину-Вольпину на тот момент 44 года

113 Заезженный сюжет российских СМИ зимой 2015–2016 годов. В сафари-парке в Приморье обитали тигр и отданный ему на съедение козел. В конце концов тигр сбросил козла со скалы

114 Петр Якир (1923–1982) — сын казненного советского командарма, с детства в ссылках и лагерях, участник диссидентского

движения. Драматизм его судьбы, доноительство и раскаяние вошли в историю. В 1973 году вместе с Красиным публично каялся на пресс-конференции по ТВ

115 Лена Строева — жена художника Юрия Титова, хозяйка известного московского, позже парижского богемного салона. Узница тюремной психиатрии. Трагически ушла из жизни в 1975

116 Священники Николай Эшлиман и Глеб Якунин в 1965 году написали «открытое письмо» с требованием прекратить вмешательство КГБ в дела церкви. Были выведены за штат и запрещены в служении

117 Жюль Мишле — французский историк XIX века, автор книги «Сатанизм и ведьмовство». В 1862 году написал работу «Ведьма»

118 В зарубежном православии царя и его семью причислили к лику святых в 1981 году

119 Охотнорядцы — торговцы в Охотном ряду. Полиция впервые натравила их на студентов в 1878 году. С тех пор так именовали погромщиков и черносотенцев в ручном управлении спецслужб

120 «Шиповник» — издательство в Петербурге в начале XX века. «Мусагет» — московское издательство символистов в начале XX века

121 «Да печатется» на латыни — цензурное одобрение Ватикана

122 Владимир Соловьев (1853–1900) — религиозный философ XIX века, сын известного историка Сергея Соловьева

123 Нина Стивенс (1912–2004) — русская жена американского журналиста Эдмунда Стивенса (1910–1992). В 1942–1949 годах и с конца 1950-х жили в Москве. Репутация этой четы, державшей богатый салон для официальной богемы, предполагала ее подконтрольность КГБ

124 lowlife — англ. дно жизни

125 Фантастический роман англичанина Герберта Уэллса 1896 года

126 Спецхран — закрытые для публики фонды в библиотеках СССР

127 *ressentiment* — франц. обида, горечь

128 Манвантара (санскрит) — мера времени, равная 308,6 (в индуизме) или 320 (по Блаватской) миллионам солнечных лет

129 *impetus* (лат.) — толчок, импульс

130 Лао-цзы — китайский философ VI века до н. э. Разработал понятие дао, то есть «пути»

131 Адвайта-веданта (санскрит) — «не двойственная веданта», индийская философская система, разработанная Шанкарой в IX века

132 Шанкара, или Шанкарачарья (788–820 или 866) — индийский мыслитель

133 Апория (греч.) — «безысходность», «безвыходность», невозможная логически безупречная конструкции

134 Георгий Гурджиев (1866–1949) — мистик, основатель обширной школы саморазвития, популярной до сих пор

135 Идрис Шах (1924–1996) — пуштун, родился в Индии, жил в Британии. Суфий и пропагандист суфизма на Западе, писатель, увлекался темой психологии, плотно вошел в мировую элиту

136 Роберт Грейвс (1895–1985) — британский посол

137 Григорий Котовский (1881–1925) — красный командир в гражданскую войну

138 Артур Аристакисян — кинорежиссёр

139 Николя Фламель (1330–1418) — французский алхимик, эзотерики предполагают, что он получил философский камень и эликсир жизни и, возможно, жив до сих пор

140 Фраза Катерины из пьесы Островского «Гроза», 1859 год

141 Анатолий Марченко (1938–1986) — диссидент. Совершил побег из лагеря, пытался бежать в Иран, отсидел в тюрьме шесть лет, написал книгу «Мои показания», за которую ему дали еще два года. В 1981 получил десять лет тюрьмы, умер на голодовке

142 Барон Юлиус Эвола (1898–1974) — итальянский философ, поэт, политический деятель. Был ранен во время бомбардировок. Воспел кшатрийский тип мужественности и воплощал его в жизнь

143 «Мои показания», 1967 год. Издана подпольно в самиздате

144 “YMHA-press” — зарубежное издательство, печатавшее запрещенные в СССР книги

145 Роберт Конквест (1917–2015) — англо-американский историк и писатель, занимался историей СССР. Его самая известная книга «Большой террор» 1968 года. Имела широкое подпольное хождение в СССР

146 Вергилий — римский поэт, спутник Данте в его путешествии по Аду и Чистилищу в «Божественной комедии»

147 Сочинители сплетен о Гейдаре Джемале в СМИ и интернете

148 Алексей Хвостенко по прозвищу Хвост (1940–2004) — поэт и бард, в 1977 эмигрировал во Францию

149 Юрий Андропов (1914–1984) — в 1967–1982 глава КГБ, в 1982 стал генсеком ЦК КПСС

150 A.k.a. — also known as — также известный как

151 Союз русского народа (1905–1917) — монархическая организация, имевшая представителей в Думе. Культивировала образ простого темного православного патриота, верного государя

152 Кардинал Иосип Сліпий (1892–1984) — глава униатской церкви (запрещенной в СССР) в изгнании

153 Кобольды — духи, гномы в мифологии Северной Европы

154 Знаменитый фильм 1970 года Бернардо Бертолуччи

155 Об этом персонаже есть глава Владимира Рынкевича «Ночь с инженером тяги» в книге памяти Евгения Головина «Где нет параллелей и нет полюсов», 2015 год

156 Гостиница на Моховой, напротив Кремля. Построена в 1900 году, в СССР считалась самым шикарным отелем для иностранцев

157 Александр Иванов-Крамской (1912–1973) — известный гитарист

158 Стихи Георгия Иванова

159 Стихи Николая Гумилева

160 Распределитель — в советское время неафишируемая система снабжения чиновников высшего эшелона власти продуктами, книгами и другими товарами, которые отсутствовали в магазинах

161 Главный герой романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»

162 Действующее лицо пьесы Островского «Гроза»

163 Федор Подтелков (1886–1918) — командир красных казаков в гражданскую войну

164 Последнее издание в 2019 году в московском издательстве «Традиция»

165 Давид Кугультинов (1922–2006) — калмыцкий поэт, обласканный советской властью

166 МОСХ — Московское отделение Союза художников

167 Обычный доход среднего уровня в позднем СССР — 120–140 рублей в месяц

168 Фильм Марка Донского 1949 года о Чукотке

169 Строчка из стихотворения Гейдара Джемалы

170 Лейтенант Глан — герой романа Кнута Гамсуна «Пан» 1894 года

171 Андрей Белый (1880–1934) — поэт-символист, автор романов «Петербург», «Белый голубь»

172 Михаил Ромм (1901–1971) — знаменитый и обласканный властью режиссер в СССР

173 Книга секретаря Гёте, изданная спустя четыре года после смерти поэта, в 1836 г.

174 Егор Гайдар (1956–2009) — экономист, вдохновитель ельцинских реформ

175 Корпорация Херох с 1968 года пробила в СССР, ее техника использовалась в ЦК КПСС и партийных институтах

176 Отсылка к сказке «Золотой ключик, или приключения Буратино» Алексея Толстого (1936)

177 «Обломов» — роман Ивана Гончарова 1859 года. Осип — слуга барина Ильи Обломов

178 Вадим Козин (1903–1994) — знаменитый тенор, арестованный в 1944 и сосланный в Магадан, где оставался до смерти

179 Валерия Гай Германика — режиссер скандального сериала «Школа»

180 Санкхья (санскрит) — школа индийской мысли, представленной в Махабхарате, где дух трактуется как производное материи. В классической санкхье дух и материя независимы

181 Авидья (санскрит) — отсутствие знания, неведение

182 Эссе Солженицына «Жить не по лжи!» опубликовано в самиздате в 1974. Автор призывал интеллигенцию не врать

183 В русском переводе 1996 года называется «Метафизика пола» (1958)

184 Густав Майринк (1868–1932) — австрийский писатель. Всемирно известен его роман «Голем» (1914)

185 Строка из стихотворения «Selige Sehnsucht» («Блаженное томление») из книги «Западно-восточный диван» 1819 года немецкого

поэта Вольфганга Иоганна Гёте (1749–1832)

186 Ахмад-кади Ахтаев (1942–1998) — теолог, врач, председатель Исламской партии возрождения (подпольная партия в СССР и легальная в 1991–1993 годах), амир Исламского движения Кавказа. Умер от внезапного инфаркта по пути на утренний намаз в родном селении Кудали (Дагестан). Считается, что это было первое медикаментозное убийство спецслужбами значимой фигуры на постсоветском пространстве

187 Роман Силантьев — религиовед, автор оскорбительных и клеветнических заявлений о христианах и мусульманах, а также лично о Гейдаре Джемале и Орхане Джемале

188 Леонард Шапиро (1908–1983) — английский советолог. Упомянутая книга опубликована в 1972 году

189 «Кащенко» — Московская психиатрическая больница № 1 на Загородном шоссе — заведение тюремного типа, практиковавшее методы репрессивной медицины, с 1922 по 1994 годы носила имя дореволюционного психиатра Петра Кащенко. Вошла в советский фольклор

190 «Черный орден СС» — фантастический образ, создан спецслужбами в 1960-х годах, приобрел черты живучего мифа благодаря советскому сериалу 1973 года «17 мгновений весны». Активно используется пропагандой до сих пор. Реальный Орден не имеет отношения к СС, фашизму, национал-социализму, неофашизму и неонацизму

191 Сергей Рокамболь (род. 1949) — художник-концептуалист, участник андеграундных выстав

192 «Епифанские шлюзы» — повесть Андрея Платонова 1927 года

193 Саид Абдулло Нури (1947–2006) — лидер мусульманского подполья в Таджикистане в советское время, лидер партии Исламского возрождения, во время гражданской войны возглавлял объединенную оппозицию, до 1997 года — по сути главный политический авторитет Таджикистана

- 194 «Хорошо, ладно, всё» на турецком
- 195 Каландар (на персидском и тюркских языках) — бродячий нищенствующий дервиш
- 196 Мазор (тадж. произношение слова «мазар») — часто посещаемая могила
- 197 Ныне Нуробод
- 198 Рассказ англичанина Герберта Уэллса «Дверь в стене» 1906 года
- 199 Роберт Фладд (1574–1637) — английский герметик, алхимик, мистик. Потомок кельского вождя. Член ордена розенкрейцеров
- 200 На русском языке эти слова приписывают Евгению Головину. При обилии мистификаций и недосказанностей, к которым прибегали эти необычайные люди, просто укажем на этот момент
- 201 *Mundus imaginalis* (лат.) — «мир воображаемый». Этот концепт развил Анри Корбен (1903–1978), крупнейший французский исследователь Ислама и исламской философии
- 202 Начало «Божественной комедии» (1308–1321) Данте
- 203 Анна Сниткина — последняя жена Достоевского, издавшая его наследие и отцензурировавшая свою с ним переписку
- 204 Польский фильм 1965 года по роману Яна Потоцкого 1805 года
- 205 Вячеслав Молотов (1890–1986) — министр иностранных дел СССР (1939–1949 и 1953–1956)
- 206 Георгий Жженов (1915–2005) — актер, сидел в ГУЛАГе
- 207 Тураджонзода (род. в 1954) — фактический лидер Таджикистана во время и после гражданской войны, Кази-колон (Верховный судья), заместитель амира Исламской партии возрождения
- 208 Козиет или казыят — подразделение муфтията

209 Пуантилизм — живописный прием рисования отдельными мазками. Возник во Франции в конце XIX века. Его использовали Камиль Писсарро, Жорж Сера

210 Садриддин Айни (1878–1954) — таджикский писатель, историк, академик. Роман «Рабы» издан в 1934 году

211 Мухаммеджан Рахими (1901–1968) — таджикский поэт. Словарь издан в 1954 году

212 Анубис — в египетском пантеоне божество с мордой шакала, взвешивает грехи на суде Осириса

213 Сангак Сафаров (1928–1993) — ставленник КГБ в качестве главы Народного фронта

214 Мухиддин ибн Араби (1165–1240) — мистик, богослов, автор концепции «вахдат аль вуджуд», то есть «единства бытия», известен как «величайший шейх суфизма»

215 Вирд — молитвенное задание шейха своему мюриду

216 Дуكان — торговая лавка, небольшой магазин

217 Кулоб — город, в русской транскрипции Куляб

218 Дугин

219 Эйн Соф (древнееврейский) — «бесконечное». В каббале синоним Бога

220 В этой безграничности любая точка, которую мы избрали, есть центр. На самом деле всё более сложно, но сейчас будем так говорить. — Гейдар Джемаль

221 Наталья Мелентьева и Руслан Айсин

222 Сура 3, аят 59

223 Сура 24, аят 35

224 Там же

225 Сура 36, аят 77

226 На 2016 г

227 Фоменко и Носовский — советские математики, в начале 1970-х годов развили теорию «новой хронологии» народовольца Николая Морозова о том, что вся история укладывается в 10 веков. Никогда не преследовались за свои взгляды

228 Хальянд Удам (1936–2005) — эстонский ученый, полиглот, историк. В 2007 посмертно в Эстонии издан первый эстонский перевод смыслов Корана, им сделанный, стал самой продаваемой книгой в стране

229 Яхья ас-Сохраварди (1154–1191 или 1208) — персидский суфий, разработал учение об ишраке. Был казнен в Алеппо за ересь (аллегорическое толкование Корана) по приказу сына Салахаддина, за что и получил титул «убиенный шейх». В числе его многочисленных работ есть и «Шорох крыльев Азраила»

230 Ишрак — «метафика света» или «учение об озарении» — суфийское учение о свете и мистическом озарении, разрабатывал его Сохраварди, а затем Мулла Садра

231 «Полеты во сне и наяву» (вышел на экраны в 1983 г.) и «Фантазии Фарятьева» (премьера на ТВ в 1982 г.) — советские фильмы, активно эксплуатировавшие самую фантастическую конспирологию, дискредитируя её

232 Грегор Штрассер (1892–1934) — социалист, участник «пивного путча» 1923 года, привел в НСДАП городскую бедноту и люмпенов. Был противником идеи расовой чистоты. Убит в 1934 году во время «ночи длинных ножей»

233 Малькольм Икс (1925–1965) — мусульманин, афроамериканец, борец за права чернокожих в США. Отвергал идею ненасилия в условиях государственного и расистского притеснения. Его убийство не расследовано. В СМИ популярна версия, что оно якобы связано с его разногласием с «Нацией Ислама»

234 Мирза Хазар (1947–2020) — переводчик Библии на азербайджанский. Эмигрировал в Израиль в 1974, отслужил там в армии. С 1976 работал в азербайджанской редакции радио «Свобода», а с 1985 по 2003 возглавлял её

235 Клаудио Мутти (род. в 1946) — итальянский академический ученый, эзотерик, традиционалист, издатель. Принял Ислам

236 Адам Вейсгаупт (1748–1830) — баварский ученый, профессор университета в Ингольштадте. 1 мая 1776 года основал тайный орден иллюминатов

237 Фридрих Штапс — сын пастора из Наумбурга, в 1809 году совершил покушение на Наполеона

238 Джавахарлал Неру (1889–1964) — первый премьер-министр Индии после распада Британской империи. Из касты кашмирских брахманов. Отец и дед двух премьер-министров — Индиры Ганди и Раджива Ганди. Сформировал образ политика XX века, устраивающего и Запад, и Восток: нерелигиозность, приверженность демократии и гуманизму, уважение к индийской мудрости, философии и духовным практикам

239 Orus Dei (лат. «Божье дело») — закрытый католический орден нового типа (без монашества), основан в 1928 году

240 Раджниш, известный как Ошо (1931–1990) — популяризатор индуистских духовных практик, плодовитый автор

241 Агриппа Неттесгеймский (1486–1535) — кельнский оккультист, астролог, алхимик, врач, юрист

242 Джордано Бруно (1548–1600) — доминиканский монах, изгнан из ордена, философ-пантеист, эзотерик. Сожжен на костре. Оценка его трудов чрезвычайно широка: от первооткрывателя в науках и гуманиста до сатанистов

243 Тихо Браге (1546–1601) — датский астроном, алхимик, астролог. На дуэли лишился носа. По его таблицам европейские моряки плавали до начала XIX века

244 Жюль Верн (1828–1905) — французский классик, придумал жанр научной фантастики

245 Жак Бержье (1912–1978) — писатель, полиглот, в соавторстве с Луи Повелем написал книгу «Утро магов» (1960)

246 Позор на таджикском

247 «Вертушкой» назывались и называются телефоны спецсвязи для номенклатуры

248 Хасан ат-Тураби (1932–2016) — мусульманский мыслитель и политик, влиял на президента Судана Омара аль-Башира в 1989–1998 годах, министр иностранных дел Судана и спикер парламента. Основал Хартумскую конференцию как постоянную площадку, объединявшую радикальные силы мусульманского мира. С 1999 года аль Башир стал преследовать Тураби за его несогласие с вечным президентством. Последовала отставка, домашний арест, в 2009–2011 годах тюремные сроки

249 Абдул-Рахман Халил оглы Везиров (род. 1930) — первый секретарь ЦК компартии Азербайджана в 1988–1990 годах

250 На площади Тяньаньмэнь в Пекине с 15 апреля по 4 июня 1989 были жестко подавлены студенческие протесты. По данным властей, убиты 241 гражданских. По данным разведки НАТО, убиты 6 тысяч гражданских и 1000 солдат

251 Рассказ Владимира Сорокина «Ватник» 1978 года

252 Цитата из «Братьев Карамазовых» Достоевского

253 Евгений Головин умер 29 октября 2010 года

254 Алексей Смирнов (фон Раух) (1937–2009) — до середины 1970-х художник, литератор. В СССР не печатался и не выставлялся. Основатель магического символизма. Его мемуары «Полное и окончательное безобразие» изданы после его смерти в 2015 году

255 В VI номере «Волшебной горы» в 1997 году впервые после самиздата была издана «Ориентация — Север»

256 Алексей Болдырев — в настоящее время доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ

257 Нелли Филипповна Шевченко — известный телевизионный режиссер, работала на ТВ с 1960-х годов, в том числе делала программы Гейдара Джемала «Ныне», еженедельные программы митрополита Кирилла и другие

258 Леонид Грач — в 1998–2002 председатель Верховного совета Крыма в составе Украины

259 «Исправление мира» на иврите

260 Атомная подводная лодка «Курск» затонула при не выясненных до конца обстоятельствах в августе 2000

261 Гиксосы — народ, завоевавший Древний Египет в XVIII–XVI веках до н.э.

262 Бегуны — одно из беспоповских направлений старообрядчества. Возникло около 1766 года. Дают обет странничества. Светскую и духовную власть считают чистым проявлением антихриста

263 Движение «Солидарность» основано в РФ в 2008 году Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым, Владимиром Буковским. Играло ключевую роль в протестных митингах 2011–2012 году

264 Фильм «Европа» Ларса фон Триера 1991 года

265 Сура 7, аят 12. Сура 38, аят 76

266 Эдмунд Гуссерль (1869–1938) — немецкий философ, учитель Хайдеггера

267 Михаил Менский (1939–2015) в 2011 году издал книгу «Сознание и квантовая механика»

268 Мулла Садр (1572–1640) — основоположник иранской философии

269 Фантастический роман Алексея Толстого 1922 года

270 См., например, работу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» 1909 года. Фидеизм — концепция превалирования веры над разумом. Обсуждение этого вопроса живо описал эмигрант-меньшевик Николай Валентинов во «Встречах с Лениным», 1953. После поражения революции 1905 года Горький, Богданов, Луначарский ушли в богоискательство, что Ленина очень раздражало и вызвало целую серию его выступлений. В СССР эти

работы Ленина превратились в обоснование борьбы с любой мыслью вне вульгарного рационализма

271 Сближение СССР и Запада, снятие революционной конфликтности и противостояния. Началось с конца 1960-х с «разрядки напряженности» между СССР и США и ограничения ядерных вооружений. Интересно, что конвергенцию в СССР поддерживал академик Сахаров

272 Вандейское восстание 1793–1796 — крестьянское восстание против Французской революции. См. роман Виктора Гюго «Девяносто третий год», 1874 года

273 «Широкая грудь осетина», «сброд тонкошеих вождей» — отсылка к стихотворению Осипа Мандельштама о Сталине «Горец» 1933 года

274 Сура 7, аят 17

275 Сура 36, аят 77. Сура 16, аят 4

276 Одиннадцатый тезис Маркса в «Тезисах о Фейербахе», 1845 год

277 Хаскала — еврейское движение с середины XVIII века за ценности европейского Просвещения, привело еврейство к выходу из гетто

278 Мозес Гесс (1812–1875) — приятель Маркса в юности, на которого оказал определенное влияние по части коммунистических идей, позже занялся концепцией сионизма и в 1862 году издал базовый труд «Рим и Иерусалим» о двух исторических расах арийцев и семитов

279 Книга американского политолога Джека Голдстоуна (род. 1953) «Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850», 2008 г.

280 Lee-Metford — английская винтовка

281 «Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином и не был язычником». Сура 3, аят 67. Ханиф (араб.) — вернувшийся, предавшийся Всевышнему, честный

282 Высказывание Ахмада ибн Ханбаля (780–855), основоположника ханбалитского масхаба

283 «Нахдж-уль-балага» (араб. «Путь красноречия») — высказывания Али ибн Абу Талиба, собранные Шарифом Рази (970–1015)

284 Ахмад аль Фаруки Сирхинди (1564–1624) — правовед ханафитского масхаба, шейх Нахшбандийского тариката, вел политическую борьбу против шаха Акбара в империи Великих Моголов

285 Паллиатив (фр.) — термин, обозначающий полумеру, временное решение

286 Деобанди — мусульманское движение в британской Индии, действовало с 1866 года, возникло после поражения антиколониального восстания сипаев 1857–1859 годов. Название происходит от города Деобанд

287 Данный вопрос подробно разобран в книге «Исламская интеллектуальная инициатива в XX веке» 2005 года. Книга является сборником исследований научной группы Исламского комитета под руководством Гейдара Джемаля

288 Пир — от персидского «старец», руководитель тариката

289 Сура 6, аят 75–79

290 Сура 36, аят 76–80

291 Уроборос — греч. «змей, кусающий себя»

292 Восстание в Индии против англичан 1857–1859 года

293 Религиозный учитель Маулави Лиакат Али (1817–1892) возглавлял восстание в Аллахабаде в ходе восстания сипаев. Англичане его арестовали в 1871 году, приговорили к смерти. Умер в плену в 1892 году

294 Паровую турбину и другие технологии изобрел Герон Александрийский (I век н. э.) — греческий математик и механик в Египте, который уже входил в Римскую империю

295 Коминтерн (Коммунистический интернационал) — III Интернационал, существовал с 1919 по 1943. Сталин договорился с союзниками о сдаче Коминтерна с его разветвленной сетью в мире, в обмен на открытие второго фронта против Германии. В 30-е годы многие члены Коминтерна, искавшие убежища в СССР, были репрессированы. В 1943 году члены Коминтерна с семьями, проживавшие в гостинице «Люкс» (с 1953 года переименована в «Центральную»), были расстреляны

296 Сейид Кутб (1906–1966) — египетский писатель, сформулировал идеологию движения «Братьев-мусульман». Был школьным учителем. Два года прожил в США, придя в шок от американского образа жизни. Поддержал переворот Насера в 1952. В 1954–1964 сидел в тюрьме, где его пытали — за несогласие с политикой Насера. В 1965 году снова арестован и приговорен к смерти. Насер предложил Кутбу отречься от его идей в обмен на пост министра культуры. Кутб отказался и от поста, и от помилования. Повешен по приговору трибунала

297 Орден св. Станислава — младший в иерархии орден Российской империи для чиновников

298 Клейкие листочки в речи Ивана Карамазова символизируют притягательность жизни. Разговор Ивана и Алеши о выборе между любовью к жизни и любовью к смыслу из романа Достоевского «Братья Карамазовы», 1880 года. Аллюзия на стихотворение Пушкина «Еще дуют холодные ветры» 1828 года

299 Роман Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим», 1850 год

300 Эту фразу именно в оптимистическом ключе использует в своих работах Дугин, приписывая ее Головину

301 Владимир Чертков (1854–1936) — лидер толстовства, редактор и издатель произведений Толстого

302 Каусар, дочь Гейдара Джемала

303 Готы — молодежная субкультура в Великобритании с конца 70-х годов, стилистически использовавшая псевдоготическую

романтическую мрачности

304 Rectus Habilis — на латыни «человек прямоходящий»

305 Джалла джалалу Лахи — на арабском «велика слава Аллаха»

306 2016 год

307 Отто фон Бисмарк (1815–1898) — первый канцлер Германской империи, объединил немецкие земли

308 Катехон — на греческом «удерживающий»

309 Омофор — на греческом «носимый на плечах», широкая лента на плечах епископа. В переносном смысле «быть под омофором» означает быть под управлением, под покровительством

310 См. Гегель «Феноменология духа», 1807 год

311 Циркуляр 1887 года «О сокращении гимназического образования» сократил доступ в гимназии и был прозван «циркуляром о кухаркиных детях». На 17-летнего Ленина это произвело впечатление. В статье «Удержат ли большевики государственную власть» в октябре 1917 года он написал, что любая кухарка пока не может, но должна научиться управлять государством

312 От Иоанна, глава 14, стих 16–17. Глава 15, стих 26. Глава 16, стих 5–15

313 Фалангисты в Ливане — католическая маронитская правая партия «Катаиб», активно участвовала в гражданской войне в Ливане, замешана в резне в лагерях Сабра и Шатила 1982 года

314 Тьерри Мейсан (род. 1957) — французский журналист, автор книги о том, что 9/11 в Пентагоне произошел взрыв, а не падение самолета. С 2010 — частый гость в СМИ РФ

315 Сура 9, аят 12

УДК 323.1(47)
ББК 66.65(2Рос)д
Д40

Подготовка книги:
Надежда Кеворкова

В работе принимали участие:

Орхан Джемаль, Иван Никитин, Руслан Айсин, Ахмед Магомедов, Константин Тараторин

В записях видео для книги принимали участие:

*Орхан Джемаль, Руслан Айсин, Ахмед Магомедов, Наталья Мелентьева, Василий Полонский,
Марк Фейгин, Владимир Рынкевич, Марина Леско*

Джемаль, Гейдар

Д40 Сады и пустоши / Г. Джемаль. — Москва ; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2021. — 608 с.

ISBN 978-5-4499-1695-2

Гейдар Джемаль (1947–2016 гг.) — мыслитель, активный участник публичной политики с 1991 года вплоть до 2016 года. Похоронен в Алматы, куда уехал за полтора месяца до своей смерти.

«Сады и пустоши» — последняя книга Гейдара Джемала, которую можно назвать автобиографией, но гораздо больше она похожа на политическое завещание и манифест. В ней множество обаятельных и смешных портретов друзей и врагов, детальное описание системы удушения мысли и пошаговая методика устранения удушья, многие страницы рассказывают о преодолении философии, о противостоянии системе и самому Бытию как смыслу и цели мысли.

В издание в виде ссылок (QR-кодов) добавлены видеофрагменты диктовки книги Гейдаром Джемалем.

УДК 323.1(47)
ББК 66.65(2Рос)д

ISBN 978-5-4499-1695-2

© Гейдар Джемаль, текст, 2021
© Гюльнар Джемаль, 2021
© Портал Бизнес-онлайн, интервью Орхана Джемала (предисловие), 2021
© Надежда Кеворкова, подготовка материалов книги, 2021
© Издательство «Директмедиа Паблишинг», оформление, 2021

Гейдар Джемаль

Сады и пустоши

16+

Ответственный редактор *М. Глаголева*

Корректор *Е. Топленникова*

Верстальщик *С. Лобанова*

Издательство «Директ-Медиа»

117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 1

Тел/факс [+7\(495\)334-72-11](tel:+7(495)334-72-11)

E-mail: manager@directmedia.ru

www.biblioclub.ru

www.directmedia.ru